

НОВОБИТ
МИР

НОВОБИТ МИР

1956

1

1956

НОВОЫЙ И МИР

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Год издания XXXII

№ 1

Январь, 1956 г.

ОРГАН СОЮЗА СОВЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ СССР

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
ОЧЕРКИ НАШИХ ДНЕЙ	
ВАЛЕНТИН ОВЕЧКИН — Об инициативе и талантах	3
К. АЛАБЯН — Архитектура и жизнь	17
—	
СТЕПАН ШИПАЧЕВ — Берёзовый сок, повесть	33
СЕРГЕЙ ЧЕКМАРЕВ — Из трёх тетрадей. Предисловие Михаила Луко- нна	81
АЛЕКСАНДР БЕК — Жизнь Бережкова, роман	115
МИХАИЛ ЛУКОНИН — Новые стихи	146
АВЕТИК ИСААКЯН — Сатана и его дочери (Шуточная средневековая басня). Перевод с армянского Сергея Михалкова	152
ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ. ДОКУМЕНТЫ	
ИРАКЛИЙ АНДРОНИКОВ — Тагильская находка	153
Н. БОТАШЕВ (публикация), И. АНДРОНИКОВ (пояснительный текст) — Из писем Карамзиных	163
ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ТЕХНИКИ	
Инженер А. МАРКИН — Энергетики склоняются над картой мира	210
Трибуна писателя	
С. ЗАЛЫГИН — Мысли после совещания	218
НИКОЛАЙ АТАРОВ — Можно ли читать книжки не думая?	229
ОТКЛИКИ И КОММЕНТАРИИ	
<i>По страницам иностранных литературных журналов</i>	234
В. Стеженский. Искания и сомнения. — И. Константиновский. Песнь чело- веку. — Е. Романова. Две тенденции	
ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА	
В. КАРДИН — Целина и книги	245
ПИСЬМА ИЗ РЕДАКЦИИ	
АЛЕКСЕЙ КОЛОСОВ — По поводу одного очерка	257
(См. на обороте)	

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР»
Москва

СОДЕРЖАНИЕ (продолжение)

	Стр.
КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ	
<i>Литература и искусство</i>	261
З. Гусева. Полесская новь.— А. Дирингерова. События и люди.— Н. Муравина. Непримириность молодости.— Н. Толчёнова. Средствами сказки.— М. Никулин. Песни донских казаков.— Р. Миллер-Будницкая. Спор о Гойе.	
<i>Политика и наука</i>	274
Кандидат исторических наук Е. Черняк. О мирном сосуществовании.— С. Беглов. Разоблачённый миф.— Е. Примаков. Наследие колонизаторов.— Г. Голубев. Дневники правдивого наблюдателя.— Действительный член Академии медицинских наук СССР О. Б. Лепешинская. Как возникают микроорганизмы.	
РЕПЛИКИ	283
М. Прилежаева. Забытые имена.— Л. Никулин. О жанрах эстрады	
КОРОТКО О КНИГАХ	285
КНИЖНЫЕ-НОВИНКИ	287

ОЧЕРКИ НАШИХ ДНЕЙ

ВАЛЕНТИН ОВЕЧКИН

★

ОБ ИНИЦИАТИВЕ И ТАЛАНТАХ

Однажды на областном совещании передовиков сельского хозяйства, во время перерыва, в курилке, где встречаются и собираются в кучки для беседы знакомые из разных районов, я услышал такой разговор.

— А какая, Кирилл Петрович, по-твоему, самая главная задача у хорошего председателя колхоза? — спрашивал с усмешкой секретарь райкома партии Чугуев у одного делегата совещания, старого, с пятнадцатилетним стажем, знаменитого на всю область председателя богатого передового колхоза Омельченко. — Самая, что ни есть, главная задача? То, за что больше всего будет впоследствии председатель в ответе перед народом, перед своим колхозом. Перед историей!.. Ну, так что самое, самое главнейшее?..

Омельченко, подозревая какой-то подвох в вопросе секретаря райкома, не торопился с ответом, обдумывал, что сказать, прочищая спичкой засорившийся чубук трубки.

— Что главное?.. Много у нас главного. За что ни возьмись, всё главное... Вести хозяйство планово? Многоотраслевое развитие? А? Севооборота? Чтоб не запустить землю?..

— Да, это очень важно — не запустить землю. Маркс говорил: каждое поколение должно оставлять землю следующему поколению, как хороший отец семейства оставляет её детям, улучшенной и обогащённой. А ещё?

— Что ещё? Воспитание людей? Работа с активом?..

— Вот, подходим к этому! А конкретнее? Кого именно должен воспитать хороший председатель колхоза?

— Кого? Честных тружеников, советских людей... Что-то не пойму я тебя, Николай Егорыч, — развёл руками Омельченко. — О чём говоришь?

— Хороший председатель колхоза, — Чугуев взял за лацкан пиджака Омельченко, — должен, обязан воспитать, вырастить и хорошего заместителя себе. Понятно?

— Ну, это ты, Николай Егорыч, преувеличиваешь. Так нельзя механически подходить. Почему самая главная задача — вырастить заместителя? Заместителя вырастишь, а пшеничку не вырастишь — тоже толку мало, не похвалит райком.

— Ладно, не будем механически подходить. Но согласен, что это очень важная задача?

— Согласен. Они и есть у нас, заместители. У каждого председателя крупного колхоза есть заместитель.

— Какие заместители? Я не о тех заместителях говорю, что числятся сейчас по должности. Я имею в виду такую смену, чтоб без тебя дела в колхозе нисколько не ухудшились. Есть? Вырастил такого человека? На всякий случай. Ну, не будем загадывать о чём-нибудь нехорошем.

Скажем, возьмут тебя за твои заслуги живьём на небо, как Илью-пророка. Подлетит к правлению огненная колесница: «Собирайся, Кирилл Петрович, довольно тебе тут мучиться с посевными-уборочными — поедем туда, где нет ни уполномоченных, ни телефонограмм, ни выговоров, одни банкеты и благодарности!» — и умчался наш новоявленный святой товарищ Омельченко, только пыль по небу. Кто за тебя останется в колхозе? В ком ты там уверен, как в самом себе? Есть такой человек, что сможет не хуже повести дело, чем ты ведёшь, а может, даже и лучше?

— Так вот, говорю, есть у меня заместитель — товарищ Крышкин Иван Архипович. Ты его знаешь. Работает неплохо...

— Как заместитель. Распределили обязанности, ты даёшь ему поручения — он выполняет. В общем, помогает тебе неплохо в роли заместителя. Большого ты с него пока и не требуешь. А самостоятельно сможет он работать? Не пошатнутся в колхозе дела, если ты совсем отстранишься от руководства и Крышкин останется за тебя?

— Как сказать... — Омельченко почесал затылок. — Для председателя он, конечно, слабоват. Кругозора не хватит.

— Значит, не заменит тебя?

— Не заменит... Да ты, Николай Егорыч, так поворачиваешь разговор, что мне вроде самого себя приходится хвалить.

— Крышкин слаб, так. А другие твои помощники? Из бригадиров, заведующих фермами некого выдвинуть в председатели?

— Почему некого? Будет нужно, кого-нибудь выдвинут.

— Но есть из них такой, что блестяще справится с обязанностями председателя?.. Ну, вот ты, примерно скажем, Суворов. А есть у тебя Кутузов? На которого бы можно вполне положиться, что не подведёт?

— Не знаю... Бригадир у нас хорошие, плохих бы не держали. На животноводстве тоже ребята толковые. Но это всё же одна отрасль, не весь колхоз-машина. На ферме справляется, это он в силах охватить, а колхоз завалит — и так может случиться.

— Вот видишь. Значит, не вырастил себе надёжного заместителя? А ведь на самом деле, без шуток: ну, выдвинут тебя завтра начальником областного управления сельского хозяйства, или на учёбу пошлют на три года, или райком найдёт нужным перевести тебя в другой, отстающий, колхоз, чтобы ты его вытянул, и ты, как дисциплинированный член партии, обязан будешь подчиниться, пойдёшь туда. А свой колхоз на кого оставишь?..

Омельченко, не найдя что ответить Чугуеву, лишь тяжело вздохнул под громкий смех окруживших их делегатов.

— Нет, смеяться тут нечему, товарищи, — продолжал Чугуев. — Вопрос очень серьёзный. Мы как будто даже забываем, что все мы смертные люди и каждого из нас в любую минуту может либо какой-нибудь зловредный вирус укусить, либо черепицей с крыши по голове стукнуть... Да, Кирилл Петрович, вот как оно нехорошо получается. Не любишь ты, значит, свой колхоз.

— Что? Я не люблю свой колхоз? — уже с обидой в голосе стал возражать Омельченко.

— Да, не любишь. Как же так — за пятнадцать лет не вырастил себе заместителя! Значит, тебе безразлично, что станется с вашим хозяйством и как там будут жить люди без тебя. Пока ты на посту главного руководителя, ты, конечно, справляешься. Ночей не досыпаешь, всюду твой хозяйский глаз — потому что с тебя спрос. Опять же и почёт тебе за достижения колхоза. Звание Героя получил, орден Ленина. «Пока я председатель, не навлеку сраму ни на колхоз, ни на себя. Пока я там. А после меня — хоть волк траву ешь!» Так, что ли?..

Я, вступив в разговор, взял сторону секретаря райкома, и мы вместе стали донимать начавшего уже выходить из себя Омельченко.

— Это, конечно, эгоизм в высшей степени — не думать о том, что будет на земле после тебя, и не заботиться о смене.

— Он, видите ли, решил, что его всё равно никем нельзя заменить, — продолжал Чугуев больно подкалывать председателя колхоза. — У него талант! Организатор-самородок! Редкий талант! А других таких талантливых людей он возле себя не находит. «Не охватят колхоз-машину». Почему же не научишь, как охватить? Тебя что, никто никогда ничему не учил? Сразу, с первого дня, уже был таким уважаемым Кириллом Петровичем, каким мы тебя сегодня знаем?

— Да что вы напали на меня! — сердито возражал Омельченко. — За пятнадцать лет не вырастил такого, как сам. А если нету таких?

— Вот, вот! Какое самомнение! Культ собственной личности!

— Да погодите, я себя не превозношу, я просто хочу сказать, что в природе не бывает двух людей, в точности похожих друг на друга.

— А мы не требуем, чтобы твой заместитель был такой же рыжий, как ты, и ростом с тебя — великан. Пусть чёрненький и маленький, пусть рябой, косой, лысый, кучерявый, лишь бы дело в колхозе повёл не хуже.

— Да как же я могу поручиться за кого бы то ни было, что он будет не хуже меня работать?..

— А надо, чтобы смог поручиться! Без такой уверенности в заместителях нам и жить нельзя!

Омельченко, обороняясь от Чугуева, напал на меня.

— А вы-то чего к Николаю Егорычу подпрягаетесь? Оглянитесь на свой Союз писателей! У вас-то какво насчёт смены? Хуже ещё, чем в колхозах! Много выдвинули вы новых Чеховых, Горьких?

— Ого! — воскликнул со смехом Чугуев. — Да ты окончательно зазнался, Кирилл Петрович! С Горьким себя равняешь?

— Не равняю, но, по-моему, и в литературе можно тогда так вопрос поставить: каждый знаменитый писатель обязан вырастить себе на смену из молодых хотя бы одного такого писателя, который бы тоже не хуже его книжки сочинял!

Собственно, трудно было сразу что-либо возразить Омельченко. Поскольку речь зашла о талантах, в чём же особые трудности «выдвижения» новых талантов в писательском деле против любого другого дела? И являются ли литературные дарования в природе более редкими, чем, скажем, большие организаторские таланты?..

Но Омельченко пошёл уже в контратаку и на Чугуева.

— А ты-то сам, Николай Егорыч, вот уже пятый год работаешь у нас. Если заберут тебя завтра в Москву заместителем министра культуры, на кого оставишь район? Как думаешь, второй секретарь товарищ Бугров справится за тебя?..

Чугуев прокашлялся и нетвёрдым голосом — заметно было по голосу, что кривит душой, лишь бы не проиграть в споре, — ответил:

— Справится, конечно.

— Ой-ли?..

— Был у тебя, Кирилл Петрович, хороший заместитель, не хуже тебя повёл бы дело, да упустил ты этого человека, — вмешался в разговор один из слушателей нашей беседы и тем выручил Чугуева и меня.

— Кто был?

— Румянцев, агроном, который потом в МТС ушёл, а сейчас в Селищах колхоз поднимает.

По лицу Омельченко пробежала тень. Упоминание о Румянцеве было ему, видимо, неприятно.

— Вот и хорошо, что отдали мы его. Из наших кадров — на помощь другим. В Селищах тоже нужен способный председатель.

— Да разве Омельченко нуждается в агрономе? — подал голос ещё кто-то из делегатов совещания, собравшихся вокруг нас.— Он сам себе агроном.

— Ты такое скажешь, Васков! — обернулся Омельченко.— Будто я агрономов не признаю, выживаю их из колхоза. Что ж у меня, нет сейчас агронома? Есть агроном.

— Это Пучинкин-то? Ну, какой он агроном! Мальчик на побегушках.

— Вот Румянцев то был агроном! Готов был головой отвечать за урожай, но и требовал, чтоб не мешали ему. Уж если скажет: вот так нужно делать — ничем его не собьёшь. С тобой ему, конечно, трудновато было.

— Не ужились вы с ним. Два хозяина над землёю. Два медведя в одной берлоге.

— Вот ещё что, видишь, отражается на воспитании заместителей! «Два медведя»!

Зазвонил настойчиво звонок из президиума, перерыв окончился. Делегаты, докуривая и бросая в урны папиросы, пошли в зал, стали рассаживаться по своим местам.

Этот разговор на совещании передовиков сельского хозяйства, в полшутливой форме о серьёзных вещах, долго не выходил у меня из головы. Неужели действительно появление и рост новых талантов — дело, зависящее только «от природы», и ничто ему не может ни помочь, ни помешать? Нет, нельзя согласиться с этим!

Если не сразу обдумаешь, чем можно помочь выдвижению новых способных организаторов хозяйства, то не так трудно представить себе всё, что мешает росту таких талантов.

Инициатива... Много мы за последнее время говорим и пишем о ней. Разумная инициатива масс и руководящих работников больших и малых масштабов в сочетании с железной государственной дисциплиной и социалистическим планированием. Возможно ли такое сочетание? Конечно, возможно. В боевых действиях войск на фронте творческая инициатива командиров великолепно ведь уживается с подчинением единому стратегическому плану операции, разработанному в ставке верховного главнокомандующего.

И если уж придерживаться военных сравнений, надо бы воспитывать инициативу в наших кадрах, как у бойцов в армии воспитываются находчивость и храбрость. Безинициативность, слепая приверженность к догмам и шаблонам — такой же позор для руководителя, как для офицера и солдата трусость в бою.

Но на чём может человек проявить свою инициативу? Только на самостоятельном ответственном деле. Нельзя сделать человека парашютистом путём лишь чтения лекций о парашютном спорте, не заставив его ни разу выпрыгнуть из самолёта с парашютом. Конечно, поначалу, при неудачном приземлении, не обойдётся и без синяков.

Я знал одного секретаря обкома партии, который сам был настолько инициативен, что и крошечного места не оставлял возле себя для инициативы других. Как говорится, «яблоку негде было упасть» от его инициативы. И получалось, что он — сам, быть может, того не сознавая. — глушил инициативу своих помощников и специалистов, и это происходило, как ни странно, не от бюрократизма и консерватизма, а от его собственной могучей, неуёмной инициативы — одного из лучших, в общем, человеческих качеств.

Будучи очень энергичным по натуре, он успевал раньше других подумать обо всём решительно, что входит в круг деятельности отделов обкома, управления сельского хозяйства, промышленных трестов и всех остальных областных учреждений. Раньше других — это, конечно, ещё не значит — лучше других. Но дождаться глубоко обдуманных, обоснованных

ванных предложений от хороших специалистов у него просто не хватало терпения. А потом, когда вспыхнувшая в его голове мысль становилась уже увлечением и весь аппарат обкома начинал работать над её претворением в жизнь, спорить с ним было трудно.

Он был на видном посту, ему вполне хватило бы славы руководителя большой партийной организации и уважения, воздаваемого ему по этой должности. Он был первым секретарём обкома. Но ему, вероятно, хотелось быть первым буквально во всём. Однажды, вместо того чтобы дать задание конструкторам срочно изготовить приспособление к комбайну для подъёма полёгших и проросших хлебов, он заперся на три дня в своём кабинете, велел доставить ему туда нужные материалы и инструменты и сам, тряхнув познаниями в области механики и слесарного дела, изготовил модель подъёмника. Подъёмник удался, и его даже передали для выпуска на местные заводы. Патент на него он, конечно, не взял. Он достаточно вознаграждал себя за труд тем, что продемонстрировал свою модель на совещании конструкторов и постыдил их за неповоротливость и незнание нужд колхозов.

Коммунисты невесело шутили: «Вениамин Павлович подаёт нам пример совмещения профессий: он и секретарь обкома, и секретарь горкома, и главный агроном области, и начальник всех строек, и художественный руководитель театра, и главный архитектор города, и редактор областной газеты. Комсомол и пионерскую организацию только не подменил — возраст не позволяет».

Есть начальники, с которыми трудно приходится бездельникам, а людям деловым и творческим легко и радостно работать. Есть и такие, приоровившись к которым бездельники благоденствуют, а хорошим работникам с ними приходится туго. С Вениамином Павловичем трудно было и тем и другим. Не доверял он людям, слишком низкого был мнения о способностях своих помощников и считал, что все они годны лишь для роли простых исполнителей.

Зимним утром, часов в семь, — зимой в это время ещё темно — идёшь, бывало, по городу мимо Дома Советов и видишь: в кабинете первого секретаря обкома уже светится. И ночью до двух-трёх часов горит свет в окнах его кабинета. Правда, светится кое-где и в других окнах, но может быть, лишь потому, что сам первый секретарь ещё не уехал домой и ему всякую минуту может понадобиться какая-нибудь справка? А на столе перед этим засидевшимся в обкоме до третьих петухов страдальцем-завотделом — «Граф Монте-Кристо» или трудный кроссворд из прошлого года «Огонька»? Да и чем другим заниматься ему, если всё за всё всегда обдумывает и решает сам Вениамин Павлович и иных решений вопроса, кроме собственных, не признаёт?..

В некоторых партийных организациях у нас пропагандистская работа превратилась в школярство потому, что главной целью стало количество проведённых занятий, лекций, бесед (сводка!), а не воспитание людей.

В кружке изучается история партии. Это история огромной борьбы ленинизма за чистоту революционных идей Маркса, за подлинно пролетарскую революцию в России, за построение коммунизма в стране победившей революции. Слушателям всё это преподносится, как дела «давно минувших дней». Вот так боролись в прошлом большевики с классовыми врагами трудящихся и со всякими фальсификаторами марксизма. Но ведь и сегодня, в нынешних наших делах, всем нам нужно быть большевиками! Революционная непримиримость к помехам на пути нашего строительства, бесстрашие в своих принципах, когда твёрдо уверен, что они отвечают интересам партии, служение делу, а не лицам, сознание большой ответственности перед народом за каждый свой поступок — эти качества обязательны для коммуниста.

А то ведь бывает и так. Человек окончил высшие теоретические курсы, перечитал и вы зубрил все главные места в трудах классиков марксизма-ленинизма, по диплому — учёный-марксист. А на практических делах — беспринципная тряпка, отгородившийся от народа семью дверями бюрократ, подхалим, перестраховщик. Но что такое, скажем к примеру, перестраховщик? Так мы привыкли называть некоторых работников, без зазрения совести получающих зарплату от государства за то, что ничего не делают, ничего не решают. Наше ухо притерпелось уже к этому довольно мягкому, не очень обидному слову, пора бы его «уточнить», найти ему синонимы покрепче. В существе явления здесь обыкновенная трусость. Перестраховщик носить звание ответственного работника не прочь, так как с этим связаны и некоторые блага жизни, но ответственности боится как огня. Интересы дела у него на втором плане, на первом — личное благополучие. Стало быть, если называть вещи своими именами, перестраховщик — это жалкий, вечно дрожащий трус. И шкурник. Обыватель с партийным билетом. И во всяком случае, будь он «по теории» хоть доктором марксистских наук, его «практика» не имеет ничего общего с большевизмом.

Политическое воспитание не ограничивается лекциями и семинарами, одной лишь, так сказать, школьной стороной дела. Политически воспитывается человек, при хороших руководителях, всей своей жизнью, конкретными деловыми заданиями партии и борьбой за выполнение этих заданий. Так всегда растила партия свои кадры хозяйственников, полководцев, дипломатов, организаторов. Политическая закалка кадров — это и есть испытание делом на труднейших участках.

И нельзя сейчас строить пропагандистскую работу лишь на изучении истории, прошлых дел нашей партии, не обращаясь к сегодняшним делам, к сегодняшним новым задачам и новым трудностям строительства коммунизма.

Как можно изучать бессмертный труд Ленина «Государство и революция», не делая из него практических выводов для улучшения работы сегодня наших управленческих аппаратов?

Или как можно читать, может быть даже заучивать наизусть, такие строки Ленина и не вдумываться в них глубоко: «Руководитель-коммунист тем и только тем должен доказать свое право на руководство, что он н а х о д и т себе многих, все больше и больше, помощников из педагогов-практиков, что он у м е е т и м помочь работать, и х выдвинуть, и х опыт показать и учесть». Эти слова были сказаны Лениным в статье «О работе Наркомпроса» и адресовались непосредственно руководителям-коммунистам, работавшим в данном наркомате. Но ясно, что эта ленинская заповедь относится ко всем руководителям вообще: находить себе многих помощников, всё больше и больше; уметь им помочь работать, их выдвинуть; только такой руководитель, организатор и воспитатель новых талантливых организаторов имеет право на руководство.

Кто склонен всю политическую работу с людьми сводить лишь к чтению лекций о происхождении жизни на земле, тот, если подсказать ему, что надо больше внимания обращать на хозяйство, с охотой совершенно откажется вообще от всякой пропаганды и воспитательной работы, только запчастями, шифером, шлакобетоном и будет заниматься. Но и тут не жди от него добра. Механическое мышление в любом деле не приводит к правильным методам.

Я слышал в одном районе, как колхозники назвали своего секретаря райкома вот так, шутя, как Вениамина Павловича, «главным районным агрономом», и не сразу понял, в похвалу это было сказано или в осуждение. Может быть, за то назвали его так, что он лучше любого специалиста разбирается и в полеводстве и в животноводстве? Оказалось, нет, за дру-

гое. Это прозвище у колхозников он получил, к сожалению, не за отличное знание сельского хозяйства, а за стиль и методы работы.

От партийных работников сельских районов требуется знание агрономии и всех прогрессивных новшеств в этой науке, чтобы они разумно руководили людьми, сеющими хлеб. Пока секретарь райкома не изучит глубоко колхозное производство с его особенностями по разным зонам, принципы организации труда, планирования, экономику колхозов — всё новое, что дала передовая наука и колхозная практика в земледелии, — не может он стать хорошим руководителем партийной организации. У него на каждом шагу будет сомнения, колебания, грубые промахи и ошибки. Он не способен заметить ростки нового и во-время дать им ход, так как сам ещё не понимает смысла и пользы этих новшеств. Он не может давать толковых советов людям. Да и у него просто не будет авторитета, если колхозники заметят, что он профан в сельском хозяйстве.

Но само собой разумеется, что если бы даже секретарь райкома лучше всех в районе знал колхозное производство и агрономию, всё равно подменять хозяйственных работников и специалистов он не должен. Да и не выйдет из этого ничего хорошего. «Подменить» всех хозяйственников, при известной твёрдости характера, он сможет, но заменить — вряд ли.

Мало толку от таких методов руководства, когда секретарь райкома разъезжает по колхозам и, совершенно не считаясь с мнением директора и старшего агронома МТС, не интересуясь, что думают по этому поводу агроном колхоза и местные старые, опытные хлеборобы, самолично планирует размещение культур на полях, «даёт команду» начинать сеять гречиху или, наоборот, приостанавливает работы, запрещает или разрешает пересев повреждённой блохой и долгоносиком сахарной свёклы и т. п.

В среднем по размерам районе центральной области насчитывается 30—35 колхозов, две-три МТС, 50—60 тракторных бригад. Сеют колхозы по две-три тысячи гектаров. В уборку на полях района работает 100—120 комбайнов. Пользуясь секретарь райкома для передвижения по району хоть вертолёт — не успеет он за день побывать возле всех сеялок или комбайнов и лично проверить и наладить их работу. Если направить весь партийный аппарат района «уполномоченными» на уборочные и посевные агрегаты, на огороды, фермы, строительные площадки в колхозах — всё равно не хватит сил. Значит, успех дела — в хороших кадрах председателей колхозов, агрономов, механиков, трактористов, комбайнеров, бригадиров, в политически-трудовом воспитании этих кадров.

У меня есть знакомые секретари райкомов, которые совершенно забросили работу с людьми, решив, что хозяйством можно заниматься «без политики».

Сидишь на пленуме райкома или на собрании районного партактива и слушаешь речь такого секретаря. Он говорит подробно об очень нужных и важных в сельском хозяйстве вещах — о зелёном конвейере, об удобри-тельных смесях, о подкормках, о воздушно-тепловом обогреве семян, но почему же только о них и говорит? Речь первого секретаря райкома ничем, собственно, не отличается от тех речей, что произносили обычно на таких собраниях начальники районных сельхозотделов. А ведь он партийный работник. Есть же какие-то особенности в его работе, отличные от функций других должностных лиц в районе?..

Перед партийными работниками сельских районов поставлена задача — в короткий срок резко увеличить производство в колхозах зерна, овощей, мяса, молока. Но ведь райком сам не пашет и не сеет, это делают колхозники, рабочие МТС.

Я думаю, когда в обкоме партии слушают отчёт секретаря райкома о выполнении всякого рода хозяйственных планов и поставок, не мешало бы также не менее строго спрашивать у него, сколько он за то время, что

работает в районе, за год-два, вырастил в колхозах новых талантливых организаторов хозяйства, замечательных мастеров земледелия, животноводства. То есть сколько он вырастил, воспитал таких людей, которые, в свою очередь, способны вырастить и двести пудов пшеницы с гектара, и пятьсот центнеров сахарной свёклы, и полтора ста ягнят от ста овец, и двадцать пять поросят от свиноматки в год. Ведь это и есть строители нашего хозяйства! Как можно забывать главное в партийной работе — человека? Самый лучший, конечно, вид заботы о человеке в нашем государстве — это поднять на небывалую высоту наше хозяйство, создать изобилие всяких продуктов и промышленных товаров. Но ведь само изобилие-то делается человеком! Мало преподавать с трибуны собрания райпартактива правильные агротехнические советы — надо, чтобы было их кому на месте, в колхозах, выполнять!

Партийные работники в силу особых сложностей их родного дела вообще стоят всегда перед соблазном залезть в функции других работников, ведомственных специалистов, чей круг деятельности более чётко очерчен и ограничен. Они как бы «отдыхают» в этой ясности и конкретности чужих специальностей от своего собственного дела, настолько трудного и всеобъемлющего, что даже учебников по нему нет. По агротехнике учебники есть, по партийной работе — нет.

Один мой знакомый председатель колхоза объяснял ещё так:

— Терпения у них не хватает. Вырастить во всех колхозах такие кадры не только председателей, но и бригадиров, заведующих фермами, которые бы совершенно не нуждались в подсказках, когда сеять хлеб и как коров доить, — это же дело долгое, одним днём его не провернёшь. И она, эта работа с людьми, такая незаметная. Никак её в сводке не отразишь. «Насколько выросли колхозные кадры в районе за истекшую десятидневку? Каков процент прироста у них смелости и самостоятельности?» Что ответишь на эти вопросы? Подбирай кадры, изучай их, возись с ними, воспитывай! Да ещё не каждый секретарь райкома годится в воспитатели. Одними выговорами ведь не воспитаешь, как делают иные, тут ещё что-то нужно уметь. Так проще — оседлать телефон и «давать команду» в колхозы: «Оставлять сахарной свёклы на каждом погонном метре по шести растений!», «Не позже такого-то числа всем приступить к продольной и поперечной культивации междурядий картофеля!», «Запретить уборку семенных участков пшеницы до полной спелости!» Когда перебросит такой «сам себе агроном» тракторы с комбайнами из одного колхоза в другой, так хоть чувствует, что сделал что-то за день, практически поработал.

Но это всё не объясняет ещё, конечно, полностью вопроса.

Есть у нас категория людей, которых мы привыкли называть конъюнктурщиками. Эти люди даже партийные решения читают и понимают как-то по-своему, вдумываются не столько в прямой смысл решений, сколько в так называемый «подтекст», ищут этот «подтекст» даже в количестве строк, отведённых тому или иному вопросу.

В партийном документе, опубликованном в газете, задачи хозяйственного строительства заняли три страницы, а полстраницы отведено вопросам партийно-политической работы. Конъюнктурщики так и понимают: значит, хозяйственными делами надо сейчас заниматься в шесть раз больше, чем политической работой.

Этим мыслителям невдомёк, что настоящую политическую работу невозможно отделить от хозяйственного строительства. Так же невозможно и противопоставить одно другому. Это категории не антагонистические, наоборот, неразрывно связанные едиными целями. Имеется в виду, конечно, настоящая политическая работа, а не болтовня, не голая митинговщина, лишь попытку отрывать людей от дела. Не бесхребетное курьёзничество, а именно политически-деловое воспитание людей на определённых ответственных участках хозяйственного строительства. Такая ра-

бота с коммунистами, активом, колхозниками, рабочими МТС, в результате которой вырастают смелые, инициативные передовики производства, — наша опора, авангард во всех хозяйственных делах.

Если что и можно, в смысле вреда делу, «противопоставить» хозяйственной работе, то лишь плохую массовую работу — бездушную, формальную, для отчёта, «отзвонил — и с колокольни долой».

Но болтуном может оказаться и хозяйственный работник: управляющий конторой, директор, начальник главка и даже министр. Можно и на очень практической должности «руководить» трескучими, но бессодержательными приказами, общими нудными указаниями и требованиями «мобилизовать», «усилить», «развернуть».

Так что лучше, а что хуже: неконкретная, формальная, бездушная массовая работа при конкретном, деловом хозяйственном руководстве, или наоборот? Можно ли тут найти какой-то эквивалент замены одного другим, если одно из двух составных хромает? От чего меньше вреда — от пустоты и невежества в речах партийного работника или от этих же качеств в приказах и распоряжениях хозяйственника?

Право же, если допустить возможность противопоставления партийно-политической работы хозяйственным делам, можно договориться до совершенных глупостей.

Но хуже всего вот что. Для конъюнктурщика ведь нет ничего святого. Когда он берётся за хозяйственные дела, он и здесь кидается лишь на внешне-показную форму. И здесь он способен извратить и опошлить самую замечательную идею.

Дается сверху предложение насчёт какого-то агротехнического приёма, повышающего, скажем, урожайность овощей. Речь идёт об одном лишь приёме, далеко не исчерпывающем всего агрокомплекса возделывания овощей, да и высокий урожай только лишь овощей ещё не решает полностью задачу изобилия продуктов земледелия. Но конъюнктурщик поднимает вокруг этого предложения такой шум, будто это панацея от всех бед, ключ ко всем нерешённым вопросам колхозного строительства. Всю зиму, на всех собраниях и конференциях, только и разговору — о новом способе высадки овощей. Очередная ударная «кампания». Но ведь этого мало — правильно высадить овощи. Надо ещё суметь вырастить их, суметь их во-время и без потерь убрать. И надо раскатать заготовительные и торговые организации, чтобы они были готовы к приёму богатого колхозного урожая, чтобы ни один центнер овощей не сгнил в кучах на бригадных дворах, чтобы в отдалённых от городов колхозах не кормили капустой и огурцами коров и свиней, чтобы всё это попало в магазины и на рынки, чтобы всюду действительно было изобилие дешёвых первосортных овощей. Работы здесь для районного руководства на целый год, а не на одну кратковременную «кампанию». Но... Сколько было в последнее воскресенье на рынке возов и грузовиков с помидорами и капустой и насколько подешевели овощи против прошлых лет — об этом райком не отчитывается по сводкам перед обкомом. Это «трудно поддающиеся учёту» вещи. И мало ещё было таких случаев, чтобы какого-то секретаря райкома наказали за дороговизну овощей на рынке. А сколько высажено овощей — это легко и просто укладывается в сводку. До осени далеко, поругают ли осенью — неизвестно. А вот это сейчас на виду. За перевыполнение плана могут даже и похвалить. Стало быть, нужно и «нажимать» пока на это дело, особо не мудрствуя и не заботясь о дальнейшем, об изобилии овощей.

Живуч проклятый формализм! Видимо, ещё и потому живуч, что для некоторых бесталанных руководителей он — что для слепого стенка. Уловил по известным признакам, что такому-то вопросу придаётся большое значение, — ну и пошёл, держась за эту стенку; всё внимание только этому делу, остальное — на задворки. А это «остальное» ни много ни мало —

девяносто девять процентов всей громады очень важных и неотложных вопросов партийной работы и колхозного строительства.

Квадратно-гнездовой способ посева и посадки разных пропашных культур — огромной важности дело. Но этот способ не сам по себе повышает урожайность, а через улучшение обработки междурядий. Улучшается же она потому, что здесь открываются большие возможности для механизации, и тракторными культиваторами можно всюду успеть три-четыре раза за лето обработать междурядья вдоль и поперёк. Далее, почти полная механизация обработки больших, особенно на юге, площадей пропашных культур высвобождает очень много рабочей силы в колхозах, которую можно повернуть на другие дела: на разведение садов и виноградников, на строительство, на развитие новых подсобных отраслей.

Но приходилось видеть в иных районах возмутительные вещи. Картофель посажен квадратным способом, междурядья же ни разу не обработаны, сорняки выше человека. Просматриваешь годовые отчёты колхозов: трудодней в полеводстве и огородничестве затрачено столько же, как и раньше, механизация не увеличилась. Для чего же тогда весной секретарь райкома «нажимал» изо всех сил на квадраты? Квадраты ради квадратов? Ради красивой сводки: «Посев таких-то культур произведён на сто процентов квадратным и квадратно-гнездовым способом»? Посеял — и на этом прекратил свои «заботы» о внедрении в сельское хозяйство новой, прогрессивной агротехники.

Такой секретарь райкома раньше, бывало, во время хлебозаготовок переключал всех и вся на очистку и вывоз зерна на элеваторы, о других срочных послевах и хозяйственных работах в колхозах запрещал и думать. Зябь в эти «штурмовые» по хлебу пятидневки и декады не пахали, озимые не сеяли, корма для скота не заготавливали — будто мы одним днём живём и в будущем году нам уже ни хлеб, ни мясо, ни молоко не потребуются. В оркестре при хорошей игре каждый инструмент издаёт именно те звуки, которые ему отведены в общей симфонии, и в нужное время, и нужной силы. А тут секретарь как бы схватил одну какую-то трубу, самую громкую, и дует в неё во всю мочь, заглушая всё прочее. И мелодия получается — хоть святых выноси.

Но вот в чём главный вопрос. Чему он, такой секретарь, учит свой районный актив? Какие кадры растит у себя в аппарате и других районных учреждениях? Может ли такой партийный руководитель, сам формалист и, по сути дела, конъюнктурщик-очковтиратель, воспитывать у других людей, у своих сотрудников творческую смелость мысли, инициативу, настоящую, а не показную деловитость, честную принципиальность — самые ценные качества для человека, занимающего ответственный пост на государственной службе? Вряд ли способен он воспитывать эти качества у других, поскольку у него самого-то их нет. И вообще вблизи и вокруг таких людей не создаётся — прибегнем к агротехническому термину — благоприятный микроклимат для роста и расцвета талантов.

Сталин в статье «Соревнование и трудовой подъём масс» писал:

«Опасность бюрократизма выражается конкретно, прежде всего, в том, что он связывает энергию, инициативу и самостоятельность масс, он держит под спудом колоссальные резервы, таящиеся в недрах нашего строя...»

Знал я ещё такого секретаря обкома. Много повидавший в жизни, неплохо разбирающийся в людях и несколько скептически-холодный в обращении с окружающими, он не любил угодников и подхалимов, едко подшучивал над ними, а не подхалимов, не «молчалиных», работников с головой на плечах и самостоятельным взглядом на вещи, пытавшихся иногда даже возражать ему кое в чём, совершенно не терпел. С течением времени число таких дельных работников в аппарате обкома и других

областных учреждениях уменьшалось. Либо они сами вынуждены были просить о переводе куда-нибудь в другую область, либо их откомандировывали, «по согласованию», в распоряжение министерств и главков. Освободившиеся штатные должности, естественно, занимались другими лицами, которые, учитывая печальный служебный опыт своих предшественников, не решались уже ни в чём перечить секретарю обкома Лобову, держались «ниже травы, тише воды».

Не питал Лобов тёплых чувств к подхалимам, с неприязнью и брезгливостью относился к «флюгерам», семь раз на неделе менявшим свои убеждения и «научные теории», и всё же такие люди благополучно уживались возле него и даже численно множились. Он, Лобов, сам своей нетерпимостью к инакомыслящим и развёл вокруг себя этот «холуизм», над которым потом порой издевался на заседаниях бюро или пленумах обкома.

Заведующий городским отделом коммунального хозяйства в порыве служебного усердия и угодничества заасфальтировал часть переулка, в котором занимал квартиру Лобов, — от главной улицы до секретарского особняка и чуть дальше, на несколько метров, чтобы только хватило «зису» развернуться по ровному. А ещё метров сто переулка до другой мошёной улицы так и остались без асфальта, в колдобинах. Лобов, вернувшись из отпуска и увидев перед своим домом такой совершенно «крокодильский» факт подхалимского недомыслия, возмутился, вызвал незадачливого благоустроителя города в обком, поносил его там последними словами, заставил в течение суток заасфальтировать переулок до конца, вспоминал потом этот случай на сессиях городского и областного Советов, цитировал под громовой хохот зала строки Щедрина из «Истории одного города». И всё же этот завкомхоз остался на своём месте, даже взыскания не получил. А заместитель председателя облисполкома по строительству — прекрасный работник, заботливый хозяин, которого всегда в шесть часов утра уже можно было видеть на лесах какой-нибудь стройки, заслуженный, авторитетный в народе человек, командир крупных партизанских отрядов во время Отечественной войны — однажды крепко поспорил с Лобовым по поводу генерального плана восстановления и реконструкции двух городов области, не согласился с понравившимися Лобову проектами, нашёл в них чрезмерно дорогие излишества, довёл спор до Москвы, добился пересмотра одобренных в обкоме проектов и... поплатился за это трёхмесячным отпуском и пособием на лечение, которого не просил, а затем переводом на другую работу, более лёгкую и соответствующую его слабому здоровью, — на должность директора лесопетного государственного заповедника.

Начальник метеорологической службы области Метёлкин, следуя строжайшему указанию не давать в районы прогнозы погоды, не завизированные в обкоме (чтобы «не демобилизовать» районных работников), дошёл до того, что и в обком стал приносить лишь такие прогнозы, какие желательно было иметь Лобову. Если там принималось решение об увеличении площади посевов такой-то культуры, Метёлкин давал прогноз, из которого явствовало, что погода для посева и роста этой культуры в весенние месяцы будет самая благоприятная. Если из обкома сыпались в районы телеграммы с требованием немедленно приступить к севу проса и гречихи, Метёлкин, со своей стороны, не обращая внимания на холода и даже заморозки, предсказывал резкое повышение температуры в ближайшие дни. Если в обкоме поговаривали о том, что надо бы в этом году начать уборку сахарной свёклы несколько раньше, чем начинали её обычно, — пойти заведомо на некоторое снижение урожая на первых убранных плантациях, потому что в сентябре корни ещё растут и прибавляют в весе, но застраховаться таким образом от больших потерь при затянувшейся уборке, — Метёлкин, в подтверждение необходимости таких мер, обещал раннюю и очень дождливую осень. Следовало бы решения принимать

исходя из обстановки, а тут прогнозы подгонялись под уже принятые и проектируемые решения.

Не то сам Лобов разгадал наконец «технику» составления Метёлкиным его всегда приятных начальству прогнозов, не то кто-то из сотрудников бюро погоды написал на него заявление в обком, — Лобов хохотал до упаду, окрестил Метёлкина «чемпионом области по холуизму», потешался над ним всласть, отвёл ему целых десять минут в своём отчётном докладе на партийной конференции, опять с цитатами из Щедрина и Гоголя, сделал из него посмешище на всю область. Но с работы его всё же не сняли. А начальник управления сельского хозяйства Чеканов, который не удовлетворялся ролью простого собирателя сводок для обкома, пытался разрабатывать какие-то новые вопросы организации колхозного производства и даже выступать со своими предложениями в печати, опытный агроном с двадцатипятилетним стажем, честный специалист, желанный гость в каждом районе, где люди ценили его дельные советы и уважали за смелое обращение с шаблонами; человек, который иногда отваживался и особое мнение записать на бюро обкома, — недолго продержался на своём посту. Всего лишь полгода поработал он с Лобовым. При первой же подвернувшейся возможности его откомандировали «на укрепление кадрами» в новую соседнюю область.

Умён был Лобов. Это чувствовалось и по его содержательным выступлениям на пленумах и конференциях, и по тому, как он решал вопросы на бюро, и по его пронизательному взгляду на людей. Интересно, что кадры секретарей райкомов у него были подобраны действительно по деловому принципу. Тут он не терпел краснобаев и очковтирателей, мирился даже с некоторой строптивостью и самостоятельностью районщиков. Понимал, что без хороших секретарей райкомов, талантливых организаторов на местах, область ему не поднять.

Но почему же он держал в областных аппаратах малоспособных работников? Почему не гнал подхалимов, терпел этот «холуизм» в своём окружении? Чем это объяснить?.. Подхалим противен, если смотреть на него, а если не смотреть, отвернуться и только слушать ласковое журчание его голоса — ничего, не противно, даже приятно? Умный спорщик раздражает, а подхалим как-то успокаивает нервы. А может быть, из ревности к чужому авторитету не выносил он присутствия рядом с собой людей с ясной головой и незаурядными организаторскими способностями? Или при всём том, что он работал сам энергично и даже как будто старался поднять область, где-то в глубине души у него было холодное равнодушие к делу, которым он руководил? И совершенно безразлично было ему, кто здесь останется за него, в случае если его переведут на другое место? Кто из его воспитанников будет вершить здесь дела за первого секретаря, кто за второго — это его несколько не интересовало и не заботило? «После меня — хоть волк траву ешь». Пусть хоть Метёлкина назначают заведующим сельхозотделом обкома.

Бывает и хуже, чем с Лобовым. Способный и энергичный работник, что называется, видный деятель, как бы нарочно окружает себя бездарными, бесцветными людьми в роли своих ближайших помощников. Для того, чтобы на их фоне его блистательная персона ещё ярче сияла, что ли? И держит в первых заместителях, а затем рекомендует на самостоятельный пост за себя такого человека, который заведомо провалит дело.

Мало этому деятелю, что его хвалили и величали всячески, когда он работал здесь. Хочется ему, чтобы его ещё не раз вспомнили и похвалили, когда он будет переведён в другое место: «Вот был у нас товарищ Н., золотая голова! А этот, что теперь на его месте, и подмётки его не стоит!» Для сравнения оставляет он за себя никчёмного работника. В жертву мелкому тщеславию приносятся интересы государственного дела. Но такой

«подбор» заместителей настолько уж чужд духу нашей жизни, что об этом даже как-то горько и стыдно писать.

...Вспоминается рассказ, как в некоей стране неглупые хозяева одного концерна устроили испытание директорам заводов. Все директора заводов получили одновременно отпуск, а затем, когда они вернулись, часть из них была уволена. И, как ни странно, уволили именно тех «незаменимых», без которых дела на заводе заметно пошатнулись. А те директора, длительное отсутствие которых совершенно не отразилось на работе завода (значит, подобрали хороших инженеров и приучили их к самостоятельному ведению дела), остались на своих местах, с повышенными премиальными окладами и благодарностью от компании за образцовую организацию управления производством.

Партийная работа имеет ту главную особенность, что её не назовёшь ни профессией, ни специальностью. Это выборная работа. Ведь может случиться, что районная партийная конференция и пленум райкома изберут секретарём райкома заведующего конторой «Сортсемеовош» или директора МТС, если коммунисты сочтут, что именно ему по праву, по его способностям массовика и организатора, надо бы руководить районной партийной организацией.

Партийная работа не специальность, и секретарь может не быть агрономом или инженером, но ему приходится руководить и агрономами, и инженерами, и врачами, и учителями, и литераторами, и художниками, и рабочими, и колхозниками.

И ещё особенность: партийных работников не часто премируют и награждают орденами; производственников, специалистов — чаще. Такова уж благородная задача у партийных работников: самим оставаясь как бы в тени, находить, выдвигать и поощрять таланты во всех областях нашего хозяйственного и культурного строительства, растить их, любоваться ими, открывать им широкую дорогу в жизнь и радоваться их успехам, как своим собственным.

Мне могут возразить, что не следует принижать роль партийных работников. Зачем же им, мол, «оставаться в тени»? Я говорю это в иноскаательном смысле.

Не найдётся, пожалуй, у нас в стране человека, которому неизвестно было бы имя великого лётчика Валерия Чкалова. А кто помнит имена его учителей — инструкторов, выпускавших Чкалова в первый самостоятельный полёт? Все знают замечательного советского педагога и писателя А. Макаренко. А кто знает имена его воспитателей, школьных и житейских учителей самого Макаренко? Кто знает имена учителей Паши Ангелиной, генерала Ватутина, Олега Кошевого? Не будь Дмитрий Фурманов писателем и не сделай режиссёры Васильевы по его книге кинокартину «Чапаев», мало бы кто чего знал сейчас про комиссара чапаевской дивизии. Дюканов, парторг шахты «Центральная-Ирмино», где зародилось стахановское движение, душа и организатор этого начинания, не попал даже в «Большую Советскую Энциклопедию».

Хотел бы или не хотел этого воспитатель, он всегда, в силу особенностей его великой, но скромной работы, несколько «в тени» рядом с теми, кого он выпускает в самостоятельную жизнь, на трудовые и боевые подвиги.

Через руки воспитателя пройдут сотни людей. Пусть десять из них выкажут незаурядные способности, а один станет гениальным учёным, художником, полководцем или государственным деятелем. И этот один своими подвигами «затмит» всех. Что ж, обижаться на это? Воспитатель может прославиться, лишь когда он сам в своём деле исключительный талант и к тому же способен талантливо рассказать о своей работе, написать хорошую книгу, как Макаренко или Фурманов.

Работа с кадрами, воспитание людей — главная задача партийных работников, потому что партия ведь существует и работает не ради самой себя, а ради жизни всего народа.

Строитель наслаждается видом растущих заводских корпусов, новых жилых зданий, вокзалов, театров, воздвигаемых по его проектам. Нет большей награды для хорошего агронома, как увидеть в середине лета на полях пшеницу, выросшую вровень с его плечом, с колосом крупным и тяжёлым, как виноградная кисть.

И партийный работник находит во всём этом радость и душевное удовлетворение. Но первая и наивысшая радость для него — видеть рост людей вокруг себя, расцвет человеческих талантов во всём их многообразии. И от него требуется умение так руководить этими талантами, этими людьми, чтобы каждый работал в полную силу, вдохновенно, с зорким видением наших ближних и дальних великих целей.

Вот что говорил Ленин о талантах в статье «Как организовать соревнование?»: «...о р г а н и з а т о р с к а я работа подильна и рядовому рабочему и крестьянину, обладающему грамотностью, знанием людей, практическим опытом. Таких людей в «простонародье», о котором высокомерно и пренебрежительно говорят буржуазные интеллигенты, масса. Таких талантов в рабочем классе и крестьянстве непочатый ещё родник и богатейший родник».

Ещё раньше, в 1905 году, Ленин так говорил о молодых кадрах революционеров-организаторов:

«Нужны молодые силы. Я бы советовал прямо расстреливать на месте тех, кто позволяет себе говорить, что людей нет. В России людей тьма, надо только шире и смелее, смелее и шире, еще раз шире и еще раз смелее вербовать молодежь, не боясь ее».

Хороший секретарь райкома никогда не пожалуется на помощников, на свои колхозные кадры. Тем он и хорош, что умеет находить среди малопримечательных на первый взгляд людей талантливых организаторов, вожakov, мастеров своего дела, прирождённых строителей и загружать их трудной, но интересной, ответственной работой в полную меру их сил.

Очень нужны нам металл, хлеб, уголь, машины, строительные материалы. Мы должны стать самой богатой страной в мире, и чем скорее, тем лучше. Что бы мы ни делали, всё сводится к этому — к могучему укреплению экономики нашего государства. Но решение всех хозяйственных задач — в человеке, в кадрах. Главный материал, с которым имеет дело партийный работник, — это человеческий материал. Для него это, если уж переводить на производственный язык, и материал, из которого он строит, и инструмент, которым строит. Кому что: художнику любоваться своей картиной, конструктору — своей новой машиной, а партийному работнику — людьми. И в общем, партийный работник «не в убытке». Двойная радость: и за плоды трудового творчества наших людей и за самих людей.

И тот партийный руководитель, который отдаёт всю страсть души этому делу, который любовно растит вокруг себя таланты, растит их на больших, ответственных делах, где есть простор для умной и смелой мысли, растит терпеливо, не избивая за невольные ошибки, взыскивая за них с отеческой строгой доброжелательностью, настойчиво и мудро направляя эти таланты на верный путь; который именно в этом, в лепке человеческих душ и характеров, находит своё «профессиональное» наслаждение работой, — тот руководитель сам являет собой благородный и светлый, очень нужный в нашей жизни большой талант.



К. АЛАБЯН

★

АРХИТЕКТУРА И ЖИЗНЬ

Поучительные ошибки

В конце только что минувшего года архитекторы нашей страны на своём Всесоюзном съезде говорили о вопросах, волнующих не только круг людей, причастных к строительству, но и всю нашу общественность.

Как случилось, что многие зодчие вдруг попали в число людей, о деятельности которых ныне говорят с осуждением? Каковы причины драматического конфликта — между творчеством и действительностью, — в который вдруг были вовлечены именно те, кто долгое время был на положении корифеев социалистической архитектуры?

А конфликт этот оказался очень глубоким. Стремясь прежде всего к тому, чтобы лицезреть сторона улицы выглядела импозантно, многие архитекторы воздвигали парадные кулисы, лишь прикрывавшие часто неприглядную картину неорганизованного внутреннего пространства кварталов, тесных, неблагоустроенных дворов. Они не задумывались над тем, как лучше использовать современные технические средства для ускорения строительства, — хотя это один из центральных вопросов нашей архитектуры, — не считались с затратами в украшении зданий, щедро черпая из народной казны.

Так что же это за ослепление, поразившее многих опытейших архитекторов и закрывшее от них главные нужды народа?

Попытаюсь ответить рассказом о моём друге, видном советском архитекторе, имя которого хорошо известно нашей общественности.

Едва кончилась война, он, повинувшись голосу совести и сердца, покинул Москву и уехал в один из наиболее разрушенных городов, чтобы помочь его восстановлению. Зрелище взорванного и сожжённого города потрясло его, наполнило скорбью и гневом. Ничто здесь не сохранилось. Где были улицы и площади, теперь высились завалы исковерканного металла и груды разбитого кирпича, торчали обугленные остовы зданий. Но с каждой из этих руин были связаны воспоминания о мужественной обороне осаждённого города. Каждая улица или площадь была полем величайшей битвы, закончившейся полным разгромом вражеской армии.

Архитектор с высокого холма безмолвно смотрел на разрушенный город, на эту священную землю, где были погребены тысячи героических её сынов, её защитников.

Высокие гражданские чувства волновали его. Ему чудилось: нет такого труда, нет таких затрат, какие можно было бы пожалеть ради того, чтобы возвеличить в веках подвиг этого города; нет такого слова, такого наименования для улиц и площадей города, которым можно было бы выразить всю безмерность совершённого, ратную славу сражавшихся здесь советских людей.

Напряжённо работала творческая мысль архитектора. Ему хотелось, чтобы возрождённый из руин город был столь же величественным и прекрасным, как велик и прекрасен он был в своём бессмертном подвиге. Хотелось, чтобы каждый его дом красотой и величием форм говорил потомкам о славе минувшего, был памятником героической эпохе. Так рождался в творческом воображении архитектора образ будущего города, как одного из величайших памятников наших дней.

Перед его умственным взором проходили наиболее знаменитые в развитии архитектуры эпохи, наиболее торжественные по формам, наиболее монументальные и прекрасные сооружения. И всё же он не был удовлетворён: то, что следовало создать, должно быть ещё грандиознее. Ведь грандиозное, думал он, можно выразить только в грандиозном!

Ему рисовалась площадь с могилами тех, кто пал в великой битве за город, — некий гигантский, воплощённый в камне реквием; ему виделись вознесённые ввысь здания, возвещающие своим стремительным, гордым взлётом к небу славу тому, что совершило поколение героев; самый холм, на котором он стоял, представлялся ему превращённым в небывалый памятник с десятками больших скульптур, стоящих по сторонам грандиозной лестницы, которая поведёт к самой вершине.

Волнуемый этими мыслями, он спустился с холма.

А затем пошли будни... И тогда во всей глубине своих последствий, отчётливая и резкая, словно заново, открылась перед зодчим картина происшедшего разрушения. Люди ютились в развалинах. Они где придётся наскоро сколачивали из подручных материалов жилища. Город был лишён воды, тепла и света, детских садов, магазинов, аптек. Не было улиц, не было дорог. Это было уже не некое общее и трагическое зрелище — пища для возвышенных чувств и размышлений, — это была стучавшаяся в двери городского Совета и главного архитектора города неотложная и разноликая человеческая нужда.

Сотни людей осаждали контору главного архитектора. Те, кто восстанавливал промышленность, требовали, чтобы участки для жилых домов были отведены поблизости от заводов. А так как крупных заводов здесь здесь немало и раскиданы они были по берегу реки, то получалось, что надо строить отдельные посёлки. Городские власти, исходившие из общих интересов города, справедливо указывали, что если строить на окраинах заводские посёлки (а заводы — это главные застройщики), то некому будет застраивать центр города и он на долгое время останется пустыней.

Люди, восстанавливавшие промышленность, хотели строить малоэтажные домики, так как возводить их было легче, а главное — можно было быстро сдавать их в эксплуатацию. Но если строить одно- и двухэтажные домики, то потребуется прокладывать большой протяжённости подземные сети (вода, канализация и прочее), так как застройка будет неплотной, рассредоточенной. Могло оказаться, что посёлки так и не получат во-время хорошие канализационные и другие сети. Если же запретить заводам строительство изолированных посёлков и потребовать от них возводить большие, красивые дома в центре города, это замедлит расселение промышленных кадров, и восстановление промышленности затормозится.

Городские власти требовали восстановить и использовать под жильё каждую более или менее пригодную коробку здания, ведь жилищная нужда в разрушенном городе была непомерной. Главный архитектор страшился это делать, так как восстановлением на прежнем месте разрушенных зданий навечно закреплялась старая, с его точки зрения неудачная, планировка города.

А люди всё шли и шли; их сердила медлительность главного архитектора. Одни требовали участков под больницы, другие — под универмаги

и клубы, третьи торопили с проектированием вокзала. Надо было проводить дороги и разбивать скверы, правильно организовать движение внутригородского транспорта, дать городу ещё и ещё воды, ещё и ещё тепла, ещё и ещё света, где-то размещать магазины, аптеки, спортивные площадки, киоски, гаражи. Вчера лишь возобновившаяся в городе жизнь уже бурлила, громко и настойчиво заявляла о своих нуждах. Мощными и резкими толчками она подгоняла главного архитектора, не оставляла ему времени для раздумья, требуя немедленных решений: она не хотела и не могла ждать.

Самодеятельность людей проявляла себя, как стихия. В самых различных и неожиданных местах появлялись всё новые и новые, часто самые примитивные постройки, образуя странные и хаотические скопления самодельных домиков, обраставших сараями. Бурно разлившийся поток безостановочного самодеятельного творчества масс грозил начисто смести вынашивавшийся главным архитектором план постройки величавого, изумительного по красоте города-памятника.

За всем уследить было нельзя, на всё не хватало ни времени, ни сил, ни воли. Да и как запретить лишённому крова человеку отстраивать своё примитивное жилище где-то на склоне оврага, или на пустыре, или на черте ещё не существующей улицы, которая возникнет только в будущем, если сегодня было невозможно предложить ему другое, лучшее, жилище и именно там, где в интересах города надлежало бы этому жилищу стоять? Как запретить заводам строить разрозненные посёлки малоэтажных домов, если и в самом деле легче всего выстроить именно такие посёлки!

Из тысяч сплетавшихся в гигантский запутанный клубок человеческих стремлений и реальных возможностей, жесточайшей нужды и блистательных мечтаний надо было выбрать и поддержать главное. А главное для архитектора была великая слава города, которую он хотел воспеть в торжественных формах архитектуры. И он избрал путь, который мог привести к катастрофе.

Стоит проанализировать принятое им решение и последствия этого решения, так как то, что он решил, и то, как он действовал, было типичным для решений и действий многих и многих архитекторов.

Он сосредоточил своё внимание на проектировании и строительстве так называемых уникальных сооружений, то есть наиболее значительных зданий, торжественная архитектура которых могла бы придать городу величественный вид. Этими зданиями он решил оформить целую систему площадей, которые образовали бы единый центральный ансамбль города.

Он мыслил только гигантскими масштабами. Лестница по склону холма должна была явиться крупнейшей из таких лестниц, подлинной архитектурной симфонией. Каждый жилой дом на каждой из центральных улиц должен был представлять собой неповторимый по формам памятник архитектуры. Всё в этом замысле, казалось, было проникнуто глубиной, последовательно разрабатываемой художественной идеей: грандиозная слава города воспевалась в грандиозных архитектурных формах его площадей, улиц, отдельных зданий.

Архитектор был убеждён в своей правоте. Его позиция казалась ему не только художественно плодотворной, но и глубоко идейной. Ибо разве в основании советской архитектуры не лежит глубокая идея и разве не зодчим социалистической эпохи выпал счастливый удел возвеличить эту эпоху в триумфальных архитектурных формах? Он был искренне уверен, что, воздвигая город в виде гигантского архитектурного памятника, он трудится во имя великой цели. Ради этой цели, думалось ему, можно пойти на любые жертвы, пренебречь, если придётся, функциональными

удобствами города или, во всяком случае, отложить попечение о них до того времени, когда будет воплощена главная художественная идея.

Роковая, губительная ошибка!

В самом разделении единой градостроительной задачи на самостоятельные части — художественную и утилитарную, — с предпочтением первой из них, как той, где полнее всего раскрывает себя зодчий, в самой готовности пренебречь, пусть даже временно, заботой о практических нуждах населения города ради высокой художественной идеи — во всём этом содержался глубокий порок: утилитарное и художественное, при таком подходе к архитектуре оказались в непримиримом противоречии.

Разве не в том состоит высшая идейность социалистической архитектуры, чтобы средствами строительства создавать для людей — для всех людей! — наилучшую обстановку для труда, для жизни, для отдыха?

Что означало бросить все силы, или почти все силы, на строительство грандиозных уникальных сооружений со сложной архитектурой? Это значило замедлить, а иногда и прекратить строительство жилых домов, гостиниц, детских яслей, бань, прачечных, отказаться на долгие годы от создания благоустроенных кварталов, внутри которых, в сущности, и проходит жизнь населения.

Что значит добиваться того, чтобы каждый жилой дом на каждой из главных улиц был неповторимо индивидуален по своей архитектуре? Это значит добровольно отказаться от использования мощных средств современной индустриальной техники, убыстряющих жилищное строительство, а это в строительном деле равносильно самоубийству. Ни один завод не в состоянии выполнить то и дело сменяющие друг друга заказы на изготовление сложных, индивидуально запроектированных конструкций и архитектурных деталей. Однотипность, серийность, массовость выпускаемой продукции — альфа и омега работы индустрии, в том числе и строительной.

И вот после нескольких лет проведения подобного курса, когда были возведены и грандиозная лестница, и сложный по архитектурным формам вокзал, и многие другие уникальные сооружения, выяснилось, что в центре города не было создано ни одного полностью благоустроенного квартала (здесь думали о площадях и забыли о кварталах); самые кварталы многоэтажных домов были так мелко «нарезаны», что ни в одном из них нельзя было с удобством разместить, например, детский сад. Во всём заново отстроенном центре города с трудом можно было бы сыскать один-два хороших двора.

Улицы центра застраивали индивидуально запроектированными домами с пышной архитектурой, но жилищное строительство вследствие его кустарного, антииндустриального характера проходило очень медленно и стоило чрезмерно дорого. Самые квартиры часто были неудобны. Центр города получал пышную архитектуру, но стихийное, не возглавленное архитектором строительство на многих окраинах города захлёстывало места будущих плановых строек и в ряде случаев создавало трудную обстановку для жизни многих людей.

Изжить эстетство и формализм в архитектуре было бы гораздо легче и проще, если бы в основе этих явлений всегда лежали отчётливо обнаруживаемые вредные стремления, неблагоприятные помыслы, мещанские или иные мелкие чувства. Нет, корни здесь часто лежат глубже, а мотивы поступков кажутся даже возвышенными и благородными.

Разве праздное формоискательство увлекало в рассказанном нами случае главного архитектора, когда он совершал ошибку за ошибкой и несколько лет фактически противодействовал индустриализации строительства, пренебрегал работой по созданию удобств для населения города? Нет, он сказал бы, что побуждения у него наилучшие: он ставил пе-

ред собой большие задачи, следовал в строительстве города возвышенной идейно-художественной программе. Это было бы вполне искренне и даже внешне убедительно.

И, вместе с тем, сейчас мы отчётливо видим, к каким крупным ошибкам пришёл главный архитектор города, пытаясь решить свою одностороннюю задачу.

Эти ошибки состоят не только в том, что было допущено расточительство, что там, где могли получить жилую площадь пять человек, получали только двое.

И не только в том, что, гоняясь за уникальностью зданий, архитектор объективно задержал развитие единственно верного, массового, индустриального метода строительства.

Эти ошибки состоят также и в том, что архитектор исходил из цели неверной, из побуждений, не соответствующих назначению городской архитектуры: он имел в виду возвеличить прошлое в камне, а должен был возвеличить его в счастье ныне живущих поколений. Для этого ему следовало думать больше об их удобствах, об их здоровье, об их радости. Только сочетая рациональность с задачами эстетическими, скорейшее удовлетворение насущных нужд населения с возведением монументальных общественных зданий, красоту ансамбля с индустриализацией методов строительства, сумел бы он создать город, который был бы лучшим памятником павшим.

Красота и польза

Кто хочет до конца разобраться в глубинных процессах, происходящих в нашей архитектуре, не может отвернуться от всех этих проблем. Если мы сами не проследим, что в них истинно, а что ложно, и не выясним их до конца, мы оставим их в резерве у эстетов, а сами окажемся недостаточно вооружёнными в полемике с ними.

Однажды мне пришлось быть свидетелем такого диалога. Было это год назад, в первые дни знаменитого ныне Всесоюзного совещания строителей в Кремле, положившего начало повороту в нашей архитектуре. Вот этот разговор, как он мне запомнился:

— Невесёлые пошли дела...

— А что такое?

— Разве вы ещё не поняли? Пришёл конец архитектуре.

— Вот как? Только потому, что вашу работу покритиковали?

— Э, батенька! Метили в таких, как я, а ударили по всем.

— Это неправда!

— Нет, правда. Теперь будем с вами дома-ящички строить. А я, милый мой, хотел видеть нашу социалистическую архитектуру ещё более прекрасной, чем было зодчество в самые великие его эпохи.

В разгоревшейся битве за направление нашей архитектурной практики каждая из борющихся сторон — эстеты, беспечно игравшие судьбами строительства, кидая на ветер, на архитектурные безделушки десятки миллионов рублей, и те, кто серьёзно задумывался над созданным положением дел, — вынуждена была прежде всего сразиться на почве, если можно так сказать, философских взглядов на архитектуру, на главные цели архитектурного творчества. Так изрядно был запутан в последние годы этот вопрос, что пришлось выяснять и распутывать его с самого корня. И когда разгорелась острая полемика, стало ясно, что в нашей архитектуре сложилось целое направление, сомкнувшееся с идеализмом.

Но можно ли говорить об идеализме в архитектуре? Не странное ли это допущение? Ведь само понятие архитектуры означает огромную, разностороннюю и бесконечно важную деятельность, в ходе которой люди соз-

дают такие необходимые им сооружения, как заводы, жилые дома, больницы, дома отдыха, школы, лаборатории, элеваторы, мосты, посёлки, города,— словом, всю ту необходимую организованную среду, в которой проходят трудовые и иные процессы человеческого общества. Где же тут проявиться идеализму? Можно ли допустить, что нашлись люди, которые стали отрицать необходимость этой материальной деятельности?

Нет, полезность и необходимость этой деятельности никто у нас не отрицал.

Пропагандировалось и утверждалось другое: что вся эта необходимая обществу деятельность по созданию разнообразных построек, вне которых невозможно мыслить само существование цивилизованного человечества, что эта деятельность ещё не есть архитектура, а всего лишь «строительная основа» для проявления архитектуры.

— А это что такое? — спрашиваешь человека с подобными странными взглядами, указывая ему на жилой дом или фабрику.

Он пожимает плечами и довольно здраво отвечает:

— Это дом. А это фабрика.

— Имеют они отношение к архитектуре?

— Нет.

— Так что же это такое?

— Простое строительство.

— А не сообразовали ли вы указать на сооружение, которое, по вашему мнению, является архитектурным?

Он показывает вам на какую-либо старинную церковь, или триумфальную арку, или дворец.

Вы удивляетесь:

— Почему же арка и церковь — архитектура, а фабрика — не архитектура? Потому что церковь и триумфальную арку не строят для практических нужд?

— В какой-то мере и поэтому. Когда люди строили триумфальную арку, они ставили перед собой задачи искусства, создавали какой-то архитектурный образ. В строительстве жилого дома эти задачи преследуются в меньшей степени. А прокладывая под землёй водопровод, их вовсе перед собой не ставят.

— Значит, всё различие между архитектурой и простым строительством состоит в мере проявленного искусства?

— Да.

— А жилой дом или фабрику можно сделать с искусством?

— Можно.

— И тогда это будет архитектура?

С ноткой сомнения в голосе он отвечает:

— Будет.

— Не можете ли вы указать на такой жилой дом?

Собеседник бродит с вами по улицам и наконец находит искомый дом.

— Вот этот, например.

— Его вы относите к роду архитектурных произведений?

— Да.

— По каким именно признакам?

И тут начинаются танталовы муки вашего оппонента. Он не в состоянии назвать эти признаки. Взгляд его то останавливается на эффектной карнизе дома, то блуждает по пилястрам, украшающим его стены, но он не решается сказать, что именно в них и состоят те признаки, по которым дом отнесён им к разряду архитектурных сооружений. Но от этого он не делается менее упрямым. Он лишь пожимает плечами и говорит:

— Как вы не понимаете? Тут есть образ... Тут всё дело в пропорциях, в соотношении частей, в проявленном вкусе. Конечно, всё это очень тонко, подчас неуловимо...

Но вы спрашиваете его в упор:

— А всё-таки различие сводится только к мастерству, с каким сделан фасад? Это и есть главное мерило, посредством которого вы отличаете «простой» дом от дома «архитектурного»? Главное — это фасад? Остальное — подчинённое, менее существенное?

Он гордо откидывает голову назад:

— Не ловите меня, не удастся. Надо, разумеется, разработать с искусством и внутреннее содержание дома. Но фасад... Не смейтесь! Эстетическое впечатление от здания возникнет у вас прежде всего от его внешнего вида. Это и ребёнок понимает. Когда вы ходите по чужому городу, вы можете не заглядывать в его дома, а красоту или безобразие его застройки вы всё равно отлично видите и чувствуете.

Вот это и есть взгляды эстета. Он признаёт на словах, что правильная проработка конструкции здания, его удобная планировка и прочее являются важным моментом в архитектурном творчестве, но на деле он посвящает все свои творческие силы, всю свою изобретательность и художественную выдумку внешнему украшению здания.

Он снисходительно похвалит простой по внешности дом с удобной планировкой квартир и хорошим оборудованием (и даже согласится жить в нём), но в неопишуемый восторг он придёт от мастерски выполненной внешней декорации здания, если даже квартиры в нём не очень удобны.

Эстет бежит из проектной организации, где разрабатывают проекты машиностроительных, химических и других заводов, так как считает, что здесь негде развернуться его художественному таланту, а если уж придётся ему работать в подобном проектном учреждении, он позаботится прежде всего о том, чтобы украсить завод какой-нибудь колоннадой или башней, или задумает завод в виде старинного крепостного сооружения. Именно в эстетических эмоциях, вызываемых колоннадой, башней, старинным колоритом крепостного сооружения, он и видит цель и смысл архитектурного творчества.

Эстет знает, что народ прежде всего нуждается в удобных жилых домах, в школах, больницах, детских садах и прочих зданиях массового назначения, но сам он хочет проектировать только театры или музеи с их монументальной архитектурой.

Он отлично понимает, что не изжить доставшейся нам в наследие жилищной нужды, не увеличить темпов строительства школ и больниц, детских яслей и домов отдыха, если не добиться положения, чтобы детали зданий и здания целиком производились на заводах: серийным методом, потоком, то есть в большом числе, в любом числе. Но он в душе проклинает индустриализацию строительства, в которой видит оковы и угрозу своему искусству, и благословляет кустарные методы, позволяющие ему фантазировать, как и сколько ему угодно.

Эстет сводит главные задачи архитектуры к её художественно-изобразительной стороне и оставляет в тени, как несущественное или мало существенное, всё то, что относится к материальной, функциональной стороне строительства. В этом и состоят идеалистические основы эстетства.

Эстет не понимает, что, действуя так, он неминуемо становится эпигоном. Отмахиваясь от насущных нужд сегодняшней жизни, норовя вдавить эту жизнь в формы архитектуры минувших эпох, он и эти формы калечит так, что иногда создаёт пародии на образцы архитектуры прошлого; он и развитию архитектуры мешает.

Для него существуют два рода строительства: собственно архитектура и некое грубо утилитарное «простое» строительство, к которому он и руки приложить не хочет. Но может ли быть, что правильные побуждения создать удобства для людей, побуждения целесообразности и гигие-

ничности входят в неразрешимое противоречие с побуждениями вкуса?

И не обрекают ли себя люди на творческое бесплодие, отказываясь от поисков красоты в новых формах, необходимых и соответствующих новым задачам общества — промышленным, транспортным, бытовым?

Великолепные нелепости

Дорого обошлось государству подобное направление архитектурной мысли.

При нынешней технике строительства (но при лучшей его организации) один квадратный метр жилой площади мог бы обходиться примерно в 1 200—1 500 рублей. Это с учётом хорошего оборудования квартир и полного благоустройства участка. А вот в Баку, где квартиры в новых домах ещё не отличаются высоким качеством планировки и оборудования, но где щедро применяются импозантные экзотические архитектурные формы, каждый квадратный метр жилой площади стоит 2 400 рублей. За каждую квартиру, скажем, в пятьдесят квадратных метров жилой площади государство переплачивает 50 тысяч рублей. На строительстве сравнительно небольшого дома, допустим, с пятью — десятью квартирами, народ теряет четверть миллиона рублей.

В Ленинграде при большом размахе строительства редко встретишь всесторонне благоустроенный квартал.

Каждый знает, какую сокровищницу мировой культуры представляет наш Ленинград. Но, как ни странно, в этом городе тратят на дорожное строительство и другие виды инженерного оборудования кварталов всего лишь 0,7 процента от стоимости жилищного строительства. А вот на оформление фасадов затрачивают десять, пятнадцать и даже двадцать процентов.

Соседство новых зданий Ленинграда с шедеврами архитектурного творчества таких мастеров, как Воронихин, Захаров, Росси, Камерон и многие, многие другие, выдвигает перед архитекторами сложные задачи. Но решать эти задачи нужно во всеоружии современных методов индустриального строительства. Нужно помнить, что эти методы не мешают заботе о красивой внешности здания; напротив, они помогают осуществить такую заботу.

С одним харьковским архитектором, приехавшим в Москву на Второй Всесоюзный съезд архитекторов, произошла такая история. Он и его товарищ, другой украинский делегат съезда, намеревались добраться от Покровских ворот к Никитским воротам. Для этой цели они решили воспользоваться автобусом.

Автобус вначале повёз их в район старых, оставшихся ещё от дореволюционного времени и хаотически застроенных улиц, и им стало казаться, что они вернулись на десятилетия назад. Потом вдруг они оказались перед высотным зданием на площади Восстания.

Приведём подлинные слова харьковского архитектора, сказанные им с трибуны съезда архитекторов:

— Мы подумали, что, если бы средства, вложенные в создание этого высотного здания, были в своё время направлены на реконструкцию соседних кварталов, Москва и москвичи от этого только выиграли бы. Тут я вспомнил, что в Харькове из тысячи километров улиц только четырёхста километров замощены, и меня одолели угрызения совести, потому что я в своё время был главным архитектором Харькова и не всегда правильно направлял капиталовложения. В Сталино, Запорожье и других украинских городах тоже немало улиц, лишённых благоустройства и озеленения.

Теперь нетрудно понять, почему наше общество повело такую концентрированную атаку на эстетство в архитектуре. Потому что плата за не-

го — это замедление темпов строительства, сковывание производительных сил страны, индустриальная мощь которой позволяет в довольно короткий срок наладить массовое производство всех необходимых нам зданий и сооружений;

плата за него — многие немощёные улицы или тесные, неблагоустроенные дворы, плохо организованные кварталы без хорошего озеленения, детских игровых площадок, прачечных, гаражей.

Цена эстетства — это полная оторванность многих архитекторов от строительства, на котором они только кратковременные гости; это уход многих и многих архитекторов от наиболее почётных и трудных обязанностей — от типового проектирования зданий, предприятий и сооружений.

Единственный козырь, который имеется на руках у эстетов, и тот оказывается фальшивым. Они изображают себя защитниками архитектуры как искусства. Но неудобный, неблагоустроенный город с плохо размещённой промышленностью, с улицами, запружёнными транспортом, город без достаточного количества зелени — это не произведение градостроительного искусства, даже если его дома и задрапированы колоннадами и увешаны тысячами архитектурных побрякушек. Что прекрасного создали эсты в нашей архитектуре? Ровно ничего. Их творчество оказалось насквозь подражательным, архаичным, эклектическим.

Преодолев эстетство, мы не только создаём одну из предпосылок для расцвета архитектуры как высокого искусства, но и — что ещё более важно — освобождаем себе дорогу и развязываем руки для быстрого и экономичного строительства необходимых народу зданий; центр внимания в архитектурном творчестве переносится с формы на существо, а форма от этого всегда только выигрывает.

Все мы, люди Советской страны, неисправимые реалисты и хорошо понимаем, что для расцвета архитектуры необходима соответствующая экономическая, производственная база.

Как-то — это было в первые дни начавшегося Всесоюзного совещания строителей — минских архитекторов спросили:

— А у вас как обстоят дела?

На это видный минский архитектор вполне серьёзно ответил так:

— Дела в Минске обстоят неплохо. Архитектурных излишеств у нас не так уж много, а что касается общего творческого направления в новой архитектуре Минска, то оно ясно определилось, и мы не собираемся от него отказываться. Направление это — освоение архитектуры итальянского ренессанса.

Итак, в Минске — итальянский ренессанс. А в Москве многие архитекторы решили осваивать так пазываемый стиль ампир и старорусскую архитектуру допетровской эпохи. Так иногда «складывались» у нас архитектурные вкусы.

Это было бесцельное и безвольное плавание по волнам мировой истории архитектуры. Только случайностью, господством вкусовщины можно объяснить, что корабль минских архитекторов прибило вдруг к берегу итальянского ренессанса.

Между тем в гораздо большей мере, чем минским ренессансом, каждый гражданин нашей страны и государство в целом озабочены другим вопросом: в какой срок и что именно мы можем построить? Сколько времени нам понадобится, чтобы каждого человека удовлетворить хорошей квартирой, построить столько школ, чтобы полностью упразднить двухсменные (а то и трёхсменные) занятия, хорошо замостить и озеленить самый значительный переулок в самом незначительном посёлке? Как реалисты мы понимаем, что этот колоссальной важности вопрос сначала сводится к другому: каково ныне состояние нашей строительной базы и как выглядят перспективы дальнейшего её укрепления?

Новое стучится в дверь

До войны и в первые послевоенные годы у нас было считанное число предприятий, изготовляющих так называемый сборный железобетон. Три года назад мы расценили как крупнейшее событие в строительном деле создание в Москве двух больших заводов по производству железобетонных конструкций для строительства. Теперь вся страна покрыта сетью таких заводов и полигонов. За пять лет будет построено более шестисот подобных заводов и четыреста полигонов.

Что могут дать эти заводы и полигоны, а также другие предприятия новой строительной индустрии? Всё необходимое для того, чтобы быстро собирать — из крупных элементов — любые нужные нам здания.

Кирпич хорошо нам послужил, но ему на смену пришёл крупный блок, крупная панель. И это перевернуло все обычные представления о методах строительства, о его темпах.

Понятие о строительной площадке заменяется понятием о монтажной площадке, где дом только собирают из готовых частей. Каменщик уступает место монтажнику, ручные процессы труда заменяются машинными. В этом, говоря кратко, состоит смысл совершившейся и ныне углубляющейся революции в строительстве.

Новая техника строительства накладывает свой отпечаток и на проектирование. Она является как бы регулятором архитектуры.

Если оставить проектирование в прежнем его состоянии, окажется невозможной работа заводов строительной индустрии, она будет парализована. Причин этого я вскользь уже касался. Завод не может изготовить сегодня один причудливый заказ архитектора, а завтра, получив новый, столь же причудливый заказ на иные конструкции и детали с другими размерами, — выбросить свои машины или переналадить их, изменить всю технологию производства, лишь бы удовлетворить вкусы нового проектировщика.

Для нормальной работы заводов необходимо максимальное единообразие хотя бы основных конструкций и деталей зданий. Это и вызвало взрыв отчаяния и негодования архитекторов-эстетов, преждевременно решивших, что с индустриализацией наступает смерть архитектуры как великого искусства.

Они рассматривали типизацию строительства как господство стандарта, как л и к в и д а ц и ю творчества. Первые опыты типизации как будто подтверждали это опасение.

По типовым проектам строили малоэтажные посёлки, и нередко были они однообразны и скучны. В ниточку вытягивались домики-близнецы. Один дом нельзя было отличить от другого, в трёх улочках уже можно было запутаться, так походили они друг на друга. О застройке больших городов, а тем более их главных улиц, типовыми м н о г о э т а ж н ы м и зданиями никто и подумать не смел. Такая мысль показалась бы кошмарной.

Однако партия решительно взяла курс на типизацию массового строительства, не страшась препятствий и отливо зная, что скоро от всех подобных опасений и следа не останется. Это был единственно правильный курс в строительстве, единственная возможность использовать всё нарастающую мощь строительной индустрии для коренного решения величайшей социальной задачи: в короткий исторический срок обеспечить всех трудящихся хорошим жилищем, дать детям нужное число школ, детских садов, яслей, ремесленных училищ, техникумов, больным — больницы, отдыхающим — дома отдыха.

Так зародилось принципиально новое явление в архитектуре и строительстве: серии типовых проектов — жилых домов различной этажности, школ различной вместимости и т. д. с унифицированными, то есть едино-

образными, сведёнными к каким-то единым главным измерителям, конструкциями и деталями. На базе серий таких проектов, разработанных в соответствии с основными местными, например климатическими, условиями, заводы могут выпускать для нужд строительства массовую продукцию в любом потребном числе.

Как отражается такой метод на качестве проектирования?

Типизация — наиболее верный путь к совершенству проектов.

Недостатки плохого дома, построенного по индивидуальному проекту, могут остаться незамеченными — о них будут знать только жильцы этого дома. Завтра в другом месте появится ещё один неудачный, индивидуально запроектированный дом, и это будет бедой только для небольшого числа людей. Послезавтра незадачливый архитектор может снова построить плохой дом.

Типовой проект идёт в массовое распространение. Он воспроизводится в натуре сотни, а может быть, и тысячи раз. Поэтому он должен быть изучен особенно тщательно. Он должен быть проверен на практике, подвергнут критике строителей и жителей. Плохие проекты решительно отвергаются. Но если бы даже в проект прокралась недостатка, десятки тысяч людей тотчас обнаружат их, как только дом пойдёт в серию. Типовое строительство даёт возможность массовой проверки качества проектов. Плохое, неудобное, негигиеничное в типовом строительстве не может существовать долго.

Трудно переоценить экономический эффект массового типового строительства. Среди основных показателей, которыми пользуются профессионалы-строители, когда они хотят составить объективное представление о постановке дела на стройке, есть и такой: количество трудовых затрат (человеко-дней), потребных для возведения одного кубометра здания. Так вот, на обычных наших стройках трудовые затраты на каждый кубометр здания составляют полтора-два человеко-дня. На стройках же, проводимых индустриальными методами, из индустриальных конструкций и деталей (например, на строительстве крупнопанельного дома в Ленинграде), показатель этот: 0,3 человеко-дня.

Другими словами, здесь строят в пять-шесть раз быстрее. А это громадный выигрыш во времени. Мы не говорим уже о выигрыше в стоимости, что также имеет первостепенное значение: ведь каждый сэкономленный рубль снова направляется на нужды строительства.

Удобство зданий, их гигиеничность, быстрота стройки, экономическая выгодность — таковы бесспорные достоинства типизации строительства.

А как же обстоит дело с архитектурой?

Практика показала (государство это и предвидело), что появление серий типовых проектов (над совершенствованием которых непрерывно работают наши архитекторы и инженеры) не только упростило и удешевило строительство, не только убыстрило его темпы, но и вызвало мощную новаторскую волну в архитектуре, сметающую рабское подражательство старым архитектурным стилям, архаику и эклектику.

За пять минувших лет одновременно построены в нашей стране два новых города — Ангарск и Новая Каховка, — представляющие собой во многом пример образцового градостроительства, так удобны они и привлекательны. И это оказалось возможным только потому, что и Ангарск и Новая Каховка почти целиком возведены по типовым проектам. Вместе с тем города эти имеют каждый свою архитектурную физиономию, они несколько не похожи друг на друга. Роднит их одно — высокая степень благоустройства: это города-сады, милые, уютные города.

А ведь типовые проекты, по которым строились Ангарск и Новая Каховка, были ещё далеко не совершенными, их разработали пять и больше лет назад, то есть на заре строительной революции. Каких же высот может достигнуть градостроительство в нашей стране, если будут созданы под-

лино превосходные типовые проекты! А именно на этом и сосредоточено всё внимание наших архитекторов и конструкторов.

Ныне типовое проектирование уже выходит из младенчества. Для работы над типовыми проектами привлечены лучшие силы советской архитектуры. Над каждым типом здания идёт безостановочная, упорная творческая работа. Из серии в серию (проекты эти выпускаются сериями) шлифуется, улучшается, совершенствуется каждый тип здания.

Накопленный опыт настолько богат и значителен, что оказывается возможным, начиная с 1957 года, полностью запретить строительство массовых объектов по индивидуальным проектам. Сейчас ведётся обширная работа по созданию новых, улучшенных типов жилых домов и других зданий. Она должна быть завершена к 1 сентября 1956 года.

1957 год в истории архитектуры явится годом знаменательным, рубежным. Новые поколения зодчих нашей страны о нём будут говорить: это произошло в 1957 году, когда всё массовое строительство было переведено на типовые проекты и типовое стало означать лучшее.

Квартал, в котором хорошо жить

Создать хорошие проекты жилых домов, школ, университетов — это ещё не значит создать хороший проект города.

Современный город — это и заводы, и жилые кварталы, и уют в квартире, и преодоленные болота и пески, мосты над рекой, железнодорожный узел или пристань, и неиссякаемая подземная кладовая, питающая город, и средоточие просвещения, науки и искусства, здравоохранения и торговли, нуждающихся для своей деятельности в многочисленных специальных зданиях.

Современный город — это транспортный механизм, то есть то, чего не знали ни зодчие античности, ни архитекторы Ренессанса, ни — даже! — строители прошлого века.

Не для чего перечислять сделанное советским народом в области градостроительства, нет числа здесь и меры. Одно лишь преобразование среднеазиатских городов — это величайший социальный сдвиг. Одно лишь уничтожение сословного характера расселения — это целая эпоха в мировой истории градостроительства. Объём построенного огромен. В основном, за послевоенные годы, а то и в последние пять лет полностью построены, помимо упомянутых Новой Каховки и Ангарска, ещё города Чирчик, Салават, Волжск, Альметьевск, Черниковск, Ново-Куйбышевск и многие другие. Трудом последнего десятилетия созданы такими, какими мы их ныне знаем: дотла разрушенный в войну Сталинград, Минск, Севастополь, Правобережный Магнитогорск, Караганда, Смоленск, Джезказган, Воронеж, Рустави, Сумгаит, Первоуральск и ряд других городов.

Советские строители сумели превратить тысячи «собачеевок» и «нахаловок», сотни захолустных городков, тысячи рабочих посёлков в цветущие, полные кипучей жизни индустриальные центры. Работа огромная, гуманная, прекрасная!

Но мы измеряем сделанное нашими целями. И тут надо сказать, что нам предстоит сделать больше того, что сделано, и — что особенно важно — на новых основаниях.

В последние годы в градостроительстве укоренилась определённая система планировки кварталов: дома квартала возводят обязательно по его периметру — по так называемым «красным линиям» улиц и магистралей. Возникает в силу этого замкнутый четырёхугольник домов. Причуда это или слепая привыченность к привычному приёму?

Нет, за этим приёмом стоит определённый и, казалось бы, логичный замысел: использовать каждый новый дом так, чтобы быстрее оформить

улицу, сделать её законченной. Но в подобной логике не принято во внимание главное — удобство самого квартала. В замкнутое каре домов труднее проникает свежий воздух, квартал плохо проветривается. Это первый недостаток.

Четырёхугольник, как ему и полагается, имеет четыре стороны. И ясно, что не все они будут обращены к солнцу. Расположение домов зависит здесь не от воли архитектора, а от положения квартала. Это второй недостаток периметральной застройки кварталов.

Дома квартала, расположенного непосредственно на красной линии улицы, не отгорожены от её шума, пыли и запахов. Каждый гудок автомобиля и каждый выхлоп газа проникает в дома. Это третий недостаток периметральной застройки кварталов.

Нужно ли перечислять все прочие недостатки? И названных довольно, чтобы не считать этот планировочный приём лучшим, а тем более не соглашаться с его безраздельным господством в нашей градостроительной практике. Но для этого надо расстаться с «идеей каре», как обязательной во всех случаях. А чтобы не считать каре обязательным, надо отказаться от самой мысли, что застройка фронта улиц, то есть устройство уличной декорации, — более важная задача, чем создание наполненных живительным солнечным светом, омываемых воздухом, изолированных от уличного шума кварталов.

Надо строить так (и это у нас уже начинают делать, но ещё редко, робко), чтобы в домах было много солнца и света, а где нужно — тень, чтобы была тишина в домах и во дворах, то есть ставить дома с отступом от улиц, огораживать их зеленью, обращать фронт квартир к наиболее благоприятной стороне горизонта.

Мы до последнего времени строили относительно мелкие кварталы (Сталинград, например). Но в больших кварталах трудно с удобством поставить школу или детский сад, выделить достаточное место для их агроучастков, для спортивных площадок. А ведь в квартале нужно ещё устроить сквер, сделать хозяйственный двор, гаражи, выделить место для стоянок машин, дорожек и т. д.

Необходимо выработать и сделать обязательными научно обоснованные нормы градостроительства. Иначе в одних случаях будут делать слишком большие кварталы, а это значит разбазаривать ценнейшие городские территории, беспредельно расширять город, в других же случаях поступятся интересами населения.

Таких научно обоснованных норм, охватывающих все звенья планировки и застройки квартала, мы выработать не удосужились. Эту ошибку должна быстро исправить новая Академия строительства и архитектуры СССР.

Лично я убеждён в том, что в Москве и в других крупнейших городах с высокими многоэтажными домами размеры новых кварталов не должны быть меньше сорока — пятидесяти гектаров.

Как можно больше зелени! Нужны не только внутриквартальные скверы. Должно стать правилом устройство озеленённых полос вдоль домов шириной не менее семи метров. Эти полосы деревьев, кустарников и цветов отделят, отгородят дома от внутриквартальных проездов, где должно быть место только транспорту (а не играющим детям). Организовать новые большие парки в городах нередко очень трудно. Гораздо легче насытить город зеленью, если сосредоточить внимание на посадке деревьев и кустарников внутри кварталов.

Нельзя оставлять ветхие строения в новом квартале. Они мешают благоустройству квартала, зря занимают ценную территорию.

Нужно, чтобы индустриализация строительства коснулась, наконец, и такого дела, как благоустройство территории кварталов и дворов. Наша строительная промышленность почему-то сочла возможным освободить

себя от хлопот по изготовлению мачт освещения, оград, скамеек, урн. Благоустраивая территорию квартала, строители сами делают эти предметы, но плохо и дорого. Промышленность, индустрия внесут и в это дело размах, рациональность, красоту.

Мы обязаны обеспечить кварталы наших городов необходимым комфортом — задача тем более трудная, что речь идёт не о неких выборочных местах, а о предоставлении комфорта всему населению.

До сих пор у нас строили почти исключительно многокомнатные квартиры. Действовала инерция, основанная на предрассудке. Экономисты считали, что такие квартиры самые дешёвые. Они же говорили, что многокомнатные квартиры хороши уже тем, что при нужде их можно заселять покомнатно. Архитекторов (не всех, конечно) такие разговоры вполне устраивали. Проектировать многокомнатную квартиру приятно, тем более, что это проторённая дорожка.

Но ведь во многих случаях такие квартиры заселяли несколькими семьями. И задуманная автором классическая анфилада комнат превращалась в заурядную коммунальную квартиру со всеми её неудобствами. Экономисты и архитекторы пожимали плечами: конечно, это неудобно, но что поделаешь? Экономика!

Сейчас, когда начался мощный разворот типизации (а типовое проектирование требует высочайшего мастерства, любовного внимания к каждой детали в квартире), могло ли остаться незамеченным неудобство многокомнатной квартиры, когда она заселена несколькими семьями?

Так заново возник вопрос громадного социального значения — о типе квартиры. Надо было найти выход. Когда люди настойчиво ищут, как открыть ларчик, они его непременно открывают. Тем более, что, по пословице, ларчик открывается просто.

Проектировщики решили ещё раз посмотреть: а верен ли самый тезис, что многокомнатные квартиры всегда дешевле малокомнатных (по стоимости одного квадратного метра жилой площади)? Стали проверять то, что как будто тысячу раз уже было проверено.

Точнейшие сметные расчёты показали, что привычный аргумент был несостоятельным. Сейчас разработаны многочисленные проекты удобных малометражных квартир, в которых стоимость квадратного метра жилой площади несколько не выше, чем в многокомнатных квартирах. Опыт показал, что можно строить такие квартиры, не затрачивая ни одного лишнего рубля, можно создать условия, чтобы каждая семья имела отдельную, пусть пока и небольшую, квартиру.

Одно тянет за собой другое. Малометражная квартира потому так и называется, что метров в ней немного. В однокомнатной квартире, скажем, 18—20 квадратных метров и кухня. В двухкомнатной — 25—27 метров и кухня. Небольшая площадь — это, конечно, известное неудобство. Его надо компенсировать. И вот сегодня архитектурная мысль настойчиво работает над тем, чтобы малометражная квартира была предельно удобной. Рассчитывается каждый сантиметр площади.

Возникающие здесь вопросы зачастую так малы, даже микроскопичны, что кажутся пустяками, но их такое множество, что в целом перед нами, проектировщиками, и перед индустрией стоит гигантского охвата проблема, от решения которой зависит комфорт миллионов людей.

И тут приходится первый счёт предъявить нашей промышленности строительных материалов и тем, кто должен снабжать строительство оборудованием для жилья.

Мы ещё не решили удовлетворительным образом вопрос об удалении мусора из домов. Строительство многоэтажных домов без мусоропроводов — это, разумеется, временная мера. Все пяти- и даже четырёхэтажные

дома в ближайшем будущем должны получить мусоропроводы хорошей конструкции.

Культура кухонного оборудования у нас ещё весьма примитивна. Только сейчас, если быть откровенным, мы стали всерьёз думать о таких вещах, как конструкция моек, газовых, электрических плит, холодильников, стиральных машин. В известном смысле здесь надо начинать едва ли не с самого начала, особенно если иметь в виду малометражные квартиры. Ни на час не откладывая решение этого вопроса, надо запроектировать и наладить массовое производство единого комплекса оборудования кухонь, небольшого по размерам, но предельно удобного и так продуманно размещённого в кухне, чтобы каждая вещь была буквально под рукой у хозяйки.

А встроенная мебель, которая не занимает места в квартире и так необходима! Все эти шкафчики для хозяйственного инвентаря, подвесные, антресольные и прочие — ведь об их форме, размерах и размещении мы, архитекторы, строители и работники строительной промышленности, почти что не думали.

А мебель в квартире, или отделка полов и дверей, или отделка стен комнат и стен ванной, новая, лучшая электроарматура, бесшумные насосы и вентиляторы, рамы окон с герметизирующими прокладками — их тысячи, таких предметов, ещё вчера находившихся в тени, а сегодня оказавшихся в центре нашего внимания.

Чтобы дать читателю хотя бы приближённое представление о том, что нужно и можно сделать в этом плане, я бегло коснусь только вопроса о некоторых строительных материалах.

Линолеум. Полы из него отличаются высокой прочностью. Они теплы, упруги и бесшумны при ходьбе, легко поддаются мытью и чистке. Чрезвычайно высоки их декоративные достоинства. А мы употребляем линолеум ещё очень редко, да и выпускаем, в сущности, только одноцветный линолеум коричневых оттенков и ещё линолеум с поверхностным печатным узором.

А возможности (если позаботиться о них) поистине безграничны. Можно производить цветной линолеум в широкой гамме оттенков — от тёмных до самых светлых, с мозаичным рисунком, напоминающим яркостью красок и живописностью узора мозаичные полы из керамики, мрамора или гранита. Живописные возможности здесь неисчерпаемы.

Пластмассы. Если говорить о строительстве, то использование пластических масс, допустим, для конструктивных элементов зданий объективно ещё не вышло за пределы экспериментальных исследований. Но если иметь в виду то, что уже завоевало прочное место в строительстве, — пластмассовые изделия для отделки помещений и арматуру из пластмасс, — то придётся сделать вывод, что набор таких изделий ещё весьма ограничен, однообразен.

Между тем благодаря многим ценным качествам пластических масс (механическая прочность, водостойкость, гигиеничность, антикоррозийность, красивая поверхность) из них можно изготовить самые различные и превосходные элементы отделки и оборудования помещений.

Например, шиты из многослойной фанеры, склеенной синтетическими смолами, покрытые декоративным слоем, являются прекрасным облицовочным материалом для отделки интерьера. Осветительная арматура из пластических масс (абжуры, рефлекторы) обладает целым рядом преимуществ по сравнению со стеклянной: меньшая хрупкость, малый вес, низкий коэффициент теплопроводности, высокие оптические показатели, отсутствие блёстки.

Но и область применения стекла, в свою очередь, может быть значительно расширена. В частности, из цветного непрозрачного стекла (марблит) могут быть изготовлены стеклянные плиты с богатой палитрой рас-

цветки — дешёвый и превосходный по многим качествам облицовочный материал как для наружных, так и для внутренних стен зданий (облицовка магазинов, вестибюлей жилых и общественных зданий, панели в ванных комнатах и кухнях, облицовка стен и потолков в парикмахерских и т. д.).

Мы довольно широко используем керамику в строительстве и всё же далеко ещё не исчерпали и малой доли представляющихся здесь возможностей. Достаточно сказать следующее: если бы промышленность строительных материалов позаботилась о массовом выпуске кирпичей, плиток и панелей с хорошей лицевой поверхностью (а возможности в этом отношении огромны), мы были бы избавлены в тысячах и сотнях тысяч случаев от необходимости дополнительно обрабатывать и отделывать стены зданий и освободили бы себя от расходов и мучений ежегодного ремонта фасадов.

Следует вообще сказать, что ныне приобретает особенное значение изящество (мы не боимся этого слова) поверхности стены здания, её безупречная чистота, красивая фактура. Отрешившись от ложного понижения архитектуры здания, как чего-то необычайно сложного, мудрёного и разукрашенного, выдвинув перед собой идеал и простой и более целостной формы, мы не только не сделали для себя каких-либо послаблений в заботе об эстетике архитектуры, а, наоборот, поставили перед собой более трудные и многообещающие эстетические цели.

Чем проще, чем менее замысловата архитектурная форма, тем более безупречной должна она быть.

Если стена лишена случайных неровностей, потёков, лишних и плохо сделанных швов, если благороден её материал, изящна её поверхность, красивы её пропорции, значит решена немалая часть творческого задания. Но таких «немалых» частей общей громадной задачи по строительству прекрасных городов, как видим, действительно очень много. И каждая из них требует к себе самого пристального внимания не только архитекторов, но и работников промышленности строительных материалов, работников индустрии вообще.

Когда на заре пятилеток наша страна приступала к созданию автомобильной промышленности, людям пришлось решать сразу множество вопросов — начиная от освоения новой, невиданной ранее формы поточного производства и кончая выработкой новых, неизвестных дотоле материалов. Одновременно возникали и небывалые представления о красивом, о сочетании изящества и целесообразности, о стандарте и о красоте. Сейчас опыт нашего автостроения так велик, что мы стоим в первых рядах автостроителей мира и вполне освоили новую, прогрессивную технику и новую эстетику в этом производстве. Так произошло и во многих других областях производства.

Так должно произойти и в нашем строительстве, в нашей архитектуре. Ныне мы переживаем здесь переломный, решающий этап. И недалеко от времени, когда мы поднимем нашу архитектуру на такой уровень техники и эстетики, который позволит обеспечить всех советских людей удобным и красивым жильём.



СТЕПАН ЩИПАЧЕВ

★

БЕРЕЗОВЫЙ СОК

1. Проблески памяти

К каким бы ни было детство — пусть даже тяжёлым и горьким, — это светлая и милая сердцу пора.

Человеческая память — прекрасный дар хотя бы потому, что она через всю жизнь проносит воспоминания детства.

...Смутно, словно во сне, я вижу красное вечернее небо и землю, заливаю его светом, такую же, какой представляется мне сейчас поверхность ещё не остывшей планеты. Мои ноги касаются её тепла и делают неуверенные шаги. Мать что-то говорит ободряющее и смеётся.

...Ночь. Я проснулся от сильного удара грома; в покосившихся окнах избы метались белые молнии. Я заплакал. Бабушка и мать, спавшие рядом со мной на полу и тоже разбуженные громом, успокаивали меня; бабушка приговаривала: «Не бойся, это боженька гремит, Илья-пророк на колеснице проехал по небу». От частых молний в избе было совсем светло.

Вспоминается и такое.

Мать держит меня на руках; на лавке, весёлый, шумный, сидит отец рядом с каким-то мужиком. Он просит мать, чтобы она пустила меня к нему. И вот я стою у него на коленях и трогаю широкую рыжеватую бороду. Он говорит мне что-то ласковое и весёлое. Потом смотрит на стол, ища глазами, чего бы мне дать, но, кроме бутылки с водкой, на столе ничего нет. И он, расплёскивая водку на штаны, подносит к моим губам рюмку, заставляя из неё отпить. Мать совестит его: «Зачем приучаешь ребёнка!»

Больше отца живым я не помню.

Должно быть, в том же году мать повела меня в гости к своей тётке Татьяне, жившей на самом краю деревни. Нас встретила высокая, строгая старуха в чёрной кофте. Говорила она медленно, ни разу не улыгнувшись. Мать слушала её почтительно, но, как я позже узнал, за что-то не любила. Тётка погладила меня по голове:

— Какой большой стал.

Но я заробел и уткнулся лицом в юбку матери.

— Не бойся, это же тётка Татьяна, — мягко сказала мать.

Я продолжал дичиться, но понемногу осмелел. Подошёл к подоконнику и стал разглядывать цветы в маленьком горшочке. Заметив, что тётка Татьяна на меня не смотрит, я оторвал от цветка зелёный листик и растёр его пальцами. Ноздри втягивали горьковато-терпкий запах. Потом я занялся большой синей мухой, которая громче всех жужжала и ударялась о стекло окна. А когда глядеть на муху надоело, я стал рассматривать приклеенную к стене картинку, где был нарисован какой-то человек с голубой лентой наискось через всю грудь. Тётка Татьяна подошла ко мне, ткнула в картинку тёмным старушечьим пальцем и наставительно сказала:

— Это царь, запомни.

Остался в памяти и день смерти отца.

Было мне тогда года четыре.

Рано утром в амбарчик, где я спал, вбежала наша соседка, тётка Фёкла, и жалостливым голосом стала меня будить:

— Вставай, Степанушко! Соколик ты мой, сиротинка...

Сердце у меня смутно заняло. Я почувствовал, что случилось что-то недоброе.

— Отец-то помер, — со вздохом добавила Фёкла.

Я испугался и потихоньку пошёл в избу. Несколько старух вместе с бабушкой, переговариваясь вполголоса, обмывали отца, посадив его на скамью. Так и запомнилось мне его голое могучее тело с бессильно упавшей на правое плечо головой.

Во дворе мужики ладили гроб отцу. Летнее высокое солнце стояло почти над самой головой. Пахло сосновой стружкой. Один из мужиков крикнул матери:

— Парасковья, не хватило одной доски!

Мать не знала, где взять доску. Решили вынуть половицу в сенях. Когда её вынули, входить в избу стало неудобно — надо было делать широкий шаг через прогалину, где виднелась чёрная земля.

Отец мой, по словам людей, был очень силен. Помню, рассказывали: поехал он как-то в лес по дрова; на обратном пути сани с дровами застряли в глубоком ухабе, лошадь совсем выбилась из сил; тогда отец распряг её и сам вытащил воз из ухаба. В сильном гневе у него, слышал я от матери, так вздувались жилы на шее, что отлетали пуговицы с ворота.

Умер отец оттого, что его избili мужики, жившие на другом конце деревни. Когда я немного подрос, мать рассказывала мне и об этом. Давнишнюю злобу против отца таили бойкие на язык и дружные в драках сыновья зажиточного старика Трофима, которых так и называли: трошины ребята или просто — Трошины. Было их четверо, все рослые и широкие в кости. В деревне их боялись, но верховодили всё же не они, а отец, и стерпеть этого Трошины не могли: что он был для них? Голытьба! Они по праздникам щеголяли в новых сапогах, в сатиновых рубахах, а он ходил в тех же бахилах, в каких работал, и в ситцевой красной рубахе.

Открыто напасть на отца Трошины не осмеливались — боялись его богатырской силы — и пошли на хитрость. Одному из них удалось заманить его к себе в гости, а когда он, подвыпивший, возвращался домой, его поджидали, притаившись у плетня, остальные братья с кольями и железными тростями. Набросились сзади, враспloch.

Привезли отца домой всего избитого, перемазанного кровью и землёй. «Рубаху на нём я по лоскуткам отмачивала», — рассказывала мать.

Вскоре после смерти отца бабушке пришлось пойти со мной по миру. Она сшила мне из старой пестрядинной рубахи котомку, и наутро мы вышли со двора. У соседней калитки мы увидели тётку Фёклу.

— А у меня новая котомка! — похвастался я перед ней.

Тётка Фёкла ничего не ответила, только глянула на меня и сокрушённо покачала головой.

2. Изба

Изба у нас была старая, сильно осевшая на один передний угол, и держалась больше на подпорках. Крыша на ней из полусгнивших драниц в сильный дождь вся протекала. Мы поспешно расставляли тогда на полу деревянное корыто, ведра, глиняную посуду, и вода звонко падала — капля за каплей.

Больше всего места в избе занимала печь, возле которой — поближе к шестку — стоял десятиведёрный треног. Мать по утрам брала коромысло и шла на речку: треног до краёв наполнялся свежей речной водой. Подходя к нему напиться и зачерпывая ковшом воду, я видел смутное, колеблющееся отражение своего лица.

Вдоль стен протянулись лавки; у самой двери, под рукомойником, стояла лохань, и от неё нехорошо пахло.

Но когда брат приносил в избу чинить хомут или шлею, все запахи в избе перебивал крепкий запах сыромятной кожи, дёгтя и конского пота.

В простенке между окнами, где было приклеено несколько ярких бумажек от карамелек, висело на гвозде зеркальце, но было оно тусклое, с облупившейся и поцарапанной изнанкой, и я не помню, чтобы кто-нибудь в него смотрелся: разглядеть в нём ничего нельзя было. В переднем углу, на божнице, стояли две почерневшие иконы; туда же клали поминальник — небольшую книжечку с твёрдыми корками, где были записаны имена покойных родственников. Последним стояло имя Пётр — так звали отца. В праздники бабушка брала поминальник, завёртывала в тёмный клетчатый платок и шла в церковь; там подавала его вместе с медным пятакон псаломщику для поминания.

Зимой в избе было очень холодно. Окна так замерзали, что с них на подоконники сыпался снег. Стены были ветхие, многие стёкла в окнах заменяла бумага — и тепло из избы выдувало быстро. Я и сестрёнки Антонида и Татьяна (они были постарше меня) не слезали, бывало, с печи. А когда в трескучие зауральские морозы не хватало дров, старший брат, Павел, надевал полушубок, из которого он давно вырос, запрягал в дровни Игреньку и ехал в лес рубить дрова. Из лесу он возвращался совсем замёрзший, не мог даже сам разуться; мать помогала ему стянуть с одеревеневших ног бахилы и подолгу тёрла пальцы снегом.

Спали зимой на печи и на полатах. Но доски полатей плохо держались в пазах, и почти каждую ночь кто-нибудь проваливался на пол. Даже бабушка раз упала, еле поднялась.

Спать укладывались как придётся: стелили под бока оставшийся от отца старый полушубчик, укрывались тоже или бабушкиной пальтушкой, или чем-нибудь ещё.

Радостной минутой было для нас, когда мать вытаскивала ухватом из печи тяжёлый чугунок с картошкой, сливала воду и ставила его на стол, где уже обычно стоял закипевший медный самовар. Бабушка кликала со двора Павла, и все садились за стол. Перекидывая горячие картошкины с ладони на ладонь, мы сдирали с них кожуру; душистые, густо посоленные, какими вкусными казались они! Потом пили чай. В сахарнице лежало несколько потемневших катышков сахара. Один из них я несмело брал пальцами и откусывал от него самую малость. Другой раз его брали сестрёнки или брат, мать или бабушка, отчего катышек становился ещё темнее, но, почти не уменьшаясь, снова возвращался в сахарницу.

3. Зелёная чашка

Был у нас кот Васька — белый, пушистый, с рыжим пятном на лбу. Он прибегал часто со двора с поцарапанным носом, но дома держался степенно, садился где-нибудь на лавке, зажмуривался и дремотно мурлыкал. Хозяйство своё по части мышей он вёл аккуратно: если мы иногда и видели мышь в избе, то она была уже в зубах у Васьки. Прибегая домой поздно вечером, он не мяукал у дверей в сени, а прыгал прямо на окно. В морозную ясную ночь следы его острых коготков долго горели на замёрзшем стекле.

Ваську я любил и очень к нему привык. Но однажды — это было уже летом — появился в деревне какой-то чужой человек; он ехал по улице и протяжно кричал: «Посуды, кому посуды!» — и скороговоркой добавлял: «На кошек меняю, на кошек меняю».

Телегу обступили бабы и ребятишки.

Проезжий поднял над головой большую глиняную чашку и концом кнутовища ударил её по краю — чашка тонко запела.

Я тоже стоял у телеги и смотрел, как бабы выбирали посуду и с жалостью в глазах отдавали кошек проезжему. Он тут же, на глазах у всех, давил их на шнурке и вешал вдоль грядки телеги.

Когда он собрался было ехать дальше, я увидел мать; она торопилась к телеге, крепко держа в руках Ваську. Я кинулся ей навстречу.

— Мама, не надо, не надо Ваську отдавать!

Она нахмурилась и отвернулась от меня.

— Не надо, мама! — плача, кричал я ей вслед.

К телеге больше я не подошёл, убежал в огород и долго там лежал, уткнувшись лицом в траву.

Когда пополудни мы сели обедать, на столе стояла новая зелёная чашка со щами.

4. Ребятишки

Как только солнышко начинало пригревать по-весеннему и под окнами освобождалась от снега чёрная сырая земля, удержать меня в избе было невозможно. Я выбегал за ворота, усаживался на завалинку и подставлял лицо тёплому солнцу. Земля у завалинки дымилась испариной и начинала понемногу подсыхать. Звенели первые ручьи, неся в себе навозную жижу и небесную голубизну. От воды и ветра, от снега и студёной весенней земли ноги у меня вскоре становились совершенно чёрными и покрывались сплошными кровоточащими трещинками — «цыпками». Когда мать пробовала в бане их немного отмыть, мыло так щипало, что я извивался от боли.

Утрами, когда ручьи были ещё подёрнуты тонким ледком и солнце только-только начинало пригревать, к нашей завалинке приходил парнишка, одетый в лохмотья и тоже босой; от холода у него стучали зубы, а из носа текло. Это был Санко. Он жил через одну избу от нас, и его отец, Митрий Заложнов, по прозвищу Петушонок, высокий и широченный в плечах, часто проходил мимо наших окон неторопливой, тяжёлой походкой.

Вместе с Санком мы запруживали ручьи и взапуски бегали по дороге, где ещё местами лежали потемневшие ледяные корки. Он был весёлый и бойкий парнишка, но иногда с ним делалось что-то странное. Он вдруг начинал метаться из стороны в сторону и кричать: «Ой, боюсь, ой, боюсь... собака, собака...» На губах у него показывалась пена, глаза становились безумными. Мать рассказывала мне, что его когда-то напугала собака. Я со страхом смотрел на него в эти минуты. Но он скоро приходил в себя, и мы снова как ни в чём не бывало возились у ручья или бегали по улице.

В один такой день, когда мы пускали в ручей спичечную коробку и смотрели, далеко ли она поплывёт, к нам подошёл Гришка дяди Фёдора. Он остался с нами играть, и мы с завистью поглядывали на него — он был в сапогах. Важничая перед нами, он нарочно ступал на ледяные корки и даже в неглубокие лужи.

Стали играть с нами и другие ребятишки: рыжий, словно подосиновик, Оська, Ванька Мájало, Фролка и круглолицый, быстроглазый парнишка — Серёга.

Живой и разговорчивый, Серёга понравился нам с первого раза. Отец его, Кузьма, смирный, рыжебородый мужик, любил книги. Не быва-

ло того, чтобы он поехал в Камышлов — в наш уездный город — и не купил бы какой-нибудь книжки с яркой обложкой, где нарисован трёхглавый змей или богатырь в кольчуге и железной шапке. И Серёга знал такие слова, каких мы не слыхивали: держа в руках обыкновенную палку, он говорил, что это булатный меч, если же мы шли в лес по ягоды, он рассказывал, слегка картавя, про Змея-Горыныча, и мы не без опаски после этого входили даже в реденький березнячок.

Бывали у нас и ссоры. Идя однажды в гурьбе ребятишек возле речки, мы с Серёгой о чём-то поспорили и стали друг друга толкать в грудь. Он за что-то запнулся и навзничь упал в речку. Все остолбенели. Я увидел его неподвижное лицо под светлой, быстрой водой и руки, раскинутые на песчаном дне. Мне показалось, что Серёга захлебнулся, но он вдруг вскочил на ноги, испуганный и весь мокрый вылез на берег и со слезами пустился домой. Взбежав на горку, он повернулся к нам и сердито, нараспев прокричал:

Стёпа-лёпа-лепуха,
Съел корову да быка,
Пятьдесят поросят —
Одни ножки висят.

После этого несколько дней мы не играли вместе.

Водился с нами и рослый парнишка Тимка. Был он постарше других, помышлённее и командовал нами. Любили мы играть больше «в войну». Хотя в игре Тимка всегда заставлял нас быть японцами и больно колотил палкой, мы терпели и тянулись к нему: ведь он умел стрелять из настоящего ружья и отец часто брал его с собой на охоту. Только вот ходить к Тимке домой мы побаивались: его отец, прозванный за балагурство Балаем, слыл в деревне колдуном. О нём говорили, что если он рассердится на какого-нибудь парня, то может присушить его к самой некрасивой, рябой девке.

Первый раз мы осмелились зайти к Тимке, когда узнали, что Балай уехал в Камышлов. Не без робости мы входили в избу колдуна. Первое, что мы увидели в сенях, были лыжи, короткие, но очень широкие, а рядом с ними что-то железное, с двумя дужками и кругом. Серёга объяснил, что это капкан. На тонкой жёрдочке, почти у самого потолка, висели свежие веники, пахнувшие берёзовым листом, на полке лежали пучки душистых сухих трав.

Когда мы вошли в избу, Тимка сидел на табуретке и перепиливал рашпилем ржавый прут. На широкой лавке перед ним лежало множество всяких железок, под ногами валялась проволока. Нашему приходу он обрадовался, сразу же стал показывать самодельную пушку. В деревянный брусок с закруглёнными рёбрами он вделал большой дверной ключ и просверлил на нём еле заметную дырочку, куда перед выстрелом клалось несколько крупинок пороху для запала; под деревянный брусок были приделаны колёсики, и пушка могла двигаться. Тимка живо слязил на печь, где хранились у отца порох и дробь, и зарядил пушку. Он чиркнул спичкой — и мы замерли. Хлопнул выстрел, из ствола вырвался язычок пламени, и пушка откатилась назад; в избе запахло порохом. Тимка с сияющим лицом подбежал к стене и показал застрявшую дробинку. Мы смотрели на него с удивлением и восторгом.

Когда мы немного освоились, Тимка решил подивить нас ещё: он снял со стены отцовское ружьё и каждому дал подержать его в руках, рассказал, как оно заряжается и какая на какого зверя нужна дробь.

— Ежидь на волка, — важно пояснял Тимка, — забивай в ствол самую крупную дробь: мелкая запутается в шерсти и даже шкуру не пробьёт.

Он рассказал, как зимой ходили они с отцом ставить петли на зайцев и капканы на волков.

— Волка перехитрить трудно: ежели он учует человечесий дух, где поставлен капкан, ни за что туда не пойдёт. Нужно, чтобы там пахло волком. Вот тятка и сообразил — найдёт в лесу снег, где волк мочился, да и натрёт этим снегом дужки; волк почует, что там своими пахнет, сунется, а его и прихлопнет капканом.

С этого дня мы часто стали приходиться к Тимке. Да и отец его оказался совсем не страшным, а таким же, как Тимка, выдумщиком и говорунном. В глазах его всегда светилось лукавство и озорство. Недаром пришло к нему это весёлое прозвище: Балай!

5. Гора Воссиянская

Деревня наша — Щипачи — была большая, дворов на триста, и по течению речки делилась на Верх и Низ, а люди в деревне — на верхохон и низовцев; была ещё Зарека, где стояло десятка три изб, в том числе и наша. Жителей Зареки прозывали зарешатами. Верхохонские ребята даже дразнили нас: «Зарешата бешены, по поскотине развешаны».

Ни один праздник в нашей деревне не проходил без драк. Дрались то верхохоны с низовцами, то зарешата с кем-нибудь из них. Даже некоторые мои дружки-сверстники, собираясь на ту сторону реки, клали в карман фунтовые гири.

Чаще всего дрались верхохонские мужики с нашим соседом, Митрием Заложным, силачом, красавцем и гулякой, который мог из озорства подлезть под брюхо смирной лошади и поднять её на себе. Хотя верхохон было много, им редко удавалось прогнать Митрия с луга, где по большим праздникам собиралась вся деревня. Мне запомнилось, как во время одной драки, отогнанный к мосту, он стоял и размахивал железной тростью — высокий, кудрявый, в белой вышитой рубахе, залитой кровью.

Часто дрались наши мужики и с волкóвцами.

До села Волкова от Щипачей не больше версты, но оно казалось тогда чужим и далёким. Не один мужик в престольные праздники возвращался из Волкова с проломленной головой или порезанный ножами. То же самое случалось и с волкóвцами в Щипачах. Это мешало мужикам решать самые простые споры.

Понадобилось как-то между Волковым и Щипачами перегородить поскотину — луг, куда выгоняли скот. Мужики обеих деревень много раз сходились, чтобы решить, кому откуда и докуда ставить изгородь, но всякий раз переговоры кончались одним: хватали друг друга за бороды и пускали в ход кулаки, а то и топорами рубились. Так ни на чём и не сошлись. В результате на поскотине появилось две изгороди; одну поставили волковские мужики, другую — вдоль неё — щипачёвские. Обе они протянулись версты на четыре, и земля между ними шириной в несколько сажений считалась ничьей.

Когда мы с братом по дороге в Волково подъезжали к этим изгородям, я соскакивал с телеги и открывал сперва наши ворота, потом, пропустив телегу, бежал открывать другие — волкóвские. Будто мы въезжали в другое государство.

Через нашу деревню протекают две речки: Калиновка и Поднёвка. Калиновка была речка-труженица. День и ночь вертела она тяжёлые жернова на деревенских мельницах.

Была мельница и в Щипачах; около неё, покрытой мучной пылью, всегда стояли возы с мешками зерна и толпились мужики. Тянула она к себе и нас, ребятешек, особенно когда мололи сушёную черёмуху или

солод. Стоило только мельнику зазеваться, как мы подбегали к ларю, в который сыпалась из деревянного рукава струйка сладкой, душистой муки, подставляли под неё ладони и набивали рты.

С хлопаньем и шумом ворочалось большое водяное колесо, старая мельница скрипела и стонала. Мы любили смотреть, как вода падала на деревянные лопасти и потом кипела и пенилась внизу, под колесом; часто удили рыбу, сидя на берёзовых комлях у сонной заводи под плотиной, где пахло мокрым деревом, тиной и просто речной водой. Но больше всего любили мы слушать, усевшись где-нибудь между возами, как Балай, тимкин отец, рассказывал собравшимся мужикам об утопленниках и о русалке, которая живёт на мельнице под водяным колесом и в лунные ночи выходит во всём белом из клокочущей пены...

Балая охотно слушали не только ребяташки, но и взрослые парни и мужики. Но по тем словечкам, какие они вставляли порой в его рассказы, я угадывал, что они не особенно верили ему, хотя, когда Балай умолкал, многие из них и сами рассказывали такое же страшное: либо про огненного змея, который прилетает ночами во двор к лавочнику Ивану Прокопьевичу, либо про чёрную свинью, которую будто бы выдали на улице даже зимой в морозные ночи, и будто это вовсе не свинья, а обернувшаяся свиной бабка Марьяниха, что жила на краю деревни.

С этих бесед мужики нередко расходились, когда становилось совсем темно.

Другая речка, Полднёвка, мельче Калиновки, и мельниц на ней не было; она славилась другим — вкусом воды; во всей деревне воду для самовара носили только с Полднёвки.

Резвая и звонкая, бежала она к деревне с полдневной стороны, поблёскивая в молодом березняке и кустарниках, кидалась из стороны в сторону, петляла, словно боялась, что кто-то может её поймать и она не добежит до Калиновки, не встретится с ней в нашей деревне. Из берегов и со дна Полднёвки, покрытого чистым песком и мелкой галькой, били ключи, и вода в ней была холоднее и прозрачнее, чем в Калиновке.

Каким бы незаметным и маленьким ни был ручёк, пробившийся в эту речку из берега, нам он был известен. Труднее было увидеть донный ключ, скрытый течением. Но мы находили и такие. На мелких местах они пробивались чуть заметным живым бугорком воды, поднимающим песчинки и пузырьки, и мы замечали их сразу, а где поглубже, угадывали на ощупь: когда, бывало, набредёшь на такой ключ, сразу ломит ноги от его студёной воды.

Летними утрами, собираясь на поле, брат шёл к Полднёвке с деревянным лагуном, наполнял его чистой водой и затыкал берёзовой втулкой. В жаркие страдные дни вода в лагуне, отдававшая лёгким привкусом берёзы, казалась особенно вкусной.

На берегу Полднёвки мы частенько заставляли дедушку Алексея — высокого, никогда не горбившегося старика. Было ему лет восемьдесят, а пару на полке, какой он любил, не выдерживали и крепкие бородатые сыновья его — Фёдор и Василий; не хватало у них духу и выскочить вместе с ним голышом из бани, чтобы броситься в снег. Прозвали деда Алёшей Голеньким за то, что он никогда не носил шапки, даже в мороз, и лысына его блестела, как месяц.

Покуривая коротенькую трубку, он подолгу сидел на брёвнышке у своей бани, смотрел на быструю речку и о чём-то думал. Один раз мы с Гришкой, его внуком, подошли к нему, но заробели: вдруг заругается? Но он не заругался, а усадил нас рядом с собой.

— Бежит речка, моет камешки. Каждую песчинку на дне видать, — задумчиво проговорил он, глядя на речку. — С братцем Савелием, царство ему небесное, с твоим дедушкой, — кивнул он мне, — маленькими-то без штанов тут всё обегали, каждый ключик знали не хуже вас, постре-

лов... Сколько годов с тех пор пролетело, а речка бежит себе... И тыща годов пройдёт — будет бежать да крутые бережки подмывать. Силу-то ей мать сыра-земля даёт, из самой глуби студёные ключи высылает. Вот я и прихожу сюда, люблююся ею, тут и смёртушки не так боязно...

Бани, топившиеся по-чёрному, стояли у самой воды, у каждой семьи своя. Поодаль от бань, вдоль берега, окнами на речку, стояли избы. Тут была и наша изба. Из её окон виднелась за речкой поскотина с плешинами солонцов, с одинокой берёзкой на бугорке, с далёкой, еле заметной изгородью, откуда начинался Чорданский лес.

Над лесом белела голая вершина горы. Когда с той стороны надвигалась тёмная туча, белую вершину часто освещали молнии. Может, поэтому и называли гору Воссиянской.

В Чорданский лес мы ходили собирать землянику. Один раз взобрались и на гору Воссиянскую. Тесной кучкой стояли мы на её вершине, держа в руках чашки, полные земляники. Края неба вдруг далеко отступили, и взгляд сразу охватил все окрестные поля с пёстрыми узкими полосками, зелёные леса и перелески, перегороженные поскотины, ближние и дальние деревни: Володино и Волково с их белыми церквями, Чорданцы, Бобры, Горушки, Щипачи... А дальше уже не видно было ни изгородей, ни меж — всё сливалось в синеватом просторе, подёрнутом дымкой.

Впервые перед нами так широко раздвинулся мир...

6. Берёзовый сок

Жить без отца стало трудно.

Своего хлеба не хватало и до середины зимы. Бабушка давно ушла в Камышлов и жила в няньках у одного купца, сестрёнок тоже отдали в чужие люди.

Мать часто говорила с братом о каких-то пахотных: «надо съездить к пахотному», «попросить у пахотного». После я узнал, что пахотными называли богатых мужиков, откупавших на несколько лет наделы у тех, кто не в силах был их засеять.

Пахотных у нас было двое: один — в селе Филатове, другой — в Травяном. Филатовский пахотный один раз приезжал к нам домой. Разговаривал он приветливо, мать называл уважительно — Парасковьей Ивановной, брата — Пашунькой. Когда мать попросила у него полтора пуда муки, он закивал головой:

— Хорошо, хорошо, Парасковья Ивановна! Но ты уж не откажись потом за это сжать две десятинки пшеницы на Серебряной Елани.

Голос у него был тихий, борода жиденькая.

Всей семьёй потом отработывали мы за эти полтора пуда муки в самые горячие страдные дни, когда свой хлеб осыпался несжатый.

После отца Павел остался четырнадцати лет. Но помниться мне стал уже совсем большим, когда он частенько стучался головой о брус пола-тей, под который свободно, не пригибаясь, проходили бабушка и мать.

Стал он в семье большаком, и тяжёлая мужицкая работа вся легла на его плечи: если не надо было ехать на поле, он убирал навоз в пригоне у Игреньки, поправлял плетень или чинил телегу. Когда мать кликала его поесть, он входил в избу и протягивал под рукомойник руки, чёрные и потрескавшиеся, словно корка ржаного хлеба.

В праздничные дни брат надевал широкие плисовые шаровары, сапоги с голенищами в гармошку, картуз и шёл к чьей-нибудь завалинке, где собирались девки и парни.

Умел он и постоять за себя. Понадобилось ему в одно воскресенье поехать за чем-то на поле; взял он и меня с собой. Навстречу нам по деревне шёл со своими дружками пьяный Сёмка, забяйка и буян, недавно

чуть не зарубивший топором своего отца. С Павлом Сёмка давно враждовал, и, завидев нас, он вывернул из плетня кол и пошёл нам навстречу. — Держись, Стёпша, покрепче, — спокойно сказал мне Павел и встал на телеге во весь рост.

Он гикнул, со всей силой стегнул Игреньку вожжами, и в ушах у меня зашвистело; Игренька весь вытянулся, прижал уши и нёсся во весь дух прямо на Сёмку. Тот шархнул в сторону.

Когда мы проскочили мимо пьяных и Игренька побежал тише, брат снова сел на край телеги и стал сворачивать цыгарку.

Не то во вторую, не то в третью весну после смерти отца брат первый раз взял меня в дальнюю поездку, куда-то к селу Травянному, о котором я до того и не слыхал, рубить для пахотного дрова. Дорога ещё не совсем просохла, и ехали мы очень долго. Когда в Травянном, во дворе у пахотного, я соскочил с телеги, то чуть не упал — так отерпли ноги.

Мы вошли в избу. Она была большая, из толстых брёвен, и всё в ней было крепкое.

Сперва пахотный долго разъяснял Павлу, как лучше проехать к делянке, где надо было рубить дрова, потом нас посадили чай пить. После длинной дороги я сразу устал на свежие пшеничные калачи, но брать раньше других не решался. Павел посмотрел на меня, взял калач, разломил его пополам, а половину ещё пополам и положил по большому куску себе и мне.

— Ешь смелее, у них хлеба много, — тихо сказал он.

У самовара сидела горбатая старуха и строго поглядывала то на нас, то на калачи.

В лес приехали к вечеру. Отыскали стог сена, где пахотный велел остановиться, и Павел распряг Игреньку. От зари в берёзовой чаще разлился красноватый свет. Павел сделал в стогу большую нору, и, когда стемнело, мы залезли туда спать. Уснул я не сразу. В голове мелькали страшные мысли: вдруг придут волки и съедят Игреньку. Но я вспомнил, что у брата лежит в головах топор, и успокоился.

Когда я утром проснулся, Павла рядом со мной не оказалось. Игреньки тоже не видно было. За лесом опять краснела заря, только теперь с другой стороны. Я понимал, что брат никуда далёко уехать не мог, но всё же мне стало немножко страшно.

— Павел! Павел! — кричал я.

— А-ве... А-ве... — отзывалось где-то далеко, и снова всё затихало.

— А-уу!.. — послышалось совсем близко, за берёзовым леском. Это откликнулся брат; он водил поить Игреньку.

Привязав Игреньку к телеге, Павел достал из мешка каравай хлеба, отрезал два больших ломтя, густо их посолил и один подал мне.

Когда поели, отправились на делянку. По дороге туда брат сказал, что на делянке будем пить сладкую воду. Я допытывался: «Какую-такую?», но он отвечал одно: «Узнаешь».

Скоро мы подошли к высокой берёзе, и брат легонько надсек её топором. По коре побежала светлая струйка. Потом он чуть пониже сделал на берёзе глубокий выруб, и в нём быстро стал накапливаться прозрачный берёзовый сок. Брат сломил тоненькую прошлогоднюю дудку и дал её мне. Я прильнул к дереву, касаясь лбом коры, и стал тянуть сок через дудку. Когда я со свистом втянул в дудку последнюю каплю и поднялся с коленок, брат улыбался.

— Вот она какая, сладкая-то вода! Понравилась? — Я закивал головой. — Ну, раз понравилась, тогда тут и сиди, сладкая вода скоро опять набегит.

Он снял сермягу и бросил её к берёзе.

— На голую землю не садись, простынешь. Зимой она намёрзлась, вот сейчас холод из неё наружу и выходит. Сиди на сермяге.

Стук топора гўлко разнёся по всему лесу. Шумно упала первая берёза, за ней вторая, третья... Работал Павел быстро. Рубаха на нём скоро стала прилипать к спине. Когда солнце поднялось над лесом, на поляне уже белела большая груда нарубленных дров, прошлогоднюю траву покрыли свежие, душистые щепки.

Я подтаскивал из лесу срубленные берёзы, какие полегче, и брат подбадривал меня:

— Молодец, Стёпша! Работай! Подрастёшь — сапоги куплю.

Работу кончили на другой день, в обед. На полянке выросла большая поленница.

7. В гостях у бабушки

После поездки в лес я ещё чаще стал бывать у Тимки. Он сделал мне из ключа ружьё и тайком от отца дал немного пороху. Матери я не сказал об этом, но утаить от неё ничего не удалось. Не раз, входя с улицы в избу и заставая меня одного дома, она подозрительно втягивала ноздри — воздух и тревожно спрашивала:

— Опять стрелял? Спалишь ты избу с этой стрельбой. Сколько раз я тебе говорила, чтобы ты не воделся с Тимкой!

Я опускал глаза и молчал.

Мать отругала бы меня, конечно, как следует, если бы повнимательнее посмотрела на лубочную картинку, приклеенную к стене, пониже полатей, которую мы недавно купили у книгоноши за три копейки: она была пробита в нескольких местах дробинками.

Называлась картинка «Суд сатаны»: на ней изображён был окружённый краснорожими рогатыми чертями сатана. Он был такой же страшный, как остальные черти, только толще. Перед ними стоял худой и перепуганный бес, которого судили за то, что он не сумел ввести в грех мужика. Бес, объясняя подпись, украл на поле у мужика краюшку хлеба, рассчитывая, что мужик, обнаружив пропажу, выругается и тем согрешит. А мужик, не найдя в мешке краюшки, хотел было помянуть чёрта, но удержался, только в затылке почесал — и этим подвёл беса под суд.

Когда я оставался в избе один, я сразу открывал по чертям огонь. Целился всегда меж рогов сатаны, но ружьё моё было с норовом, и круглые, еле заметные дырочки рассеивались по всей картинке.

Один раз я возвращался от Тимки поздно вечером и боялся, что мать будет ругать, но она в этот вечер была особенно доброй и ещё у порога ласково встретила меня словами:

— Баушка прислала весточку, зовёт тебя на неделку к себе, стосковалась, говорит; собирайся, завтра дядя Василий в Камышлов едет и тебя возьмёт.

Я обрадовался, бабушку я любил и скучал по ней.

Когда тётка Фёкла, жена дяди Василия, на рассвете постучала к нам в окно, я уже не спал; Павел тоже поднялся. Мать пекла мне в дорогу оладьи. Скоро мы все вошли во двор к дяде Василию, где стояла запряжённая в телегу Гнедуха. Он положил на телегу сена, накрыл его рогожей и сверху усадил меня; сам примостился сбоку, свесив ноги.

Дорога от самой деревни шла в гору, и как дядя Василий ни чмокал губами, как ни погонял Гнедуху, она еле плелась. Только к восходу солнца доехали мы до нашего поля под колками; за ним свернули на большую дорогу, и Гнедуха побежала живее; по сторонам некоторое время тянулся березняк, потом мы выехали на высокое открытое поле; кругом стало видно далеко-далеко; так же, как с горы Воссиянской, открылось много неба.

— Вот она, Серебряная-то Елань, — проговорил дядя Василий, — красивее местности на земле, видать, нету. Солдат Ефим сказывал: японец

очень зарится на неё. Хочу, говорит, попить чаю на Серебряной Елани... Чего захотел, нехристь! Тьфу! — Дядя Василий плюнул и стегнул Гнедуху.

Дорога пошла немного вниз, и мы поехали ещё быстрее. Скоро по левую сторону, под крутым берегом, блеснула река; я привстал на колени.

— Пышма виднеется, — пояснил дядя Василий. — Да ты сиди спокойно, не егози, сейчас подъедем к ней близко.

Но дорога ещё долго виляла между берёзовыми и сосновыми перелесками, прежде чем мы въехали на мост. У меня захватило дух, когда я глянул вниз на широкую реку. Она блестела и ходила кругами под высоким мостом. Какими маленькими показались мне тогда Калиновка и Полднёвка!

За мостом потянулось длинное село, а за ним на высокой горе виднелась белая церковь.

— Скоро приедем, — утешил меня дядя Василий. — Видишь на горе церковь-то? Там вот и есть Камышлов.

У самой горы дядя Василий слез с телеги — пожалел Гнедуху; я прыгнул за ним.

На горе сразу начался город. Мы снова сели, и Гнедуха затрусилась рысью.

— Посиди спокойно, провертишь телегу-то насквозь, — ворчал дядя Василий.

Но сидеть спокойно я не мог. На всё надо было посмотреть.

Дома в городе были большие, больше, чем у попа в Володине, а возле самых домов по обе сторсны улицы тянулись дорожки из досок, и люди шли по ним, как по полу в избе, только каблуками постукивали.

Возле одного большого каменного дома я увидел много ребятишек, были поменьше и побольше, но одёжа на всех была одинаковая — с серебряными пуговками. Один парнишка, маленький и веснушчатый, подбежал к телеге, уставился на меня и показал язык.

Телега скоро остановилась у ворот с каменными столбами.

— Вот и приехали; тут и живёт твоя баушка, — слезая с телеги, сказал дядя Василий и пошёл к воротам.

Бабушка выбежала ко мне запыхавшаяся, радостная.

— Приехал... Степанушка, вот обрадовал.. Спасибо тебе, Василий Алексеевич, что привёз парнишку. — Она обхватила мою голову и прижала к себе.

Когда мы с бабушкой вошли в дом, я увидел большую гладкую печь. Рядом с печью висела занавеска. Бабушка отдернула её и сказала:

— Вот тут мы с тобой и будем жить...

За занавеской ничего не было, стоял только большой сундук. На полу у занавески я увидел мячик и взял его в руки. Дома у нас мячик тоже был, но его сшили сестрёнки из тряпиц, и он совсем не прыгал, а этот сразу и не поймаешь!

Я стал им играть. Но вдруг дверь отпахнулась, и в кухню вбежала маленькая девчонка, чистенькая, с рыженькими завитушками на голове, глянула на меня, на мячик и закричала:

— Это мой! Отдай!

Я отдал ей мячик, и она убежала на улицу.

— Это Лизочка, дочка хозяйская, — объяснила смущённая бабушка и вздохнула, — всегда поперекивает. Этих мячиков-то у неё каких только нету!..

Бабушка прошла возле печи и посмотрела в окно.

— В тарантас садятся, уезжают куда-то.

Я подбежал к бабушке — посмотреть, какой бывает тарантас. Колёса у него были большие, а внутри, бабушка сказала, всё мягкое.

Когда хозяева уехали, бабушка повела меня покататься на карусели.

Недалеко от церкви, за деревянными лавками, я скоро увидел что-то большое и круглое и сразу догадался, что это и есть карусель. Она вся сверкала и звенела: кружились лошадки, играла музыка, толпился народ.

Скоро я сидел верхом на лошадке, зануздав её крепкой верёвочкой, которую дала бабушка. Снова заиграла музыка, и лошадки медленно двинулись. Бабушка смотрела на меня и улыбалась... Скоро она осталась где-то позади, и я видел только чужих людей; потом снова увидел бабушку, а потом... в глазах запестрело, замелькало, и всё пошло колесом. Но я не ухватился за шею лошадки, как некоторые мальчишки, а сидел крепко и даже чуть откинулся назад, как, бывало, на Игреньке.

На обратной дороге с бабушкой поздоровался маленький веснушчатый парнишка с серебряными пуговками, и я сразу его узнал: это был тот самый, который показал мне язык.

Когда он прошёл, бабушка пояснила:

— Это Коля. С Лизочкой во дворе часто играет, в гимназию бегать стал.

Вечером хозяин сказал бабушке:

— Пусть мальчонка хоть гусей стережёт, всё же у дела будет.

На другой день с самого раннего утра я выгнал гусей на лужайку и следил, чтобы они не подходили к воротам, куда по утрам въезжало много мужиков с хлебом.

Гуси ходили лениво, вперевалку, щипали на лужайке траву и хвосты моей боялись. Но их мучил один горбоносый гусь: загопочет, загопочет вдруг и манит всех гусей к воротам. Начнёшь отгонять — шипит и норовит ущипнуть клювом.

И в первый же день случилась беда.

В доме напротив поставили на окно граммофон. Бабушка мне уже показывала граммофон в хозяйских комнатах, но его тогда не заводили.

Я не отрывал от окна глаз, ждал, когда заиграет граммофон. Там кто-то смеялся, высывались весёлые лица, а граммофон почему-то молчал. Но вот к нему подошла девушка, что-то покрутила, и из трубы рявкнуло:

Барыня угорела,
Много сахару поела.
Барыня, барыня...

Но песенку мне дослушать не пришлось. У ворот послышалась грубая брань. Я оглянулся и увидел в воротах хозяйский тарантас.

— Куда смотришь, каналья! Ворон ловишь! — кричал на меня хозяин. А кучер держал в руках помятого горбоносого гуся.

— Ну, не дурак ли гусь, просунул шею между спицами! — возмущался кучер.

Стеречь гусей я больше не стал.

— Хочу домой, — сказал я бабушке, когда мы зашли с ней к себе за занавеску, и заплакал.

8. Один на один

Привёз меня из Камышлова, от бабушки, серёгин отец, Кузьма. Слезая у своих ворот с телеги, он сказал:

— Купил новую книжку. Про Илью Муромца. Прибегай завтра — покажу.

Но смотреть новую книжку у дяди Кузьмы на другой день мне не пришлось. Всю Зареку взбудоражило одно событие — драка между Митрием Заложновым и Митрием Степановичем.

Митрий Степанович, по прозвищу Мосёнок, жил на самом краю Зареки. Он был невысокого роста, но коренастый и широкий в плечах. В молодости часто боролся на лугу, и в деревне не помнили, кто бы его

осилил хоть раз. Говорили, что он клал под стельку сапога змеиное жало, потому и побарывал всех. На деревенских сходках Митрий вперёд не лез, всегда стоял сзади, среди бедняков, но не молчал и за непокорство старосте и уряднику сиживал не раз в каталажке. Людьми он казался немножко странным, с причудами. Его юродивая дочь Настя, толстогубая и слюнявая, с детских лет не слезала с печи, и он говаривал, будто она знает какое-то божье слово и если это слово скажет, посеет пшеницу хоть на печи, она и там взойдёт.

Всего дочерей у него было пять; старшая из них, Аниска, сильная и работающая девка, нравилась Павлу. Об этом знала вся Зарека.

Единственному сыну его, Лаврухе, шёл восемнадцатый год, но силы и смелости отцовской у него не было, да и хворал всё время.

Большая семья Митрия жила в тесной старой избе. Но если ночь застигала в нашей деревне чужого прохожего человека, он смело шёл в крайнюю избу в Зареке. Дорогу к ней знали многие в округе.

Я часто заставал у Митрия или седенького богомольного странника, или оборванного бродягу, боящегося попасть на глаза уряднику, или несколько семей черномазых и шумных цыган. Всех он принимал радушно и делился последним куском. Хорошо чувствовали себя у него и голуби. В деревне редко у кого они жили, а у него на чердаке избы гудело от них, и воздух над избой свистел от их крыльев.

Правду людям Митрий говорил в глаза, в драках ни от кого не бегал, и волос у него на голове было вырвано немало. С одним только Митрием Заложновым старался он не связываться. В большие праздники, когда Заложнов пьяный ходил по деревне и размахивал железной тростью, полерёк дороги ему никто не становился. Боялись его в деревне все. Его жена, Ефросинья и та никому, кроме попа, не смела жаловаться на беспутного мужа, даже когда он отбил у одного мужика бабу и привёл её в свою избу, где жила и она, Ефросинья, с ребятишками. Хвастливые мужики за глаза похвалялись унять Петушонка, но при нём были смиреннее овечек. Даже задиристые и сильные верхохонские мужики только артелью в несколько человек осмеливались затевать с ним драку.

Было воскресенье.

У завалинки одной избы собралось много народу. Были тут и парни, и мужики, и острые на язык бабы. Цветистым кустиком, немного в стороне, стояли девки, смеялись и поглядывали на парней. Вертелись тут и мы, ребятишки.

В новой сатиновой рубаше, без картуза, сидел в середине на брёвнышке Митрий Заложнов; на коленке у него тряслась и пела тальянка. Она казалась маленькой и хрупкой в его тяжёлых руках, которыми он ещё вчера у казённого амбара, играючи, подбрасывал двухпудовые гири. Рядом с ним сидел Сёмка с бутылкой в руках. Сёмка поднёс Митрию полстакана водки, и тот выпил. Тут подошёл Лавруха. Митрий поднялся и мутными глазами упёрся в него. Парень побледнел.

— Тебе чего тут надо, Мосёнок? Прочь отсюда, выродок! — и Митрий пинком сбил его с ног.

— Идол окаянный, — зашептала рядом тётка Фёкла. — Что ему парень худого сделал? Хворого бьёт...

— Отца его не любит, — тоже шёпотом ответила ей другая баба.

Лавруха поднялся, искоса глянул на девок и молча поплёлся домой. Отойдя немного, закашлялся и ухватился за грудь.

Снова переливисто заиграла тальянка. Бойкая вдова Аграфена что-то рассказывала бабам, и они хохотали. Сёмка, пошатываясь, наливал в стакан водку. О Лаврухе словно и забыли. Некоторые мужики стали уже расходиться. Но кто-то из ребятишек закричал: «Митрий Мосёнок идёт!»

Тальянка сразу замолкла, и все повернулись в ту сторону, откуда шёл Митрий Степанович. Когда он подошёл поближе, мы разглядели: на

правой руке у него был намотан крепкий сыромятный ремешок, на котором висела стальная наковаленка фунта в полтора весом, на каких в сенокос отбивают литовки.

Митрий Заложнов поднялся, поставил гармошку на брёвнышко и пошёл ему навстречу. Походка у него была тяжёлая, открытая курчавая голова упрямо наклонена вперёд, огромные кулаки крепко сжаты.

— Убирайся отсюда! — крикнул он Митрию Степановичу, и шея у него стала красной. — Убирайся, тебе говорят, Мосёнок!..

Но Митрий Степанович быком надвигался на него, держа на весу ремешок с наковаленкой.

— За что парня бьёшь?! — глухо сказал он. — Бей меня, а парня не трожь!..

— Ты что? — выдохнул Митрий Заложнов и рывком бросился на него.

Но рука с наковаленкой мелькнула в воздухе, и по лицу Митрия Заложнова, заливая правый глаз, потекла густая красная струя. Вцепившись друг в друга, они тяжело топтались на пыльной дороге. Затаив дыхание, все следили за каждым их движением, а сынишка Заложнова — Сэнко — бегал вокруг них и, как безумный, повторял: «Ой, тятюку окрованили, ой, тятюку окрованили!» Долго топтались они в пыли, стараясь повалить один другого, но никто одолеть не мог. Вдруг все охнули. Из соседнего двора выскочил на улицу Сёмка с железными вилами в руках и побежал к дерущимся. «Ой, заколет он сейчас Митрия Степановича!» — закричали сзади меня бабы. Но в это время, неожиданно для всех, сорвался с места Фёдор — самый смирный в деревне парень, от которого никто и грубого слова не слышал, отломил от изгороди конец жерди и побежал на Сёмку с такой решительностью, что тот, увидев его, сразу повернул назад. Все облегчённо вздохнули.

Дерущиеся, тяжело дыша, продолжали топтаться на середине улицы. У одного рубаха задралась вверх и оголяла половину спины, у другого — намочила кровью. Но, видно, оба поняли, что ни тот, ни другой одолеть не сможет, разжали руки и с бранью разошлись.

Взбудораженная Зарека до вечера не могла успокоиться.

Придя домой, я долго сидел у себя на завалинке, смотрел на поскотину с чёрными солонцами, и на сердце было очень тоскливо... А ночью мне приснился Сёмка с железными вилами. Только бежал он не на Митрия Степановича, а на меня. Я закричал, но своего голоса почему-то не слышал.

9. Учусь грамоте

Лето подходило к концу.

В один тёплый день мы с Серёгой бегали по берегу Полднёвки. Он похвастался, что знает все буквы. Я ещё не знал ни одной, хотя был на год с лишним старше его. Чтобы не унизиться перед Серёгой, я наугад начертил палкой на речном песке непонятную загогулину.

— Какая это буква? — спросил я Серёгу, с намерением поставить его в тупик. Но, к моему удивлению, он спокойно сказал: «У». Я изумился: оказалось, и взаправду я написал настоящую букву.

Скоро я узнал от Серёги ещё несколько букв, а недели через две мать мне сказала:

— Записала тебя в школу. Хватит бегать зря. Восьмой год пошёл.

Я сначала обрадовался, а потом приуныл. Говорили, что учительница в школе больно бьёт линейкой по голове.

Мать подняла крышку старого почерневшего сундука и достала холщовую сумку.

— Это тебе, для книжек. Ещё весной пошила, только до поры не показывала.

Она ласково заглянула мне в глаза.

Мать любила меня. Но нежности своей словно стыдилась. Я не помню, чтобы она когда-нибудь поцеловала меня или погладила по голове; и этот раз она не обняла меня, не приласкала, но от её доброго и заботливого взгляда стало легко и радостно на сердце.

Наступила осень.

В деревне закончилась молотьба, и на гумнах выросли высокие ометы свежей, золотистой соломы.

Рано утром, когда в холодном воздухе летали снежинки, я первый раз побежал в школу. На правом боку у меня висела ученическая сумка. Она была ещё пустая.

Учиться отдали в Зареке только двоих мальчишек: меня и Гришку. Остальных моих ровесников родители в школу не записали, говорили: «Сохе грамота не польза». Давно была пора учиться Тимке, но его тоже не отдали.

Когда я подошёл к школе, все ученики уже давно собрались у крыльца. Но в школу сторож нас не впускал, велел ждать учительницу на улице. Старшеклассники галдели, толкали друг друга, выбегали на середину улицы — посмотреть, не идёт ли учительница. Мы, новички, держались потише, робели. Третьеклассник Савка нас пугал:

— Учительница-то строгая. Чуть что — без обеда оставит, а то и линейкой по башке стукнет.

Услышав снова упоминание о линейке, как о чём-то страшном, я совсем притих. Вдруг послышались крики:

— Идёт! Идёт!

Все сбежались поближе к двери. По улице шла высокая девушка, одетая по-городскому. Подойдя к нам, она поздоровалась. Мы вразнобой ответили:

— Здравствуйте, Валентина Павловна!

Сторож открыл двери, и мы шумно хлынули в школу. Учительница рассадил нас за парты: в одной половине — старшеклассников, в другой — нас, новичков. За всеми партами сидели только мальчишки. Девчонок не было ни одной.

Учительница сняла с головы косынку и белую шапочку, поверх которой была повязана эта косынка, села за столик и стала выкликать наши фамилии: «Озорнин, Заложнов, Савелков, Щипачёв, Усольцев...» В ответ звонко летело: «Я... Я...»

Школа в Щипачах была срублена из брёвен и мало чем отличалась от обыкновенной большой избы. В ней была всего одна комната, разделённая широкой аркой на две половины. Но стояла школа на самом высоком месте, и в ней всегда было много света, даже в пасмурные дни. Бледноватое зауральское небо стояло у самых её окон, из которых открывался вид на поскотину и окрестные леса.

Закончив выкликать фамилии, учительница открыла шкаф и стала выкладывать на стол книги и тетради. На столе выросли две высокие стопки. Вскоре у каждого из нас похрустывал в руках новенький, ещё не разрезанный букварь. Чистые, разлинованные в клеточку страницы тетрадей слепили белизной.

— Книгу берегите, не пачкайте, — предупредила учительница.

Она достала из маленькой сумочки белый платок, посморкалась и сунула его обратно в сумочку. Гришка мне зашептал:

— Сопли-то в платочек да ещё в сумочку!

В деревне никто в платок не сморкался. Если иной парень и носил в кармане подаренный девкой платок, то только для того, чтобы при случае похвастаться.

К тому времени, когда выпал снег и началась зима, мы уже знали много букв. Каждую новую букву учительница сперва сама писала на

классной доске. Её рука с кусочком мелу быстро мелькала, мел постукивал и немножко крошился. На доске появлялись две буквы: заглавная и простая, такие же, как в букваре, только больше.

Один раз, написав на доске буквы, учительница взяла из шкафа какую-то длинную, узенькую дощечку и, что-то поясняя, стала тыкать ею в буквы, написанные на доске. Я спросил у Гришки: «Что это у неё в руке?» — «Линейка», — ответил он, пожав плечами. Я удивился. Линейку я представлял себе чем-то вроде деревянного тесака, сделанного нарочно, чтобы стучать ребят по голове.

Учительница у нас была строгая, но линейкой по голове никого не била. Единственный раз только, рассказывали ребята, прошлой зимой, стукнула Савку за то, что он вымазал себе руки сажей и на уроке ухватил одного парнишку за лицо.

Складывать из букв слова мы ещё не умели. И на одном уроке учительница достала из шкафа картонные буквы, рассыпала их на столе и стала по очереди заставлять ребят складывать из них слова. Но слова не складывались. Ребята, смущённые, один за другим садились на место.

Я не знаю, как это получилось, но, когда я положил две буквы рядом, сначала «м», а потом «а», с губ как бы само сорвалось: «Ма». Две буквы слились в один звук. К этим буквам я прибавил ещё две такие же и раздельно прочитал: «Ма-ма». От радости у меня, должно быть, блестели глаза. «Ма-ма», — повторил я ещё несколько раз и уже совершенно легко стал складывать другие слова... Я научился читать.

10. Свадьба

В середине зимы, вскоре после крещенья, в нашей семье произошло большое событие: женился брат.

Однажды, когда мы сидели с матерью на печи — сумерничали, он вошёл в избу растревоженный и сказал матери:

— Аниску просватали за Фильку Тимина.

Он впервые при матери грубо выругался и заходил по избе. Половицы под ним скрипели и прогибались. Мать слезла с печи и стала его распрашивать.

— Помолвили. За столом сидят. Аниска ревёт: не хочу, говорит, за Фильку, а Митрия-то Степановича, видно, сваха уговорила — согласилась... Не бывать этому! — топнув ногой, выкрикнул брат и вышел из избы.

Мать накинула на плечи шубейку и выбежала за ним.

Никогда ещё так долго не приходилось мне сидеть вечером одному. Давно выучил уроки, переиграл во все игры, в какие мог играть один, но ни брат, ни мать домой не приходили. Только уже совсем поздно, когда стали слипаться глаза и я собрался было ложиться спать, к воротам кто-то подъехал; послышались голоса, заскрипел под ногами снег... Дверь в избу отпахнулась, и я увидел на пороге Аниску в одном ситцевом платье, румяную от мороза. За ней с тулупом в руках входил брат. В сенях слышались ещё чьи-то шаги. За братом входили в избу мать и Мишка Косой, недавно женившийся парень.

Остолбнев от удивления, я стоял у тренога и смотрел то на брата, то на Аниску.

— Спасибо тебе, Михаил Григорьевич, за всё спасибо! — заговорил брат, возвращая Мишке его тулуп.

— За что спасибо-то? Тулуп для того и справлен, чтобы девок воровать, — смеялся Мишка. — Прощевайте, поеду, а то увидят моего Серка у ваших ворот и сразу смекнут, кто подсоблял тебе... Не заморозил деву-ку-то по дороге? — добавил он.

Брат улыбался. От радости он не находил слов и снова благодарил:

— Спасибо, спасибо, Михаил Григорьевич!

Мишка Косой был старше брата всего года на три, и называли они друг друга только по имени. Сегодня впервые брат величал его по отчеству.

Когда Мишка уехал, мать засуетилась у самовара. Брат и Аниска сели в уголок и тихо о чём-то говорили. Я улавливал только отдельные слова:

— Тятя-то упрямый... Вдруг не согласится... — приглушённо говорила Аниска.

Брат хмурил брови. Я присел к уголку стола и с восхищением глядел на брата.

«Увёз просватанную девку. Вот здорово!» — думал я, совершенно расхотев спать.

Мать поставила на стол закипевший самовар, и мы сели пить чай. Аниску мать посадила рядом с собой, а брат сел на своё постоянное место, на котором когда-то сидел отец.

Мать не успела ещё налить чашки, как в сенях кто-то застучал ногами, сбивая с пимов снег. Мы уставились на дверь. Неторопливо, с осторожной оглядкой, в избу вошёл Митрий Степанович, отец Аниски.

— Так и знал, так и знал, — начал он своим быстрым говорком. — Кроме Пашки, некому было девку увезти. Так и знал...

В старом, дырявом полушубке, широкий, с округлыми плечами, стоял он на середине избы. Мы замерли, ожидая, что будет дальше. Аниска сидела красная, опустив глаза. Павел тоже боялся взглянуть на Митрия.

— Ну что ж, благословляю вас, детки, — неожиданно весело сказал Митрий и вынул из-за пазухи бутылку водки. Он был уже под хмельком.

Аниска вышла из-за стола и повалилась в ноги отцу.

— Спасибо, тятенька, что не прогневался... Прости меня, безрассудную...

Она хотела что-то сказать ещё, но не смогла — заплакала.

Мать встала из-за стола, ласково подняла Аниску и с поклоном пригласила Митрия к столу. Павел тоже поднялся и кланялся гостю.

Присев на табуретку, Митрий покрутил бутылкой у себя перед носом и со всей силы ударил доньшком о ладонь. Пробка вылетела в потолок. Мать заторопилась расставлять на столе рюмки — счастливая, помолодевшая.

К свадьбе готовились целую неделю.

Надо было напечь и наварить угощения, купить вина, а тут ещё жениха и невесту не в чем было везти к венцу. Требовались деньги, а взять их было негде. Пришлось занять у пахотных под отработку и продать пшеницу, которую берегли на семена.

В день свадьбы с самого утра в избу набилось много народу. Бабы поголосистее проходили вперёд. Началось причитание. Резкий голос худой высокой бабы Василисы царапнул по сердцу, будто кто-то провёл гвоздём по железу. Голоса других баб вырвались почти сразу же, сливаясь в один пронзительный и тоскливый вой:

Увезут-то тебя в чужую сторонущку,
Да ко чужому-то свёкру-батюшке,
Да ко чужой-то свекрови-матушке...

Жила Аниска тут же, в Зареке, и ни в какую «чужую сторонущку» её увозить не собирались, но она редела в голос.

К полудню стали собираться родственники.

Первыми пришли чернобородые мужики, дядя Василий и дядя Фёдор, крёстный Павла, за ними — двоюродные братья матери: Иван Петрович, напоминавший мне горбоносым лицом одного воина на иконе в церкви, и Андрей Егорович, прозванный Кобылёнком, у которого нос тоже был

с горбинкой, только по нему наискосок проходил рубец — след старой драки. Иван был мужик спокойный, рассудительный, Андрея же знали все как насмешника и песельника. Говорили даже, будто на одних похоронах, сидя на телеге с гробом, он запел: «По Дону гуляет казак молодой».

Протискалась в передний угол и сваха Василиса Егоровна — сестра Андрея, такая же, как и брат, бойкая на язык.

Последним пришёл Балай. Его пригласили на свадьбу дружкой, чтобы кто-нибудь не напустил порчи на жениха или невесту. В деревне так много говорили о колдовских заговорах, что мать не решилась справлять свадьбу без Балая. Бабка Марьяниха при мне рассказывала матери, как на одной свадьбе жених сидел-сидел рядом с невестой, да как заблеет по-козлиному... А Балай-то не был приглашён. Пришлось жениховым родителям в ножки ему кланяться, чтобы снял это наваждение с парня.

Когда Балай прошёл в передний угол, мать ему первому поднесла рюмку водки. Его широкое рябое лицо расплылось в улыбке.

В церковь поехали на пяти кошёвках. Под крашеными дугами брякали бубенцы и колокольчики, сбруя блестела медными начищенными блёстками.

Когда кошёвки скрылись из виду, собравшиеся поглазеть на свадьбу стали расходиться. Церкви в нашей деревне не было, и венчать поехали за четыре версты, в село Володино. Все знали, что молодых привезут из-под венца только к вечеру.

Изба сразу опустела. Дома остались только мать и бабушка, приехавшая из Камышлова помочь матери на время свадьбы, да тётка Фёкла. Они хлопотали около пышущей жаром печи, сажали в неё на железных листах сладкие пироги; слышался стук ножа и чугунного пестика в железной ступке. Готовились к вечернему свадебному пиру.

Я вертелся тут же. От соблазнительных лакомств мне нет-нет да и перепадало что-нибудь: то сладкая вода, слитая с вымытого изюма, то косточки урюка, которые я тут же разбивал молотком, чтобы вынуть ядрышки.

Радовался я, должно быть, больше всех. И чужой-то свадьбы я не пропускал ни одной: вместе с другими ребятами толкался там и глазел на всё, а тут — свадьба у нас, в нашей избе! Я чувствовал себя героем. Мне казалось, что все ребята в Зареке с завистью поглядывают на меня и между собой говорят: «Стёпкин брат женится!»

Перед вечером в избу и во двор снова набилось много народу — ждали молодых из-под венца. Мы с Серёгой и Гришкой не раз выбегали на дорогу, к берегу Полднёвки, посмотреть, не покажется ли на спуске к мосту свадьба. Но там было пусто. Только уже в сумерках, выбежав снова на дорогу, мы слышали звон бубенцов и колокольчиков.

— Едут! Едут! — закричали мы и со всех ног кинулись к избе.

Скоро все пять кошёвок — одна за другой — подкатили к воротам. От взмыленных лошадей валил пар.

Дядя Фёдор — посажёный отец жениха — соскочил с облучка и вошёл во двор.

Мать к этому времени нарядилась: надела кубовый в красный цветочек сарафан и высоко, под самой грудью, подпоясалась малиновым гарусным поясом. Была она ещё статная, красивая.

Когда дядя Фёдор подошёл к порогу сеней и, повернувшись лицом к воротам, постелил перед собой потник, мать с иконой в руках вышла из избы и стала рядом с ним. Молодые — сначала Павел, потом Аниска — пали перед ними на колени, прося благословения.

Когда гости сели за стол, сваха подошла к Аниске, расплела её толстую русую девичью косу на две тоненькие, обмотала их вокруг её

головой и повязала Аниску платком уже по-бабьи: затянув узелок не под подбородком, а на затылке. Потом поднесла молодым зеркало и заставила их посмотреться.

В эту минуту от порога и с полатей, куда успели забраться некоторые мужики и парни, начали орать самые срамные слова про жениха и невесту. Лицо у Аниски стало пунцовым, она не знала, куда глаза девать. Павел нахмурился, тоже покраснев от стыда, но сделать ничего не мог. Был такой безжалостный обычай. Не орали только на свадьбах у богатеев. Там боялись.

Но и у нас крикуны тоже скоро приутихли.

«Андрюшка Кобылёнок выпимши, ну его — связываться», — слышались приглушённые слова у двери.

Андрей действительно был навеселе и сам по-озорному поглядывал на крикунов, а кое-кого из них и подымал на смех...

Свадебное веселье продолжалось за полночь...

11. Сноха

Зима подходила к концу.

Учительница на уроках стала чаще на нас покрикивать, а кое-кого и дёргать за ухо. Да и не удивительно. Как тут не напугать чего-нибудь в решении задачки или не сделать кляксу, выводя аккуратные буквы в линованной чистой тетрадке, когда на дворе так ярко светит мартовское солнце. Чёрная парта у окна, за которой я сидел, к середине дня становилась такой тёплой, что мы с Гришкой после игры в снежки грели на ней руки.

Брат с матерью опять стали поговаривать о пахотных. Надвигалась весна, а сеять было нечего: пшеница, которую берегли на семена, была продана, чтобы справить свадьбу, а овса и вовсе не оставляли, рассчитывали весной у кого-нибудь прикупить. На еду хлеба тоже не было. Сидели на одной картошке.

Мать стала спрашивать у зажиточных мужиков, не нужен ли кому в борноволоки парнишка. С одним низовским мужиком она совсем было договорилась, но, когда через несколько дней пошла к нему попросить задаток, он сказал: «Стёпка твой, говорят, боронить не умеет. Я взял другого парнишку». Мать вернулась домой с пустыми руками.

Брат за меня обиделся, низовского мужика обругал, а меня, притихшего и смущённого, утешил: «Ничего, Стёпша, не пропадём!»

Перед самой весной брат съездил в Травяное к пахотному. Овса и пшеницы на семена он привёз, но пахотного обзывал лиходеем и кулаком. «За три мешка зерна весь наш покос отхапал», — возмутился он.

Но брат особенно не унывал. «Ничего, заживём... Только бы посеять десятинки две... На Кудельку сходим. Вдвоём-то чего-нибудь подзаработаем», — шептал он, бывало, ночью Аниске, когда с полатей доносились лёгкое похрапыванье матери. Под лавкой, около двери, лежали его большие бахилы, измазанные грязью и навозом. После свадьбы брат и вовсе почувствовал себя хозяином в доме.

Сильная и работающая, Аниска тоже сразу взяла на себя немалую часть женской работы в доме: носила на коромысле из проруби полные вёдра воды, задавала корму Бурёнке, вместе с матерью перед праздниками мыла и скоблила ножом скрипучие половицы в избе. В отцовской семье у Аниски, кроме неё, ещё были четыре девки — не очень-то разойдётся. Теперь ей, должно быть, не терпелось стать самостоятельной бабой; на мать она начала поглядывать косо: видно, про себя решила, что свекровь ей не указчица.

Я к Аниске вначале привязался; когда прибежал из школы, больше всего вертелся около неё. Но скоро она стала показывать характер.

Началось это с ватрушек.

Стоял у нас в амбарчике сундучок, и в нём лежали две ватрушки, оставшиеся от свадьбы. Я понимал, что они сберегаются для гостей и что трогать их нельзя. Но как-то раз, когда мать послала меня за чем-то в амбарчик, я не удержался и от одной немножечко отщипнул. Ватрушка оказалась такой вкусной, что я не утерпел — отщипнул ещё малость. На другой день я опять открыл сундучок. «Только вот эту завитушечку сверху отломлю и больше не буду», — думал я, но рука тянулась второй и третий раз...

Прошло, наверно, недели две. Ни мать, ни Аниска о ватрушках не поминали, и я уже думал: «Может, позабыли?»

Но за несколько дней до пасхи Аниска позвала меня в амбарчик, открыла пустой сундучок и строго спросила:

— Это кто взял?

Я молчал и смотрел в пол.

— Молчишь, бесстыжая харя?.. Не швыркой соплями-то, не прикидывайся ягнёночком!

Я понимал, что отругать меня следовало, но слова Аниски были такие обидные, что я еле сдерживал слёзы.

На следующий день она отругала меня опять за то, что я выломал у гребешка несколько зубьев; у него и так уже двух или трёх зубьев не хватало, а после того, как я провёл по ним пальцем, слушая их певучее потрескивание, прогалызинка стала шире.

— Пять копеек гребень-то стоит! Так не напасёшься на тебя пятаков-то! — кричала Аниска.

Стала она грубить и матери. Когда мать о чём-нибудь её спрашивала или просила подать какую-нибудь вещь, она дерзко отвечала: «Не знаю!», «Сама возьми!»

Между ними начали вспыхивать ссоры. Чаще всего это происходило по утрам, когда топилась печь и они стряпали.

Брат эти размолвки переживал тяжело, но не вмешивался в них. Если перебранка затевалась при нём, он пытался перевести её на шутку: «Ну, началась обедня», — говорил он, или: «Поехали за орехами». Но шутки не действовали. Тогда он мрачнел и уходил из избы.

Мне от этих ссор становилось тоже тоскливо. Я незаметно залезал на полаты и оттуда с жалостью поглядывал на мать.

12. Артель

Подходила пора сеять.

Я не помню, как это получилось, но сеять начали мы сообща с дядей Василием и с дядей Фёдором. У них тоже было по одной лошади. Уговорила их на это, кажется, мать.

Семена у каждого были свои, земля тоже оставалась у каждого своя, но пахать и боронить договорились вместе, артелью.

В нашей деревне трёх лошадей ни у кого не было, даже у самых зажиточных. Не было ни у кого в семье и столько мужиков. Когда мы выехали в поле, дядя Василий рассудительно сказал:

— На трёх-то лошадях работать можно: вспахать за день десятинку, а то и полторы ничего не стоит... Отсеемся рано.

Пахать вначале решили на двух лошадях. Коренником поставили Карька дяди Фёдора, а в пристяжки — Гнедуху дяди Василия. На Игреньке мы с Гришкой боронили смежный пар, где дядя Василий неторопливо ходил с лукошком и бросал семена.

Боронить мы с Гришкой условились по очереди. Пока тень от берёзы, где стояли наши телеги, не дойдёт до куста смородины у межи, боронит

он, а после — я. Но я всё равно не сидел без дела — ходил по пашне и тяжёлой палкой разбивал комья.

Пахал дядя Фёдор. Чернобородый, худой, в пестрядинной рубахе без пояса, он спокойно ходил за рогулем сабана, покрикивал на лошадей, а заленившуюся, случалось, и кнутом огревал.

Только пахать ему на двух лошадях довелось недолго: артель в первый же день поломалась.

Глянув на межу, отделявшую пашню дяди Василия от нашей, я увидел у куста смородины тётку Фёклу. Она стояла и пристально смотрела на дядю Фёдора, поджидая, когда он подъедет поближе.

— Своего, своего стегай! Что Гнедуху-то одну понужаешь? — на всё поле закричала Фёкла. — На чужой лошади пахать хочешь, а своя на-легке пускай ходит?!

Дядя Фёдор остановил лошадей, плюнул и прямо в борозде стал отпрягать своего Карька.

К нему подошли дядя Василий и Павел, сидевший до того у телеги в ожидании своей очереди стать за сабан.

— Ну её к домовому!.. Будем сеять врозь! — сказал с досадой дядя Фёдор.

— Цыц, чёртова баба! — прикрикнул на жену дядя Василий.

Но она не унималась.

Мы с Гришкой прибежали на крик.

— Поехали, Гришуха, домой, — махнул рукой дядя Фёдор. — А ты, Пашунька, не сердись, — ласково сказал он Павлу. — Вишь, как получается. Какая же тут артельная работа?

И, ведя в поводу Карька, он пошёл к своей телеге. Гришка, жалобно глянув на меня, поплёлся за отцом.

— Что ж, двое — не артель, — со вздохом сказал дядя Василий, отстёгивая постромки на Гнедухе, — будем сеять врозь.

Сабан, с полуотваленным пластом у сошника, остался в борозде. Мы перепрягли в него Игреньку, и Павел взялся за рогуль...

Домой возвращались мы поздно вечером. Тоскливо и одиноко звенел колокольчик на шее у Игреньки.

13. Громовая стрела

Когда я вспоминаю Игреньку, мне непременно видится и поскотина.

В летние дни, когда в поле не было работы, на поскотине паслось много лошадей: были там гнедые и буланные, карие и воронье; находили мы и белых, когда надо было надёргать из хвоста волосу на лески. Игрених тоже попадалось несколько, но нашего Игреньку я отличал сразу по белой лысинке на лбу и по тому, как он прижимал уши, завидев меня с уздечкой на плече. Тонкий и певучий звук колокольчика у него на шее я тоже угадывал сразу, хотя колокольчиков и ботал на поскотине брякало много множество.

Найти Игреньку было легко, но поймать трудно. Подпустив меня совсем близко, он лихо повёртывался ко мне задом, взбрыкивал — и убегал. Даже корочку хлеба брал с ладони боязливо, готовый мгновенно отпрянуть. Надо было успеть в это время схватить его за гриву — тогда он давал и уздечку надеть. Запрягать его тоже, бывало, намаешься: он нарочно так задирает голову, что я никак не мог дотянуться до неё хомутом; пробовал с телеги — тогда он пятаился, и я вместе с хомутом валился наземь. Глотая слёзы и ругаясь, я топтался около его морды до тех пор, пока опять-таки не выручала корочка хлеба.

О том, как появился у нас Игренька, я узнал от матери: отец выменял его на курицу у одного низовского мужика ещё двухдневным жеребёночком. Родился Игренька будто бы очень слабым, и кобыла почему-то не

стала подпускать его к соску. Хозяин, видимо, решил, что жеребёнок всё равно пропадёт, а курица как-никак в хозяйстве пригодится. Принёс отец жеребёночка домой на руках, стал выпаивать из соски молоком и не дал ему сгинуть. А года через три из него получился славный конёк, хотя и небольшого роста.

Брат любил Игреньку за резвость. Бывало, гикнет, покрутит в воздухе вожжами и — только пыль из-под колёс! Взбудораженный быстрой ездой, брат, бывало, выкрикивал: «Молодец, Игренька! Похороню за ухватку!»

Это значило, что, когда Игренька состарится и не сможет работать, мы не продадим его татарину на мясо или живодёру, как водилось у нас в деревне, а будем кормить до самой смерти.

Перед страдой вернулась в деревню Татьяна. Она жила в Каменке у попа в услужении и в деревне не была больше года. В первый же день она собрала девчонок, и мы все вместе пошли в лес по костянику. Ещё по дороге туда ей не терпелось научиться у меня громко свистеть, но свист у неё еле цедился сквозь белые зубы.

Тоненькая, белолицая, чисто одетая, она мало походила на своих подружек, да и многие слова выговаривала не по-деревенски: не «глико», а «гляди», не «лопоть», а «оде́жа», не «робить», а «работать».

Всю дорогу она смеялась и прыгала, а когда шли из лесу, рассказывала о Каменском заводе, где льют для царя пушки. Девчонки поглядывали на неё с завистью, особенно на кофточку с рюшками на рукавах. Таких рюшек ни у кого в деревне не было. Мне тоже рюшки очень понравились, и, когда мы вернулись из лесу, я стал просить у матери сшить мне рубаху с такими же рюшками на рукавах. Мать сперва засмеялась, а потом строго сказала: «Ты что, хочешь, чтобы ребята тебя девчонкой звали? Рюшки только девчонки носят». Пришлось о рюшках забыть.

Наступили страдные дни.

Пахотный через людей передал брату, что за Гарашками поспела пшеница и чтобы он ехал жать. Не убран был ещё и свой хлеб, но пошла пора отработывать за долги.

Рано утром Павел запряг Игреньку в телегу. Пахло дёгтем, сухой землёй и полынью, которая густо росла у самой избы. Ехать надо было вёрст за двадцать, и Павел подгонял всё аккуратно, чтобы не натёрло Игреньке спину или плечо.

Мы с матерью оставались дома — дожинать у володинской дороги пшеницу и овёс в колках. С Павлом ехали Анисья и Татьяна.

Брат ещё раз посмотрел на телегу — всё ли положено — и тронул Игреньку вожжами. Татьяна сидела на телеге рядом с Анисьей, болтала голыми ногами и выколупывала из подсолнуха семечки...

Когда солнце поднялось повыше, мы с матерью пошли жать. В поле там и сям пестрели платки и рубахи, длинными рядами стояли золотистые суслоны.

Положив у тенистой берёзы узелок, в котором было два куска хлеба и туесок с квасом, мы взялись за серпы. Скоро на колючем жнивье появилось два снопа: тяжёлый и тугой, завязанный матерью, и мой — полегче и послабее.

Становилось всё жарче.

По дороге кто-то проехал на телеге, и сухую пыль отнесло на наше поле. Немного перестоявшаяся пшеница клонилась колосьями к земле, и жали мы осторожно, чтобы не осыпалось зерно. Солома похрустывала под серпами, и снопов позади всё прибавлялось.

Ближе к полудню от жары трудно стало дышать. Утирая ладонью лицо, мать присела на сноп и расстегнула кофту.

— Уморился, поди, отдохни немножко, — сказала она, — вон снопов-то сколько навязал — не меньше моего.

Я присел на сухую, тёплую землю. Мать говорила что-то ещё, но я не слышал. Усталость повалила меня на споп. Веки тяжелели и слипались. Но солнце в раскалённом небе так пылало, что я видел его, казалось, и сквозь сомкнутые веки. Смутный красноватый свет залил всё: и небо и землю, и сладкая дрёма одолела меня.

— Вставай, Степанушка. Не спи на солнце-то, голова заболит, — слышал я сквозь сон.

Лежал я, должно быть, долго, а мне казалось, что я только что припал к спопу. Встать не хотелось.

— Хватит лежать-то, вставай! — настойчивее повторила мать.

Я поднял голову и протёр глаза.

Мать стояла поодаль и что-то рассматривала в руке.

— Иди-ка сюда! — таинственно позвала она меня.

Я подошёл.

На ладони у неё лежал какой-то продолговатый остроконечный камень.

— Громовая стрела, — так же таинственно сказала мать и перекрестилась. — Это к счастью, Степанка. Возьмём домой.

Я не знал, какими бывают громовые стрелы, но слышал, что в грозу громовая стрела может влететь в окно и убить, а ударит в берёзу — щепок не соберёшь.

Дома находку мать положила на божницу и показывала только самым близким...

Прошло больше недели. С пшеницей у володинской дороги мы давно управились, овёс в колках тоже убрали. Наши должны были уже вернуться, но от них даже весточки не было. Прошло ещё дня три, а они всё не возвращались. И вот, как-то убирая со стола посуду, мать глянула в окно и вскрикнула.

Мрачный и понурый, к воротам подходил Павел с дугой и хомутом в руках. За ним, опустив головы, как на похоронах, шли Анисья и Татьяна.

Мать выскочила из избы.

— А Игренька где? — придушенным голосом спросила она.

Павел молчал, не в силах вымолвить слово.

— Где Игренька? — закричала мать.

Аниска со слезами бросилась ей на грудь.

— Украли нашего Игреньку, мамонька! — выкрикнула она и затряслась от рыданий.

Мать обняла Аниску и тоже заплакала.

14. Магарыч

Вскоре после того, как пропал Игренька, к нам приехал из Филатова незнакомый мужик. Войдя в избу, он поздоровался за руку с матерью и братом. (Анисья дома не было, а Татьянку опять отдали в люди.) Приезжий сказал, что его направил к нам Василий Алексеевич. Я сразу догадался, что он приехал нанимать меня «в строк». Мать при мне как-то спрашивала у дяди Василия, не знает ли он кого в других деревнях, кому требуется борноволок.

Со мной филатовский мужик за руку не поздоровался, но глянул на меня внимательно. Глаза у него были голубые, брови и усы — овсяные.

— Это и есть ваш борноволок? — обращаясь к матери и брату, спросил приезжий. — Мне Василий Алексеевич сказывал, будто бы вы парнишку отдаёте в строк?

Мать подтвердила.

— Боронить-то умеешь? — с добродушной улыбкой спросил он меня. Я покраснел и молчал.

«Может, и филатовскому мужику наговорили, будто я не умею боронить?», — подумалось мне. Но он спокойно достал из кармана домоганных штанов кисет и свернул цыгарку.

— Что ж, Парасковья Ивановна, мне парнишка пужен. Сколько запросишь-то?.. Жить у меня с весны до Покрова.

Мать не знала, сколько за меня просить, глядела на брата. Я потихоньку вышел во двор и стал разглядывать привязанного у ворот сытого гнедого мерина, на котором приехал верхом филатовский мужик. Потом пришёл Санко и стал хвалиться игрушечной заводной молотилкой, купленной будто бы за восемь гривен его отцом у одного чорданского мужика. Молотилка меня удивила. Всё в ней было, как у настоящей: и барабан с зубьями, и маховое колесо, и привод, соединяющий маховик с барабаном. Правда, этим приводом была вместо ремня всего лишь простая кручёная нитка, но это нас не смущало. Молотилка работала: всё у неё, чему полагалось вертеться, вертелось.

В это время к нам в избу прошла зачем-то тётка Фёкла. Уходя домой, она остановилась у нашего крылечка.

— Чего это вы, ребята, колдуете там?

Она подошла к нам и долго смотрела на молотилку. А когда узнала, что за неё Митрий Заложнов отдал восемь гривен, всплеснула руками.

— Восемь гривен... Сумасброд у тебя, Санко, отец-то, вот что я тебе скажу. На игрушку выбросит восемь гривен, а чтобы сшить тебе хоть паршивые обутики, денег у него нет. Всё форсит: пускай-де подивятся соседи, какую диковину я купил Санку.

Она плюнула и пошла.

Санко за отца немножко обиделся, уши у него покраснели, но он ничего не сказал, только ещё ниже склонился над игрушкой. Вскоре о тётке Фёкле мы забыли и, стоя на коленках, снова и снова запускали молотилку. Я с неохотой отстал от игрушечной машины, когда меня покликала мать.

Войдя в избу, я увидел, как приезжий раскупоривал бутылку водки.

— Садись, Степанко, с нами, — степенно и грустно сказала мать. — Матвей Данилович теперь твой хозяин, с весны поедешь к нему. Слушайся хозяина.

Я молча присел на лавку.

Матвей налил три рюмки, но бутылку на стол не поставил.

— Парасковья Ивановна, а виновника-то и забыли. Как же так?

Мать поставила на стол четвёртую рюмку. Хозяин налил её вровень с краями и сам поднёс мне. Водка показалась мне горькой и противной, но рюмку я выпил до дна. Хозяин похвалил меня, назвал молодцом и, чокнувшись с матерью и братом, выпил сам. Когда он стал наливать по второй, мать отставила мою рюмку в сторону.

— Хватит ему, Матвей Данилович. Рано привыкать.

Скоро все оживились: у матери порозовели щёки, брат закурил, а хозяин стал ещё разговорчивее.

— Матвея Казанцева в Филатове знают. Бывалый солдат... С японцем воевал! — ударяя себя в грудь кулаком, громко говорил он. — Не богач — не хвалюсь! А хлеб за хлеб заходит. В этом году ещё не молотил. Старый едим.

Он снова стал наливать в рюмки, но водки не хватило.

— Парасковья Ивановна... доставай-ка ещё.

Он вынул из кошелька серебряную полтину и бросил на стол. Мать послала меня к Трифонихе. Держа в руке пустую бутылку с остатками красного сургуча на горлышке, я побежал напрямик через огороды.

Жила Трифониха в середине Зареки, в глубине закоулка. Муж её Трифон — пьяница и хвастун — временами портняжничал, но заработанные деньги сразу пропивал. Мужики его не уважали, подсмеивались

над ним и звали Тришкой. Не было у него ни огорода, ни скотины, хлеб не сеял.

Кормилась Трифониха с ребятишками опасным промыслом: покупала по казённой цене в монополюшке водку и с накидкой продавала из-под полы в своей деревне. До волостного села, где находилась монополюшка, — семь вёрст, не набегаешься, а Трифониха была рядом. Водка у неё не застаивалась. За нарушение царской монополии сажали в тюрьму, но подвести Трифониху под суд уряднику не удавалось: с её водкой никто пойман не был.

Я отдал Трифонихе полтину, и она взамен пустой бутылки подала мне бутылку с водкой.

Обратно пошёл я опять задами. Очутившись возле своих картофельных грядок, я присел на жёсткую пожелтевшую траву и стал рассматривать бутылку. Она была не запечатана, и я решился немножко из неё отпить. Водка тогда в избе мне не понравилась, и пить бы я её больше не стал, но мне хотелось узнать: как это бывают пьяными?

Вытащив пробку, я отпил из бутылки несколько глотков и стал ждать, когда сделаюсь пьяным, но ничего такого я не замечал. Тогда я отпил ещё несколько глотков. Опять ничего. Только водка показалась мне ужас какой противной. Тогда я снова запрокинул бутылку кверху донышком. «Теперь-то уж стану пьяным», — подумал я и заспешил домой.

Мать взяла у меня бутылку и недовольно покачала головой.

— Что-то много не долила Трифониха. Совсем стыд потеряла баба.

Я боялся взглянуть матери в глаза и вышел из избы.

Во дворе я почувствовал, что ноги плохо слушаются, в животе мутит и всё вокруг стало вроде покачиваться, даже сарай дяди Василия.

Что было со мной дальше, я знаю только со слов матери. А было со мной вот что. К нам прибежал, запыхавшись, Тимка и, едва переступив порог, зататорил:

— Тётка Парасковья, тётка Парасковья, Степанко ходит по деревне пьяный, едва на ногах держится, кричит, руками размахивает.

Мать отыскала меня возле пожарной. Я лежал в пыли на середине улицы и стонал. Меня рвало.

15. Гульная лошадь

Была поздняя осень.

Как-то перед обедом к нам прибежал Мишка Косой и ещё от ворот закричал:

— Пашка, Игренька нашёлся! Приезжал к нам из Гарашек мужик и сказывал, будто у них в деревне поймана гульная лошадь. Игреньки масти. Мерин. Наверно, ваш Игренька! Поедем! Мне всё равно туда ехать. Мы кошёвку покупаем там у одного мужика, и отец велел съездить посмотреть.

Павел быстро собрался и пошёл с Мишкой. Я увязался с ними и стал просить Мишку взять меня.

— Ладно, поедешь! — отмахнулся Мишка. — Пристал, как репей к штанам.

Павлу, должно быть, хотелось, чтобы я поехал. Он снял с плеча уздечку и дал мне.

— Неси, раз едешь с нами.

До Гарашек было вёрст двадцать, но доехали мы очень скоро. Мишка нарочно подстёгивал и без того резвого Серка.

Когда въехали в деревню, Павел не утерпел и побежал в первую же избу спросить, у кого находится гульная лошадь.

Навстречу Павлу из калитки вышел старик.

— Видишь колодец-то у ворот? — выслушав Павла, показал палкой старик. — Тут и заходи. Кузька Бочонок в той избе-то живёт. Только ты Бочонком-то его не называй. Осердится. Кузьму Прохоровича спрашивай. С лета ещё гульна-то лошадь у него. Одни кости остались. Робит на ней, а кормить не кормит. Всё равно, говорит, хозяин отыщется и заберёт.

Мы подъехали к избе с колодцем у ворот. Мишка привязал Серка, и мы вошли во двор. Едва захлопнулась за нами калитка, как в пригоне заржала лошадь.

— Игренька, Игренька! — громко зашептал Павел, радостно поглядывая на нас.

Из избы вышел толстый коротконогий мужик и нехотя поздоровался с нами. Мишка объяснил, зачем мы приехали.

— Гульная лошадь у меня содержится, это верно, — глядя в землю, сказал мужик. — Какие приметы у вашей лошади?

Павел рассказал подробно.

— Всё так. И белая лысинка на лбу. Всё так. Значит, не зря захватил уздечку-то ваш парнишка. Но лошадь я кормил полтора месяца. Придётся платить.

— Что ж, ежели не заморена, что потребуется — уплатим, — отвегил за Павла Мишка.

Мужик сердито на него посмотрел.

— Спасибо скажите, что поймал вашего Игреного. Давно бы у цыгана в кошельке был.

— Благодарствую, от всей души благодарствую, — заговорил брат.

— Ладно уж, забирайте! Не наживаться же на вас.

Мы вошли в пригон.

Игренька опять заржал знакомым коротким ржанием. Он стоял за загородкой, такой худой, что его трудно было узнать: рёбра торчали, шерсть на боках висела ключьями, спина заострилась.

Павел остановился у загородки и оглянулся — должно быть, искал Кузьку Бочонка. Но его не было. Недалеко от загородки стояла только рябая баба и неласково поглядывала на нас.

— Бойтся показать бесстыжие-то глаза, — сквозь зубы выговорил брат.

— Да-а... Кормил... — развёл Мишка руками.

Я приподнял в проходе перекладину и вошёл к Игреньке. Он даже не прижал уши. Потыкал меня мордой в плечо и покорно дал надеть уздечку.

16. Я — второклассник

Зима в этом году наступила рано. В начале октября выпал снег и уже не растаял. Скоро начались морозы, запылили вьюги.

Я снова ходил в школу. Только моя школьная сумка была уж не такая тощая, как в прошлом году: учительница выдала нам, второклассникам, по несколько новых книжек. Самая большая называлась «Книга вторая». Учительница наказала нам обернуть её дома в бумагу и без разрешения дальше заданного места не разрезать. Но мне не терпелось узнать, прс что написано в книге. Тогда же, сидя за партой, я стал растопыривать неразрезанные страницы и читать заглавия. «Иверская икона божьей матери в Москве», «Прилежание и труд с усердной молитвой всё преодолевают», — читал я заголовки описаний и рассказов в начале книги. «Царь-освободитель», «Чудесное спасение их императорских величеств» — шли один за другим заголовки дальше. Я стал различать страницы в середине книги. «Волк и журавль», — прочитал я про себя и прильнул глазами к странице. Но в это время учительница дернула меня за ухо. Я и не заметил, как она подошла к нашей парте.

— Щипачёв, не слушаешь урока!

Я вскочил.

— Иди к доске, помоги Усольцеву!

У доски стоял низовский парнишка, Ефимка Талакан, и, красный, весь перемазавшийся мелом, бился над задачкой. В одной руке он держал кусочек мела, а в другой — белую заячью лапку, которую сторож выпросил для школы у Балая: ему удобно было стирать мел с доски. Талаканом мы прозвали Ефимку в прошлом году за то, что он слово «таракан», сложенное из картонных букв, прочитал «талакан». Помочь Ефимке я не смог. Нескоро раз я стирал заячьей лапкой написанное на доске и старательно начинал снова: «У купца было 40 аршин сукна...», но решить задачку не удалось и мне. В арифметике я тоже был не силен.

Но когда на уроке читали про что-нибудь из русской истории, я сразу веселел. Странички в «Книге второй» про Куликовскую битву, про Минина и Пожарского, про Ивана Сусанина я знал почти наизусть. Но ещё больше мне нравилось заучивать басни и стихи. Бывало, в мороз, когда стыли губы и пар изо рта индевел на воротах сёрмаги, я твердил по дороге из школы:

Пахнет сеном над лугами...
 Песней душу веселя,
 Бабы с граблями рядами
 Ходят, сено шевеля.

А снег под обутками скрипел на всю деревню, и мороз пробирал в сёрмаге насквозь.

Стихи любили и многие другие ребята. По утрам, до прихода учительницы, мы часто всем классом пели или о подвиге Сусанина: «Куда ты ведёшь нас? Не видно ни зги...», или что-нибудь другое. Мотив брали первый подвернувшийся.

Учительница у нас была вроде не так уж строгая, но поблажки на уроке никому не давала и провинившихся частенько оставляла без обеда.

Посидел взаперти один раз и я: на уроке закона божьего пророка Илью я назвал пророком Ильюшкой; ребята засмеялись, а учительница строго сказала:

— Останешься сегодня без обеда! Богохульник!

Все ребята после занятий ушли домой, а меня сторож запер на замок в пустой школе, и я просидел в ней с полудня до сумерек, пока он не пришёл топить печь.

Стихи по-настоящему полюбились мне во втором классе, а вернее, с того дня, когда учительница прочитала нам «Бородино». Слушал я его, вытянув шею и затаив дыхание.

Серёга тогда был ещё первокласником, но стихи мы учили вместе, даже те, какие учительница и не задавала: «Песнь о вешем Олеге», «Полтавский бой» и другие. «Бородино» Серёга впервые услышал от меня. Ему оно тоже запало в душу. Недаром, когда в праздники Серёга приходил ко мне и нас оставляли дома одних, мы затевали на столе «Бородинское сражение». Каждый отбирал пригодные для игры скорлупки кедровых орехов и составлял из них войско. Один из нас был Кутузов, другой — Наполеон. Снарядами служили тоже скорлупки, а стреляли щелчком. Бывало, так заиграемся, что и не заметим, как пройдёт вечер и Серёге надо спешить домой.

В конце зимы у Анисьи родился ребёнок, и она стала покрикивать на меня ещё чаще, а когда маленький Алёшка засыпал, она грозила пальцем и шикала, чтобы я не зашелестел книжкой или не наступил на скрипучую половицу. Учить уроки я стал ходить к Серёге.

Наступил апрель. Дорога через деревню почернела, появились первые проталинки. И в «Книге второй» мы уже добрались до стихов о весне. Сидя у столика, учительница читала нам:

Ещё в полях белеет снег,
А воды уж весной шумят,
Бегут и будят сонный брег,
Бегут, и блещут, и гласят...

— К следующей субботе это стихотворение выучите. Буду спрашивать.

Через головы ребят, сидевших на первых двух партах, учительница глянула мне в глаза и чуть заметно улыбнулась, видно, прочитала в них: «Завтра же выучу; не беспокойтесь, Валентина Павловна».

Но выучить это стихотворение мне не довелось...

17. В чужую деревню

На другой день, в воскресенье, ко мне пришли ребята и позвали играть в бабки. Всею гурьбой мы направились к амбару деревенского писаря Ефима, где успел растаять снег и немного подсохла земля. Бабки несли кто в чём: кто в старой поломанной корзине, кто в своём картузе, а я нёс в руках помятое ведёрко с отломленной дужкой, и в нём на дне громыхало десятка полтора бабок. В кармане у каждого лежал панок — особая боевая бабка, налитая для веса оловом.

Играть начало много ребят, и на кон сразу поставили штук двадцать бабок. Стали от кона кидать панки: кто кинул дальше, тот бил первым.

Когда подошла моя очередь бить, кон стоял ещё не распчатый. Я прищурил левый глаз, прицелился и широким размахом руки послал панок вперёд. Бабки брызнули в разные стороны. Я торопливо собрал их в ведёрко, и мы поставили новый кон. Но бабки опять разлетелись от моего панка. Третий, четвёртый... десятый кон ставили мы у стенки амбара на согретую солнышком землю, но удача не покидала меня: бил я, почти не целясь, и редко промахивался. Ребята с завистью поглядывали на моё старое помятое ведёрко, с верхом набитое бабками.

В самом разгаре игры меня зачем-то позвали домой. Обхватив рукой ведёрко, я вбежал в избу, ещё не остывший от игры, хотелось похвастаться, показать, сколько я бабок выиграл, но я, словно споткнулся, остановился у порога и не знал, что делать. На лавке сидел хозяин и дымил цыгаркой. Упавшим голосом я поздоровался с ним и, роняя бабки, поставил ведёрко на пол.

— Собирайся, Степанушко, — печально и ласково сказала мать, — Матвей Данилович за тобой приехал.

Сердце у меня заныло. Было трудно сразу поверить, что вот сейчас хозяин увезёт меня в чужую деревню, что к амбару Ефима играть с ребятами в бабки я не вернусь и в школу завтра Серёга и Гришка пойдут без меня.

Хозяин, видимо, торопился и сразу стал прощаться со всеми за руку. Меня похлопал по плечу.

— Поехали, орёл! Семь вёрст ехать-то.

Мать подала мне приготовленный узелок, в котором была постиранная рубашка, и в первый раз обняла и прижала меня к себе.

— Не ленись, не балуйся там, в чужих-то людях, — наставляла мать. Она утёрла слёзы рукавом и вышла за мной во двор.

Хозяин уже сидел верхом на лошади. Брат посадил меня сзади хозяина, открыл ворота, и мы выехали на улицу.

С крыш свисали недотаявшие сосульки и падала капель, под ногами Гнедка сверкали студёные ручьи, но всё это затумили наворачнувшиеся слёзы.

Скоро Зарека осталась позади. Мы проезжали мимо школы. С тоской заглядывал я в её голубоватые окна, особенно в то, крайнее, у которого стояла парта, знакомая мне до последней царапинки и чернильного пятнышка. Я даже увидел её черный краешек, но Гнедко круто повернул налево, и школа осталась за спиной.

У ворот одного богатого верхохонского мужика собрались девки; в середине сидела учительница и что-то рассказывала. Девки смеялись.

Я поздоровался.

— Здравствуй, Степанка! — ответила учительница, весёлая, белозубая. Но не спросила, куда я поехал, — видно, постеснялась незнакомого человека. Я живо представил себе, как она будет спрашивать завтра обо мне у ребят, глядя на опустевшее место на третьей парте, и мне стало совсем тоскливо.

Мы проехали последнюю избу. Впереди лежала потемневшая и уже разбитая санями дряблая дорога. Но снег в поле ещё лежал почти не тронутый весной, только немного посерел и потускнел. Над ним стояла мгlistая голубизна.

Мы ехали молча. Хозяин сначала долго насвистывал какую-то песенку, а потом на тот же мотив стал вполголоса напевать:

Солдатушки, браво-ребятушки,
Где же ваши жёны?
— Наши жёны — ружья заряжены,
Вот где наши жёны!

Почти вплотную уткнувшись лицом в широкую спину хозяина, я крепко держался за него обеими руками. Волосы у него были подстрижены коротко, по-солдатски, шея красная, грубый шершавый зипун плотно облегал спину и плечи.

— Ты что там носом-то швыркаешь? Озяб, что ли? — грубовато спросил хозяин. — Не озяб. Ну и хорошо. А тосковать по своей деревне, по друзьям-приятелям ты брось. В Филатове дружки-приятели найдутся. Племянник мой, Спирька, — ровня тебе. Подружитесь быстро. Он хороший парень.

Хозяин помолчал и стал закуривать.

— Песни петь умеешь?

Я молчал. Песен я знал много и подтягивать любил, но голоса у меня не было.

— Раз молчишь, значит не умеешь, — сказал он, махнув рукой. — Тогда сказку скажи!

Сказывать сказки я тоже не умел и совсем упал духом.

— Дядя Матвей, а стихотворение про войну можно? — срывающимся голосом спросил я.

Хозяин выдохнул первую затяжку табачного дыма и обернулся ко мне через плечо.

— Про войну? А ну-ка, давай!

Торопливо, глотая отдельные слова, я стал читать «Бородино». Первые строчки прочитал очень тихо. Потом разошёлся.

...Да, были люди в наше время,
Не то, что нынешнее племя,
Богатыри — не вы!..
Плохая им досталась доля:
Немногие вернулись с поля..

Голос у меня окреп, и слова звучали всё чётче и воодушевлённое.

Дочитав до конца, я замолчал.

Хозяин не сразу отозвался, смотрел в сторону и о чём-то думал.

— Да... Хорошо сложено... А мы вот воевали... Никто не написал про нас!

Хозяин грустно покачал головой и поторопил Гнедка, который, почувствовав, что про него забыли, еле плёлся.

Поля с перелесками и кустами черёмухи кончились. Примерно с половины пути дорога пошла лесом.

— Дядя Матвей, а богатыри на самом деле жили когда-то или это в книжках только? — осмелев, спросил я.

Он бросил на снег окурок и снова стал погонять Гнедка.

— Богатыри, говоришь, — раздумчиво начал Матвей, — как тебе сказать, парень? Вроде жили. Ездили мы с отцом — это ещё было до военной службы — к Сухому Логу за брёвнами. Лес вокруг — неба не видно. Сосны прямые, звонкие — терема рубить из таких сосен. А в одном месте, на болоте, все сосны были перекорёжены, с корнем выворочены. Тамошние мужики сказывали нам, будто Илья Муромец баловался тут: поспорил с мужиками на ведро водки — и давай лес корёжить.

Я слушал Матвея, и мне виделся Илья Муромец — великан, переламывающий огромные сосны, словно тростинки.

Лес тянулся почти до самого Филатова.

Когда мы выехали на опушку, справа, под жёлтым крутояром, блеснула Пышма, а левее я сразу увидел длинное, с белой церковью посредине, село.

— Вот оно, Филатово-то наше, — показал рукой хозяин.

Вскоре мы въехали в село.

По обеим сторонам улицы стояли большие пятистенные дома, крытые железом или тёсом.

— Чем не город? — похвастался хозяин, когда мы проезжали возле самого большого пятистенного дома с зелёной железной крышей. — Смотри, даже столбы у ворот каменные.

Филатово и взаправду считалось в нашей местности самым богатым селом и мало походило на Щипачи. У нас пятистенных домов и десятка не было, а тут чуть ли не подряд.

У одного дома, на большой проталине, толкались ребята и девки, весело пиликала гармошка, в середине круга плясали.

— Дядя Матя! Кого это ты везёшь? — звонко крикнул в праздничной толпе какой-то парнишка.

— Тебе товарища везу, — отозвался хозяин и тихонько добавил для меня: — Спирька интересуется... Сейчас прибежит к нам.

Проехав ещё немного, мы остановились у ворот одной не особенно большой избы, крытой тёсом.

— Вот мы и дома. Слезай, парень!

Прыгать с Гнедка мне показалось страшно: он был выше нашего Игреньки. Хозяин, заметив мою заминку, подзадорил меня:

— Боишься? А Спирька не побоялся бы.

Мне стало обидно. Я перекинул ногу через круп Гнедка и стал съезжать с его широкой, гладкой спины. Спрыгнул и обрадовался, что устоял на ногах, не упал, не осрамился перед хозяином.

18. Хозяйский хлеб

Сняв уздечку с Гнедка и пустив его в крытый соломой пригон, хозяин повёл меня в избу. Переступив порог, он весело сказал:

— Вот мой помощничек. Прошу любить и жаловать... Раздевайся, орёл!

Я снял сермягу и вместе со своим узелком положил её в задний угол, на ту часть лавки, которая примыкала к самой двери и называлась конником. Вперёд не пошёл, присел там.

— Да ты не робей! Что сидишь там, в углу-то? Проходи вперёд! Скоро ужинать будем, — подбодрил меня хозяин.

Я пересел поближе к столу.

— Матвей сказывал, вроде Степаном звать-то тебя? — спросил меня сидевший возле печи старик с белой бородой. — Так-так... Значит, Степаном... Хорошо.

Я сразу догадался, что это отец Матвея, и всё поглядывал на него. «Ведь это с ним ездил Матвей по брёвна-то к Сухому Логу, где Илья Муромец лес покорёжил», — думал я.

За столом сидела конопатая, растрёпанная женщина, держа в руках ребёнка, жевала хлеб и жвачку совала пальцами ему в рот.

— Дай-ка дочку-то подержать, жена, — попросил её Матвей.

Она подала ему девочку и, зевая, встала из-за стола. На меня она смотрела чужими, безразличными глазами. Даже ни о чём не спросила.

У печи гремела заслонкой и орудовала ухватом высокая, худая старуха. Она тоже была не очень-то ласкова со мной, но, глянув на меня в первый раз, сказала:

— Баской-то какой! Как Спирька наш.

Когда стали садиться ужинать, в избу вбежал парнишка и кинулся к Матвею.

— Дядя Матя, ты кого же это привёз-то?

— А вот погляди, — кивнув на меня, ответил Матвей, — чем не товарищ тебе?

— Садись, внучек, поешь, — пропела старуха, тронув спирькины вихры.

Но он будто и не слышал.

— Дядя Матя, а я сегодня Алёшку Кукушонка побил, — захлёбываясь, говорил Спирька. — Он толкнул меня в лужу, а я как дал ему!..

— Хвастунишка ты, Спирька. Алёшке-то тринадцатый год идёт. Он больших парней не боится, а тебя и подавно.

— А я побил его!.. Не веришь? Спроси у ребят! — стоял на своём Спирька, поглядывая на меня.

Ему, видно, хотелось передо мной побахвалиться: вот-де я какой, никого не боюсь.

Спирька скоро убежал домой. Я допивал третий стакан чаю, налегая на шаньги, жирно помазанные сверху маслом.

Когда все встали из-за стола, хозяин сказал:

— Ешь ты, парень, хорошо — должно быть, хорошо и работать будешь.

Хозяева стали собираться спать. Матвей бросил мне старый, рваный полушубок и сказал:

— Стели на коннике и ложись спать.

Разувшись, я лёг на разостланный полушубок и укрылся своей сермягой. Уснул после дороги сразу.

Утром хозяин разбудил меня ещё до солнышка, и мы пошли задавать лошадям корму. Кроме Гнедка, я увидел в пригоне ещё буланую лошадь с чёрным хвостом и гривой. Мы принесли по охапке сена, разложили его в колоде и полили колодезной водой. Потом хозяин посыпал мокрое сено отрубями и перемешал длинной палкой. Лошади нетерпеливо тянулись мордами к колоде, но он добродушно их отгонял.

— Потерпите, слаще будет...

Выходя из пригона, он наставительно сказал:

— Следующий раз будешь замешивать сам. Запомнил как?

Я кивнул головой. Запоминать мне было нечего. Хотя и редко, но мешанину для Игреньки мы с братом делали.

На другое утро я пошёл в пригон один. Натаскал в колоду сена, вылил на него четыре ведра воды из колодца и стал перемешивать, но колода приходилась мне по грудь и переворачивать палкой сено было трудно, да и лошади не слушались, всё время лезли мордами в колоду.

Намешав лошадям корму, я пошёл было в избу, но на крылечко вышла Марфа — так звали жену Матвея — и послала меня поить коров. Тяжёлая деревянная бадья опять несколько раз опускалась на дно колодца, и долговязый журавель тоскливо скрипел над головой.

Когда я вернулся в избу и сел пить чай, рубаха прилипла к потной спине и плечи немножко ныли...

У моего хозяина, кроме новой избы, стоявшей вдоль улицы, была ещё старая, совсем покосившаяся, в которой никто не жил, а только хранились вещи.

Я прослышал, что в старой избе стоит корзина с книгами, оставленная младшим братом хозяина, Семёном, жившим больше в городе. В первое же воскресенье, когда все ушли в церковь, я забрался в старую избу, открыл корзину и стал перебирать книги.

Больше всего понравился мне «Песенник». Перелистывая страницы, я находил в нём знакомые песни: «Во саду ли в огороде», «Ой, полна, полна коробушка», «Ах вы, сени, мои сени», «Ой да ты, калинушка».

Многое в «Песеннике» я прочитал вслух, кое-что пробовал петь, но мне не терпелось посмотреть и другие книжки.

На самом дне корзины я увидел толстенную книгу, такую тяжёлую, что её пришлось вытаскивать двумя руками. На ней был выдавлен крест и золотыми буквами написано: «Библия». Мне даже стало страшновато. Бабушка рассказывала, что от библии один человек в Камышлове сошёл с ума, «зачитался».

С трепетом раскрыл я толстую книгу и медленно стал читать:

«...Авраам родил Исаака; Исаак родил Иакова; Иаков родил Иуду...» Я остановился. Оглянул пожелтевшую страницу и стал читать дальше: «...Азор родил Садока; Садок родил Ахима; Ахим родил Елиуда; Елиуд родил Елеазара; Елеазар родил Матфана; Матфан родил Иакова...» Я остановился снова, уставясь в окно, перед которым ходил белый петух.

«Как же может родить мужик мужика?» — подумалось мне, и я хлопнул книгу.

Приближалась пора сеять. Матвей выкатил из сарая телегу, осмотрел бороны и стал готовить семена.

По соседству с моим хозяином жил богатый мужик Сидоров. Он тоже готовился к весне и покрикивал на дворе на своего работника Фомку, смиренного на вид и худенького парня лет четырнадцати.

С Фомкой мы успели бы уже подружиться, если бы не помешали этому наши хозяева. В то же воскресенье, когда я смотрел книги в старой избе, они столкнули нас, как молодых петухов, бороться. Оба хохотали, подзадоривая нас. Особенный задор проявлял Матвей.

— Давай, давай, Стёпка... Так его, так... Поборет он твоего Фомку! Смотри, смотри, что делает!.. Под ножку, под ножку его! — кричал Матвей.

Я и сам не понял, как это получилось, но Фомку я действительно поборол. Матвей насмешливо сказал Сидорову:

— Дерьмо твой Фомка! Стёпке-то девять лет, а твоему?

Сидоров что-то мычал и строго поглядывал на Фомку, который смущённо стравивал пыль со штанов.

— Пойдём, орёл, круг остался за тобой! — весело сказал Матвей и направился к калитке.

На другой день, когда я вытаскивал из колодца бадью с водой, Фомка подошёл ко мне и рассудительно, без злобы, сказал:

— Что ты, Стёпка, из кожи-то лезешь? Хозяина повеселить охота? Поборол ты меня потому, что мне не хотелось с тобой по-правдашнему бороться. Хозяевам-то что — забава, ржут, как жеребцы, а ты стараешься.

Мне было стыдно, и я молчал.

Один раз Фомка пришёл ко мне в пригон, когда я посыпал отрубями мешанину. Бросив на мокрое сено несколько пригоршней, я отставил мешок с отрубями в сторону. Фомка покачал головой.

— Хозяину угодить стараешься? Отрубей хозяйских жалеешь? На конях-то тебе робить! Кони сыты — работа легче.

Я снова придвинул мешок и стал бросать отруби в колоду. Фомка помог перемешать сено.

— Ты в работниках-то первый год живёшь, а я — пятый, нагляделся на всяких хозяев, — продолжал Фомка. — Заговаривать зубы твой хозяин, видать, мастер, добрячком прикидывается, а борновола заставлял мешанину коням замешивать, как большого парня. У Матвея только лошадей и пашни поменьше, чем у Сидорова, а так... один чёрт!..

Фомка махнул рукой и пошёл на свой двор.

«Это он осерчал на Матвея, когда мы боролись, потому так и говорит о нём», — подумал я, идя в избу.

На другой день мы поехали с хозяином боронить.

Ещё из разговора за столом я узнал, что едем куда-то к железной дороге, где проходят поезда.

Едва успели мы на поле распрячь лошадей и снять бороны, как в близком лесом послышался какой-то непонятный шум. Я насторожился, повернувшись в ту сторону.

— Поезд идёт! — оживился хозяин.

Из-за леса вынырнул паровоз, и за ним замелькали вагоны. Я оторопел.

— Разве поезда такие длинные бывают? — удивлённо спросил я хозяина. — Я коротенький видел.

На станции Пышминской, куда мы однажды приезжали с матерью, я видел паровоз «кукушку». Он бегал взад-вперёд возле станции и часто свистел, закопчённый, с высокой трубой. Я решил тогда, что это и был поезд.

— Коротенькие тут не ходят, — засмеялся хозяин и похлопал меня по плечу.

Боронить он сначала стал сам, а мне велел смотреть. Получалось у него очень хорошо; бороны шли ровно-ровно, как по ниточке.

Пройдя взад-вперёд три-четыре гона, он позвал меня.

— Садись, орёл! Действуй теперь самостоятельно.

Он помог мне сесть на Гнедка и пошёл к телеге.

Сердце у меня колотилось. Дома боронил я много раз, но там на пашню ездил с братом или с матерью, а тут — с хозяином. Вдруг ему не понравится!

Но всё вроде пошло хорошо. Проехал я от межи к меже несколько раз, а бороны не кривляли, дорожки от зубьев ложились как будто ровно.

Так бы, наверно, и продолжалась моя бороньба, если бы не подошёл к хозяину какой-то мужик. Поздоровавшись, они сели рядышком у телеги и закурили. Разговора их вначале я не слышал. Но скоро до моих ушей стали доноситься отдельные слова: «Маньчжурия», «японцы», «гаолян». Я догадался, что это хозяин рассказывает про войну, и стал прислушиваться. Равняясь с телегой, я каждый раз придерживал Гнедка и чуточку приворачивал к телеге, чтобы побольше расслышать.

Рассказывал хозяин долго. Не по одной закрутке махорки спалили они за это время.

Когда же мужик попрощался и скрылся за бугром, хозяин почесал поясницу, глянул на дальнюю тучку над лесом и пошёл ко мне, на пашню.

Пройдя боронённое, он остановился, посмотрел вправо и влево и стал поджидать меня.

— Ты что это, парень, окосел, что ли?.. Как боронишь?! — резким голосом вдруг закричал хозяин, когда я поравнялся с ним. — Что это за кривулина такая? — показывал он на пашню. — Боронить не умеешь! Думаешь в работниках жить — только шаньги есть?

Я молчал и смотрел на гриву Гнедка.

19. На пашне

Я уже не помнил, который раз мы ночевали в поле.

Холодное весеннее небо снова заполнили звёзды. Хозяин постелил на землю, около пашни, сено, бросил на него потник и уложил меня спать. С шутками и прибаутками он укутал меня потеплее и ушёл к телеге.

Сладкая дрёма сразу навалилась на меня. Но и она ещё долго жила звуками дневной работы. Мне чудилось, что хозяин снова запряг лошадей и стал боронить. Слышались его негромкие покрикивания на лошадей то совсем рядом, то где-то далеко, как бы на том конце пашни. «Почему он боронит, ведь кони устали?» — мелькнуло в голове. Но скоро всё оборвалось...

— Вставай, Степанко! Вот соня! Солнышко встало, а ты всё спишь. Смотри, сколько оно красных яичек на потник рассыпало, — приговаривал хозяин, трясая меня за плечо.

Я открыл глаза. Над чёрной пашней показался краешек солнца. Лошади стояли, уже запряжённые в бороны.

Весна была холодная. Когда начали сеять, в лесных овражках и под кустами черёмухи ещё лежали ледяные корки. Обутки на мне давно разбились, и работал я в поле босиком. Ноги снова покрылись цыпками, на лодыжках и на суставах пальцев вскочили нарывы.

Усевшись поудобнее на широкую спину Гнедка, я тронул поводья. Заскрипели тугие гужи, зазвякали железные кольца на вальках, и бороны то плавно, то подскакивая на комьях, пошли по кромке неборонённой пашни. Хозяин стоял на меже, насвистывал «Солдатушки, браво-ребятушки» и, должно быть, смотрел, ровно ли идут бороны. Но когда я на другом конце пашни повернул коней обратно, его там уже не было: он лёг на телегу спать.

Солнце стояло ещё у самой земли; длинные тени от лошадей и от меня доставали до того берёзового леска, у которого стояла телега. Сидел я на Гнедке, должно быть, ещё нахоженный, заспанный, но, когда снова повернул коней навстречу солнцу, стало сразу веселее...

Пока хозяин спал, я перепел все частушки и песни, какие знал, даже и ту, которую придумал сам зимой, на масленице.

Нравилась мне в нашей деревне, на Низу, голубоглазая и светлволосая девочка Дуня, моя ровня. На масленице мы целой оравой ездил по деревне и горланили частушки. Когда поравнялись с избой, где жила Дуня, мне захотелось спеть такое, чтобы Дуня догадалась, что это про неё, но ничего подходящего я не знал и решил тут же что-нибудь придумать сам и спеть, пока не проехали дунину избу. Но лошадь бежала быстро, и сложить я успел только две строчки:

Против милочки пройду,
Сердечушко взбугруется.

Нехитрые эти слова я не спел, а скорее прокричал, глядя на знакомые окна с голубыми наличниками. Ребята подхватили их дружно и даже приукрасили.

Против милочки пройду,
Сердечушко взбугруется.
Ну-да, ну-да, ну-да, ну,
Сердечушко взбугруется.

Проснулся хозяин, когда я на повороте зацепил бороной за борону и обругал нерасторопного Гнедка. Глянув на солнце и покопавшись в узелках на телеге, хозяин позвал меня завтракать. Присев у разостланной на земле скатёрки, мы отломили по большому куску от калача и облупили по яйцу. Глянув на меня, хозяин недовольно заговорил:

— Долго что-то ковыряемся мы с тобой на поле-то. У Сидорова больше нашего пашни, а, сказывают, отсеялся. Надо кончать сегодня с бороньбой-то, завтра пахать начнём.

Позавтракав и закудив, он повеселел.

— Ладно, действуй, орёл, дальше, солнце-то вон уж где. — Он показал рукой на макушки осинника за дальним полем. — Только не всё время сиди на Гнедке-то, поводи бы и в поводу. Думаешь, легко возить-то тебя?

Я опустил глаза. «Больно мне нужно. Я и вовсе не сяду на твоего Гнедка», — хотелось мне сердито сказать хозяину, но я промолчал... На Гнедка в этот день я больше не садился.

На пашне то и дело попадались твёрдые большие комья, и как я ни старался ступать осторожно, часто так ударялся о них болячками, что тут же, остановив Гнедка, садился на пашню и корчился от боли, обхватив руками ушибленную ногу, измазанную гноем и землёй.

В обеденную пору лошадей в этот день распрягали ненадолго — только чтобы покормить овсом и сводить на водопой, и всё же боронить кончил я только к потёмкам.

Ещё никогда не уставал я так, как в этот раз. Присев к телеге, после того как распрягли лошадей, я прислонился к переднему колесу и сразу заснул. Хозяин уложил меня на разостланное сено, укрыв тем же рваным полушубком, под которым я спал и вчера, но ничего этого я не слышал.

Укладывал он меня, наверно, с теми же шутками и прибаутками, что и вчера, но поспать не дал, разбудил задолго до рассвета, надумав пахать при месяце. Вылезать из-под тёплого полушубка было неохота, но раздумывать долго не пришлось: хозяин сдёрнул с меня полушубок и бросил на телегу. Ежась от холода, я быстро надел сермягу.

Лошадей запрягли «гусем»: Гнедка — коренником, Буланку — впереди. Сидел я, когда пахали, всегда на Буланке.

Месяц, поднявшийся над берёзовым перелеском, залил всё неясным, мутноватым светом; над болотом и над кустарником стоял белый туман.

Сделав несколько заходов, хозяин сбросил зипун.

— Не клюй носом, веселей держись! — подбодрил он меня.

Но не клевать носом я не мог. Дрёма так и клонила меня к шее Буланки, который сразу замедлял шаг, как только переставал чувствовать повод. Когда же дрёма одолела меня совсем, за моей спиной в дугу коренного со стуком ударился комок земли.

— Хватит дрыхнуть! — закричал сзади хозяин. — Не в гости приехал — в работниках живёшь!

Я встрепенулся и стал колотить Буланку пятками по бокам.

— Что во сне-то видел? — грубовато, но уже примирительно спросил хозяин.

Я промолчал.

«Хорошо тебе... выпался днём-то», — подумал я, и в груди заняла обида.

Месяц над полем поднялся совсем высоко, но светать ещё не начинало.

20. Зимой

Как ни долго тянулось лето в работниках, но оно прошло, прошли и унылые осенние недели с туманами и холодными утренними зорями, когда я вместе с филатовскими ребятишками пас коров.

После Покрова, когда уже выпал снег, я вернулся в свою деревню. Ещё по дороге я узнал от людей, что мать вышла замуж за старого вдовца, портного Артемья, жившего в Зареке по соседству с Трифониной. У моста через Калиновку мне навстречу попала тетка Фёкла. Остановившись, она пригорюнилась и даже прослезилась.

— Как жить-то будешь теперь, Степанушка? Изведёт Анисья тебя. Парасковью-ту ведь она из дому выжила. А то разве пошла бы мать за Артемья? Бросила бы тебя?

Я задумался: куда же мне пойти? К брату?.. К матери?..

Пошёл было к матери, но, дойдя до их двора, повернул обратно: побоялся Артемья и его женатого сына Фёдора. Перелез через изгородь и напрямик через огороды пошёл к брату!

Дома застал одну Анисью. Она сидела на лавке и качала деревянную зыбку. Павел, узнал я от Анисьи, уехал по дрова. Встретила она меня приветливо, подала поесть.

— Маменька-то бросила вас, сиротинок, — начала было Анисья жалостливо и даже утёрла глаза краешком запона, но сразу куда-то заторопилась и заставила меня сидеть с Алёшкой.

Глянув из окна на побелевшую поскотину с одинокой берёзкой на бугорке, на Чорданский лес, запылённый добела первым снегом, я стал ходить по скрипучим половицам, чисто выскобленным и застеленным пёстрыми половиками, осматривая все уголки в избе. Ничего вроде в ней с прошлой зимой и не изменилось, но без матери всё стало как бы чужим.

Подойдя тихонько к зыбке и раздвинув над ней красную, с петухами, занавеску, я с любопытством глянул на Алёшку. Прошлой зимой он был совсем беленький и ещё без бровей, а сейчас — румяный и черномазый.

Может, от скрипа половиц, а может, от того, что я долго на него смотрел, Алёшка проснулся и заплакал. Я стал качать зыбку, но он не унимался, рожок тоже не брал, вертел головой и ревел всё громче.

Сосбк от коровьего вымени, надетый на кончик рожка, должно быть, ни разу не промывался, и от него ударяло в нос кислым запахом.

Когда Алёшка охрип от крика, вернулась Анисья, а вскоре за ней приехал из лесу и Павел. Я быстро надел сермягу и выбежал ему навстречу во двор. Павел обрадовался, заулыбался, но, узнав, что из Филатова я пришёл пешком, глянул на мои разбитые обутки и молча стал распрягать Игреньку.

О матери не поминали, словно сговорились.

Вечером я побежал к Серёге. Отец его как раз вчера ездил в Камышлов и привёз новую книжку — «Шут Балакирев». Сам Кузьма читал медленно, по складам, и всегда, бывало, заставлял нас по очереди читать вслух. Засиделись мы в этот раз над смешной книжкой до петухов, и дома мне пришлось долго стучаться в дверь: брат и Анисья спали. Выскочив в сени в нижней посконной рубахе и босиком, Анисья сердито загремела деревянной задвижкой.

— Шлялся бы дольше! Не нанялась я тебе открывать по ночам-то! — ворчала она, залезая на полати.

На другой день я не утерпел, пошёл повидаться с матерью. Напротив мельницы меня обогнал на санях Митрий Степанович. Поравнявшись с избой Артемья, он закричал:

— Сватья Парасковья! Степанко идёт!

Я видел, как мать выскочила на крылечко и глянула на дорогу, нища меня глазами.

Встретила она меня молча, утирая рукавом слёзы. Я тоже молчал, не находя слов от радости.

Когда я за матерью вошёл в избу, все сидели за столом, завтракали. Я поздоровался и стал у порога.

— Раздевайся, садись с нами за стол,— ласково сказала мать, беря у меня из рук шапку.

— Веди-ка его сюда, Парасковья,— нараспев проговорил Артемий, оглядывая меня.

Я несмело прошёл вперёд.

— Садись, поешь с нами,— так же певуче и мягко продолжал Артемий.— Крёстя, подвинься, дай место.

Я сел за стол. Мать подала мне деревянную ложку.

Семья у Артемья была немаленькая: напротив меня сидел Фёдор, рядом с ним его жена Катерина с девочкой на руках, слева от меня, спиной к окошку, сидела большеглазая красивая девочка — Христина, постарше меня года на три, по которой сохли все ребята в Зареке.

— Не зевай, гостенёк, работай ложкой-то, а то голодный останешься; народ у нас за столом дружный,— пошутил Фёдор, придвигая ко мне большую чугунную жарёнку с мелконакрошенной румяной картошкой.

Глянув на него, я тоже поддел полную ложку.

«Вроде смиренный, а Сёмки с вилами не испугался»,— подумал я о Фёдоре, вспомнив давнишнюю драку, когда Фёдор прогнал Сёмку, набежавшего с железными вилами на Митрия Степановича.

Когда мы вылезли из-за стола и покрестились на иконы, я собрался уходить.

— Куда торопишься-то? Посиди,— встрепенулась мать.

Я не сказал матери, что Анисья долго ходить не велела, и присел на лавку.

Скоро началась настоящая зима. Снегу намело ровень с плетнями.

Каждое утро мимо наших окон проходил Гришка, придерживая на боку ученическую сумку, туго набитую книжками, но теперь он не оставивался против нашей избы и не кликал меня, как, бывало, раньше. В школу я не ходил: не в чем было выйти. Из Филатова я пришёл в дырявых марфиных обутках, и, кроме них, никакой другой обуви у меня не было. Сермяга, в которой я ходил прошлую зиму, тоже за лето совсем истрепалась.

Иногда мать давала мне свои красные казанские пимы, купленные, видать, Артемьем, и в них тепло и мягко было ногам, какой бы ни был мороз. Но пимы нужны были матери самой, да она и побаивалась часто давать их мне — берегла.

Подходили святки с ясными морозными вечерами, с игрищами, ряженными, с гаданьями, и усидеть дома было невозможно. Если мать не давала пимы, я выпрашивал у Павла бахилы и пропадал с ребятами до самой полночи.

На игрище в эти святки собирались в большой старой избе, на Низу. В первый же день рождества пришло много парней и девок. Бойкие на язык и красивые верхохонские ребята — Радька Филин и Ванька Кузнецов — подсели к низовским девкам, потчевали их орехами, смеялись, но парней низовских насмешками верхохоны не задевали: боялись братьев Бараюшковых — Спиридона и Сергея. Все знали, что

широкогрудый и черноусый Спиридон, недавно вернувшийся с военной службы, один раз на лугу поборол даже Митрия Заложнова. Сергей, прозванный за смуглоту Аржаным, был намного моложе брата, но тоже жилистый и проворный.

На самом почётном месте, в переднем углу, сидел гармонист Гришка-горбун и в лад гармошке с малиновым мехом притопывал ногой, моргая маленькими медвежьими глазками. Длилась бесконечная кадрили, которую плясали четыре пары. После кадрили Гришка заиграл польку, а Ванька Кузнецов стал ему подпевать.

Нынче полечку танцуют
В Питербурге и Москве,
Потихоньку начинают
В Шипачёвском уголке.

Глядя на взрослых парней на игрище, мы тоже стали собираться у девчонок, где не было дома больших, играли в жмурки, рассказывали про страшное или рядились. Девчонки наводили себе сажень усы, надевали шапки, а ребята повязывались платками или приделывали из кудели борды. Смеялись, кричали, меняя голоса, и даже бегали показаться соседям: узнают ли?

Один раз, только уже без девчонок, мы гадали. Фролка сбегал домой за скалкой, и мы стали по очереди крутить его в срубе колодца. По тому, как стучала скалка о стенки колодца, будто бы можно было узнать, какое будет имя у твоей жены. Первым гадал Ванька Маяло. Повернувшись к нам от колодца и поправляя съехавшую на глаза шапку, он вполголоса сказал: «Христина! Прямо так вот и выговаривало». По всему было видно, что и другим ребятам слышалось из колодца то же самое, только они не признавались. Когда над колодцем наклонился я, скалка выстукивала совсем другое. «Авдотья, Авдотья, Авдотья», — ясно слышалось мне, и сердце замирало. «Дуня», — радостно подумал я, но ребятам тоже не признался.

Как-то ночью, когда шли мы целой оравой вдоль Зареки, нам показалось привидение. Ночь был морозная, лунная, вся пронизанная белой колючей мглой. Недалеко от избы Балая нам послышалось, что навстречу кто-то идёт, но разглядеть сразу мы ничего не могли; когда же присмотрелись, увидели: с вытянутыми вперёд руками прямо на нас шёл голый человек, даже, казалось, не шёл, а плыл сквозь морозную мглу, такой же белый и сквозной. Нам и в голову прийти не могло, чтобы в такой мороз мог появиться на улице человек нагишом. «Привидение!» — испуганно крикнул сзади меня Фролка, и мы кинулись врассыпную.

На другой день вся Зарека говорила о привидении. Только один Балай слушал и ухмылялся себе в бороду. «Захотелось немножко ребятишек попужать», — признался он потом моей матери.

Долго бы ещё говорили в Зареке о привидении, если бы вскоре не взбудоражило всю деревню другое происшествие.

Под вечер накануне крещения ко мне прибежал Гришка и ещё у ворот закричал: «Сёмку на игрище убили! Пойдём смотреть!» Когда мы прибежали туда, Сёмка лежал на снегу, возле крылечка, с побелевшим, забрызганным кровью лицом. Во двор набежало много народу. Пришёл и сёмкин отец. Протискавшись вперёд и сняв шапку, он со вздохом сказал: «Может, и хорошо, что господь приборал».

Все в деревне знали, что не было житья от Сёмки даже родному отцу. Их работник ещё раньше рассказывал соседям, как однажды пьяный Сёмка поставил перед отцом две большие крынки простокваши и, сняв со стены ружьё, пригрозил: «Хлебай, старый пёс, а не выхлебаешь — застрелю! Не то давай денег на водку!» Был он у богатого отца один сын,

избалованный, и работать не любил. По праздникам, да часто и в будни, он запрягал свою вороную кобылу и гонял взад-вперёд по деревне, выкрикивая угрозы своим недругам. Из голенища у него торчала рукоятка ножа, через плечо висела заряженная берданка. Больше всего он враждовал со своими соседями, братьями Бараюшковыми. Один раз даже выстрелил к ним в окно, но дробь никого не задела. Связываться с Сёмкой охоты ни у кого не было. Даже смелые мужики старались его обходить. Самого Сёмки особенно не боялись, но он был в родстве с Митрием Заложновым.

Когда начало смеркаться, Сёмку положили в сани, накрыли холстиной и увезли домой. Народ стал расходиться, обсуждая случившееся.

— Кто убил-то? — спросила, идя впереди меня, тётка Фёкла низовскую бабу.

— В драке убили. Сёмка-то будто с ножом кинулся на Спиридона, руку ему разрезал. А Гришка-горбун влез на полати и оттуда ударил Сёмку тупицей по голове. Тот и присел. Бараюшковы потом, видно, тоже чем-то стукнули его. Он душу богу и отдал. На двор-то, говорят, уже мёртвого выбросили.

— Допрыгался,— спокойно заключила тётка Фёкла, поправляя на голове шаль.

«Урядник приедет... Допрашивать будут...» — долетали до меня слова, но я уже не вслушивался в них, думая о том, как Сёмка ночью будет лежать в санях под холстиной.

Спать в этот вечер я лёг рано, хотя и не хотелось: боялся.

— Ты что забрался на голбец-то? — крикнула Анисья от шестка.— То шляешься до поздних петухов, а тут и стемнеть-то не успело, как следует, а ты уж на голбце.

Я молчал.

— Не прикидывайся, не сопи — так-то мне и уснул сразу. Возьми-ка кусочек мелу да сходи наставь крестов.

В крещенскую ночь полагалось двери и ворота метить крестами, чтобы в избу и в пригоны не налезла нечистая сила.

Я спрыгнул с голбца, неохотно оделся и вышел из избы.

— Дверь в хлевушку не забудь! — крикнула мне вслед Анисья.

Наставив крестов на двери в амбарчик и в сени, я направился в пригон, но до овечьей хлевушки, вырытой в конце пригона, не дошёл — забоялся.

Вернувшись в избу, я снова залез на голбец и лёг лицом к печи. Анисья больше ни о чём меня не спрашивала, и я скоро взаправду заснул; даже не слышал, как пришёл засидевшийся у кого-то Павел.

Проснулся я утром от анисьиной брани.

— Лентяй, бесстыжая харя, дверь у амбарчика всю искрестил, а дйти до хлевушки — ноги отсохли. Теперича нечистую-то силу оттудова ладаном не выживешь.

Я с Анисьей не пререкался. Спрыгнул с голбца, молча умылся из ручнойники, а днём ушёл к матери.

21. В другой семье

Засиделся я у матери долго.

Когда собрался уходить, было, должно быть, очень поздно, и Артемий сказал матери:

— Пусть Степанко остаётся ночевать: на голбце место свободное.

Я взглянул на мать.

— И верно, оставайся-ко ты у нас, не ходи туда,— подхватила она.

Я обрадовался — мне и самому уходить не хотелось. Снова присел на лавку, снял обутки, из которых торчали портянки, и полез на голбец.

Христина ещё раньше забралась на полаты, Артемий с матерью ушли ночевать в баню, а Фёдор с Катериной постелили себе на полу.

Утром, когда напились чаю и Артемий с Фёдором куда-то уехали, я снова было собрался уходить, но пришёл Балай и стал рассказывать, как в позапрошлую неделю он упустил из капкана волка.

— Поставить-то капкан поставил,— начал он,— а посмотреть на другой день не пошёл, прогостил в Чорданцах у деверя, а волк-то возьми да и попадись в ту же ночь. Понятно, дожидаться меня не стал: отгрыз себе прихлопнутую лапу и был таков. Только кровь на снегу застыла.

— Жить-то всем охота,— со вздохом сказала мать, стоя возле шестка.

— Недолго пожил... Чорданские мужики через два дня вилами закололи,— продолжал Балай.— К Елунину в хлевушку с другими волками забрался. Елунины ребята услышали, что собака под сенями из себя выходит, выскочили кто с чем и прямо к хлевушке. Смекнули, в чём дело. Волки, конечно, наутёк, прямо через плетень. А мой-то перепрыгнуть и не смог, сорвался. Его и прикончили... Из культияпки всё ещё, сказывали, кровь сочилась.

— Елунины-то, поди, и не догадались, почему волк без лапы? — спросила мать.

— Деверь всё им рассказал. Дивились. Обещали даже поставить полштофа — отблагодарить. Волки у чорданских мужиков вот где сидят.— Балай похлопал себя по загривку.— Лес рядом. Как ночь — так они в деревню, по пригонам шарить: у кого телёнка уволкут, у кого овечек.

— Дядя Григорий, а волк с лошадей справится? — спросил я, придвигаясь на лавке поближе к Балаю.

— Не знаю, Степанко, может, и справится, но волки больше жеребятку уважают.

Рассказывал Балай про волков ещё долго, и я опять никуда не ушёл. Когда к полудню вернулись Артемий и Фёдор, Катерина стала собирать на стол, и меня оставили обедать.

Не ушёл я от матери и после обеда. Когда стал у дверей одеваться, мать подошла ко мне и тихо сказала:

— Живи у нас, чего тебе бегать-то туда-сюда.

Я потоптался, глянул украдкой на Артемья и Фёдора и снял сермягу.

К новой семье, да и к новому месту я привык не сразу. Не один раз вечерами, уходя от Тимки или Серёги, я по привычке направлялся к своей старой избе и спохватывался только на полпути или у самых её окошек. С досадой поворачивал обратно и шёл в другой конец Зареки.

Изба у Артемья была лучше нашей. Во дворе стояла баня, топившаяся по-белому, да и хлеба сеял он вроде побольше, чем Павел, но из бедности выбиться тоже не мог. В зимние месяцы он портняжил, но по своей доброте, как говорила мать, брал за это мало, а чаще всего отработывал за какие-то старые долги.

Был он мужик смирный, не курил, пьяным тоже никто его в деревне не видел, но когда всё же случалось ему быть немножко во хмелю, он любил перед своей семьёй побахвалиться:

— Ничего, шея у Артёмки толстая, выдюжит — с голоду не помрём.

— Толстая... Вся в долгу, как в шелку,— шептала Фёдору Катерина, взятая из зажиточной семьи.

Пожив несколько недель у матери, я убедился, что семья Артемья совсем не такая дружная, как мне показалось вначале: Катерина и Фёдор не любили мою мать и за глаза, даже при мне, кололи её словами. Артемий об этом знал и, в свою очередь, косился на них. Всё это подогревалось ещё постоянными нехватками.

Первая ссора при мне между Артемьем и Фёдором произошла из-за денег. Поехал Фёдор в Камышлов с сеном. Продал его за три рубля,

а денег домой не привёз. Купил Катерине на кофту, полфунта сахару, подошвы для сапог и пряников. Все покупки, кроме пряников, которые были уже розданы, лежали на лавке, и мы знали, за что сколько уплачено. По подсчётам Артемья, тридцать копеек должно было остаться, но Фёдор никак не мог вспомнить, на что их потратил.

— Подушную староста спрашивает, Ивану Прокопьевичу задолжали, а ты и гривенника не привёз в дом, — высказывал своё недовольство Артемий. — На прихоти деньги бросаешь! — выкрикнул он, глянув на синий в белую горошинку ситец на лавке. — Погоди большаком-то себя считать. Отца-то не похоронил ещё.

Фёдор сидел на лавке. красный, но отцу не перечил.

На этом, может, всё бы и кончилось, если бы Фёдор нечаянно не выронил из кармана штанов ещё одну покупку, которую он, видать, сегодня показывать не хотел: крошечные детские башмачки, купленные для годовалой дочки Евлаши.

Артемий вскипел.

— Отца обманываешь!.. Туфельки этой чертовке! — выкрикнул он и, должно быть, сам испугался сорвавшихся с языка нехороших слов, затрясся и закрыл лицо руками.

Фёдор вскочил.

— Не попрекай, тятя! На туфельки-то мы с Катериной, поди, заработали. А ежели кому мешаем в доме, можем уйти.

Артемий закричал, тоже вскочил и вырвал у себя клок волос. Христина, стоявшая у стола, схватилась за голову и заголосила. Мать подошла к Артемью и стала его успокаивать:

— Не тревожь ты себя. На сына кричишь-то.

Артемий как-то сразу обмяк и опустил на лавку. Все замолчали. Чувствовалось, что ссора кончилась.

Фёдор и Катерина сначала относились ко мне хорошо, не обижали. Вероятно, потому, что был я послушным, работы никакой не боялся и любил читать; Фёдор был тоже грамотный, да и Катерина немного умела читать, и к моему увлечению книжками они относились с похвалой. Но вскоре после той ссоры их словно подменили. Катерина стала придираться ко мне, подсмеиваться, а Фёдор — поглядывать косо. Я почувствовал, что мешаю им, но чем — не догадывался. Так бы, наверно, и не догадался, если бы как-то ночью не услышал их разговора.

Спал я снова на голбце, а они, как всегда, на полу. Ночь была светлая, и я отчего-то проснулся среди ночи.

— Туфельками попрекнул, — долетели до меня слова Катерины. — Сначала попреки, а потом из дому выживут, Стёпке всё отдадут.

Я лежал, боясь шевельнуться.

— Не отдадут. Он тятю не родной, — шептал Фёдор.

— А ты Парасковье не родной. Вот и квиты, — продолжала сердито шептать Катерина. — У такого тихони, как ты, последние штаны отберут — ты и слова не скажешь.

— Тише... Нашла время... Стёпка-то, может, не спит, — урезонивал Фёдор.

Я затаил дыхание. Хотелось прыгнуть с голбца, закричать: «Не надо мне вашего ничего!» Но я лежал, словно оцепеневший.

Я понял, что и в этой семье житья мне не будет.

22. На Кудельке

У матери всё же я прожил до самой весны и, насилию дождавшись, когда отсеемся, вместе с другими собрался на асбестовые прииски, или, как у нас говорили, на Кудельку. Собралось туда из Щипачей этот раз человек сорок.

Других заработков на стороне у нас не было, и многие из нашей деревни ходили на прииски каждое лето. Как только отсевались, котомку на плечи и целой артелью — туда. Возвращались только к сенокосу.

О приисках я слышался много. Но рассказывали чаще всего о тамошних драках, об отчаянных парнях с кистенями или о том, как волковцы застали в кустах голую девку с парнем и вымазали её дёгтем. О самой же работе говорили мало — считали это неинтересным. И куделька, которую там добывали, мне представлялась в виде обыкновенной льняной кудели, какую прядут в деревне бабы и девки.

Семь вёрст до станции Пышминской мы прошли по утреннему холоду. Положив котомки на землю, мы уселись возле платформы вокруг Андрея Егоровича, который рассказывал что-то смешное. Поблизости от меня сидели Фролка, дядя Василий с Фёклой, Лавруха, Мишка Косой, Павел с Анисьей, Тимка и чуть подальше — матрос Василий, недавно вернувшийся с флота по болезни. Сидел он на своём сундучке, с которым, должно быть, ходил и на военную службу; выделялся он между нами только тельняшкой с синими поперечными полосками да матросской фуражкой, на которой уже не было ленточки.

Мимо нас по платформе прошёл какой-то человек в узеньких брюках в обтяжку. Андрей ехидно ухмыльнулся.

— Ишь какой тонконогий, кляп его возьми!

Все захохотали. Брюки у нас тогда никто не носил, и каждого в брюках, а не в домотканых штанах в синюю и красную нитку, мы считали чужим, из господ.

Скоро за берёзовыми перелесками послышался свисток паровоза. Мы поднялись и, закидывая котомки за плечи, заторопились на платформу. Тяжело пыхтя и выпуская белый пар, перед нами прошёл паровоз, за ним потянулись вагоны. Сначала мы не знали, в какой вагон садиться, но к нам подошёл тот самый в брюках, над которым мы только что смеялись, и направил нас в конец поезда, где виднелось несколько красных товарных вагонов.

На поезде я до этого ни разу не ездил и, подходя к вагону, ждал чего-то необыкновенного, но ничего такого не оказалось. Павел подсобил мне в него залезть и бросил за мной мою котомку. Когда все уже были в вагоне, кто-то снаружи закрыл за нами дверь, и в вагоне стало почти совсем темно. Полок и скамеек в нём не было, и мы уселись прямо на полу. В тесноте и сутолоке я даже не заметил, как тронулся поезд. Только по вздрагиванию вагона я догадался потом, что мы едем...

С поезда мы сошли на станции Грязновской, откуда сразу же свернули в тёмный сосновый лес, на пыльную таёжную дорогу. До приисков оставалось ещё больше тридцати вёрст.

С самого же начала кое-кто стал отставать: одни быстро натёрли себе ноги, у других были слишком тяжёлые котомки. Мы с Павлом и Мишкой Косым шли впереди.

— Ходить надо умеючи. Ноги в коленках сильно не сгибай: устанут скоро, — наставлял меня Мишка. — Смотри, как я иду!

Он действительно шёл легко, собранно, и мы с Павлом еле за ним поспевали.

Вскоре нас обогнала коляска, запряжённая парой лошадей, в которой сидел какой-то человек в шляпе. Впереди и сзади коляски скакало по одному стражнику.

— Деньги везут, — пояснил Мишка. — С охраной. Боятся так-то. Лонись¹, говорят, кассу на приисках во время полочки ограбили. В чёрных масках и с револьверами трое ворвались. Бумажные деньги, говорят, себе забрали, а серебро и медяки пригоршнями побросали народу. «Бе-

¹ Прошлым летом.

рите! — кричали. — Всё ваше!» Люди, конечно, кинулись подбирать деньги, началась свалка, а те — по коням и в лес.

— А охрана? — спросил Павел.

— Охрана? — презрительно махнул рукой Мишка. — Попрятались. Вот-те и охрана. Главара шайки тут вся полиция, говорят, знает, да тронуть боится.

День начинался жаркий. Солнце уже палило вовсю, и мы свернули в тень, на боковую тропинку, вилявшую между сосен, и пошли гуськом уже молча. В нагретом воздухе пахло смолой и лесными травами...

На прииски пришли только под вечер. Лес как-то сразу поредел, и сквозь жиденькие голые сосны я увидел однообразные серые постройки, а за ними целые горы щебня и камня.

— Вот и Куделька, — показал рукой Мишка. — Тоскливое, брат, место: камень да бараки.

Скоро мы подошли к очень глубокой котловине, над которой по проволоке двигался какой-то большой железный ящик с камнями. Люди в котловине копошились, как муравьи, и вся она звенела и стучала. Железный ящик на проволоке я проводил глазами через всю котловину. «А вдруг опрокинется и побьёт людей», — мелькнуло у меня в голове. Но опрокинулся он только за краем котловины, где, видать, и полагалось ему опрокидываться; обратно ящик побежал по проволоке порожний. «А что, если сесть в него? Вот страшно-то было бы!» — продолжало работать моё воображение.

Новичком во всей партии оказался я один, и Мишка не отходил от меня.

— Эта котловина разрезом называется, — пояснял он. — В самой-то середке давно до воды докопались и робят там люди в непромокаемых сапогах. Вода-то студёная. А по бокам, кругом, видишь уступы? Это забои. Кудельку там вот и добывают.

Постояв недолго у разреза, мы пошли искать подходящее место для постройки самодельного барака. Место нашли скоро, до захода солнца было ещё далеко, и мы взялись за работу. Насобирали камней, старых досок, срубили в лесу несколько сосёнок и принялись ладить барак. Работали быстро, весело, и к сумеркам жильё было готово. На земляной пол мы с Фролкой набросали хвои, чтобы мягко было ногам.

Спать легли, даже не поужинав, чуть стемнело. И мужья с жёнами и холостые парни — все улеглись на нары вповалку. Было тесно, и откуда-то сразу напрыгали блохи, но после дороги и работы даже блохи не помещали скоро уснуть.

Проснулся я утром не от петушиного пения, как, бывало, в деревне, а от побудного гудка, от железного рёва, сотрясавшего воздух. Когда мы с Фролкой и Тимкой побежали к канаве умыться, уже кругом суетились люди: кто бежал с утиральником, кто с котелком. За дымом костров, разведённых у бараков, и реденькими соснами подымалось большое багровое солнце.

Анисья быстро вскипятила в котелке воду, бросила в неё сухарей, кусочек масла и позвала Павла и меня хлебать сахарницу.

Едва успел я вымыться в канаве котелок после завтрака, как над одной крышей по ту сторону разреза взлетел белый столбик пара и почти вместе с ним опять вырвался гудок, густой-густой, как будто он шёл откуда-то из нутра земли. Это был гудок на работу.

Мы сначала направились в контору за назначением. Я страшно боялся, как бы меня не отделили от своих, не поставили на работу с чужими ребятами. Но всё обошлось хорошо: всех из нашей деревни направили в одно место. Отдельно очутились только Тимка и матрос Василий. Тимке захотелось походить в непромокаемых сапогах с высокими голенищами,

и он сам попросился в мокрый забой, а Василия назначили машинистом на маленький паровозик, который я уже там видел. Он тут же, неподалёку, бегал по узкоколейке и тоненько свистел.

Жить устроился Василий тоже где-то отдельно от нас, и видал я его потом только на паровозе — кудрявого, черноглазого и всегда перепачканного машинным маслом.

В то утро у меня на руках появилась небольшая синенькая расчётная книжка, в которой сразу же за моей фамилией, именем и отчеством значилось, что я получаю 30 копеек в день. Тут же было указано и с какого времени я начал работать на приисках: 15 мая 1910 года.

Очутившись в забое, я сразу спросил у Фролки, где тут куделька. Он усмехнулся и показал рукой на каменную породу, иссеченную светлыми прожилками, местами тоненькими, как ниточка, местами шириною в большой палец. Эти прожилки и были куделькой. Немного оглядевшись и освоившись в забое, мы взялись за работу. Зазвенели о камень кирки и ломы, и под ноги нам посыпались большие и маленькие куски породы, которые мы тут же разбивали. В деревянном ящике позади вскоре образовалась небольшая горка асбеста. Твёрдый и тяжёлый, он походил на обломок зеленовато-серых каменных плиток, а не на ту кудельку, какой она представлялась мне в деревне. Но я отломил от одной такой плитки небольшой кусочек, растеребил его пальцами, и в руках у меня на самом деле оказались мягкие, пушистые волокна.

Работал я рядом с Фролкой (да и спал в бараке тоже рядом с ним). Но это соседство вначале к добру не привело. На прииски Фролка пришёл второй раз, работу знал, и ему не терпелось как-то передо мной себя показать. Засучив рукава и поплевав на ладони, он с яростью начал махать киркой, пытаясь отрубить большую глыбу породы. Не знаю, как это получилось, но он зацепил киркой за мою рубаху и раскроил её от плеча до самого низа. Я рассердился на Фролку и, утирая слёзы, стал обзывать его попом — такое было у него прозвище. Но в обед рубаху Анисья починила, и мы снова работали с Фролкой как ни в чём не бывало. Смирный и незлобивый, он попрежнему поглядывал на меня добрыми глазами, готовый помочь в любую минуту. Был он постарше меня года на три, сильнее, и его кирке и лому порода поддавалась легче.

День был жаркий и тянулся очень долго.

Когда мы вернулись с работы к своему барaku, солнце стояло над землёй почти так же низко, как и в тот утренний час, когда мы выходили на работу. Только тогда оно было совсем красное и не слепило глаза, а теперь всё ещё пылало неостывшим жаром, и дальние сосны, за которые оно заходило, стояли будто в огне.

Анисья снова сварила сахарницу, вскипятила чаю, и мы присели у костра ужинать. У соседних барakov тоже дымили костры; в разных концах начали пиликать гармошки, слышались песни. Некоторые наши мужики и парни пошли к соседним баракам посмотреть на людей, послушать где-нибудь хорошего гармониста, а может, и побороться за опояски с чужими деревенскими. Но у меня на уме было другое. Мне не терпелось сходить на ту сторону канавы к большому серому дому, крытому сосновой щепой, — узнать, кто в нём живёт: уж не сам ли хозяин приисков? Пошёл я туда несмело, с оглядкой, но никто меня до самой двери не остановил и не спросил, чего мне тут надо. Поднявшись на низенькое крылечко, я с трудом перевёл от волнения дух, а когда осторожно открыл скрипучую дверь — остолбенел от удивления: я увидел внутри голые нары по бокам, где сидели и лежали люди, увидел развешанные на верёвках какие-то тряпки и копошившихся на полу грязных и голобрюхих ребятишек. Мне даже стало досадно на себя, что я так легко обманулся.

Когда я вернулся к своему бараку и снова глянул на дом за канавой, я заметил на нём и облупившуюся штукатурку, и разбитые стёкла в одном окне, и почти перед самой его дверью деревянный нужник.

Это была, как потом я узнал, большая рабочая казарма.

Дни стояли жаркие. Солнце начинало палить почти с самого утра. На дрогах привозили в разрез бочку с водой, и возле неё всё время топтались люди. Вода в ней скоро становилась совершенно тёплой, но тяжёлый железный ковш ни минуты не висел на крючке.

Как-то раз я застал у бочки трёх разозлённых татарских паренёчков; один из них был побольше, такой, как наш Фролка, а другие — с меня. Тот, который был побольше, кричал на белобрысого парня с взъерошенными льняными волосами за то, что тот, желая подразнить татарских парнишек, опустил в бочку крест, сделанный из сосновой палки.

— Зачем смеялся? Ваша вера мы не трогай. Зачем наша вера трогай? — кричал скуластый паренёк в тюбетейке, наступая на обидчика.

— Молчи, свиное ухо, а то ещё не то будет! — огрызался белобрысый парень, пятясь от бочки.

На другой день я тоже решил подразнить татарских ребятишек. Сделал из палочки крест и пошёл к бочке, поглядывая, не идут ли они туда. И словно подгадал. Из забоя, где работали татары, выскочили два паренёчка и направились к бочке. Я прибавил шагу. Опустив на воду крест, я стал как ни в чём не бывало. пить из ковша, кося глазом на приближавшихся черномазых мальчишек. Один из них взял у меня из руки ковшик, склонился над бочкой, но воды не зачерпнул: поднял на меня сердитые глаза.

— Дурной малайка! — задыхаясь, выговорил он и пошёл на меня с кулаками.

Другой парнишка тоже подскочил ко мне, крича что-то по-татарски, и мне попало бы от них, если бы не подошли в это время Павел и Фролка.

— Зачем дразнил? — строго спросил Павел по пути к забюю.

— Не я один — и другие дразнят, — не глядя на брата, пробормотал я.

— Другие, другие... А ты своей головой думай. Чего тебе плохого татарчата сделали? Думаешь, по-другому говорят, так не такие же люди, как мы с тобой? Видел рубаху на парне, что с кулаками на тебя лез? В таких же заплатах, что и твоя.

Я шёл за братом, понурился голову.

На другой день я опять повстречался с этими ребятами у бочки, но они только усмехнулись между собой и на меня глянули вроде не сердито.

Подошла первая получка. Кроме двух серебряных рублей и трёх гривенников, я получил ещё одну монетку, такую новенькую и светлую, будто её из солнышка сделали. Дядя Фёдор, когда продал овёс в Камышловое осенью, показывал нам с Павлом пятирублёвый золотой. Он был в точности такой же. У меня ёкнуло сердце. Я даже не решился сразу отойти от окошечка. «Пойду, а кассир вдруг спохватится, что ошибся, и стражника позовёт», — думал я. Кассир действительно как-то нехорошо покосился на меня, а потом глянул в окошечко и грубо сказал:

— Чего рот разинул, проходи!

Меня быстро оттеснили.

Выйдя за дверь, я несмело разжал кулак и с бьющимся сердцем глянул на светлую монетку: это был грош — полкопейки.

После получки снова пошло всё по-старому, и я уже уверился, что так до конца и буду работать. Но то, чего я боялся, всё же случилось: из забоя, от наших деревенских меня перевели на другое место, к чужим ребятишкам. Вышло это неожиданно. Напали мы с Фролкой в забое на

широкую жилу асбеста. Сначала прибежал десятник нашего участка, а через час пришёл и сам управляющий.

— Богатая жила, богатая,— повторил несколько раз управляющий, тыча в твёрдую породу кончиком тросточки.— Разрабатывайте поживее. Кто у вас стоит на этом месте?— спросил он у десятника. Тот показал на Фролку и на меня.— Этот мальчик работает в забое?— удивлённо пожал плечами управляющий.— Сколько лет ему?

Десятник вопросительно глянул на меня.

— Двенадцать,— не задумываясь, ответил я, накинув себе лишний год.

— М-да,— протянул управляющий,— много такой наработает!— Он снова повернулся к десятнику.— Сейчас же поставьте на это место взрослого, а мальчика переведите на просевку мусора.

У меня упало сердце. Я с тоской глянул на Фролку и почувствовал, что начинают душить слёзы.

— Ничего, не в Америку отсылают. Тут же, поблизости будешь,— успокаивал меня Фролка, заметив мои слёзы, но я прислонился к стене забоя и заплакал навзрыд.

Поставив на моё место Мишку Косого, десятник повёл меня на новую работу.

Почти что рядом с разрезом я увидел груды асбестового мусора и высокие покатые решёта, у которых с железными лопатами в руках работали ребяташки...

Поставили меня к решету вместе с одним бойким и разговорчивым парнишкой. Ростом он был с меня, только рябой и курносый. Разговаривать за работой было трудно, но к обеду я уже знал, что он из деревни Петушки, из-под Каменского завода, и зовут его Елёской, на прииски пришёл вместе с отцом, который работает в мокром забое; знал, что есть у них в деревне силач, Сенька Оглоблин, которого все боятся.

— Ежли Сенька осердится на какого-нибудь мужика,— рассказывал Елёска,— бить не станет, а снимет с его головы шапку, приподымет угол первой попавшейся избы и прищемит шапку. Попробуй, вытащи!

Мне тоже захотелось перед Елёской похвастаться, и я рассказал ему, как Митрий Заложнов подымал на себе лошадь; Елёска только хмыкнул:

— Подумаешь, лошадь! Изба-то потяжелыше.

Работали мы с Елёской за разговорами не очень шибко, но кожа на ладонях от черенка лопаты всё же начала гореть.

Перед самым обедом Елёска наклонился ко мне и почти шёпотом сказал:

— Знаешь что, Стёпка, давай купим белого хлеба. Фунт на двоих. Хочешь?

Я не знал, что сказать. Деньги после получки я отдал Павлу, и в кармане у меня лежал только один грошик, тот самый, который я принял за золотой.

— Деньги у меня есть,— словно угадал мои мысли Елёска.— Только недостаёт немножко. Фунт четыре с половиной копейки стоит, а у меня только четыре.

Я достал из кармана грошик.

— Вот здорово!— обрадовался Елёска, кладя его себе в карман.

Как только заревел гудок на обед, мы побежали в приисковую лавку. Приказчик взял булку с поджаренной коркой, большим ножом отрезал горбушку и положил на весы... Выйдя из лавки, мы тут же присели возле сосны, и Елёска разломил горбушку пополам. Белого, крупчатного хлеба он тоже, видать, никогда не едал, и откусывали мы понемногу, подбирая каждую крошку на подоле рубахи.

Доев хлеб, мы пошли с Елёской вместе. Жили они с отцом, оказалось, в той самой рабочей казарме, которая стояла через канаву от нашего

барака. Узнав об этом, я не рассказал Елёске, как тогда обманулся с их казармой, приняв её за хозяйский дом, но о хозяине всё же у него спросил.

— Так и станет он тебе тут жить, — уверенно начал Елёска. — Тут у него управляющий. А сам-то живёт в другом государстве. Туда и кудельку нашу велит отправлять. Тамошний-то царь, сказывают, никаких денег за неё не жалеет, одежду из неё своим солдатам припасает. И эту одежду, сказывают, ни сабля её рубит, ни огонь не берёт.

Я и не заметил, как мы дошли до нашего барака. Елёска вприпрыжку побежал на ту сторону канавы, а я подошёл к дымному костру, где Анисья и Павел собирались ужинать.

— Товарища себе нашёл, — с улыбкой заметил Павел, довольный, что пришёл я с работы весёлый, а не заплаканный, каким уходил утром из забоя.

С Елёской мы действительно подружились сразу же. Но дня через два и других ребятшек на просевке я знал уже по именам и кто из какой деревни. А когда на приисках произошла забастовка из-за «вечорки», я подружился и с ними.

Кроме рабочего дня, на приисках ввели ещё трёхчасовую вечернюю работу, «вечорку». Введена она была для желающих, но оставались на неё почти все.

Приходить поздно с вечорки мы вроде и попривыкли, будто бы так и надо было, но многие, видно, были недовольны, даже из наших деревенских кое-кто поговаривал, что за вечорку мало платят. И однажды, когда мы шли с работы, Елёска по секрету мне сказал:

— Скоро бастовать будем! Я от тятки узнал. Ежли управляющий по пятаку не надбавит, оставаться на вечорку не будем. Только ты никому об этом не говори, а то тятка узнает, что я тебе сказал, заругается.

Но елёскин секрет не был уже секретом.

В тот же вечер я застал у нас в бараке матроса Василия.

— Управляющий пойдёт на уступку, если мы будем стоять на своём, — говорил негромко Василий, собравшись уже уходить.

В бараке было душно и накурено. Сидели, видать, долго.

Работа на другой день началась нормально, вышли все по гудку, но даже у нас на просевке чувствовалось, что сегодня должна начаться забастовка. Разговаривали ребята громче, чем всегда, в перерывы окружали Елёску, который, казалось нам, всегда обо всём знал. Раза два забежал к нам десятник, но мы при нём сразу замолкали, делая вид, что очень заняты работой, и он тут же уходил.

Началась забастовка сразу, как только заревел гудок в конце рабочего дня. Обычно после этого гудка почти все оставались на местах и начиналась вечорка, а сегодня из всех забоев люди хлынули наверх. Мы на просевке тоже бросили работу и пошли к большим.

Кругом всё замерло, грохот работы затих, но в некоторых забоях кое-кто всё же остался. Их стали ругать, грозить им кулаками, но работу они не бросали. Тогда сверху полетели камни. Кидали их и взрослые, но больше всего мы. Лихой ватагой носились мы вокруг разреза за своим командиром Елёской и отступникам от забастовки пощады не давали.

Когда мы от разреза прибежали к белому зданию конторы, куда собирались все, там уже гудела и колыхалась огромная толпа. Выше всех на целую голову, у двери стоял человек в очках и, размахивая руками, уговаривал собравшихся сейчас же становиться на работу и не слушать смутьянов.

— Долой! Хватит! — прокричал какой-то худощавый безбородый мужик, поднявшись на пенёк. — Чего с ним, долговязым, разговаривать! Пусть управляющий выходит!

— Это тятка мой,— похвастался Елёска, блестя глазами.

— Управляющего! Управляющего! — закричали кругом, и толпа заколыхалась ещё сильнее.

Но крики как-то сразу оборвались, и все повернули головы в одну сторону. Поскрипывая новенькими сёдлами, к толпе подскакали конные полицейские. Наезжая прямо на людей и размахивая плётками, они начали оттеснять толпу от крыльца конторы.

— Этот со светлыми-то погонами, толстый, — старший у них, — не удержался и пояснил Елёска.

— Р-разойдись! — закричал толстый со светлыми погонами и стал теснить лошадей татарских парней, стоявших перед ним. Один из них, бритоголовый, в красной рубахе с расстёгнутым воротом, схватил лошадь под уздцы. Толстый полицейский побагровел и со всего размаху ударил татарина плетью. Все замерли.

— Шкура! За что бьёшь? — почти у самого моего уха закричал белобрысый парень, протискиваясь вперёд с камнем в руке.

Я сразу узнал в нём того белобрысого, с льняными волосами, который дразнил у бочки татарских ребят.

Закричали на полицейских и другие и тоже стали хватать камни. Не знаю, чем бы всё это кончилось, если бы в эту минуту не вышел на крыльцо управляющий.

— Не так, господин полицейский, начинаете порядок наводить,— нарочито громко, чтобы услышали все, сказал управляющий. Все притихли, ожидая, что он скажет дальше.— А вы, братцы,— он показал рукой на нас, — зря шумите. Всё уладим добром.

— Посмотрим, — насмешливо сказал елёскин отец, стоя на пенёке.

Не помню, чем кончилась забастовка, но на работу мы вышли только дня через два.

Снова потянулись длинные, однообразные дни. Иногда в короткие десятиминутные перерывы я бегал к своим в забой, но уходил оттуда к ребятам на просевку с лёгким сердцем: тоже — к своим.

23. Домой

В конце июня, проработав на приисках пять или шесть недель, мы попросили расчёт и всей артелью отправились домой: приближался сенокос.

Возвращались мы не с пустыми карманами: кое-что подзаработали, даже у меня в кошельке лежала трёхрублёвая бумажка, прибережённая для матери, но мы не радовались. Стояла засуха, с самой весны не было ни одного дождя. В мутновато-голубом небе, почти над самой головой, пылало белое солнце. Из-под ног на дороге подымалась сухая горячая пыль. Низкие и редкие хлеба по сторонам желтели выгоревшими пятнами.

Когда мы от станции Пышминской прошли несколько вёрст лесом и очутились на открытом высоком месте, вдали, за полями и перелесками, показалась наша деревня.

От засухи стояла вокруг неподвижная мутноватая мгла. Словно нерасеявшимся дымом от потушенных лесных пожаров, ею заволокло всю округу. Трудно было разглядеть сквозь неё отдельные избы в нашей деревне, школу на горе, колокольню часовни, казённый амбар за околицей, трудно было разглядеть сквозь неё и мой завтрашний день.

1955 г.



СЕРГЕЙ ЧЕКМАРЕВ

★

ИЗ ТРЕХ ТЕТРАДЕЙ

Дорогие друзья, комсомольцы целнных земель, цвет молодёжи, вы, чей вдохновенный подвиг оживил пустующие просторы далёких степей;

товарищи студенты, думающие о своей дороге в жизни, о своём участии в ней, жаждающие настоящего дела во славу Родины;

дорогие друзья, собирающиеся в эти дни на Третье Всесоюзное совещание молодых писателей, и те, которые ещё только-только берутся за перо, мечтая о своей дороге в литературе,—

все, чьи сердца обращены к труду, к творчеству, к действию, вы должны знать об этой жизни, ставшей поэзией, и об этой поэзии, ставшей жизнью.

В редакцию «Нового мира» недавно были присланы тетради, заполненные стихами, очерками, письмами неизвестного нам автора. От строки к строке раскрывается в них чистая, горячая жизнь молодого человека. Со страниц этих тетрадей к нам шагнул юноша с замечательной душой патриота, пришёл одарённый поэт, обладающий высоким чувством поэтического, поэт, пример которого ещё раз учит тому, как надо жить на свете, как надо работать, как надо думать о жизни, чтобы твоё творчество волновало других. Многие в этих тетрадях производят впечатление написанного вот сейчас, многое найдёт отклик в душе каждого молодого человека сегодня, хотя последняя строка этих тетрадей была написана в мае 1933 года.

В мае 1933 года оборвалась жизнь Сергея Чекмарёва. Судебная экспертиза установила, что смерть последовала от удара в висок. Ударила ли его перевернувшаяся при переезде вброд через речку повозка или вооружённая чем-то рука врага, сводившего счёты с молодым зоотехником-комсомольцем, осталось тайной. Но это была смерть солдата на посту...

Короткая биография Сергея Чекмарёва могла бы уместиться в нескольких строках. Родился в 1910 году, учился в средней школе в Москве. Был пионером, комсомольцем, бегал на литературные вечера, любил Маяковского. В 1929 году поступил в сельскохозяйственный институт, был активным студентом, на втором курсе стал заместителем редактора печатной институтской газеты. Ездил на практику в деревню, полюбил её, и когда после окончания института перед ним открылся выбор дороги, он предпочёл передний край — поехал в Башкирию зоотехником во вновь организуемый мясовхоз.

За этой короткой справкой стоит жизнь, полная волнений и борьбы; за всем этим стоит бескорыстная и преданная любовь к Родине. Главные черты юноши Чекмарёва — активное, страстное отношение к делу, нетерпимость к недостаткам, стремление увидеть, поддержать новое, хорошее. В его порой неумелых ещё стихах того времени видно, что сердце его было широко открыто всему многообразию жизни.

И по тем произведениям, которые мы публикуем в настоящем помере журнала, и по тем стихам, очеркам, отрывкам, заготовкам, которые в дальнейшем найдут своё место в отдельной книге Сергея Чекмарёва,— а она должна быть издана! — читатель сразу увидит поэтические истоки и привязанности поэта.

Судя по датам в тетрадах «Самое первое» и «Муза карапуза», С. Чекмарёв начал писать рано, лет одиннадцати. Это обычные детские стихи — жажда приключений, неутолённая многим прочитанным. Тут есть и стихи о птице:

Напрасно ты рвёшься из клетки,
железные прутья крепки,
не петь тебе больше на ветке,
не видеть зеркальной реки.

Но большинство стихотворений посвящено школе: портреты соучеников, сатирические зарисовки.. Видно, что мальчик уже увлекался поэзией, но симпатии его ещё не определились: стих, которым он пишет, — расплывчатый, детский.

Следующая тетрадь озаглавлена так:

И наконец
вот —
читатель, стой! —
начинается год
двадцать шестой.

Читаем:

Солнце, повидимому, оборвало вожжи,
быстро мчится и скрывается за лесом.
Наступила темнота, а негодяй дождик
хитро подкрался и к утру залил всё.

Наутро небо ещё серее,
грязь на дороге глыбами вот этакими..
Сумрак... А мокрые кусты сирени
вдаль прочувствованно кивают ветками.

Откуда эти рифмы? Что это за интонация — такая знакомая?

Вспоминаем, что к тому времени уже вышли «Люблю», «Про это», «Владимир Ильич Ленин», «Юбилейное», многие заграничные стихи Маяковского. В том же 1926 году была опубликована статья «Как делать стихи»...

Читая тетради Сергея Чекмарёва — от стиха к стиху, от года к году, — видишь, что он знал и особенной любовью любил Маяковского. Только ли интонации, только ли рифмы увидел он у любимого поэта? Читаем стихотворение «Для памяти»:

Вероятно, многих позабуду ещё,
Разбросаю память по годам.
Второпях шагая
в позабудущее,
Время мчится быстро,
как всегда.
И звериная злоба,
ухватив раз пять,
Распустит помягче
лапки цепкие,
Вместо электрических
распятый
Встанут сразу —
Сакко и Ванцетти.
И чтоб эту боль
не забыть второпях..
Не простить
озверелой банде,
Я хочу на своих
полотняных стихах
Завязать узелок
для памяти...

Это отношение поэзии к жизни, эта гражданская, человеческая активность — то главное, чему стал учиться начинающий поэт у Маяковского, следуя его поэтике.

По дороге в деревню юноша записывает:

На рельсах поезд сердится.
Он хочет
ехать по лесу,
своё
он хочет сердце
стране
отдать на пользу.

(Стихотворение «Остановка»).

В стихотворении «Брату Толе» (Анатолий Чекмарёв собрал и прислал нам эти рукописи брата) он призывает:

Во дворе,
в избе,
на улице
крой,
ходи,
возись,
спеши,
чтобы каждый
стук пульса
был бы стуком
прямо в жизнь.

Сергею Чекмарёву чуждо иждивенческое отношение к стиху, он ищет, пробует, иногда доходя до словесной игры:

До ржи
достав,
дрожит
состав.

Но это проба, это отбрасывается...

Большое влияние на Чекмарёва оказывают сатирические стихи Маяковского. Он обрушивается на увлечение молодёжи заграничной кинооерундой, пишет «Романс» о хапугах:

Я шёл, и ворочались мысли в мозгах,
ах,
Все жадно рвут у жизни края,
а я?

Он критикует обывательские настроения некоторых своих товарищей, боящихся трудных жизненных дорог, рассуждающих:

Господа!
Я люблю ходить в кино,
чувствовать ветер времени,
неужели же мне навек
суждено
оставаться
в этой деревне?

Сергей Чекмарёв всё глубже проникает в сущность целеустремлённой, активной поэзии Маяковского, хотя в студенческие годы учёба у великого поэта порой оборачивалась простым подражанием. В этой связи хочется ещё и ещё раз сказать о том, что

некоторые наши критики чересчур поспешно и нервозно ловят молодых и начинающих поэтов на подражании Маяковскому, пугают этим, как будто подражание Маяковскому особенно опасно! Подражание Маяковскому на первых порах бывает и плодотворным, оно причает к общественной активности, толкает на поиск в поэзии. В дальнейшем же каждый истинно одарённый поэт найдёт себе дорогу, обретёт свой голос.

Так и Сергей Чекмарёв по окончании института, перед лицом жизни, нашёл свои слова, свою интонацию, сохранив многое ценное, чему научился. Тетради начала тридцатых годов, которыми открывается недолгий самостоятельный творческий путь Сергея Чекмарёва, озаглавлены двумя четверостишиями, выразившими его отношение к поэзии, к жизни:

Открыв
 последующую страницу,
 читатель скажет,
 расвирепев:
 «Поэт,
 как не стыдно вам срамиться,
 это же Маяковского перепев!»
 Потише, товарищ!
 Послушайте вот:
 теперь пятилетки решающий год,
 неважно,
 кем быть
 и кому подражать,
 важно — бить,
 важно — поражать!

С этих тетрадей начинается двухлетний, более зрелый период в творчестве Сергея Чекмарёва.

Творчество Сергея Чекмарёва, его жизнь, типичная для молодых людей его поколения — участников великого социалистического переустройства советской деревни, создателей индустрии нашей страны, — волнуют удивительной цельностью взглядов на жизнь, самоотверженной верой в будущее, полной отдачей себя общей цели.

Ещё школьником Сергей Чекмарёв начал впитывать в себя революционные традиции народа, в институте проявилось его понимание идейной насыщенности нашей жизни, борьбы. Отсюда у Сергея Чекмарёва такое ясное представление о своём месте в жизни, поэтому он без колебаний поехал на трудную работу.

«Лучше трудно, чем нудно, так я считаю», — писал он в письме. В одном из последних стихотворений, «Размышление на станции Карталы», он пишет о чувстве, очень родственном сейчас молодёжи, осваивающей целину:

Я знаю—я нужен степи дозарезу,
 Здесь идут пятилетки года,
 И если в поезд сейчас я влезу,
 Что же со степью будет тогда?

 Но нет, пожалуй, это неверно,
 Я, пожалуй, немного лгу,
 Она без меня проживёт, наверно,
 Это я без неё не могу.

В этих строках — весь он: его душевная чистота, бескорыстная преданность Родине...

Листая эти давние тетради, скорбишь о ранней смерти писателя и всё же при этом чувствуешь, как бесконечна его жизнь. Он сам в своём удивительном стихотворении «Где я? Что со мной?» выразил это чувство:

Ты думаешь: «Вести
 В воде утонули,
 А наше суровое
 Время не терпит.
 Его погубили
 Кулацкие пули,
 Его засосали
 Уральские степи.
 И снова молчанье
 Под белою крышей,
 Лишь кони проносятся
 Ночью безвестной.
 И что закричал он —
 Никто не услышал,
 И где похоронен он —
 Неизвестно».
 Товарищ! Не верь же
 Вороньему карку,
 Отбрось ворожей
 Серые приметы.
 Купи на Кузнецком
 Уральскую карту,
 Вглядишься в разноцветные
 Миллиметры.
 Возьми, прогляди
 Оренбургскую ветку.
 Ты видишь, к востоку
 Написано: «Еткуль».
 Написано «Еткуль»,
 Поставлена точка.
 И сани несутся,
 Скрипя полозьями,
 И вьюга махнула мне
 Белым платочком —
 Мы стали тут с нею
 Большими друзьями.

Двадцать два года хранились эти тетради в семье Чекмарёвых. Перелистывая их, удивляешься тому, что они до сих пор не стали достоянием читателя. Объясняется это тем, что сам Сергей Чекмарёв и не собирался печатать написанное. А младший брат Сергея, Анатолий, зная отношение Сергея к своим рукописям, не считал возможным предложить их вниманию редакции.

«Сначала я хочу жить, — говорит Сергей Чекмарёв в одном из писем, — а потом уже писать о жизни, сперва любить, а потом писать про любовь». «Первую половину жизни я буду писать для себя, вторую половину — для всех».

Он не прожил и первой половины своей жизни. Но то, как ярко он жил, то, что успел он написать в скромном расчёте «для себя», — всё это было посвящено нам всем, нашей Родине, и мы этого не забудем отныне, глубоко сожалея о безвременной гибели талантливого молодого советского писателя.

Михаил Луконин.

Ниже публикуем ряд стихотворений, дневниковые записи, отрывки из писем Сергея Чекмарёва.

Стихи студенческих лет

ОДИН К ОДНОМУ

Бывало,
 студент
 пройдёт стороной,
 И скажет.
 этак рассеянно:
 — Вот тут бы, мол, диском,
 а тут бороной.
 ...А поле уже посеяно.
 Теперь
 мы изъездили
 весь Казахстан,
 И сторону
 знаем кавказскую,
 И эти рассказы
 у вас на устах
 Нам кажутся
 детской сказкою.
 Теперь же
 недаром: один к одному
 Сияют
 зари излучины,
 Овечье «бя»
 и коровье «му»
 До точки
 нами изучены.
 Недаром
 мы гнали стада за версту,
 Недаром
 в навозе
 марались,
 Под тёплой
 шерстью
 слушали стук
 Артерии феморалис¹.
 Недаром
 над нами
 бродила луна,
 Лучами беля, как известкой.
 Она нам — корова, —
 как песня, родна
 И как свои пальцы
 известна.
 По сизому небу
 плывут облака,
 Корова
 жуёт
 и думает:
 «Сердитые люди
 отпяли телка,
 В овсяной соломе мало белка,
 И жизнь моя очень угрюмая».

¹ Бедренная артерия. (Примеч. ред.)

Я запахом талого снега дышу,
 я знаю
 тоску коровью,
 И я
 не чернилами
 это пишу,
 А собственной сердца
 кровью.
 И я
 говорю:
 растай, тоска,
 Коровья печаль,
 затихни —
 В вузе,
 где мелом
 стучит доска,
 Учится зоотехник.
 Он пишет конспекты,
 листает тома,
 Льёт кислоту в бюретки,
 Он готовится
 силу ума
 На службу
 отдать пятилетке.
 И он придёт
 среди пыльных степей,
 Среди леска поределого
 Строить
 силосные башни тебе
 И заново мир переделывать.

* * *

Большеви́стская
 эта
 вторая весна,
 Я видел её
 на равнинах
 Урала.
 Она мне трактором
 в уши орала,
 Она зачастую
 лишала сна.

В ПУТИ

Звонок зазвенел,
 паровоз заорал,
 Бригада студентов —
 мы мчим на Урал.
 Вагоны набиты,
 и полки тесны,
 Мы солдаты
 второй
 большеви́стской весны.
 Грустить
 или плакать
 нам нету причин,

«Как раз бывает особенно прочен
Дом, построенный на песке».

И вспомнил: она так даёт свою руку,
Со мною бродит, больше ни с кем.
Может, и правда прочная штука.
Дом, построенный на песке?

Снег колючий падает с веток...
Может, и правда конец тоске?
И будет сиять таким чудным светом
Дом,
 построенный
 на песке?!

* *
*

Ты скажешь «нет»? Ты скажешь «да»?
Пока — одно из двух.
Но, Тоня, помни — я всегда,
Всегда твой верный друг.
Я буду там, где должен быть,
Куда поставит класс,
Но мне нигде не позабыть
Сиянья серых глаз.

* *
*

Гляди: уже по Лиственной,
Где институт мясной,
Тревожною, таинственной
Повеяло весной.
Уже ручьи забулькали
По всей аллее сплошь.
Отправишься за булками,
Не вытащишь калош.
Ворвался ветер в форточку
С заоблачных высот,
И умывает мордочку
На крыше серый кот.
Но виснет сердце гирею,
Лежит на сердце тень:
В далёкую Башкирию
Я еду через день.
Средь гула, среди дыма я
Забудусь ли в тоске?
Но ты, моя любимая,
Останешься в Москве.
В Москве, где всё закружено,
Где звон, где шум, где гуд,
В Москве, где шёлк, где кружево,
В Москве, где столько губ.
Где всё огнями залито,
Где окна жгут, манят,
Ты позабудешь за лето
Мой исподлобья взгляд.

В Москве, где зори молоды,
 Где столько лиц и встреч,
 Забудешь очень скоро ты
 Мою простую речь.
 В Москве, где взгляды — омуты,
 Где жизнь кипит, как кровь,
 Другому ты, другому ты
 Отдашь свою любовь.
 Средь топота овечьего,
 Среди сосновых смол
 Однажды, синим вечером,
 Я получу письмо.
 И строки жгут больней огня:
 «Серёженька, прощай,
 Не мучь меня, забудь меня,
 Не плакать обещаю».
 Пускай тоской и пламенем
 Пахнёт от этих строк,
 Но, с выраженьем каменным,
 Я буду сух и строг.
 Я высунусь на улицу
 И погляжу вперёд...
 Грустите ль мне, тоскуется ль?
 Никто не разберёт.
 Рукою не усталую
 Придвину микроскоп,
 К холодному металлу я
 Прижму горячий лоб.
 Она была б жена твоя,
 И вот её уж нет.
 Так, сердце, рвись же надвое,
 Пылай, жестокий бред...

* *
*

Мне часто враги твердили,
 Да и приятели тоже:
 «В этом хитро устроенном мире
 Ты глуп, дорогой Серёжа.
 Ты будешь всегда всех ниже,
 Да и умрёшь без славы».
 Увы мне! Теперь я вижу,
 Что все они были правы.
 Ах, был бы умён я, не стал бы
 С тоскою бродить по аллее.
 Ах, был бы умён я, не стал бы
 Так глупо вести себя с нею!
 Не стал бы с бунтующей кровью
 Часами сидеть в отчаянии!
 Следить за светлою бровью,
 Ловить головы качанье.
 Я знаю: всё это напрасно,
 Но что же мне делать с собою?
 И с платьем вот этим красным
 И с лентой вот той голубою?..

На переднем крае

БЫЛА ВЕСНА...

(Письмо с дороги)

...Итак, мы едем. Паровоз мчит нас в Уральскую область. Нас пятеро студентов-мясников, пятеро комсомольцев, пятеро молодых ребят... У нас в сердцах — ненасытная жажда действия, а в карманах — командировки Колхозцентра.

Мы разговариваем о будущей нашей работе. Стараемся представить её себе конкретнее. Один из нас убеждает крестьян вступить в колхоз. Другой изображает несознательную бабу. Увы, «баба» никак не желает вступать в колхоз, она забывает красноречивого агитатора.

«Где керосин?» — спрашивает она агитатора, и агитатор вспыхивает, как керосин. «Где полотно?» — спрашивает она, и агитатор бледнеет, как полотно. Общими усилиями мы приходим ему на выручку. Керосина добывается сейчас не меньше, а больше, чем в прежние времена. «А где же он?» А вот он, не видишь, клопочет в цилиндрах проезжающего пашней трактора! Он налит в баки пролетающего самолета. Для избы, для лампы, для примуса керосин оставляется тоже, но оставляется в обрез, и потому удивительно ли, что выходит заминка? Но эта заминка нам не страшна, раз керосин всё-таки есть. «А мануфактура?» А если у тебя хозяйство погорит, отвечаем мы вопросом на вопрос, что ты будешь делать? Будешь ли ты сколачивать избы или купишь сарафан? Избу? Так делается и в стране. Сначала мы строим самое главное. Вот мы построим машинный завод, а на нём сделаем трактор, а трактор дадим в колхоз, а колхоз даст тройной урожай льна — и полки магазинов будут ломиться от мануфактуры. Так-то! Баба сбита, баба не знает, что и возразить. Она старается переменить разговор и жалеет, что в Москве не успела побриться. Мы коллективно утешаем её и приступаем к следующему вопросу, стоящему на повестке дня. Не помню, были ли это котлеты или колбаса. Кажется, колбаса.

Мы обсудили работу МТС, работу бедняцких групп в колхозах, обращение о контракциях и прочее. В общем, было очень интересно. Куда девалась «дорожная железная» скука, по остроумному выражению Блока? Так мы сидели в вагоне, смеясь и споря. Наконец, вечером в окна хлынули строения станции.

Свердловск! Мы въехали в этот достопримечательный город четырнадцатого, в четыре часа дня. Таким образом, мы потратили на путешествие шестьдесят четыре часа и два часа потеряли благодаря вращению земли.

Чёрт бы побрал проклятую вертушку! Людям дорога каждая секунда, а она вертится.

Мы прожили в Свердловске два дня. Жили мы в Доме колхозника, бродили по улицам, побывали на III Всеуральском съезде Советов. Два часа ссорились в Уралколхозсоюзе, который никак не хотел, чтобы мы ехали вместе: «Нет, мы не так богаты людьми». Нас рассовали по различным районам. Я еду в район с китайским названием «Еманжелин».

Итак, мы едем...

Этими словами, которыми я начал письмо, я его и заканчиваю. До нескорого свидания...

ЗИМА-УДАРНИЦА

Срывайся же с цепи,
 Емангул-река,
 На редких прохожих
 рычи!
 Уже
 засияли
 вверху облака,
 Уже зажурчали ручьи.
 Отбалагурив
 и отсвистев,
 Уходит
 зима на покой.
 И так и ушла бы,
 если бы
 степь
 Не начала речи такой:
 — Послушай, зима!
 Я сторицею дам
 Урожая —
 хватит на всех,
 Но,
 чтобы в комьях
 была вода,
 Для этого
 нужен снег.
 А где он?
 Не веришь —
 взгляни сама:
 Чернеют
 поляны вокруг.
 Ты злостный прогульщик,
 ты лодырь, зима,
 Ты мне не товарищ,
 не друг.

Зима рассердилась сначала,
 потом
 Ей краска легла
 на лицо —
 В такое вот утро,
 в просторе таком
 Не хочется быть
 подлецом.
 — Так что же?
 Моё
 не ослабло
 плечо,
 Я всё же
 ещё молода,
 Возьмусь
 за работу
 я так горячо,
 Что грянут
 везде холода!

Так падай,
 падай,
 ударный снег,
 Усеивай
 степи вокруг!
 Ты нужен
 второй
 большевистской
 весне,
 Ты пахарю
 верный друг.
 Высвистывай ноты
 от «до» и по «ля»,
 Под музыку
 эту твою
 Уже
 замирают в блаженстве
 поля,
 Они обещанье дают:
 «Мы нынче
 сторицей
 дадим урожай,
 Хоть до неба
 омёты клади!
 Засуха жги,
 спорынья угрожай,
 Мы
 всё равно
 победим!»
 Зима!
 Ты работала нынче
 не зря,
 Мы покончим
 с нуждой
 и тоской.
 Навстречу зиме
 сияет
 заря
 Почётною
 красной
 доской.

УТОНУЛА СОБАКА

Речь будет идти не о собаке. Буду говорить главным образом о весенней посевной кампании. Вчера старуха возница, вёзшая меня в Еткуль, спросила:

— А ты кто такой будешь?

— Агроном, бабушка,— ответил я и замолк, полагая, что ответ в достаточной степени понятен. Однако оказалось, что это не так. Старуха с минуту подумала, понукунула лошадь и наконец, обернувшись, спросила:

— Ну так, граммофон, что ты, граммофон, делаешь?

Итак, что же я, граммофон, делаю?

Но прежде всего разрешите мне сделать маленькое отступление. Нет, не о собаке; я хочу объяснить, каким образом я выбрал время для настоящего письма.

Сегодня утром прихожу я в контору колхоза, говорю, что вот так-то и так-то, дело вот такое-то и такое. В заключение требую:

— Подайте сюда свиновода!

— Свиновода нет, он уехал в Бактыш.

Что ты будешь делать? Кроме свиновода, никто не знает даже количества свиней. А он вернётся только завтра. Таким вот образом у меня образовался целый день свободный, и я могу заняться письмом. Только вот не придумаю, о чём написать? Я знаю, вы напомните мне о собаке, которая утонула. Нет, о собаке я писать не буду, а напишу лучше о другом. Вот представьте, например, как я подъезжаю к воротам Потаповского колхоза (называется он «Имени 22 Января»). День тёплый. И вот... но я не уверен, что вы достаточно ярко себе представите всё это. Вглядитесь же, прошу вас: конь чёрный, но не такой иссиня-чёрный, блестящий, как его рисуют обычно. Нет, такой, как будто его намазали ваксой, а щёткой ещё не чистили, и он чёрный, взъерошенный, но не блестящий. Над глазами — бархатные ямки маленькие, а глаза у него, как синие жуки, знаете, такие, которые над прудом летают? Ноги тонкие до жалости, а гороховидная кость выдаётся. К этому добавьте дугу, согнутую, как ей полагается, и, наконец, меня — меня-то уж, я надеюсь, вы представляете?

Итак, мы въезжаем на потаповские улицы — они полны людьми. Платочки у девушек красные, рубашки на парнях красные, лица тоже красные, однако, несмотря на это, впечатление революционности не создаётся. Наоборот, всё это как будто угнетает.

Почему? Потому, что день сегодня майский, очень приветливый. Потому, что лежат в поле пласты, навороченные плугом, лежат и сохнут, как от любви. Потому, что неудобно устраивать выходной день, когда надо бы сеять и сеять. Не от стыда ли так горячо пылает солнце? И сами люди кажутся немного смущёнными, а выпитые пол-литры придают им излишнюю совестливость и предупредительность.

— Я извиняюсь, — говорит человек, сидящий на ступеньках у конторы, — может быть, я вас побеспокоил? Я извиняюсь...

Я вхожу в контору. За столом уныло сидит человек с кислым выражением лица (не таким кислым, как лимон, а таким, как кислая капуста).

Я спрашиваю:

— Где же председатель?

— Уехал в район, — отвечает человек сладким голосом, так не идущим к его кислому лицу.

— А кто его замещает?

— Я.

— А кто распорядился сделать сегодня выходной день и по каким соображениям?

— Колхозники, общее желание колхозников, — отвечает сидящий и ищет сочувствия на лицах обступивших нас колхозников. Но они суровы.

— Да мы ничего... Мы бы не против и работать — так правление распорядилось. Вот если только кони...

— Да, кони... — вздыхает другой. — Кони тут больной вопрос.

— По крайней мере садилки надо было пустить, хотя бы в две смены лошадей!

Молчание.

— Да что садить-то без толку! — неприязненно вставляет другой колхозник. — Садилки сядят неправильно.

— Как неправильно?

— А так, — оживляясь, говорит колхозник, — ты скажи, хорошее ли это дело, если мы на тридцати десятинах посеяли сто тридцать пудов? А?

Через минуту мы уже на площади, окружённые десятком колхозников. Берём, выкатываем садилки, подстилаем брезент, обмеряем, высчитываем, вертим.

Первая же садилка, как оказалось, высевала... шестьдесят килограммов. (нужно девяносто). Вторая — сто и т. д. Бригадиры ахали вокруг, те из них, чьи садилки садили правильно, удовлетворённо улыбались. Таким путём мы проверили все шесть садилок по два раза — на сухое и влажное зерно (шла протравка формалином). Все установки записали, раздали бригадирам. Во время таких наших занятий подъехал и председатель колхоза. Поэтому мы, не теряя времени, устроили заседание правления с активом колхоза. Сменили полевода, который ни разу не был в поле и допустил разрыв между пахотой и севом. Обсудили выполнение рабочего плана — моего чернильного детища — и внесли в него некоторые изменения.

Уже было темно, когда я отправился на отведённую мне квартиру. Улица шумела и звенела по-вечернему. Вдали завизжала гармонь. Залаяла собака (не та, которая утонула. О, та в другом смысле!), закрипели ворота. Я вхожу в комнаты. Самовар, неизменный друг самовар, встречает меня на столе. Видно, что он пылает ко мне самой горячей дружбой, но я отношусь к нему холодно. Он порядком надоел мне во время моих бесконечных скитаний. Хоть он мне земляк (из Тульской губернии), но я всё же скажу, что он не строитель социализма и недаром на смену ему идёт молодое поколение примусов. Может быть, вы скажете, что я слишком жестоко отношусь к самовару, но посудите сами: утром самовар, вечером самовар... «Идите обедать!» — зовут меня, и я вижу на столе всё тот же самовар. Тут вообще трапезу называют не по существу, а по времени, в которое она происходит. По-нашему, чай остаётся чаем, когда бы его ни подали, а у них не так. Я помню, как в Назарове мы с хозяином вошли в избу и он сказал: «Ну, сегодня у нас будет генеральский обед...» Я думаю: «Что же будет?» А оказывается, генеральский в том смысле, что поздний: генералы всегда в пять часов обедали.

Но уже поздно, кладу ручку и заканчиваю письмо. Да, я должен рассказать всё-таки о собаке. Дело в том, что тут много татарских слов — Еткуль, Каратабан, Бактыш, Коелга, Еманжелга. Я расспрашивал об их значении, но не мог добиться удовлетворительных ответов. Узнал только, что Еткуль значит «Глубокое озеро», а Еманжелга — «Утонула собака». Вот и всё, что мне известно о собаке. Но при каких обстоятельствах она тонула и пришёл ли кто-нибудь ей на помощь — этого мне ничего не известно. Может быть, дальнейшие исследования прольют некоторый свет на эту загадочную историю.

ОБНОВЛЕННАЯ ЗЕМЛЯ

Представьте:

тёплый

и мягкий хлеб,

Ещё отдающий

золой и печью.

Представьте:

чистый и светлый

хлеб

И в прорези

милую

морду овечью.

Представьте:
 низкий угрюмый лог,
Ветер,
 свистящий
 по ряби луга.
Представьте:
 простой
 человеческий лоб,
Четвёрка коней,
 рукоятка плуга.
И, свистя
 на все голоса,
Поворачивая с тракта,
Сюда
 приближается к пашне
 сам
Товарищ трактор.
Зачем он идёт?
 Ведь вечер уже?
Ведь кони
 идут на покой?
Но трактор
 взаправду
 гудит на меже
И пашет,
 чужак такой!
Прямыми рядами
 ложатся пласты,
И тает в воздухе
 серый дым,
Под этим небом,
 седым и простым,
Над этим лугом,
 простым и седым.
Ты чем
 так встревожена,
 синяя даль?
Зачем
 твои звёзды
 горят?
Тебя проезжают
 и плуг
 и рондаль,
Они
 меж собой говорят:
«Нас в дыме
 и гуле
 рабочий ковал,
Бил молот,
 и ныло плечо.
Задача наша
 теперь какова?
В работе
 жить горячо!
Рабочий
 сердце
 вкладывал в труд,

Он думал
коммунам помочь.
Так что же
должны мы
 делать вот тут?
Работать
и день и ночь!
Пройдём же ещё
вон той стороной,
Нацелим
железо в упор»,—
Так
у трёхкорпусного
с бороной
Дружеский
шёл разговор.

ВСЕМ СЕСТРАМ

Конечно,
в Крыму
впечатления пёстры,
Конечно,
в Москве
ощущенья остры,
Но, уважаемые сёстры,
Мои дорогие
две сестры!
Сердце
не надо терять, однако,
Сердце
всё-таки
 надо иметь.
Не забывайте,
что возле Баймака,
Где добывается мясо и медь,
Где люди смуглы
и где лошади прытки,
Где бродят стада, —
там живёт ваш брат,
И он
от сестёр своих
 даже открытке,
Даже записке
был бы рад.

* *
*

Тебя мне даже за плечи
не вытолкать из памяти,
Пусть ты совсем не прежняя,
пусть стала ты другой,
Но переливы глаз твоих
и губы цвета камеди
В сознании озаряются,
как вольтовой дугой.

Я буду помнить корпус наш,
шаги твои по Лиственной,
Холодное молчание,
горячие слова.
Там пруд пылал, как озеро,
и бред казался истиной,
И от улыбки чуточной
кружилась голова.
Она, любовь, с тобой у нас
не распускалась розою,
Акацией не брызгала,
сиренью не цвела,
Она шла рядом с самою
обыкновенной прозою,
Она в курносом чайнике
гнездо своё свила.
Она была окутана
лиловым чадом примуса,
Насмешками приятелей
и сутолокой групп...
Но на душе тоска была,
и я в огонь бы ринулся
За искорку в глазах твоих,
за очертанье губ.
Теперь с тоскою кончено.
Теперь твои артерии
С моими перепутаны
и переплетены,
И, как рисунок бабочки
на шёлковой материи,
Над нами тень раскинулась
ибряевской луны.
Скажи мне, неужели ты
со скукой смотришь на небо,
И жизнь тебя измучила
и кажется сера?
И, как в реку бросаются,
не глядя, хоть куда-нибудь
Бежать тебе хотелось бы
из этого села?
А мне минуты кажутся
чудесными и гордыми,
По книгам буквы ползают,
беснуется метель,
И лошади проносятся
с опущенными мордами,
И избы озаряются
улыбками детей.
По «точкам» путешествовать,
не брезговать помоями,
С директорами ссориться,
с кобылами дружить —
Не знаю, как по-твоему,
но, Тонечка, по-моему,
Всё это, вместе взятое,
и означает — жить.

ПИСЬМА ИЗ ЕТКУЛЯ И ЕМАНЖЕЛИНКИ

* *
*

...И вот я работаю в Еткуле. Что такое Еткуль? Это прежде всёго сеть прямоугольных улиц, так дворов восемьсот, опущённых колючим снегом и украшенных деревянными ставнями. Затем, это четыре тысячи сердец, это восемь тысяч разноцветных глаз. И, наконец,— и это самое главное — это пароход, плывущий к социализму. Да, тот самый пароход, который, по мистеру Троцкому, нельзя было создать из сотни рыбацких лодок. А вот он и создан, этот пароход, и винты его заработали!

Дышу я здесь в атмосфере всеобщего уважения. Называют меня не иначе, как «товарищ агроном», и считают специалистом по всем отраслям сельского хозяйства. Первые дни я считал своим долгом объяснять каждому, что я-де не совсем ещё агроном и что, будучи... и т. д. и т. д., но теперь отбросил ложную скромность.

Четыре дня тому назад мне были торжественно вручены курсы колхозников-животноводов. Курсанты съезжались из всех пятидесяти шести колхозов и деловито рассаживались, расстёгивая полушубки, отряхивая седину снега с чёрных бород.

С завом Бобылёвым мы пришли на открытие курсов, происходившее в помещении Еткульской школы.

Курсанты чинно уселись рядами, еле втискивая свои большие тела в детские парты. После очень длинного и не менее путаного доклада местного обществоведа взял слово я.

— До коллективизации мы — агрономы, зоотехники, студенты сельхозвузов — были бессильны. Разве крестьянин, бедняк и середняк, не понимал, что светлый, чистый и сухой хлев лучше дырявых плетней? Но разве в силах он был оборудовать такой хлев? Разве крестьянин, бедняк и середняк, не мог понять, что межа — рассадник сорняков и обиталище вредителей? Но как же иначе отличить свою пашню от пашни соседа? Мне рассказывал один старый агроном, как он в одной деревне читал лекции о выращивании огурцов. «Ну и что же, последовал кто-нибудь вашим советам?» — спросил я. «Как же,— говорит,— я сам видел, у попа хорошие огурцы выросли». (Смех.) Вот, товарищи, куда шли знания агрономов.

Я всё же боялся. Я думал, что ехидные мужички собьют меня на какой-нибудь запашке, вытащат какую-нибудь блоху из седины своей практики. Однако нет, мой авторитет всё время держался на должной высоте. Правда, помогло и то, что курсы вёл я не один, а с другим агрономом, уже настоящим, которому я постарался выделить самые каверзные вопросы. Это был каштановый старичок, старавшийся ходить как можно прямее и говорить как можно внушительнее. Он так сморкался, будто трубил в трубу, и носовой платок развёртывал, как знамя, и после этого подавал сигнал к началу занятий. Я держался проще, душевнее, говорил, пожалуй, живее, и мои занятия любили больше. Я не давал готовых рецептов, а, изложив какое-нибудь агрономическое правило, ставил на обсуждение. Высказывались «за» и «против», часто находились уже испробовавшие его на практике. Затем я говорил, чьё мнение сходится с мнением науки, и этого момента всегда ожидали с нетерпением. Сначала я ограничивался такими разговорами, а курсанты записывали, как умели. Но после того, как я просмотрел одну тетрадь и прочёл в ней, что свиней хорошо кормить сырой картошкой, в то время как я говорил обратное, я немного изменил метод. В конце каждого занятия я стал диктовать вкратце то, что мы прошли за занятие.

Труднее мне было вести курсы первые дни. Дело в том, что, как только я приехал в Еткуль, меня схватила за горло ангина. В первый день моего

приезда я ввалился в отведённую мне квартиру вечером, когда керосиновые лампы в избах уже распространяли свой свет и благоухание. На столе кипел самовар, и одиноко сидел человек, пивший чай с конфетами. Конфеты он клал прямо в стакан и размешивал их ложечкой. Я подсел к столу, и тут первый стрептококк ударил меня по голове. Я почувствовал боль в горле. Ради вежливости надо было сказать несколько слов незнакомцу. Он оказался из Челябинска. Я спросил, что у них там идёт в гор-театре, и сейчас же раскаялся, ибо собеседник, оживившись, длинно и нудно начал пересказывать какую-то пьесу. Между тем в голове у меня всё больше и больше начинало шуметь и раскаляться. Как только занавес был опущен и зубы разговорчивого челябинца защелкнулись, я стал укладываться спать. Собеседник остался допивать чай. Я закрыл глаза, но керосиновый свет всё равно проникал сквозь веки, и чем плотнее я их сжимал, тем сильнее раскалялся зрачок. Прошло неопределённое количество времени, в течение которого я пытался бороться с жаром зрачков. Наконец я раскрыл глаза, чтобы загородить чем-нибудь лампу от себя. Темнота царила кругом. Окна, закрытые ставнями, не пропускали даже капли лунного света. В углу тихо раздавался храп моего челябинского собеседника.

Ангина всё-таки честный боец, она лежачих не бьёт. Наутро я встал почти здоровым, и, если бы пролежал день, всё было бы хорошо. Но курсы ждали меня. Сто с лишним ушей было открыто для принятия премудрости. Говорить приходилось по десяти часов в день, горло болело, и, когда я вечером приходил домой, ангине не стоило большого труда сшибить меня прямо в постель. Так единоборствовал я с нею пять дней, пока не победил. Теперь я чувствую себя отлично и на аппетит не могу пожаловаться. Скорее будет жаловаться он на меня, что я удовлетворяю его не полностью. Насчёт еды здесь скудно.

Многое можно было бы написать, но всего не упишешь в одном письме.

Поэтому скажу в общем — в общем хорошо! Зори цветут малиновыми кустами, и солнце дисковой бороной ходит по небу.

Ожидайте дальнейших писем, так же, как я ожидаю ваших.

* *
*

Сегодняшнее письмо моё будет о молодости, стуке и шуме, о весёлых глазах и упрямых головах, о кусочках картона, которые люди берегут, как сокровище, хотя они не дают им ничего и только накладывают на них обязательства быть первыми в труде и борьбе, не зная усталости. Короче: я буду писать о еткульских комсомольцах.

В Еткуле две ячейки ВЛКСМ — одна сельская, другая ШКМовская. В ШКМовской ячейке — сорок человек, хорошие и дружные ребята. Даже недурно работают, создали в Бактыше колхоз, взяли над ним шефство, устраивают субботники по сортировке семян и т. д.

Но у шекамят был один очень серьёзный недостаток. На первом же собрании я задал вопрос:

— А что такое правый уклон? Что говорили правые?

Гробовое молчание. Комсомольцы-шекамята были просто-напросто политически безграмотны. Лишь одна комсомолка нарушила молчание и прерывающимся голосом сообщила, что по обществоведению они это прорабатывали и что правые говорили что-то об индустриализации — не то чтобы её уменьшить, не то чтобы увеличить.

Как могло так получиться? У шекаэмовцев было обществоведение, у них был кружок текущей политики. Но всё это было передано в одни руки — руки преподавателя обществоведения Никиты Петровича. Никита

Петрович, бывший комсомолец, переданный в беспартийный актив, — молодой человек приятной наружности. Он обладал замечательной способностью (увы, не редкой в наше время) говорить сколько угодно и на какую угодно тему. Эту его способность ценили, и он был постоянным докладчиком на всех революционных праздниках и в торжественные дни. Можно прослушать его два часа и после удивлённо спросить себя: о чём же он говорил? Да ни о чём, в общем, перескакивал ловко с коллективизации на Карла Каутского, а с него на акул мирового империализма. Не оскорбляйте воду. Это не вода. Вода освежает человека, а такие речи расслабляют. Вода делает человека бодрым, а от таких речей хочется спать... Мудрено ли, что шекамыта ничего не усвоили из его уроков обществоведения? Мудрено ли, что кружок текущей политики мало кто посещал, а кто и посещал, скучал на занятиях? В сущности же, политика — это самая увлекательная вещь. Без знания её человек слеп. Он видит, что стоит фабрика, но разве она стоит? Нет, она идёт. Куда, по каким путям? Вот это-то и интересно.

Первым долгом комсомольский политкружок я отделил от кружка текущей политики. Предоставив последний в бесконтрольное ведение Никиты Петровича (то есть обрекая его на полное захирение), комсомольский политкружок взял я себе.

Первое занятие посвятили мы вопросам коллективизации, ликвидации кулачества, правому и левому уклону. У меня метод при ведении занятий — один к одному. Чтобы мои выступления относились к выступлениям слушателей, как один к одному. Я ставил вопрос, излагая иногда даже неверную точку зрения, чтобы потом её разбить. Ребята обсуждали, спорили и часто сами приходили к правильным выводам. К политзанятиям у них появился интерес.

— Ну так вот, — говорю я, — значит, мы знаем теперь, что говорили правые, что говорили левые, и видите, что они говорили противоположное одно другому. Значит, они должны сильно ссориться между собою?

— Конечно, — кричат ребята, — что за вопрос!

— А вот, оказывается, и нет! — И мы вскрываем связь этих двух уклонов, их социальное родство, говорим о праволевачком блоке.

Занятие идёт живо. Ребята понимали теперь что к чему.

— Вот, а ты не хотел итти, — подтолкнул один парень другого, когда кончилось занятие.

— Не знал, вот и не ходил, а теперь больше не пропущу!

Комсомольцы, в общем, были ребята хорошие, но они ещё слабо понимали, в чём главные обязанности комсомольца. Комсомолец, чувствующий себя комсомольцем только приходя на собрание, — вот главная беда, с которой можно встретиться нередко. В обычной работе он себя комсомольцем не чувствует. Все работают хорошо — и он подтягивается. Все работают плохо — и он работает плохо. Другие, видя беспорядок, бесхозяйственность, молчат — и он молчит. Комсомолец не чувствует ещё силы комсомольской организации. «Как же, скажи ему, — говорили комсомольцы в ответ на мои слова, что о каждом случае бесхозяйственности они должны доложить правлению, если не могут справиться сами, — он тебя облает, и больше ничего». Ребята не привыкли ещё выносить хозяйственные вопросы на комсомольское собрание, чтобы за спиной каждого стояла организация, которую уже никто «облаять» не посмеет.

На следующем собрании мы решили заслушать отчёты комсомольских групп о непорядках в их колхозах. Это научит их критически относиться к работе и втянет в борьбу за укрепление колхозов. Я уверен — будет так, что комсомольцы станут в колхозе авангардом и докажут, как умеют работать люди в стране холодных снегов и пылких сердец.



Вечер. Я сижу в Еманжелинке на отведённой мне квартире, озабоченный мыслями о близости весны. Хозяйка возится у печки и, не переставая, рассказывает про соседа:

— Ни земли никакой не арендовал, ни мельницы не держал. За что раскулачили человека? Да разве он кулак был? Честный был работник.

За окном хлопьями падает снег. Стучат молотки в кузнице. Всё в порядке — зима продолжается...

— Или бы торговал чем, или бы ростовщиком был, а то как есть ничего.

Хозяйка нагибается и пропихивает ухватом в печь какой-то чугуи.

— Или бы отец жил богато, или дед, а то ничего этого не было. Просто придрались к человеку.

Молчание. Меня наконец заинтересовала эта жертва раскулачивания.

— К чему же придрались? — спрашиваю я.

— Да батраков держал, — сказала простодушно старуха и, увидев по выражению моего лица, что этот факт кардинально меняет дело и что появившееся было сочувствие моё к «несчастной жертве» мгновенно улетучилось, жалуясь, продолжала: — Да ведь тогда же не запрещалось иметь батраков, ведь все ж имели. Вон и Степан Агафоныч имел батрака, да в колхозе сейчас за милую душу.

Я задумываюсь. Да, кулаков тут было много, и чувствовали они себя здесь уверенно.

Коллективизацию в Еманжелинке долго не могли сдвинуть с 28 процентов. Многие середняки уже были в колхозе, а беднота шла туго. Крайняя улица, так называемый «Вокзал», населённая сплошь беднотой, в колхоз не вступала. Никакая агитация не помогала, а надо сказать, что агитаторам тут простор. Они могут сколько угодно говорить про индустриализацию, тракторизацию, механизацию: у крестьян не появится скептической усмешки. Эти слова здесь осязаемы, они видимы и особенно слышимы, так, что хоть уши затыкай. Гигантские гусеницы тракторов ползают между сёлами, всего за сорок вёрст раскинулась, поражая размерами своих корпусов, громадина Челябинского тракторостроя. Да, агитаторам тут раздолье. И всё же, несмотря на это, беднота не трогалась с места. В чём секрет? Секрет этот ещё девяносто лет назад был открыт К. Марксом и называется: классовый антагонизм. Классовый антагонизм мешал бедноте итти в колхоз, где благодаря близорукости местных работников засели кулаки. «Где кулак? Какой кулак? — говорили они. — У нас кулаков в колхозе нет!» Вместо кулаков они видели ладонь, протянутую для дружеского рукопожатия, и принимали её не долго думая. Яков Чернышёв состоял членом колхоза. Яков Чернышёв, кулак, об издевательствах которого над батраками ходят рассказы по всей Еманжелинке. Однажды работница, живя у него, уронила ведро в колодец. «Достань ведро!» — велел он. Болезненная девушка, дрожа, стояла у колодца, не решаясь спуститься. Но хозяин был неумолим: «Раз уронила — доставай!» Работницу на верёвках спустили в чёрный провал, и, действительно, ведро было спасено. Но с работницей, вылезшей из колодца, случился припадок, и её принуждены были свезти в больницу. Там она умерла.

А Чернышёв ходил по деревне в качестве колхозника, да ещё с папками подмышкой — он был на канцелярской работе. Я написал «ходил» потому, что позавчера Чернышёв и ещё четыре кулака были вычищены из колхоза. Они глядели, как затравленные волки, в чаще дружно поднышхили против них рук. К чести комсомольской ячейки, надо сказать, что инициатива чистки исходила от неё. Комсомольская ячейка первая заинтересовалась разговорами на селе о Чернышёве.

Только тогда местные работники заметили наконец, что это не ладонь, а кулак, к тому же злобно сжатый.

Уже в день чистки было подано несколько заявлений в колхоз, а затем выпал снег маленьких белых листочков заявлений, хороший подарок второй большевистской весне.

«Вокзал» зашумел и заволновался. Одна за другой его хаты стали прицепляться к колхозному поезду. Счастливого пути! Кулак был побеждён. Но я знаю, что эта победа ещё не окончательная...

Мудрено ли кулаку устроиться? Мне представляется: огромный зал, заполненный людьми. И над людьми, мокрыми, потными, уставшими, но внимательными,— тихий, прерывающийся голос: «...хозяйство было бедняцкое, потом, конечно, пала лошадь, пошёл, конечно, на завод, работаю, конечно, год три месяца...» Шелест, шёпот, внимательные глаза.— нет, не дано им проникнуть в сердце человека! И накладывается широкая резолюция поверх лиловых кривых букв: «Принять в кандидаты ВКП(б)».

Товарищи, оглянитесь, не с вами ли вместе он работает? Классовая зоркость, неослабляемая зоркость нужна нам каждую минуту.

* *
*

И вот я уже в Еманжелинке, а не в Еткуле. Чёрт бы побрал головотяпов и головотяпские методы работы! Как мы ни умоляли Уралколхозсоюз, нас не послали бригадой в район под тем предлогом, что людей не хватает. А теперь в этот же район прислали одну агрономшу из Ленинграда и одного студента из Перми, — так не лучше ли было нас послать бригадой? Да и здесь в районе, работая на курсах, я уже сжился с комсомольской ячейкой. Мне бы остаться в Еткуле на всю весну — наладить бы работу ячейки. Но нет, курсы окончены, и меня будут гонять гастролировать по району.

А жалко оставлять еткульских комсомольцев.

Итак, мы едем. То есть теперь-то мы приехали, а не едем, и не только приехали, но и вернулись обратно. Но вы понимаете, что я пишу так, чтобы представить всё картиннее: как мы ехали, что говорили, как приехали, словом, всё в подробности, чтобы всё, что живое, вставало бы, как живое, а то, что деревянное, так и казалось бы деревянным. Итак, мы едем. Мороз меня не прохватит: шарф у меня намотан вокруг шеи, шуба застёгнута на все крючки, на ноги надеты пимы. Ох, уж эти пимы! Когда мы ехали, снег лежал белой девственной пеленой, как листы чистой бумаги. Но на следующий же день весна принялась за творческую работу. Она перемарала своим «характерным почерком» все эти пространства, она в волнении сажала кляксы, не находя рифмы, она в отчаянии перечёркивала целые поля. Я верю в её талант. Я знаю, что в конце концов из-под пера её выйдет что-то необычайно яркое, но сейчас, именно сейчас, она поставила меня в затруднительное положение. Расхаживая в пимах по Красному, я был предметом всеобщего удивления. Меня называли не иначе, как «тот, который в пимах», и когда я вышел на сцену и начал: «Здравствуйте все, старики и молодёжь, на улице грязь, и в пимах не пройдёшь...» — дружный хохот грянул в зале. По какому случаю вышел? Терпение, товарищи, терпение! Всё объяснится впоследствии. А теперь возвратимся к ходу событий.

Я остановился на том, что мы едем. Едем мы в село Красное... Едем мы не как-нибудь — едем бригадой от райкома партии и РК комсомола на штурм прорывов в подготовке к весеннему севу. С нами на кошме лежит громадная белая труба. Это свёрток бумаги. Для чего она? Для стенгазет. Мы не хотели проехать и бесследно исчезнуть, нет, мы хотели в каждом селе оставить по себе память в виде симпатичного листа бумаги. Стенгазетное дело цветёт у нас в СССР. Листья стенгазет шумят по всему

Советскому Союзу. Но прямо надо сказать, что листья эти большей частью несъедобны. Они безвкусны, лишены всякой остроты, да надо сознаться, что и мало питательны. Огромные статьи «к кампании»: к Октябрю, к 8 Марта, к хлебозаготовке, — для кого они? Для того читателя, который не читает центральных газет? Но он не будет читать и такую стенгазету, да и прочитав, не много понял бы из сухой, подчас малограмотной статьи. Мы решили отказаться от разъяснительных сугубо политических статей и дали лишь одно воззвание к бывшим уральским партизанам, написанное коротко, энергично, большими буквами. Во всей газете был только местный материал. Но и его надо уметь подать. Обычно, когда в нашу тощую, сухую стенгазету и попадает что-нибудь питательное, его просто не умеют приготовить. Я говорил ребятам из редколлегии Еткульской ШКМовской стенгазеты: «Вот вы написали, что Зюбанова плохо посещает комсомольские собрания. Ну и что же? Она и сама знает, что плохо, и каждый из вас знает — заметка никому не интересна. А вот если бы вы объявили в газете громогласный конкурс на изобретение, как затащить Зюбанову на собрание, печатали бы сводки изобретений или нарисовали бы, как её трактором тащат на собрание, тогда заметкой бы заинтересовались. Но возвратимся к ходу событий. Я остановился на том, что мы едем. Нас едет пять человек. Этого мало, но в Красном уже находятся две студентки Челябинского педтехникума, которых мы намерены включить в свою бригаду. Эти девчата, Таня и Маня, жили в Красном две недели. Уже, между прочим, успели выпустить и живую газету. Это нас заинтересовало. Ловлев предложил нам выпустить ещё номер живой газеты по материалам нашей штурмовой бригады. Сказано — сделано... Составили мы частушки, написали раёк, разучили вступительный марш, приспособили к местным темам несколько известных песен, и наконец всё было готово. Я совмещал обязанности автора, режиссёра и суфлёра, Таня — инструктора по голосу и движению, плюс главная исполнительница.

В общем, получилось весело, смеху было много. Когда мы приехали в Коелгу, то, уже не откладывая, взялись за подготовку живгазеты. Что же было в Коелге? И что за Коелга? Терпение, товарищи, терпение! Всё объяснится впоследствии. Я остановился на том, что мы едем. Через четыре часа езды мы были в Красном. Слезли, как полагается, с саней и пошли пить чай к Марье. А затем? Что было затем? Хотел я всё это изобразить как следует и чтобы было красочно, но вижу, что сущность самую уже разболтал, пришлось бы повторяться. Экое ведь перо!

Я ОБ ОДНОМ ЖАЛЕЮ

Не надо сердиться, ветер!
 Ты знаешь,
 что мир велик,
 Не только Москва на свете,
 Существует
 и Таналык.
 Ну что же...

И здесь неплохо.
 По жилам
 струится труд,
 И если велит эпоха,
 Я буду
 работать тут.

Но я об одном жалею,
 По жизни этой идя,
 Что в Лиственную аллею
 Отсюда
 пройти нельзя.
 Нельзя
 скинуть кепку сырую,
 Взбежать
 на четвёртый этаж.
 И я тебя
 не поцелую,
 И ты мне
 руки не подашь...

О ЖУРНАЛЕ

Многие люди говорят —
 И кажется, это правда, —
 Что в Москве
 световые рекламы горят,
 Издаётся газета «Правда».
 Но
 в Ибряеве,
 здесь у нас,
 Таких вещей не бывает,
 Лишь кривит
 луна
 свой единственный глаз,
 Да буран завывает.
 В чём же дело?
 Бумага есть,
 Чернил — около литра.
 Давай издавать
 журнал
 и здесь,
 Это не очень хитро.
 В такой пустыне,
 в такой глуши,
 В тиши такого селения
 Даже мои стихи
 хороши,
 Даже твои творения.

БАЛЛАДА О ПРОСТОТЕ

Однажды мне встретился старый поэт —
 Звёзды яркие и ночь тепла, —
 И пока глаза не раскрыл рассвет,
 Беседа наша текла,
 И он сказал: — Не такие, браток,
 Я раньше писал стихи —
 В них слышался жизни высокий ток
 И рокоты всех стихий.
 Я был от вершины уже на вершок
 И был знаменитым почти,
 Когда однажды рабочий дружок
 Меня попросил: «Прочти!»

Строками бушуя, словами звеня,
 Я в рифмах своих закипел.
 Он, молча склонившийся, слушал меня,
 Ударник и член ВКП.
 И когда, прочитавши сонетов пяток,
 Я хотел его одой донять,
 Он тихо сказал мне: «Довольно, браток,
 Я вижу, мне не понять».
 И он смущённо пошёл от меня,
 И взор его глаз потух,
 И только долго была видна
 Рубашка его в поту.
 И понял я в единый миг,
 Пока глядел ему вслед,
 Что все мои кипы написанных книг —
 Тяжёлый, ненужный бред.
 Так что же я сделаю? Как снесу?
 Я сгорел от стыда,
 И я с тех пор зарубил на носу:
 Да здравствует простота!
 О нет, конечно, не та простота,
 Что хуже воровства,
 Нет, не такая, а просто та,
 Которая с жизнью росла.
 Она проста, она глубока
 И вместе с тем строга,
 Она человека берёт за бока,
 Как быка за рога.

* * *

Ещё и день не начался,
 Ещё и туман над водой,
 Но я уж в седле качался,
 И шёл подо мной Гнедой.
 Я как будто удобно уселся,
 Накормлен, напоен и сыт.
 Отчего же стучит моё сердце
 Громче его копыт?
 Ещё далеко до дому,
 Я косматую вижу зарю,
 И я говорю Гнедому,
 Я ему говорю:
 — Гнедой, погляди-ка на степь,
 За эти вон горы, туда...
 Кобылу саврасой масти,
 Наверно, ты помнишь, да?
 Она ведь рядом с тобою
 Шла и в галоп и в рысь,
 И отравой цвела голубою
 Над нами бездонная высь.
 Она ведь с тобою рядом
 Шла и в рысь и в галоп.
 А Тоня светлела взглядом,
 И падала прядь на лоб,
 И падала прядь с фасонцем
 У Тони — моей жены,

И руки её от солнца
И плечи обожжены.
Гнедой, ты, наверно, понял,
Ты понял ли, мой Гнедой?
Какая хорошая Тоня,
Какой её взгляд молодой!
Гнедой, ты, наверно, хочешь
Увидеть бы хоть разок
И светлый её височек
И серый её глазок?
Отдаться бы сладкому плену,
Послушать весёлую речь...
Я знаю мечте моей цену,
Я умею любовь беречь.
Ремённой подругой сжала
Мне сердце тугая боль.
О Гнедой, она убежала,
Убежала от нас с тобой!
Она забрала ребёнка
И ускакала в Москву,
Оставила Даше гребёнку,
А нам с тобою — тоску.
К белой бумаге неба
Приложена солнца печать,
Подняться на облако мне бы
И до Москвы докричать:
— Ах, Тоня! Как сердцу горько,
Как хочется быть с тобой,
Когда за кленовой горкой
Встаёт закат голубой...

ЛОШАДЬ

Когда я приехал в Богачёвку, то имел о лошади самое смутное понятие. Горожанин, воспитанник Москвы, я привык видеть перед собой умную морду трамвая, с нею сжился и сроднился. Я не опасался несколько этого только с виду страшного чудовища. Я научился на лету хвататься за поручни, висеть на ступеньках, прикикая к холодному железу, противиться через непроницаемую толпу. Я знал, какой из бесчисленных номеров куда идёт, знал все привычки трамваев и хитрости (а трамваи тоже пускаются на хитрости).

И вдруг вместо всего этого — лошадь. Я не знал лошади, а верхом на неё не садился ни разу. Трудное или лёгкое это дело? Иногда мне казалось, что это легко — что ж такого, сел и поехал, — но я вспоминал, что существуют для чего-то школы верховой езды, что есть какие-то правила и законы, что Молчалин в «Горе от ума» упал с лошади («Поводья затынул, ну жалкий же ездок!»), и меня брала невольная боязнь. А тут ещё коня для меня припасли — жеребца — очень свирепого, по всем описаниям. Вот уж истинно удружили! Я говорю: по описаниям, потому что, к моему счастью, его в это время не было на участке — угнали на посевную. «И что за глупость сделали, — возмутился завучастка, — знали, что едет дирекция, и угнали самую лучшую лошадь на посевную!»

Я изображал на лице негодование, но в душе был очень доволен таким оборотом дела и скромно довольствовался ленивым и упрямым серым конём, предоставленным мне пока.

С неделю, кажется, ездил я в тарантасе, но наконец решительный момент наступил. Предстояло ехать на пятую ферму, дороги решительно

протестовали против экипажей всех видов, да и в конце концов надо же было когда-нибудь начать?

— Оседлайте мне лошадей! — сказал я небрежно, как будто всю жизнь только тем и занимался, что давал такие указания. Пошли седлать, а я нарочно закашлялся, чтобы заглушить биение сердца. Боялся я главным образом того, что при выезде моём из деревни случится что-нибудь смешное, что послужит вовсе не к повышению авторитета товарища Чекмарёва, старшего зоотехника и заместителя директора совхоза. С какой бы охотой я вывел лошадь за две версты от деревни и только там попробовал бы влезть на неё!

— Готово, больно ленив только, — сказал конюх, хлопая Серого по крупу; но я, наоборот, молил благодетельную лень спуститься на лошадь в ещё большем количестве. «Сумею ли я хоть влезть на седло?» — подумал я, но, против ожидания, это мне удалось легко.

Жеребец спокойно пошёл из ворот. Я чувствовал себя очень удобно, и уже невольная гордость подступала к сердцу, как вдруг кому-то из конюхов вздумалось огреть Серого жичиной. Не знаю, зачем взбрела ему в башку эта мысль и вообще зачем тут очутилась жичина, но это роковое обстоятельство сразу изменило картину. Подборённый ударом, Серый побежал, а я вдруг каким-то смешным образом запрыгал в седле, ухватился за луку, чтобы не упасть, и выпустил повод. Без всякого повода (и в прямом и в переносном смысле) Серый, не долго думая, повернул к ближайшей избе, самым нахальным образом остановился перед окном и ткнул носом в стекло. Любопытные морды прильнули к окну. Покраснев, я взял повод, повернул жеребца и... поскакал, может быть? Чёрта с два! Поехал шагом, тихо, тихо. Говорят, что на затылке глаз нет, но, честное слово, я видел, как сзади, у конного двора, стоят кучкой и глядят на меня совхозные работники.

Проехав две версты шагом, я попробовал перейти на рысь. Но увы, всякий раз начинал при этом так подсакивать в седле, что принуждён был обеими руками хвататься за луку и крепко держаться за неё, чтобы не вылететь из седла. Серый пользовался этим, чтобы нести меня туда, куда ему хочется. Только когда он переменял свой шаг, я брал в руки повод, направлял жеребца на дорогу, а затем опять и опять начиналось всё сначала.

Вскоре пришлось совсем отказаться от рыси, так как прыжки в седле приносили мучительную боль, а не прыгать я не мог. «Неужели все всадники так же прыгают в седле, а если нет, то что они делают, чтобы не прыгать?» — думал я, да так и не разгадал тогда этого секрета. К счастью, на полдороге мне встретились те люди, к которым я ехал, и я повернул с ними обратно. Когда тарантас их ехал шагом, и я ехал шагом. Но, о ужас! Тарантас их тронулся вволю, и Серый затрусил за ними. Я попробовал его удержать — тщетно! Рыси я не мог перенести и потому, что она причиняла боль, и потому, что она показала бы мою беспомощность. Я отчаялся, что не могу удержать и остановить проклятого жеребца, и, когда он сильнее поскакал, почувствовал, что, стоя в стременах, держаться легче; так я и ехал всю дорогу, разгоняя лошадь до галопа всякий раз, как она переходила на рысь. В этом было лишь то неудобство, что я не мог управлять жеребцом и попрежнему ехал по его воле.

Я спрашивал позже моих спутников, заметили ли они, что я не умею обращаться с лошадей, и оказалось, что нет. Как бы то ни было, я вернулся в Богачёвку разбитым до последней степени. Но и то надо принять во внимание, что, сев первый раз в жизни на лошадь, я проехал взад и вперёд около двадцати вёрст, расстояние всё же солидное. Казалось мне, что в следующий раз я охотнее понесу лошадь на себе, чем сяду на неё верхом. Но наступило утро, и заглянувшему ко мне вопросительно

солнцу я дал торжественное обещание в ближайшую неделю не слезать с седла и овладеть искусством езды.

Я выполнил своё обещание.

...С Серым я не сдружился, я боялся его взнуздывать (раз он укусил меня, и довольно здорово). Боялся ловить его и с трудом уводил от табуна. Вдобавок, у него оказалась хромота — как будто растяжение сухожилия. Поэтому я с радостью его оставил, когда Денисов, уезжая в Стерлитамак, отдал мне на время своего коня.

В этой лошади (я её назвал Маруськой) на первый взгляд не было ничего привлекательного. Маленькая рыжая кобылка, невидная, и я не за красоту её полюбил, а за её чудесный характер. А какой характер называется у лошади чудесным? Она не ленива, она не требовала ни палки, ни кнута, она по движению повода и колен знала, требуется от неё рысь, галоп или только шаг. Она была вынослива, её маленькое сердечко хорошо работало, и она могла делать перегоны по сорок вёрст ежедневно. Она была добросовестна, и уже сама первая, бывало, никогда не остановится и не перейдёт с рыси на шаг, хоть и устанет. Она была быстрая — её маленькие ноги могли семенить очень хорошо. Она была... но если я начну перечислять все хорошие свойства милой моей Маруськи, то не кончу никогда. Она была первой моей любовью среди лошадей, и, как первая любовь, она не позабудется. Вдобавок, она ко мне относилась хорошо, не скажу, чтобы любила меня (это было бы, пожалуй, слишком смело), но по крайней мере относилась с уважением: не лягалась, не кусалась, лизала мои руки, давала себя оседлать, когда я иногда оставлял её, не привязав.

Так жили мы с нею дружно, носились по степям, питались травой и хлебом — причём траву ела преимущественно она, а хлеб я, — как вдруг неожиданное несчастье свалилось нам на голову. Несчастье это, впрочем, нужно было ожидать. Вернулся Денисов и потребовал свою лошадь обратно. Вдобавок сказал, что она у меня похудела. Но это неправда, конечно, она у меня поправилась, а не похудела — это все говорили, и потому мне показалось ещё более обидным. Лошадь была уже год закреплена за Денисовым, знала его лучше меня, директор тоже встал на его сторону. Надо было её вернуть, но сделать этого я не мог. Я не представлял себе, как это я буду жить без Маруськи — на ком буду ездить? Да больше мне и ни одна лошадь не нравилась. В эти дни я испытывал тоску. Сердце ныло и болело в предчувствии неотвратимой разлуки. Мне уже снова вернули нелюбимого Серого, но я потихоньку увёл из конюшни Маруську, оседлал её и уехал на самую дальнюю ферму. Дня четыре ездил я и был счастлив, но, увы, надо же было когда-нибудь вернуться. Вечером, приехав, я поставил Маруську на конюшню, а на следующее утро, ещё до рассвета, на ней уехал Денисов.

Но она не принесла ему счастья. Вскоре после того я встретил его на первой ферме, где у нас шло совещание.

«Где Маруська?» — спросил я его запиской, и он ответил вопросом на вопрос: «Разве она не приехала?»

Оказывается (по его рассказам), Маруська сбросила его с седла и убежала неизвестно куда, поймать её он не мог.

Поиски Маруськи не привели ни к чему. Злоба меня брала на Денисова, да и он сам уже говорил: «Лучше бы она осталась у тебя».

Но вот всё-таки счастье мне улыбнулось. На ферме Бурли, зайдя в отсутствие конюхов на конюшню, я начал осматривать и проверять всех лошадей. Моё внимание привлекли две лошади — вороная, со звездой на лбу, и бурая, с каштановой гривой и блестящими-блестящими глазами. Сел я на вороную и сейчас же слез, плюнув: рыси у неё ни капли не было — какие-то заячьи прыжки. Сел на Буруху и тронул повод. Я не понул её, со мной не было даже палки. Несмотря на это, лошадь неслась

с горящими глазами и, видя, что я её не останавливаю, перешла на галоп. Неслась она быстро, как птица, куда быстрее Маруськи, и при этом рысь у неё была удивительно мягкая. Без седла, следовательно, не имея возможности пружинить, я сидел, однако, на спине лошади, как на стуле, и совсем не подскакивал, если упирался коленями. С трудом остановил я разгорячившуюся Буруху. Кровь прилила к лицу. Радость захлестнула меня. Вот, вот она! — отстукивало сердце. Я просто не понимал, как такая лошадь могла попасть на ферму, а не на центральную конюшню? Да и на ферме почему она была не за управляющим, и не за агрономом, и не за зоотехником — лошадей их я знал, и знал, что Буруха не закреплена ни за одним из них. Что за слепота? Может быть, Буруха недостаточно вынослива?

Я осмотрел кобылу и не нашёл в ней никаких дефектов (хотя слишком мало в этом понимал).

Привязав лошадь, я отправился на ферму с твёрдым решением — во что бы то ни стало эту лошадь взять. Ни управляющего, ни заместителя в это время на ферме как раз не было. Я пошёл к конюхам. Конюхи, оказывается, Буруху знали и ценили, и поэтому к моей попытке взять её отнеслись неприязненно (они стерегли на ней лошадей).

— Сейчас её взять, немедленно!

— Освобождена, — заявили они.

— Как освобождена, она нездорова?

— Значит, нездорова, если освобождена.

— Кто освободил?

— Радин.

Я пошёл к Радину.

(На этом рукопись обрывается)

В ПУТИ

Сегодня вьюга бесится,
 ехать не велит,
 Мерин мой игреневый
 ушами шевелит.
 — Ты что, овёс-то даром ел
 по целому мешку?
 Давай, давай прокатимся
 по белому снежку!
 Чтобы глаза заискрились,
 чтоб ветер щёки жёг,
 Чтобы снежинки вихрились
 в переплетеньях ног.
 Кого, скажи, пугаешь ты,
 косматая метель?
 Мы все здесь люди взрослые,
 нет маленьких детей.
 Нам всё равно, голубушка,
 хоть вой ты иль не вой,
 Ведь голос твой пронзительный
 мы слышим не впервой.
 Среди снежинок шёлковых,
 в нагроможденьи скал,
 Я только здесь нашёл себе,
 чего всю жизнь искал.
 Ты что прижался, слушаешь,
 мерин, мою речь?

его глаза или не сверкнут? Сверкнут обязательно! Вы можете, наблюдая подчас за беседой двух людей, за их жестами и глазами, подумать: вот люди говорят о самом задушевном. Но вы подходите ближе и с удивлением слышите, что весь разговор состоит преимущественно из названий сёл, речек и оврагов, что люди горячо спорят о расстояниях между деревнями, о дорогах. И у них глаза блестят при этом. А вы отойдёте, сучая. «В чём дело?» — подумаете вы.

А дело в том, что, когда человек подолгу живёт на одном месте, место срастается с душой и становится частью его самого. Вот когда душа человека обогащается, а не тогда, когда мимо него пролетают пейзажи, люди и звери! Защищённая и замученная, хиреет тогда душа, и жалок человек, который провёл всю жизнь в путешествиях. Он был в Туркмении и не знает Туркмении, был в Армении и не знает Армении, был в Башкирии и не знает её.

Я вовсе не рекомендую людям всю жизнь сидеть на одном месте. Но я бы разрешил человеку уехать из своего района тогда, когда он каждый куст и каждый родник будет знать. Вот такое путешествие, когда человек живёт в стране, а не проезжает по стране, живёт три-четыре года на одном месте,— такое путешествие развивает. А «любители» перемены мест напоминают мне читателей, которые, вместо того чтобы прочесть книгу, слегка просматривают её и знакомятся с именами главных действующих лиц...



Пушистый снег,
Пушистый снег,
Пушистый снег валится.
Несутся сани, как во сне,
И всё в глазах двоится.
Вот сосенки,
Вот сосенки,
Вот сосенки направо,
А ты грустишь о Тосеньке.
Какой чудак ты, право!
А ну, пугни,
А ну, пугни,
А ну, пугни Гнедуху!
Пониже голову пригни,
Помчимся что есть духу.
Ведь хорошо,
Ведь хорошо,
Ведь хорошо в снегу быть.
Осыпал белый порошок
Твои глаза и губы.
На сердце снег,
На сердце снег,
На сердце снег садится,
Храни в груди весёлый смех —
Он в жизни пригодится!

РАЗМЫШЛЕНИЕ НА СТАНЦИИ КАРТАЛЫ

И вот я, поэт, почитатель Фета,
Вхожу на станцию Карталы,
Раскрываю двери буфета,
Молча оглядываю столы.

Ночь. Ползут потихоньку стрелки.
Часы говорят: «Ску-чай, ску-чай».
Тихо позванивают тарелки,
И лениво дымится чай.
Что же! Чай густой и горячий,
Лэкин карманда акса юк.
В переводе на русский это значит,
Что деньгам приходит каюк.
Куда ни взглянешь — одно и то же:
Сидят пассажиры с лицами сов.
Но что же делать? Делать что же?
Как убить восемнадцать часов?
И вот я вытаскиваю бумагу,
Я карандаш в руках верчу,
Подобно египетскому магу,
Знаки таинственные черчу.
Чем сидеть, уподобясь полену,
Или по залу в тоске бродить,
Может быть, огненную поэму
Мне удастся сейчас родить.
Вон гражданка сидит с корзиной —
Из-под шапки русая прядь,—
Я назову её, скажем, Зиной
И заставлю любить и страдать.
Да, страдать, на акацию глядя,
Довольно душистую к тому ж...
А вот тот свирепый усатый дядя
И будет её злополучный муж.
Вы поглядите, как он уселся!
Разве в лице его виден ум?
Он не поймёт её пылкого сердца,
Её благородной... но что за шум?
Что случилось? Люди свирепо
Хватают корзины и бегут,
Потом зажигается много света,
Потом раздаётся какой-то гуд.
И вот, промчав сквозь овраги и горы,
Разгоняя ночей тоску,
Останавливается скорый —
Из Магнитогорска в Москву.
Чтоб описать, как народ садится,
Как напирает и мнёт бока,
Конечно, перо моё не годится,
Да и талант маловат пока.
Мне ведь не холодно и не больно —
Они уезжают, ну и пусть!
Отчего же в душе невольно
Начинает сгущаться грусть?
Поезд стоит, усталый, рыжий,
Напоминающий лису.
Я подхожу к нему поближе,
Прямо к самому колесу.
Я говорю ему: — Как здоровье?
Здравствуй, товарищ паровоз!
Я заплатил бы свою кровью
Сколько следует за провоз.

Я говорю ему: — Послушай
 И пойми, товарищ состав!
 У меня болят от мороза уши,
 Ноет от холода каждый сустав.
 Послушай, друг, мне уже надоело
 Ездить по степи вперёд-назад,
 Чтобы вьюга мне щёки ела,
 Выхлестывал ветер мои глаза.
 Жить зимою и летом в стаде,
 За каждую тёлку отвечать.
 В конце концов всего не наладить,
 Всех буранов не перекричать.
 Мне глаза залепила вьюга,
 Мне надоело жить в грязи,
 И, как товарища, как друга,
 Я прошу тебя: отвези!
 Ты отвези меня в ту столицу,
 О которой весь мир говорит,
 Где электричеством жизнь струится,
 Сотнями тысяч огней горит.
 Возьми с собой, и в эту субботу
 Меня уже встретит московский перрон,
 И разве я не найду работу —
 Где-нибудь в тресте скрипеть пером?
 Я не вставал бы утром рано,
 Я прочитал бы книжек тьму,
 А вечером шёл бы в зал с экраном,
 В его волшебную полутьму.
 Я в волейбол играл бы летом
 И только бы песни пел, как чиж...
 Что ты скажешь, состав, на это?
 Неужели ты промолчишь?
 Что? Ты распахиваешь двери?
 Но, товарищ, ведь я шучу!
 Я уезжать с тобой не намерен,
 Уезжать с тобой не хочу.
 Я знаю — я нужен степи дозарезу,
 Здесь идут пятилетки года,
 И если в поезд сейчас я влезу,
 Что же со степью будет тогда?
 Но нет, пожалуй, это неверно,
 Я, пожалуй, немного лгу,
 Она без меня проживёт, наверно
 Это я без неё не могу.
 У меня никогда не хватит духу —
 Ни сердце, ни совесть мне не велят —
 Покинуть степи, гурты, Гнедуху
 И голубые глаза телят.
 Ну, так что же! Ведь мы не на юге.
 Холод, злись! Буран, крути!
 Всё равно сквозь завесу вьюги
 Я разгляжу свои пути.



АЛЕКСАНДР БЕК

★

ЖИЗНЬ БЕРЕЖКОВА

Роман

Часть первая

Мотор «Адрос»

1

— **Н**е может быть! — изумился я. Ничто не воодушевляет так рассказчика, как это простое, кстати вставленное восклицание.

— Я говорю вам: потрясающе! — продолжал Бережков. — Хотелось что-то крикнуть, но от волнения пропал голос. А он уже летел — вы представляете момент? — летел над Ходынским полем.

— Не может быть!

— Потрясающе! Ультранеобыкновенно!

Увлечённый рассказом, Бережков возбуждённо повторял любимые словечки. Мой интерес, — возможно, в силу особенностей моей тогдашней профессии, чуть преувеличенный, — доставлял Бережкову истинное удовольствие. Он любил рассказывать и понимал толк в этом искусстве. Сейчас он выдержал паузу в самом интересном месте.

Его небольшие зеленоватые глаза весело прищурились, улыбающиеся крупные губы слегка шевелились, словно ощущая вкус минуты.

Я знал, что Бережков обожает научную фантастику, а также романы, где одно приключение сменяется в стремительном темпе другим, и мне подумалось, что история, которую он так пылко излагал, напоминает главу из подобного романа. Не фантазия ли всё это?

Бережков уловил, вероятно, мою мысль.

— Хотите, я покажу вам фотографию? — азартно спросил он.

Не дожидаясь ответа, Бережков поднялся со стула. Я знал, что в тог гд ему исполнилось сорок, но он — худощавый, высокий, подвижный — выглядел на десять лет моложе. Ему шла его короткая, почти мальчишеская стрижка.

Выдвинув ящик письменного стола, Бережков достал большой пакет и высыпал оттуда груды фотографий. Я смотрел через его плечо. Мелькали групповые снимки, портреты: Бережков на мотоцикле у памятника Пушкину в Москве, ещё какой-то знакомый уголок Москвы, Бережков у самолёта, опять и опять у самолёта. Один снимок заставил его рассмеяться. Он повернулся ко мне, и я снова увидел его бритое свежее лицо, улыбающиеся крупные губы и прищуренные в щёлочку глаза, от которых побежали весёлые морщинки. На фотографии был запечатлён молодой Бережков среди снежного поля, около аэросаней, — в ушанке, в полущубке, туго подпоясанный ремнём, с револьвером на правом боку.

— Сани с самоваром. Конструкция Бережкова. Гениальнейшая выдумка, — с комически унылым видом произнёс он. — Когда-нибудь я вам особо доложу об этом конфузном происшествии.

Он отбрасывал снимок за снимком, но не мог отыскать фотографии, которую обещал продемонстрировать. Я усмехнулся. Стоя ко мне спиной, Бережков, конечно, не мог видеть мою скептическую полуулыбку, но его уши порозовели.

— Думаете, Бережков врёт? — обернувшись, возбуждённо спросил он.

— Слишком невероятная история, — уклончиво ответил я.

Признаюсь, я чуточку поддразнивал Бережкова, рассчитывая, что душок сомнения вызовет, в противовес, новый поток убеждающих подробностей, драгоценных крупинок жизни, за которыми я по должности охотился.

— Невероятная? — переспросил Бережков. — Ультраневероятная! Знаете что?

Он взглянул на часы и подошёл к раскрытому окну. У него была приметная походка. Он чуть припадал на левую ногу, но вместе с тем ходил удивительно быстро, легко, будто не ощущал хромоты.

На дворе стоял чудесный майский день. Отсюда, с седьмого этажа нового дома авиапромышленности, виднелись крыши Москвы. От кровельных листов, то выкрашенных суриком по нашему старому обычаю, то оцинкованных, всюду слегка потемневших от налёта городской пыли, сейчас нагретых солнцем, поднимались горячие воздушные струи. В их трепетании в блистающем небе как бы плыли контуры строительных мачт над громадой дома, возводимого на Садовом кольце недалеко отсюда. В свежей, очень светлой на солнце, тоже будто горячей кирпичной кладке каждый сияющий оконный проём, каждый архитектурный выступ был обведён полоской тени, что сохраняло, подчёркивало объёмы. С Садового кольца, скрытого домами, доносились непрерывные гудки автомобилей, а здесь, где вкривь и вкось переплелись переулки древней Москвы, остался открытый для всех старинный парк и большой пруд, сейчас тоже сверкающий множеством бликов.

— Знаете что? — повторил Бережков. — Хотите, я вам покажу это фантастическое колесо в натуре?

— В натуре?

— Да.

— А как мы его найдём?

— Это моя забота. Едем?

— На чём?

— На мотоциклете!

Вспомнив прихрамывающую походку Бережкова, я едва удержался, чтобы не выразить вслух своего удивления. И не нашёл ничего лучшего, как произнести:

— Гм... А дорога хорошая?

— Дорога не имеет значения. Где человек не пройдёт пешком, там Бережков преседет на мотоциклете. Едем!

2

В те времена — это был, как указывает дата моих записей, 1936 год — я служил в «кабинете мемуаров». Служба была увлекательной и странной. Лишь несколько человек во всей стране были моими сотоварищами по профессии, обозначаемой в наших штатных ведомостях неуклюжим словом «беседчик».

Мы, небольшой штат «беседчиков», работали под рукой Горького в одном из основанных им литературных предприятий, в уже упомянутом «кабинете мемуаров». Нам было сказано: ищите интересных людей, ма-

леньких и крупных, прославленных и безвестных, пусть они расскажут свою жизнь. Приносите записи и стенограммы; это будет собрание человеческих документов, материал для историков и для писателей, это будет ваша профессия и ваш хлеб.

От «беседчика» требовался прежде всего один талант — умение или даже искусство слушать. Это талант сердечности, взволнованности и внимания. Писаной инструкции у нас не существовало. Но на одном из наших совещаний кто-то прочёл вслух страницу из романа «Война и мир», и мы единодушно восприняли её, эту страницу, как своего рода «памятку беседчика».

«Наташа, облокотившись на руку, с постоянно изменяющимся, вместе с рассказом, выражением лица, следила, ни на минуту не отрываясь, за Пьером, видимо, переживая с ним вместе то, что он рассказывал. Не только её взгляд, но восклицания и короткие вопросы, которые она делала, показывали Пьеру, что из того, что он рассказывал, она понимала именно то, что он хотел передать. Видно было, что она понимала не только то, что он рассказывал, но и то, что он хотел бы и не мог выразить словами».

Конечно, со временем у нас выработались и свои профессиональные приёмы. В основе их лежал горячий интерес к человеку, который открывал нам свою душу. Без такого взволнованного интереса «беседчик» ничего бы не достиг, не мог бы работать для горьковского кабинета.

Продолжу выписку из «Войны и мира»:

«Наташа, сама не зная этого, была вся внимание: она не упускала ни слова, ни колебания голоса, ни взгляда, ни вздрагивания мускула лица, ни жеста Пьера. Она на лету ловила ещё невысказанное слово и прямо вносила в своё раскрытое сердце, угадывая тайный смысл всей душевной работы Пьера».

Конечно, здесь выражен, раскрыт секрет нашего дела. Это было наше «в людях». — с нами, жадно читая записи, которые мы приносили, как бы ходил на склоне своих дней по людям и Горький.

Так вот, исполняя свою службу в «кабинете мемуаров», я однажды пришёл к Алексею Николаевичу Бережкову, конструктору авиационных моторов, известному в то время лишь сравнительно узкому кругу работников авиапромышленности.

С первой же встречи, послушав с полчаса его рассказ, и ещё, конечно, вовсе не проникнув в его характер, в его душу, я уже был уверен, определил это чутьём «беседчика»: передо мной своеобразный, очень одарённый человек. И замечательный рассказчик.

Я стал приходить к нему; принялся, как золотоискатель, добывать для нашей сокровищницы-кабинета запись ещё одной жизни.

3

Мы сошли во двор. В сарае стоял чистенький мотоциклет, старый бережковский служака, о котором, пока мы спускались по лестнице, я узнал множество необычайных подробностей.

Надев перчатки, Бережков быстро и ловко заправил машину маслом и бензином. Завинчивая пробку, он говорил:

— На этой мотоциклетке я установил рекорд, которого никто не мог побить.

— Какой?

— Я проехал, не держась рукой за руль, с пассажиром на багажнике, по одной трамвайной рельсе от Большого театра до Зубовской площади, ни разу не сойдя с рельсы.

— Не держась за руль?

— Да.

- Не может быть!
- Опять не верите? Хотите, повторю?
- Нет, пожалуйста, не надо.

Бережков покосился на меня и чему-то улыбнулся. Мне показалась подозрительной эта улыбка.

Он вывел машину из сарая. Отлично отрегулированный мотор завёлся с первого нажима и мягко затакал без неприятной оглушительной стрельбы.

Бережков стоял, прислушиваясь к рокоту мотора, со странным взглядом, будто устремлённым внутрь себя. Уже побывав у Бережкова два или три раза, я не впервые ловил у него такой взгляд. Самоуверенный, азартный Бережков, склонный похвастаться, любитель поблистать, становился в такие минуты иным: с него словно слетала мишура.

— О чём вы думаете? — спросил я.

— Просто слушаю мотор. Садитесь.

Бережков перекинул через мотоциклет ногу, я устроился на заднем сиденье, он включил скорость, и машина легко тронулась.

И вдруг, очевидно в возмездие за мои скептические замечания, Бережков стал проделывать в узком московском дворе, среди каменных стен, поистине головокружительные номера. Не держась рукой за руль, он описал по двору несколько кругов, всё убыстряя ход. Мне казалось, что мы вот-вот врежемся в угол дома, или в крыльцо, или в мусорный ящик, но накренившийся мотоциклет всякий раз огибал препятствие.

Сознаюсь, я вцепился в плечи Бережкова. А он сидел на седле, сложив на груди руки. На ходу он обернулся, удовлетворился, вероятно, моим видом, подмигнул и вылетел за ворота.

Через несколько минут наш попыхивающий, сотрясающийся мотоциклет уже стоял перед красным огнём светофора на площади Маяковского среди машин, тоже не выключивших двигателей, нетерпеливо дрожащих, пропускающих другой, поперечный, поток и готовых мгновенно, лишь вспыхнет зелёный сигнал, ринуться дальше. В то время на углу площади ещё не было ни здания концертного зала, ни станции метро. За глухой деревянной оградой, помеченной понятной всем москвичам буквой «М», находилась лишь шахта метро. Там, видимо, работали и по воскресеньям. Оттуда выбежали девушки в брезентовых куртках и штанах, в громоздких резиновых сапогах, в мокрых шахтёрских широкопоях шляпах, торопливые, весёлые, забрызганные свежим бетоном. Они быстро и ловко пробирались между стоящих машин, и Бережков не удержался, чтобы не помахать им рукой.

Вскоре мы двинулись дальше, ещё не раз застревали у светофоров и наконец, миновав окраину, вырвались за город, на зелёный простор.

Мотоциклет нёсся, перегоняя все попутные автомашины. Казалось, Бережков не может равнодушно видеть идущую впереди машину, он обязательно должен обогнать. В ушах свистело, на каждой выбоине меня швыряло, и я благословлял минуты, когда впереди не виднелось машины, тогда наша скорость была как будто не столь бешеной.

4

Мы были в пути уже больше часа, уже промчались по мосту над блистающей Окой, оставили в стороне шоссе, когда Бережков наконец затормозил машину.

— Где-то здесь, — сказал он. — Да, да, вот наша платформа.

Я не заметил никакой платформы. Мы находились у железнодорожной линии, с обеих сторон надвигался лес и нигде не виднелось построек.

— Чистенько сработано! — сказал Бережков и ударил обо что-то ногой.

Приглядевшись, я увидел потемневший от времени срез толстого столба, спиленного вровень с землёй. Рядом виднелись такие же срезы — остатки какого-то помоста.

— Историческое место, — говорил Бережков, поглядывая вокруг. — Я с ним расстался в 1918 году.

— И с тех пор ни разу не бывали?

— Ни разу! Чёрт возьми, все пути-дорожки заросли.

Я тоже посмотрел вдоль полотна и увидел лишь две стены леса, смыкающиеся в отдалении. Одна сторона была залита солнцем; там в игре света и тени блестела смолистая хвоя и словно прозрачная зелень берёз.

Сложив руки, Бережков постоял, полюбовался. Однако надо было куда-то держать путь. К счастью, на пешеходной тропинке вдалеке оказался человек. Это сразу заметил и Бережков.

— Едем! Наверное, кто-нибудь из здешних.

Скоро мы нагнали пожилую крестьянку.

— Здравствуйте, — сказал Бережков. — Вы здешняя?

— Здешняя.

— Не приходилось ли вам слышать, что тут, в ваших краях, давным-давно строили одну машину?

— Не знаю. Я малограмотная, сынок.

— Ну, нет ли тут у вас в лесу чего-нибудь особенного? Какого-нибудь чудища? Не стоит ли где-нибудь около реки такая железная штукавина?

— Нетопырь?

— Как?

— Мы его нетопырём зовём.

Расхохотавшись, Бережков обернулся ко мне и с торжеством — выкрикнул:

— Что?! Меткое слово!

В невероятном сегодняшнем рассказе Бережков тоже называл это чудище «нетопырём» — прозвищем, которое придумали солдаты.

В ответ на дальнейшие расспросы женщина объяснила, как найти тропинку.

— Разыщем! — сказал Бережков. — Спасибо, мать.

— И вам спасибо на хорошем слове. А кто вы такой будете?

— Бережков.

— Бережков? Такого не слыхала.

Бережков стоял перед ней — высокий, статный, в светлой лёгкой рубашке, заправленной в брюки, со щегольским галстуком. Как раз в это время высоко над нами проходил серебристый самолёт. Слабо доносились рокотание мотора. Бережков посмотрел вверх, подмигнул мне и переспросил:

— Не слыхала?

Мы вновь тронулись. Бережков осторожно направлял мотоциклет по едва заметной лесной тропке. Скоро сквозь стволы берёз показалась большая поляна, поросшая молодняком.

— Вот он! — закричал Бережков.

— Где?

Я не видел «нетопыря». За долгие годы неподвижности он слился с местностью, утратил и цвет и геометрические очертания металла. Взглянув я искал его, как на загадочной картинке.

Поставив мотоциклет, Бережков быстро зашагал по поляне. Я шёл за ним и вдруг совсем близко различил два увязших огромных ржавых колеса, напоминающих чем-то пароходные, высотой чуть ли не до макушек леса. Да, передо мной был словно остов странного, фантастического парохода. Я различил короткий, клинообразный, как у ледокола, нос и округлую, тоже массивную, корму.

Ещё несколько шагов, и я мог взяться за колесо рукой. Слой рыжей ржавчины легко отломился и раскрошился в моих пальцах. Толстые железные плиты виднелись лишь в верхней половине колёс; внизу их скрывал молодой березняк. Задний каток почти целиком ушёл в почву; там возвышался лишь твёрдый замшелый горб.

На всём «нетопыре» не сохранилось ни единой гайки. Всё, что можно было отвинтить, сбить или оторвать, было отвинчено, сбито — и унесено. И всё же стальная машина уцелела...

5

Вот история, рассказанная Бережковым перед нашей поездкой на мотоциклете.

Помню, он прошёл по комнате, сосредоточиваясь, потом многозначительно поднял указательный палец и, сдерживая шутливую улыбку, приступил к повествованию.

— Вся грандиознейшая эпопея, — сказал он, — которую я вам сегодня изложу, началась с того, что в один прекрасный день, осенью 1915 года, куда-то исчез Ганьшин. Это, как вы, надеюсь, не забыли, мой двоюродный брат, мой репетитор по математике, мой друг, а потом...

Внезапно Бережков оборвал себя на полуслове и воскликнул:

— Нет!.. Всё зачеркните. Такое начало не годится. Исчезновение Ганьшина пойдёт у нас второй главой. А первую назовём так: «Ладошников». Прошлый раз я что-нибудь говорил вам о Ладошникове? Ничего? Чёрт возьми, ужаснейшее упущение... Но мы сейчас это поправим. Я был ещё учеником реального училища (правда, перешедшим уже в последний класс), когда познакомился с Ладошниковым. Как вам известно, летние каникулы я обычно проводил у того же Сергея Ганьшина или, говоря точнее, пользовался гостеприимством моей тётки, его матери, которая учительствовала во Владимирской губернии, неподалёку от усадьбы профессора Николая Егоровича Жуковского. О Жуковском вы уже кое-что от меня слышали.

— Пока очень мало.

— О, про Николая Егоровича можно рассказывать без конца.

Улыбаясь, Бережков посмотрел на большую фотографию, которая висела на стене. Там был снят во весь рост Николай Егорович Жуковский, грузный седобородый профессор в широкополой шляпе, в болотных сапогах, с охотничьей двустволкой и собакой, — отец русской авиации, как он назван в декрете, подписанном В. И. Лениным. Глаза даже на фотографии казались ясными и зоркими.

— Мне привелось видеть Николая Егоровича, — произнёс Бережков, глядя на портрет, — ещё с совершенно чёрной курчавой бородой. У меня это удержалось, как обрывок первых воспоминаний детства, обрывок, невероятно яркий. Было так... Впрочем, виноват, не будем отвлекаться. Но вы пометьте у себя: «Николай Егорович с чёрной бородой». Потом напомните, я вам прелюбопытную сценку расскажу. На чём мы остановились?

— Вы упомянули о Ладошникове.

6

— Да, да... Я познакомился с ним там же, во Владимирской губернии. Он, студент, член студенческого воздухоплавательного кружка в Московском Высшем техническом училище, проводил в тот год летние каникулы у Николая Егоровича. Впоследствии мы узнали, что Ладошников уже тогда, в усадьбе Жуковского, готовил свою дипломную работу: проект самолёта. Два года спустя мы с Ганьшиным присутствовали на защите этого диплома, а пока... Пока нам удавалось только издали видеть Ла-

дошников. Уж и разглядывали же мы его, этого студента, который был гостем и, наверное, любимцем Николая Егоровича.

Ладошников шагал в одиночку по полям, всегда словно насупясь, сутуловатый, долговязый, в полотняной вышитой косоворотке, в сапогах.

Как-то в июльский или августовский жаркий день мы с Сергеем разбирали у пруда купленный в складчину подвесной лодочный мотор. Этот маленький двигатель фирмы «Сиам» служил нам для всяческих экспериментов. Бесконечная возня с моторчиком доставляла мне гораздо больше удовольствия, чем катание по реке. Я придумывал десятки разных переделок, и лишь холодный язвительный разум Сергея, а также главным образом ограниченность наших финансовых возможностей обуздывали меня. Всё же я сумел не только применить шпильки и шплинты «системы Бережкова», но и по-своему устроил зажигание и, кроме того, ввёл очень простой механизм собственного изобретения для подсосывания рабочей смеси.

Лодка была вытащена на берег. Разобранные части двигателя лежали перед нами на корме. И вдруг, представьте себе, откуда ни возьмись, по берегу к нам приближается Ладошников. Подошёл. Остановился. Не сказав ни слова, посмотрел на разнятую машину. Мы пытались казаться равнодушными, но, конечно, принялись искоса его разглядывать. Насупленные брови придавали ему угрюмый вид. Под сильно выступающими надбровными дугами прятались глаза, казавшиеся очень маленькими. Неужели он так и уйдёт, не раскрыв рта? Я не мог найти подходящей фразы, чтобы начать разговор, но Ладошников сам нарушил молчание. Показав на придуманный мною механизм, он спросил:

— Кто это смастерил?

Разумеется, я ничего не ответил и лишь скромно улыбнулся. Сергей объявил о моём авторстве. Слово за слово, выяснилось, что Ладошников всё рассмотрел: и мои необыкновенные шпильки и новую систему зажигания. Через некоторое время, обращаясь ко мне, он спросил:

— Как тебя зовут?

— Алексей Бережков.

— А ведь ты, Алексей, когда-нибудь, пожалуй, изобретёшь собственный мотор.

Без малейшего колебания я ответил:

— А как же! Обязательно!

— Может быть, ты уже знаешь, каков он у тебя будет?

— Знаю. Двухтактный. С короткими цилиндрами. Чтобы ход поршня был меньше диаметра. И с небывалыми противовесами.

Я ожидал, что мой ответ поразит Ладошникова. Моя выдумка, захватившая воображение ещё в шестом классе реального училища, казалась мне ультранеобыкновенной. Но вышло так, что Ладошников поразил нас. Взяв из груды металлических частей длинный стерженёк и подходящую гайку, он при помощи этих несложных предметов наглядно изобразил ту самую схему двигателя, которую я считал абсолютно новой, никому ещё неизвестной.

— Так ты себе это представляешь? — спросил он.

— Вы... Откуда вы знаете?

— Видимо, не ты один размышляешь над проблемами развития техники... Другие тоже иногда этим занимаются.

Поворачивая стерженёк и гайку, он показал некоторые тонкости задачи, тонкости, о которых, не скрою, я не подозревал. Мы с Сергеем слушали Ладошникова, разинув рот. Он заговорил с увлечением, голос стал звучнее. Знаете, что ещё удивило меня? Голубовато-серые глаза, которые раньше глядели исподлобья и казались маленькими, были большими, ясными, красивыми.

— Вот, Алексей, имей всё это в виду, когда займёшься своим двигателем.

— А вы? Почему вы сами не занялись таким мотором?

— Мне, брат, не до этого. Руки не дойдут.

Бросив стальные детали, Ладошников мотнул на прощание головой и зашагал от нас. Так мы с ним познакомились.

Два года спустя я действительно построил маленький лодочный мотор собственной конструкции на основе принципа, о котором мы толковали с Ладошниковым в летний день на берегу пруда. Об этом моторчике я вам прошлый раз уже рассказывал. Помните?.. Впрочем, не будем отвлекаться.

7

Ещё одна картина неотступно возникает предо мной, когда я вспоминаю о молодом Ладошникове.

Вообразите актовый зал Московского Высшего технического училища. Весна 1913 года. В окна льётся солнце. На высокой подставке укреплена модель аэроплана с обшитыми полотном крыльями. Это самолёт Ладошникова, названный по его фамилии «Лад-1».

В то время гремела слава «Ильи Муромца», многомоторного воздушного корабля, на котором русские лётчики только что установили ряд мировых рекордов, в частности дальности полёта и грузоподъёмности. А «Лад-1» обещал превзойти «Муромца». Проект был дерзновенным. Одномоторная машина Ладошникова с размахом крыльев в тридцать шесть метров была, согласно проекту, быстрходнее «Муромца» и вместе с тем могла поднимать не полтсры, как «Муромец», а две с половиной тонны груза.

В зале черным-черно от студенческих тужурок. Такая же тужурка и на мне. Я сижу подле Ганьшина во втором ряду.

Ладошников уселся в стороне. Его тужурка испачкана мелом. Три часа подряд, отвечая на возражения и вопросы, он защищал здесь свой проект. Теперь он ждёт заключения комиссии. Брови сдвинуты; глаза, которые только что сверкали, когда он боролся у доски за свою конструкцию, глядят куда-то вниз. Рука всё ещё держит кусок мела; пальцы сжимают, сдавливают этот мел; на пол, на чёрную кожу сапога сыплется белая пыль.

Только что прозвучал звонок, означающий окончание перерыва. Все рассаживаются по местам, ждут заключения комиссии. Вокруг стола, застланного зелёным сукном, стоят пустые стулья. Сейчас дипломная комиссия выйдет в зал.

Я смотрю на Ладошникова и, мне кажется, понимаю его мысли. Незадолго до перерыва выступил один из членов комиссии, известный профессор прикладной механики, постоянный консультант московского завода «Дукс», где уже было выпущено несколько аэропланов. Он доброжелательно сказал:

— Не слишком ли большие требования мы предъявляем дипломанту? Разумеется, такой аэроплан, если на минуту предположить, что он будет построен, никогда не взлетит. Но взглянем на это иначе — как на студенческий проект, как на фантазию юноши, становящегося инженером...

Профессор продолжал говорить, но Ладошников вдруг перебил:

— Почему не взлетит?

— Об этом, если пожелаете, побеседуем особо... Пожалуйста, я всегда к услугам молодых талантов.

Ладошников мрачно выслушал эти слова. «Никогда не взлетит!» Только это, наверное, звучало в тот момент в его ушах.

Но вот члены комиссии вышли в зал, расположились в креслах, вот с председательского места поднялся Николай Егорович Жуковский.

Пожалуй, ещё никогда я не видел его таким небудничным, торжественным. Изо дня в день он появлялся на лекциях в поношенном просторном пиджаке. Всем было известно, что Жуковский не любил облекаться в мундир или в сюртук даже в тех случаях, когда ожидался приезд кого-либо из высочайшего начальства. Но в этот день, как бы в честь своего ученика, закончившего долгий труд, в честь этого события, Николай Егорович надел длинный сюртук. Освещённый солнцем, игравшим в густой белой бороде, он, создатель науки о летании, старый профессор, с большим куполообразным лбом, с пронизательными тёмными глазами, был величав в эту минуту. Мы услышали его знакомый, любимый всеми нами, высокий, звучный голос:

— Комиссия единогласно решила, — сказал он, — присудить Михаилу Михайловичу Ладосникову диплом первой степени с отличием. А что касается вопроса, взлетит ли когда-нибудь...

Жуковский не договорил. Ему помешали рукоплескания. Мы аплодировали Ладосникову, его проекту, его упорству и успеху, аплодировали его руководителю, нашему учителю Жуковскому. Николай Егорович посмотрел на Ладосникова, всё ещё насуспенного, быстро выбрался из-за стола и, протягивая обе руки, подошёл к своему ученику. Ладосников порывисто вскинул голову. Мы увидели, что Николай Егорович обнял и поцеловал его. Тотчас мы вскочили с мест и, продолжая аплодировать, обступили их обоих. И услышали, как Жуковский произнёс:

— Взлетит твоя ладушка, взлетит!

Ладосников, видимо, не мог ничего выговорить. Безмолвно говорили лишь его глаза, вдруг заблестевшие, опять ставшие большими.

8

— Вот теперь мы, — продолжал Бережков, — вправе перейти к следующей главе нашей необычайной эпопеи. Перенесёмся на два с половиной года дальше.

Итак, как я уже упомянул, однажды осенью 1915 года внезапно исчез Ганьшин.

Накануне мы условились, что утром он зайдёт за мной и мы вместе отправимся на конкурс зажигательных бомб.

Тогда, в первый и во второй годы войны, такие конкурсы были в большой моде. Но это был особенный конкурс. На нём демонстрировалась одна адская штучка, которую придумал Алексей Бережков. Эту вещь я изобрёл летом всё в той же Владимирской губернии, где по неизменному обычаю мы с Сергеем проводили каникулы.

Надо вам сказать, что к тому времени мы оба уже были полноправными членами студенческого воздухоплавательного кружка, созданного Жуковским. В нашей компании энтузиастов авиации Ганьшин числился великим математиком. Трактаты по математике он проглатывал, словно это были похождения Шерлока Холмса, и мог часами говорить об интегралах. Николай Егорович поручал ему самые умопомрачительные вычисления, и в двадцать два года, ещё студентом, Ганьшин заведовал расчётным бюро у Николая Егоровича в аэродинамической лаборатории. И вдруг в самый драматический момент, в день конкурса на лучшую зажигательную бомбу, он пропал неведомо куда. Моя бомба произвела на конкурсе потрясающее впечатление, в этот день я праздновал свой успех, но нет-нет да и мелькало беспокойство о Сергее. Куда он делся? Я не волновался бы, если бы не знал так хорошо Ганьшина. Этот холодный скептик, постоянно подвергающий язвительной критике мои фантазии, был чудесным другом. Какие причины могли заставить его исчезнуть в такой волнующий и торжественный для меня момент? Что могло случиться?

На следующий день Ганьшин опять не появился. Что такое? А ещё через день, когда мне удалось вырваться к нему на квартиру и узнать, что он отсутствует уже три дня, я почти не сомневался, что произошло нечто трагическое.

Кто же его видел последний? С кем он разговаривал перед тем, как исчезнуть? Кажется, его вызывал Жуковский. Я побежал к Николаю Егоровичу.

— Николай Егорович, вам не известно, куда пропал Ганьшин?

— Пропал? Разве? Не знаю...

А сам отводит глаза.

— Вы знаете, Николай Егорович!

— Нет, ничего не знаю.

Однако Жуковский не умел говорить неправду. У него смущённый и таинственный вид.

— Не волнуйся, дорогой, — проговорил Николай Егорович, — твой друг жив.

— Но где же он?

— Не могу сказать.

Пришлось уйти ни с чем. Но загадочные ответы Жуковского не давали мне покоя. Что за дьявольщина? Что за тайна?

9

Только через две недели я узнал, куда исчез Сергей. Он сам пришёл ко мне.

— Поедем.

— Куда?

— К инженеру Подрайскому.

— К какому Подрайскому?

— Узнаешь.

— А где ты пропадал?

— Всё узнаешь.

Его сухощавое, немного курносое лицо, его глаза за стёклами очков были непроницаемы.

Через полчаса Ганьшин доставил меня к месту назначения, — этот домик на Малой Никитской я запомнил навсегда. Большие окна, смотревшие на улицу, зеркально блестели; я заметил, что, хотя ещё вовсе не смеркалось, окна изнутри были наглухо задрапированы малиновым бархатом. Ганьшин позвонил у ворот, нас пропустили во двор, и мы вошли в особняк через задний вход. В прихожей кто-то спросил мою фамилию и отправился докладывать. Затем был приглашён я один, без Сергея. Меня провели в огромный кабинет, залитый электрическим светом, с двумя солидными нескораемыми шкапами у стен. Наглухо закрывая окна, тяжёлыми складками спускались те самые драпри, которые я заметил с улицы.

Из-за стола навстречу мне неторопливо поднялся человек среднего роста в элегантнейшем синем костюме. Его чёрные усы были подстрижены с такой изумительной аккуратностью, что казались бархатными.

— Здравствуйте. Вы Бережков?

— Да.

— Алексей Николаевич?

— Да.

— Вы сконструировали зажигательную бомбу?

— Я...

Он подошёл к двери и закрыл её на ключ. Что такое? Куда я попал? Затем он приблизился ко мне и, пристально глядя на меня, заставил покаяться, что я ни одной живой душе не расскажу о том, что услышу от него.

— Если вы скажете кому-нибудь хоть слово, то сразу — военно-полевой суд и расстрел в двадцать четыре часа.

— Расстрел?

— Да. С заменой, в случае помилования, пожизненной каторгой. Подпишите.

Он подал мне бумагу, где в письменном виде перечислялись эти предстоящие мне казни. Сгорая от любопытства, я моментально подписал.

Аккуратно сложив бумагу, он запер её в несгораемый шкаф. В полной тишине дважды щёлкнул замок. Затем он с торжественной медлительностью объявил:

— В этом доме помещается секретная военная лаборатория.

Я молча смотрел на него, ожидая, что из-под бархатных усов выпорхнут ещё какие-нибудь сногшибательные тайны. Он продолжал:

— Я приглашаю вас работать. Сумеете сконструировать прицельный бомбосбрасывающий аппарат?

Этот вопрос вызвал разочарование. Бомбосбрасывающий аппарат? Только и всего? Я ответил, как всегда отвечал в молодости:

— Если я не сумею, значит никто больше не сумеет!

Подрайский быстро на меня взглянул.

— Никто не должен знать, где вы работаете, — объявил он. — Для всего мира вы должны исчезнуть.

Такова была моя первая встреча с инженером Подрайским. В тот же день я был зачислен в его секретную лабораторию на должность младшего конструктора с жалованьем восемьдесят рублей в месяц.

10

— Велел исчезнуть? — спросил меня Ганьшин.

— Да.

— Не обращай внимания, живи дома. Это его штучки. Я тоже вначале на них клюнул.

Мы брели по Никитскому бульвару. Весь этот денёк, как иногда случается поздней осенью в Москве, был удивительно ясным, солнечным, тёплым. Дело шло к вечеру, но в аллею ещё проникало солнце. В его лучах всё казалось прелестным, золотым. Я это отметил, как счастливое предзнаменование.

Удалившись на достаточное расстояние от таинственного особняка, я, разумеется, изобразил Ганьшину в лицах весь разговор с Подрайским. Затем поинтересовался:

— В чём тут подоплёка с бомбосбрасывающим аппаратом? Зачем он ему нужен?

— Разве Подрайский тебе не объяснил? Для самолёта Лadoшникова. В изумлении я остановился.

— Лadoшникова? Он строит самолёт Лadoшникова?

Ганьшин повлёк меня вперёд.

— Не кричи на весь бульвар. Да, представь, Подрайский прибрал и эту вещь к рукам. Как раз теперь я пересчитываю её, составляю полный аэродинамический расчёт. И живу у Лadoшникова. Пойдём к нам, выпьем чаю.

Конечно, меня не пришлось упрашивать. Вскоре мы пришли к Лadoшникову. Он обитал в одном из переулков Остоженки. Впоследствии я не раз посещал этот бревенчатый двухэтажный флигелёк, в котором снимал комнату конструктор самолёта «Лад-1».

Из сеней по деревянным ступенькам, скрипевшим под ногами, мы поднялись на второй этаж. Сергей постучал и, услышав ответное «угу», отворил дверь.

Уже подступали сумерки, но в комнате, на первый взгляд очень большой, ещё не было огня. Два окна смотрели прямо в небо, озарённое зака-

том, посылавшее неверный свет. На фоне одного из окон темнел силуэт Ладосникова. Он стоял без пиджака, рукава вышитой рубашки были засучены.

— Обождите! — крикнул он и запрещающим энергичным движением поднял пятерню.

Мы остановились.

— Чёрт возьми, опять занялся мухами, — проворчал Ганьшин. — Потелело, вот они и ожили на мою беду.

Сперва я ничего не понял. О чём он? Какими мухами? Но в комнате действительно слышалось жужжание мухи. Присмотревшись, я различил очень странную муху, которая описывала круги над большим столом. Тут же на столе я увидел несколько лейденских банок и необычного вида аппарат с ручкой, фотокамерой и глазком объектива.

Склонившись над столом, Ладосников протянул руку, что-то тронул и... И в комнате вдруг засверкали молнии, разряды лейденских банок, слившиеся в единую вспышку.

Мне запомнилась освещённая этими молниями, лежавшая на столе рука Ладосникова. — Большая, с несколькими мелкими шрамами от порезов и ссадин, с темноватой от въевшейся металлической пыли, шершавой, как у мастерового, кожей на подушечке большого пальца, с широкими, коротко подстриженными, видимо очень крепкими, блестящими ногтями.

— Хватит тебе! — крикнул Ганьшин, когда пронёсся каскад электроискр.

Окна ещё голубели, но после ослепительных разрядов комната стала как будто совсем тёмной. Ганьшин повернул выключатель, вспыхнула лампочка под потолком.

Муха продолжала летать по своему странно правильному круговому маршруту. Ладосников поймал её и посадил на ладонь. Разумеется, я немедленно приблизился и возрился на эту загадку природы. Улыбнувшись, Ладосников объяснил, что мухи и другие маленькие крылатые создания, вплоть до комаров, служат ему для изучения законов летания.

— Ты, Алексей, наверно, даже и не подозреваешь, — говорил он, — что полевая муха развивает скорость до семидесяти вёрст в час. А эта госпожа лишь немного от неё отстанет.

Я увидел, что мушиное крыло двумя волосками одуванчика было в определённом положении приклеено к туловищу, вследствие чего и создавался удивительный круговой режим полёта. Необычайный аппарат был кинокамерой, сконструированной и построенной самим Ладосниковым, — камерой, которая успевала произвести двадцать четыре снимка в тот ничтожный промежуток времени, когда сверкали искусственные молнии.

Взяв маленькие ножницы, Ладосников перерезал волоски одуванчика, возвращая своей пленнице естественность движений. Его грубоватые широкопалые руки нежно — другого слова тут не подберёшь — справлялись с этой операцией.

— Бей её! — воскликнул Ганьшин. — Она теперь чертовски злющая. Кусачая...

— Ничего, — сказал Ладосников. — Поработала, пусть поживёт.

Приоткрыв дверь, он пустил муху в коридор и, последив, как она полетела, возвратился к нам.

Скоро на столе, где только что проводились удивительные эксперименты, появился кипящий самовар. Ладосников по-хозяйски расставил стаканы, сам заварил чай. Ганьшин сообщил о моём визите к Подрайскому, о моей новой должности. Я, разумеется, не преминул уснастить художественными подробностями это сообщение.

— Наверное, я когда-нибудь пристукну этого Подрайского, — вдруг буркнул Ладосников.

— А что, опять? — спросил Сергей. — Опять взялся за тебя?

— Заявил, что прекращает строить аэроплан.

— Это он врёт, — проговорил Ганьшин. — Для чего же он заказывает бомбосбрасывающий аппарат? Да и мотор уже плывёт по океану.

— По океану? — изумился я.

— Да. Из Америки. «Гермес». Двести пятьдесят сил, — объяснил Ганьшин.

У меня вырвалось:

— Ого!

В те времена американский авиадвигатель фирмы «Гермес» мощностью в двести пятьдесят лошадиных сил считался последним словом техники.

— Шут его знает, не пойму, когда он врёт, когда не врёт, — продолжал Ладошников. — Сегодня вызвал меня и сказал, что раскрывает мне все карты. Денег, мол, совершенно нет. Жизнь, мол, берёт за глотку, поэтому он вынужден... Ну, и так далее... В общем, всё свелось к тому, что он опять потребовал от меня идей... Новых идей! Сногшибательных идей!

— А проект аэросаней? Что же, ему мало?

— Мало. Ему надо что-то такое, чтобы...

— Что-то уму непостижимое? — подсказал я.

— Вот-вот... Такое, чтобы немедленно принесло ему деньги... А то действительно, чёрт его возьми, он вылетит в трубу.

— У меня есть одна идея, — скромно заявил я.

— Какая?

— Выбросить из автомобиля коробку скоростей. По-моему, над такой задачей стоит поломать голову.

— Наш патрон не клонет, — сказал Ганьшин. — Не действует твоя коробка на воображение.

Я с готовностью предложил ещё несколько своих идей. Однако в данных обстоятельствах ни одна из них не была признана подходящей для Подрайского. Улучив удобную минуту, я задал вопрос, который, не скрою, меня очень занимал:

— А как он платит за идеи? Извините, Михаил Михайлович, мою неделикатность, но сколько, например, он заплатил вам за аэроплан?

Ладошников расхохотался.

— Ты, Алексей, не имеешь никакого понятия о Подрайском. Но и ты скоро услышишь: «Доходы в будущем». Пока же... Как видишь, он сам тянет с меня. Плачу изобретениями... Только бы строил...

11

Разумеется, я скоро узнал Подрайского поближе. О его таинственной личности непрерывно ходили всякие слухи среди сотрудников лаборатории. Он казался всемогущим: имел доступ в так называемые лучшие дома Москвы, был своим человеком в гостиной московского генерал-губернатора; говорили, что у него колоссальные связи в Петербурге, что он вхож к военному министру и так далее и так далее. Мы знали, что его навещали и принимали у себя некоторые крупнейшие воротилы промышленного мира — Рябушинский, строивший автомобильный завод в Москве, Мещерский, владелец Коломенских и Сормовских заводов, и другие.

Подрайский всегда одевался в темносиний костюм, который выглядел словно с иголки; употреблял лучшие заграничные мужские духи; изумительно подстригал усы; постоянно был безукоризненно выбрит и прекрасно причёсан на пробор. Разговаривал он, как-то вкусно чмокая губами, и сам казался сдобным, аппетитным. Мы прозвали его «бархатный кот».

Как вы увидите дальше, этот приятнейший «бархатный кот» был наделён необычайной оборотливостью. На Малой Никитской улице он снял особняк и устроил там, как я уже рассказывал, секретную военную науч-

но-исследовательскую лабораторию. Штат лаборатории был подобран весьма своеобразно. У Подрайского был тончайший нюх на талантливых изобретателей. Он где-то их разыскивал, зачислял в штат лаборатории, и они работали там над осуществлением своих изобретений. Всякому, кто приносил интересную идею в лабораторию Подрайского, предлагалось подписать следующий контракт: вам за идею — десять процентов будущего дивиденда, остальное — Подрайскому. Однако, если вы приносили не идею, а вещь — Вещь с большой буквы, то есть уже сконструированную, уже в модели, вычерченную, рассчитанную, проработанную во всех тонкостях, — тогда предвкушаемые дивиденды делились в контракте поровну между автором и Подрайским: пятьдесят на пятьдесят.

Любитель точных определений, Сергей Ганшин придумал великолепное название для фирмы Подрайского: «Чужие идеи — наша специальность». Наш патрон не знал, конечно, об этих язвительных шутках; сотрудники лаборатории всегда были с ним почтительны; он в высшей степени любил почтительность.

Достопримечательностью лаборатории был бакалавр Кембриджского университета, человек с огромной лопатообразной бородой, мы его прозвали «борода». Когда в лабораторию приезжали генералы и солидные промышленники, Подрайский обычно представлял им бакалавра, выговаривая как-то очень вкусно этот титул. Впрочем, красавец бакалавр был по фамилии попросту Овчинников из волжской купеческой семьи. Ему-то как раз и принадлежала идея бомбосбрасывающего аппарата (контракт по низшему разряду — десять процентов за идею).

Две комнаты особняка были отведены под механическую мастерскую, где священнодействовали какие-то особые искусники, какие-то академики слесарного дела, вроде тех, которые в своё время в Туле подковали блоху. В других комнатах располагались конструкторское бюро, химическая лаборатория и контора. Весь этот штат трудился над секретнейшими военными изобретениями.

К числу таких изобретений относилось взрывчатое вещество, названное по имени жены Подрайского, Елизаветы Павловны, — «лизит». Истинным автором был химик Мамонтов, несчастный, вечно нуждающийся, чулковатый старик.

Мамонтов был одним из немногих, кто имел не идею, а вещь, — он принёс и положил на стол своё вещество. В лаборатории оно охранялось не только от всякого постороннего глаза, но и от взгляда сотрудников. Лишь много времени спустя, после разных событий, о которых речь впереди, я однажды увидел этот таинственный состав, — абсолютно белый, похожий на сахарную пудру или на тончайший зубной порошок. Его взрывчатая сила была, по тем временам, действительно огромна, значительно выше того, что дают пироксилиновые порохи.

Сначала состав назывался «московит», а потом незаметно преобразился в «лизит». Думаю, химик согласился на это из-за неожиданно возникших трудностей или, быть может, попросту ради презренного металла.

Трудности заключались в том, что устойчивость этого состава оказалась недостаточной: некоторое время полежав, состав самовзрывался. Предполагалось, что эту неприятность вскоре удастся устранить. Тем временем в ангаре-мастерской на Ходынском поле заканчивалась постройка тяжёлого одномоторного самолёта «Лад-1», рассчитанного на двадцать пять часов полёта без посадки. А потом...

Потом, в один прекрасный день, целая эскадрилья этих самолётов будет нагружена авиабомбами марки «лизит», самолёты вылетят на фронт и... И вот тогда «лизит» себя покажет.

Остановка, казалось бы, была только за малым — за прицельным бомбосбрасывающим аппаратом.

Идея бомбардировочного авиационного прицела принадлежала, как сказано, Овчинникову, нашему бакалавру, «бороде». Принцип был бесспорно интересен, но дьявольски труден для решения. Оно не давалось ни автору идеи — бакалавру, ни двум-трём инженерам-конструкторам, которые служили в таинственной лаборатории.

Однажды Подрайский, раздосадованный и нетерпеливый, сказал Ганьшину:

— Не знаете ли вы какого-нибудь стóящего изобретателя-конструктора?

— Как не знаю? В воздухоплавательном кружке есть одно чудо природы — Бережков.

— Кто он такой?

— Студент.

— Студент? А что он сделал?

Ганьшин рассказал обо мне. В Москву после окончания Нижегородского реального училища я явился уже с изобретением, с уже упомянутым бензиновым лодочным мотором моей собственной конструкции.

Осенью 1915 года я мог похвастать и двумя премиями, завоёванными на двух конкурсах. Это были конкурсы на лучший походный аккумулятор и на лучшую зажигательную бомбу.

Всё это Ганьшин подробно изложил Подрайскому, памятуя, разумеется, о том, что мне всегда адски требовалось подзаработать.

— Давайте Бережкова сюда! — распорядился Подрайский.

Такова была цепь обстоятельств, которые привели вашего покорного слугу к Подрайскому.

12

Рассказывая, Бережков что-то рисовал на листе бумаги. Потом подняв, полюбовался и, усмехаясь, показал. За столом, держа ложку над дымящейся тарелкой, сидел откормленный, улыбающийся кот. Вокруг шеи была повязана салфетка, её концы пышно торчали в стороны.

— Это наш бархатный кот,— объяснил Бережков.— За обедом он всегда подвязывал салфетку таким манером и мурлыкал особенно блаженно. А посмотрели бы вы его портреты, принадлежащие кисти и карандашу моей сестрицы. Они где-то у меня хранятся. Маша гениально его изобразила.

С сестрой своего героя, Марией Николаевной, я был уже знаком. Художница (а в ту пору, о которой повествовал Бережков, студентка Строгановского училища технического рисования в Москве), она, возможно, в самом деле более точно воспроизводила на бумаге облик основателя таинственной лаборатории, но я удовлетворился выразительным рисунком Бережкова. С его разрешения набросок был приложен к моим записям. Затем Бережков неожиданно спросил:

— Не приходилось ли вам читать роман «Тона-Бенге»?

— Нет.

— Жаль. Любопытная вещь. Один американец решает изобрести что-нибудь невероятное, что-нибудь такое, что прогремело бы на всю Америку. Он бродит в раздумье по городу и где-то на окраине, среди пустырей, видит на заборе полустёртую надпись. Некоторых букв уже нельзя различить, а из других составляется непонятное и красивое слово «Тона-Бенге». Оно звучит, как музыка. Американец возвращается домой, заказывает десять тысяч этикеток со словом «Тона-Бенге», наклеивает этикетки на изящные флаконы и наливает туда... подкрашенную воду. И «Тона-Бенге» покорила Америку. Это слово светилось по ночам на небоскрёбах, о нём распевали с эстрады в кабачках — всюду сияла и пела «Тона-Бенге».

В лаборатории Подрайского тоже пела, заливалась «Тона-Бенге». Чего там только не придумывали, не конструировали, чуть ли не шапку-невидимку! И к Подрайскомуплыли деньги; в лабораторию приезжали, как я уже говорил, солидные коммерческие и военные люди; в таинственном кабинете шли таинственные разговоры; но через некоторое время всякий раз неизбежно выяснялось, что изобретение не вытанцовывается.

Я, например, очень быстро, в полтора месяца, руководствуясь расчётами Ганьшина, смастерил бомбосбрасывающий аппарат. Всё получилось как по-писаному. Лётчик наводил визирную трубку на цель, а все вычисления, все поправки на снос совершал сам прибор. В какой-то момент автоматически загоралась красная лампочка, лётчик нажимал рычаг, и бомба летела вниз. Это была бы совершенно замечательная вещь, если бы не один маленький дефект: в цель наши бомбы почему-то всё-таки не попадали.

Немало других, не менее соблазнительных изобретений прошло через лабораторию Подрайского. Не выходило одно, другое, появлялось третье.

В первые же месяцы войны Подрайский ухватился за проект самолёта «Лад-1». Ещё бы! Ведь «бархатный кот» мог сослаться на славное имя Жуковского, благословившего конструкцию. Конструкцию самого мощного самолёта в мире! Такого, который сможет подняти две с половиной тонны груза и продержаться в воздухе двадцать пять часов, то есть совершить без посадки боевой полёт от Варшавы или Вильно до Берлина и обратно!

Да, под это можно было получить субсидию. И, разумеется, Подрайский получал. А самолёт строился без всякой серьёзной технической базы, не на заводе, а в жалкой кустарной мастерской, устроенной на живую нитку в пустом ангаре, продуваемом насквозь всеми ветрами.

Только энергия Ладошниковца двигала сборку.

13

Лаборатория Подрайского существовала, как говорится, «на фу-фу». Через каждые два-три месяца над нею нависал отчаянный денежный кризис. Казалось, вот-вот Подрайский прогорит.

Не ладилось, например, с «лизитом». Неунывающий «бархатный кот» говорил, что надобно лишь дотянуть, дожать, но проходили дни, а вещь оставалась недожатой.

В таких случаях Подрайский становился на время мрачным, не платил поставщикам, не платил за дрова, не платил дворнику и кучеру. Наконец он прятался. Жена его, Елизавета Павловна, чьё имя нежный супруг решил обессмертить, по нескольку раз в день звонила по телефону.— спрашивала, где её муж. Никто этого не знал.

Но вот в какой-нибудь прекрасный день Подрайский появлялся — весёлый, довольный, мурлыкающий. Появлялся и расплачивался со всеми. Мы знали, что это означает: очередная неудача забыта, опять найдено или придумано что-то поразительное, где-то получены авансы, опять запела «Тона-Бенге».

Свирепый денежный кризис стиснул «бархатного кота» в начале зимы 1915 года. А между тем приближалась некая торжественная дата, известная всем сотрудникам лаборатории. Ежегодно двадцать восьмого ноября Подрайский праздновал день своего рождения. По установившейся традиции работа в лаборатории в этот день не производилась. Служащим полагалось явиться с визитом к патрону, в высшей степени чувствительному, как уже сказано, к знакам почтительности. Однако на этот раз уже за две недели до своего праздника Подрайский словно сгинул.

Несмотря на это, днём двадцать восьмого ноября мы с Ганьшиным, выполняя долг вежливости, отправились к нему с визитом. Ладошников не пошёл с нами. «Я бы предпочёл, чтобы такие личности пореже появлялись на свет», — пробурчал он. И уехал, как обычно, в ангар, где заканчивалась сборка самолёта.

Подрайский жил в Замоскворечье, где снимал особняк из восьми комнат. Зная, что в последние дни «бархатный кот» никого не принимал, мы предполагали расписаться в книге посетителей и достойно удалиться. Но произошло иное.

— Вас ожидают, — сказала горничная, когда мы назвали себя.

Она провела нас через анфиладу комнат.

— Наконец-то вы явились! — воскликнул Подрайский, едва мы вошли в его домашний кабинет.

К тому времени Подрайский вполне постиг наши таланты. Мы были уже столпами его лаборатории: Ганьшин стал начальником расчётного бюро, а я был произведён в чин главного конструктора.

Схватив со стола серебряный колокольчик, Подрайский позвонил.

— Третий звонок. Поезд трогается, — заявил он с торжественным и загадочным видом.

На звонок явилась та же горничная.

— Меня нет дома, — повелительно сказал Подрайский. — Никого не принимать.

Проводив горничную взглядом, он обратился ко мне.

— Алексей Николаевич, пожалуйста, закройте дверь.

Я плотно прикрыл дверь.

Подрайский огляделся по сторонам и вдруг, с неожиданной резвостью прыгнув к двери, распахнул её ногой. Убедившись, что никто не подслушивает, он повернул в замке ключ и возвратился к нам.

Конечно, мы забыли, что пришли поздравлять новорождённого, и с любопытством ждали, что же последует дальше. Таинственно понизив голос, Подрайский спросил:

— Что вы скажете о колесе диаметром в десять метров?

Мы переглянулись. Десять метров — это трёхэтажный дом.

— Большое колесо, — ответил я.

«Бархатный кот» улыбнулся.

— Для чего же такое колесо? — спросил Ганьшин.

— Это колесо перевернёт историю. Это колесо раскроет все двери перед нами. Это будет, — Подрайский ещё раз огляделся, — боевой самоход-вездеход.

Выяснилось, что Подрайскому удалось где-то выудить потрясающую выдумку. Вообразите, что на вас надвигаются два огромных — в шесть-семь раз выше человека — железных колеса, которые всё подминают под себя. Для сравнения представьте себе ручную тачку. Её обычно возят по доске. Попробуйте покатить её по булыжной мостовой. Это вряд ли вам удастся, потому что маленькое колесо не перепрыгнет через булыжник. А извозчик легко двигается по мостовой. Колесо его пролётки имеет диаметр семьсот миллиметров и свободно перескакивает через камни и небольшие выемки. Десятиметровое же колесо будет легко преодолевать окопы, проволочные заграждения, заборы и даже крестьянские постройки. В бронированной кабине будут расположены пулемёты и пушки.

— Ну, что вы скажете? — воскликнул Подрайский.

Его голос осекся. Я увидел, что он, этот гроссмейстер чёрной магии, волнуется, ожидая от нас, юнцов, приговора колесу. Перед ним стояли два антипода: конструктор и аналитик, фантазия и расчёт, восторженность и скептицизм, ваш покорный слуга и Сергей Ганьшин.

— А что? Здорово! — воскликнул я.

Даю вам слово, колесо меня сразу покорило. Я зажигаюсь мгновенно. Воображение уже рисовало, где поставить двигатель, как расположить передаточные механизмы, как перенести пониже центр тяжести посредством массивного заднего катка. Я уже мысленно видел этот необыкновенный вездеход, уже слышал его лязг, ощущал, как под ним содрогается земля.

Подрайский расцвёл, услышав мой возглас.

— Имейте в виду, — продолжал он, — такое колесо сможет преодолеть и реки до пяти метров глубиной.

— Почему только до пяти? — проговорил я. — Ведь ему можно дать запас пловучести. Сделать его полым. А по краю расположить лопасти. Тогда у нас будет амфибия.

— Амфибия?

Подрайский столь радостно подхватил мои слова, что я мог бы тут же потребовать с него десять процентов за идею.

— Конечно, амфибия!

Мне уже виделся вездеход на плаву. Тяжёлый задний каток, повисая в воде под герметически закрытыми корпусами двух крупнейших колёс, обеспечивал бы остойчивость всего сооружения. Никакая волна не смогла бы его опрокинуть. Дав волю фантазии, я всё это тут же преподнёс Подрайскому.

— Так, так... — поощрительно повторял Подрайский. — На таких амфибиях мы, следовательно, сумеем форсировать даже Вислу.

— Вислу? А почему не Дарданеллы?! — вскричал я. — Такие амфибии пройдут за одну ночь Чёрное море, выйдут на турецкий берег и захватят Дарданеллы с суши.

Насколько я понимаю, в этот момент «бархатный кот» окончательно стал приверженцем амфибии. Он вдруг подскочил ко мне, схватил меня за руку и едва слышно прошипел:

— Не кричите же об этом! Тсс... Ради бога, тсс...

Разумеется, я поклялся молчать.

— Окрестим её дельфином! — предложил я. — Или моржом... Ганьшин, как ты думаешь?

— По-моему, лучше всего уткой, — хладнокровно ответил мой язвительный друг. — Позволительно, например, спросить: где вы достанете мотор для такой амфибии?

В самом деле, мотор? Ведь можно придумать колесо и в сто метров диаметром, но чем, каким мотором его сдвинешь? Для такого грандиознейшего сооружения, как наша амфибия, нужен был очень сильный по тому времени и вместе с тем лёгкий мотор.

— Мотор есть!.. — сказал Подрайский.

— Откуда? Какой?

Жестом фокусника Подрайский вытащил из кармана телеграмму.

— Алексей Николаевич, будьте добры, прочтите вслух.

Я огласил телеграмму. В ней сообщалось, что четыре американских мотора «Гермес» мощностью по двести пятьдесят лошадиных сил прибыли во Владивосток и отправлены пассажирской скоростью в Москву.

— Это те самые моторы? — спросил я. — Для аэроплана «Лад-1»?

— Так точно, — ответил Подрайский. — Можете передать Михаилу Михайловичу: пусть прямо с вокзала забирает два мотора... А остальные... На амфибию поставим тоже мотор «Гермес».

Победоносно посмотрев на нас, Подрайский распорядился:

— Завтра же начинайте проектировать. — И добавил менее определённо: — О дивидендах договоримся.

Через некоторое время мы вышли от Подрайского. У меня горели уши. Они всегда загораются, когда загораюсь я.

Чёрт возьми, такой машины ещё не знала история! С мальчишеских лет я мечтал стать создателем, конструктором небывалых вещей, мечтал о великих делах, которые я совершу, которыми прославлЮ Россию. Вот оно, это небывалое дело!

Меня охватило вдохновение. Думая об амфибии, о самодвижущейся диковинной машине с десятиметровыми колёсами, какие ещё не ходили по земле, я видел невероятное количество чисто конструкторских трудностей. Но тут же, на ходу, в воображении возникали решения, захватывающе остроумные, адски интересные, как всегда кажется в жару озарения.

— Изумительно! — воскликнул я, восхищённый, вероятно, какой-нибудь собственной конструкторской находкой.

Ганьшин посмотрел на меня сквозь стёклышки очков. Его курносая физиономия была, как всегда, скептической.

— Что ты? — беспокойно спросил я. — Как твоё мнение?

— О тебе?

— Нет, об этой вещи.

— Игра ума, фантазия, чепуха.

— Как чепуха? Почему чепуха?

Здесь же, по пути домой, Ганьшин высмеял невиданное, неслыханное колесо. Прошло время, сказал он, когда воевали колесницами. Теперь, на войне, огромная амфибия, несомненно, окажется нелепостью. Высоченные колёса будут издали заметны и на воде и в поле; на такой махине нельзя незаметно подойти к неприятелю; эту мишень с лёгкостью разобьёт артиллерия; для пушек это будет самая лакомая пища.

Но я не унывал, отлично зная, что ещё не встречалось такой выдумки, которую Ганьшин сразу бы признал.

— Постой! — закричал я. — Ты забываешь скорость.

Ганьшин попрежнему насмешливо спросил:

— Какую же ты предложишь скорость?

Именно в этом пункте заключалась главная конструкторская трудность, и как раз тут ждал меня, верилось, триумф даже у Ганьшина, не без основания прозванного мной величайшим скептиком всея Руси. В те минуты, когда мы шли от Подрайского, у меня родилось, как мне тогда казалось, чудесное, абсолютно оригинальное решение, которое я с жаром стал излагать Ганьшину.

У знакомого флигелька мы остановились. Всё вокруг было запущено снегом. Во дворе висело на верёвке свежестирванное подмёрзшее бельё. От него, а быть может, и от снега, чистого, пушистого, исходил какой-то особый запах зимы — свежести, бодрости, удали. Не скрою, люблю этот запах. Словом... Словом, вы представляете моё состояние.

Увидев какую-то палку, я её схватил и принялся чертить на снегу. Но Ганьшин отнюдь не был восхищён. Он задал прежний вопрос:

— Какую же ты всё-таки предложишь скорость?

— Какую? При моём решении ты можешь избрать любую скорость. Пятьдесят, восемьдесят, сто километров в час! Вообрази, что такая громадина, адски грохоча, несётся на тебя со скоростью сто километров в час...

— Тебя, возможно, согревает твоё пылкое воображение, — сказал Ганьшин. — А я замёрз. Пойдём-ка выпьем чаю. Кстати, я прочту тебе кое-что из курса физики о законах прочности.

Дома он не спеша сначала занялся чаем. А я ходил за ним по комнате, по коридору, в кухню и обратно, доказывая своё, бешено злясь на него и одновременно желая его критики.

Потом он действительно снял с книжной полки один том курса физики, отыскал некоторые формулы и преспокойно доказал, что необыкновенные

размеры конструкции резко уменьшают её прочность, что на большой скорости огромное колесо неминуемо треснет и развалится при первом же ударе о какой-нибудь сложный профиль.

Ганьшин здраво и ясно изложил уничтожающий приговор. Но я не сдавался, я спорил. Природное чутьё конструктора, которое часто делает меня невозможнейшим упрямым, подсказывало и на этот раз: амфибия пойдёт!

Должен признаться: это природное чутьё не однажды подводило меня, особенно в молодые годы; случалось, что я упрямо строил уму непостижимые вещи, которые сам же впоследствии оставил как технические заблуждения, и лишь много лет спустя, закалившись как конструктор, научился держать на вожжах своё чутьё.

Мне уже была дорога необыкновенная машина, возникавшая в воображении, меня уже увлёк только что родившийся у меня конструкторский замысел. Вы не представляете, с какой силой, с какой страстью в таких случаях хочется увидеть шорох, первый стук сдвинувшихся трущихся частей. В этом для нашего брата, создателя машин, момент высшего удовлетворения и восторга.

И вот что любопытно. Ведь нельзя же сказать, что я сам изобрёл нашу грандиозную амфибию, но я так загорелся, будто давно вынашивал эту выдумку.

Видите ли, такова страсть конструктора. Я, например, разговаривая всерьёз, почти никогда не называю себя изобретателем, а всегда конструктором. Конструкторски разработать идею, найти ей выражение в металле, сделать из идеи вещь, довести, пустить в ход — вот в чём для меня прелесть жизни, прелесть творчества.

Мы спорили. Я извёл немало бумаги, рисуя во всевозможных разрезах свою схему вездехода-амфибии, графически изображая блеснувшие мне новые соображения, но Сергей Ганьшин, мой друг и всегдашний злейший противник, мой расчётчик, без которого я, конструктор, обречён на блуждание, на работу ошупью, — Сергей Ганьшин оставался непоколебим.

Я продолжал обрабатывать своего друга. В нашей дружбе бывало не раз: язвительно высмеив изобретение, Ганьшин поддавался потом моему порыву, моему жару, и я увлекал за собой своего критика. Я сказал ему, что впоследствии, проектируя, когда мозг будет возбуждён борьбой с тысячей трудностей, мы найдём, обязательно найдём такие решения прочности, которые сейчас не даются в руки.

— Представь себе, — уламывал я Ганьшина, — газетные сообщения: «Блестящая победа. Наши бронированные амфибии внезапно овладели Дарданеллами».

Но Ганьшин только махнул рукой. Я почувствовал, что сбиваюсь на фальшивую ноту, и заговорил по-иному:

— Послушай, как это звучит: «Чудо техники. Создание двух русских студентов...»

— Нет, про нас с тобой никто не вспомнит. Фигурировать будет только Подрайский.

— Ну и ладно! А сотворим машину всё-таки мы! Что, разве нам с тобой это не по зубам?

Я предложил завтра же приступить к делу. Ганьшину предстояло дать прежде всего общий расчёт — рассчитать толщину плиц, обода, оси, определить приблизительный вес всей вещи.

— Чего нам? — говорил я. — Возьмёмся и дадим.

— Нет, — сказал Ганьшин. — Фантазия. Бред. Авантюра. Ультра- и архиавантюра.

— Ну хорошо! — закричал я. — Подождём Ладошников. Послушаем, что скажет Ладошников.

— Послушаем, — усмехнулся Ганьшин.

15

Ладошников явился вечером. Видимо, весь день он провёл на сборке самолёта. Раскрасневшийся с мороза, он принёс с собой запахи работы — клея, машинного масла, керосина, грушевой эссенции, ацетона. Достаточно было вдохнуть этот букет, чтобы тотчас представить: в ангаре уже крадут самолёт, уже покрывают раствором целлулоида полотно на крыльях.

Ладошников взглянул из-под бровей, кивнул, невнятно буркнул:

— А, Бережков! Славно, что пришёл...

Он не отличался разговорчивостью. Может быть, поэтому меня так радовало каждое его приветствие или ласковый взгляд.

Я в ответ воскликнул:

— Михаил Михайлович, моторы «Гермес» прибыли!

Новость взволновала его. Ладошников ждал, давно и нетерпеливо ждал этого известия. Он сразу побледнел. Ведь теперь вплотную придвинулся момент — самый жгучий, волнующий, радостный, страшный, — момент первого испытания машины.

Все мы, конечно, помнили зловещее пророчество, произнесённое в актовом зале училища два с половиной года назад: «Никогда не взлетит». Вероятно, эти слова порой преследовали, жалили Ладошникова. Впрочем, такими переживаниями он ни с кем не делился.

С минуту Ладошников молчал. Подошёл к своей постели, снял со стены полотенце. Потом выговорил:

— Прибыли? В Москву?

— Нет, во Владивосток, — ответил я. — Но уже отправлены в Москву пассажирской скоростью. Подрайский просил вам передать, что два мотора вы можете забрать прямо с вокзала.

Ладошников начал вытирать руки полотенцем, забыв, что ещё не умывался. Можно было подумать, что ему предстоит немедленно ехать на вокзал.

— Сразу же забрать? — переспросил он. — Ишь, какой любезный... С чего бы так? Должно быть, вынырнул с уловом?

— Да, — подтвердил я. — С потрясающим уловом... По-моему, это...

— Может быть, ты подождёшь, — перебил Ганьшин, — пока человек умоется после работы...

Ладошников взглянул на перепачканное полотенце, расхохотался и пошёл на кухню. Вернулся он в свежей вышитой косоворотке, с мокрыми, зачёсанными назад волосами и, как я сразу увидел, в очень хорошем настроении. Его настроение можно было всегда определить по глазам. Обычно спрятанные, они были теперь широко открыты. Мне нравился их цвет: то темносерый, то, в минуты увлечения или радости, темноголубой. Сейчас они поголубели.

— Ну, Бережков, — произнёс он, — чем же сегодня вас удивил бархатный кот?

Я сказал:

— Михаил Михайлович, мы тут с Сергеем чуть не подрались. Целый день спорили насчёт некой ультрафантастической вещи...

— Насчёт некой ахинеи, — хладнокровно вставил Ганьшин.

— А вот мы сейчас об этом спросим! — Я подошёл к Ладошникову и, подражая таинственной манере Подрайского, спросил: — Михаил Михайлович, что вы скажете о колесе...

Ладошников не дал мне закончить:

— ...О колесе? Диаметром десять метров?

— Михаил Михайлович, вы знаете? Он вам говорил?

— Это колёсико я сам ему подбросил.

— Ты? — воскликнул Ганьшин. — Почему же ты мне раньше ничего об этом не сказал?

— Э, я ему этих идей столько накидал, что... Значит, он ухватился за колёсико? Хорошо... Теперь, наконец, от меня отстанет.

— И к тому же,— сказала я,— вы от него ещё получите десять процентов будущего дивиденда за идею.

— Благодарю. За эти десять процентов он вытрясет из меня душу. Засадит за проект. А я этим заниматься не желаю. Мне хватит моего дела. К дьяволу его проценты! Конструктор должен быть свободным!

Конечно же, свободным! В другое время я не преминул бы энергично поддержать эту потрясающую мысль, но в те минуты я видел перед собой лишь колесо.

— Михаил Михайлович, а оно пойдёт?

— Почему же не пойдёт? Великолепно пойдёт... Нужно лишь иметь в виду...

Не прибегая к карандашу и бумаге, Ладошников удивительно наглядно, при помощи своих десяти пальцев, показал схему конструкции.

— Михаил Михайлович, а что, если... — Мой голос стал даже сиплым от волнения. — А что, если превратить его в амфибию? Понимаете, для этого мы сделаем колёса полыми. А задний каток будет свободно повисать в воде. Как по-вашему, это возможно?

— Вполне, Алёша. Молодец! Если вещь будет слишком тяжела, поставишь добавочные поплавки.

— Замечательно! — воскликнул я.— Может быть, мы их используем как цистерны погружения.

— Ого! Ты уже хочешь, чтобы амфибия плавала и под водой?

— Да! Будем брать водяной балласт и погружаться.

— С этим, Алёша, обожди... Не увлекайся.

Таким образом, поставив некоторые пределы моей разыгравшейся фантазии, Ладошников одобрил идею амфибии. Я торжествовал, а посрамлённый Ганшин обещал взяться за расчёт.

В тот же вечер, придя домой, я раскрыл тетрадь, куда заносил заветные изречения и мысли, и записал: «Конструктор должен быть свободным» (Ладошников). И поставил дату — 28 ноября 1915 года.

16

Минуло ещё полторы или две недели. В багажном вагоне транссибирского экспресса моторы «Гермес» уже прибыли в Москву, два из них были отвезены на Ходынское поле в ангар-мастерскую Ладошникова... И наступил наконец знаменательный день первой пробежки самолёта.

Вообразите себе эту картину. Вообразите огромное багровое солнце, вставшее над ничем не огороженным, затянутым туманной изморозью аэродромом. Поставленный на лыжи «Лад-1» уже выведен из ангара в поле. Его сужающиеся, непривычно длинные, лёгкие темнозелёные крылья притянуты тросами к вбитым в землю костылям. Мотор уже гудит, работая вхолостую на разных режимах.

Когда-то, свыше двух лет назад, я видел модель этого аэроплана в углу актового зала, где Ладошников защищал свой проект, однако теперь машина в натуре заново поразила меня.

Здесь, на необозримом снежном поле, где, казалось бы, любое сооружение должно было затеряться, самолёт Ладошникова всё же производил сильное впечатление. Устойчивая, прочная тележка самолёта была выше человеческого роста. Под корпусом, или, как мы говорим, фюзеляжем, свободно проходили люди. В те времена трудно было поверить, что этот огромный, мощный «Лад-1» может подняться на одном моторе. Но формы самолёта были столь округлёнными, плавными, или, употребляя наше теперешнее выражение, обтекаемыми, что подчас чудилось, будто эта вещь создана самой природой.

Ладошников впервые в истории авиации обратил внимание на обтекаемость всех очертаний самолёта, что другие конструкторы стали делать только десять лет спустя. Не вдаваясь в дальнейшие подробности, скажу вам кратко: «Лад-1» был похож на современные скоростные монопланы. Сейчас вы, наверное, не нашли бы в нём ничего особенного. Но в этом-то, в этом-то и заключалась его необычайность.

На аэродроме, разумеется, фигурировал Подрайский. Вместе с ним приехал инженер-американец мистер Вейл, доставивший в Москву моторы «Гермес». Это был рослый, начинающий толстеть, очень общительный, экспансивный человек. Подрайский представил ему меня и Ганьшина. Мистер Вейл с радостной улыбкой приподнял свою фетровую шляпу, открывая не слишком тщательно приглаженные яркорыжие волосы. Несмотря на зиму, с его круглого лица ещё не сошли веснушки, придававшие мистеру Вейлу простодушный вид. Он без стеснения составлял фразы на ломаном русском языке. С Подрайским он успел уже коротко сойтись, прохаживался с ним под руку.

Они направились было к Ладошникову, который в короткой куртке, в сапогах стоял возле самолёта, глубоко нахлобучив меховую шапку, заложив руки за спину. Заметив подходивших, он насупился сильнее. Подрайский остановился, придержал американца, посмотрел, подумал и повернул назад. Конечно, от Ладошникова в такую минуту вряд ли можно было ожидать любезностей.

Приготовления закончены... Мотор принял форсировку, взвыл. «Лад-1» плавно сдвинулся с места, заскользил по снегу всё быстрее, быстрее... Вот опытный осторожный лётчик-испытатель сбрасывает скорость, закладывает вираж; самолёт, слегка накренясь, прочерчивает по снегу правильную красивую кривую. И вдруг тяжело оседает на одну лыжу, принявшую на вираже главную нагрузку. Лётчик пытается выровнять, потом останавливает аэроплан. Мы все идём туда. Выясняется, что в амортизаторе лопнула пружина. Этим завершилась торжественная первая пробежка.

И пошло... Сегодня не выдержал амортизатор; на следующий день порвались расчалки — их пришлось менять, усиливать; потом полетела шестерня; потом, после исправлений, выяснилось, что надо переделывать и соединительные муфты. Одним словом, происходила так называемая «доводка» самолёта. Всякий раз пробежка оканчивалась поломкой. Всякий раз солдаты аэродромной команды тащили, влекли по полю в ангар многострадальную машину.

Ладошников мрачнел. Примитивная, убогая мастерская, устроенная в этом ангаре, конечно, не могла служить технической базой для «доводки» самолёта. Новые детали приходилось заказывать на стороне, на одном из московских заводов. Туда ездил конструктор «Лад-1», продвигал эти заказы, следил за отливкой, за обточкой, сам получал детали, вновь собирал тот или иной узел самолёта, затем опять сопровождал свой аэроплан на взлётное поле. И опять во время пробежки что-нибудь ломалось.

Меня поражало терпение Ладошникова. Он без конца исправлял и исправлял поломки, с невероятным упорством «доводил» конструкцию. А она продолжала ломаться.

Потом, в дальнейшей своей жизни конструктора, я не раз таким же образом бился над машиной. «Доводка» — это архимучительное дело, это целая школа выдержки, терпения. Первые уроки этой школы я прошёл тогда, наблюдая упорство Ладошникова.

Он стал совсем молчаливым. До нас дошёл тревожный слух, что во время одной из пробежек лётчик попытался наконец поднять машину в воздух и не смог: «Лад-1» не оторвался от земли. Верно ли это? Ни я, ни Ганьшин не решились спросить об этом у Ладошникова. А он ничего не сказал. Он продолжал работать, переделал киль, переменял пропеллер.

А Подрайский с каждым днём, с каждой неделей остывал к самолёту. Теперь его «коньком» была амфибия, небывалая бронированная боевая земноводная машина с десятиметровыми колёсами.

Ганьшин произвёл предварительный расчёт. Я изготовил чертежи.

Прошло немного времени, и в лаборатории была выстроена модель амфибии — в одну десятую величины. Выкрашенная в защитный цвет, снабжённая небольшим мотором, амфибия, пыхтя и громокая, двигалась по комнатам, куда Подрайский допускал лишь немногих избранных. Из прочных толстых томов энциклопедического словаря мы устраивали заборы, дома, окопы. Машина легко брала эти преграды. По приказанию Подрайского в одной из комнат таинственной лаборатории была вделана в пол глубокая цинковая лохань, которую наполнили водой. Мы пускали амфибию туда; ватерлиния проходила чуть выше оси, герметичность была полной, машина легко ходила на плаву и сама выбиралась из воды.

Затем наше произведение было упаковано в великолепный ящик красного дерева, и проникавший всюду, всесильный, всемогущий, вхожий чуть ли не в преисподнюю «бархатный кот» поехал в Петербург показывать изобретение царю. Кстати, на внутренней стороне крышки ящика красовалась бронзовая дощечка: «Амфибия Подрайского».

Подрайский был действительно принят Николаем. Самодержец все-российский, как ребёнок, два часа играл в кабинете нашей самодвижущейся колесницей. Николай выворотил чуть ли не всю библиотеку, расставлял на ковре своды законов, устраивал всевозможные барьеры, затем перенёс испытания на воду, в комнатный мраморный бассейн, веселился и хохотал.

После этого визита на постройку амфибии был ассигнован, или, как выражался Подрайский, высочайше пожалован, миллион рублей. Миллион! Если бы вы слышали, с какой нежностью «бархатный кот» выговаривал это слово.

У нас всё было высчитано, вычерчено, можно строить. Но где? Таинственность прежде всего. Если нет таинственности, нет и эффекта, ореола вокруг дела. Таков, как вы знаете, был девиз Подрайского.

И вот он опять неожиданно пропал. Деньги есть, счета оплачиваются, поставщики любезны, а Подрайский сгинул. Проходит день, другой, третий, четвёртый — Подрайского нет. Наконец, по истечении шести дней, он появился — всё такой же гладкий, розовый, всё с такими же бархатными чёрными усами.

— Что случилось? — спросил я.

— Тссс... Ни звука... Идёмте в кабинет.

В кабинете я увидел странную картину. Один угол был буквально завален свёрнутыми в трубочку листами бумаги. Некоторые были расстелены на столе и на несгораемых шкафах. Оказалось, это были листы топографической карты-двухвёрстки издания Генерального штаба.

Закрыв дверь на ключ, Подрайский объявил:

— Нашёл!

— Что?

— Нашёл место для «Касатки»...

— «Касатки»?

Так иносказательно, по требованию Подрайского, мы именовали теперь нашу амфибию. «Касатка», как вы, наверное, знаете, — название одного подотряда китов.

— Да! — подтвердил Подрайский. — Мы будем её строить в дремучем лесу.

Выяснилось, что Подрайский, которому давно уже некогда было проведать Ладошникову в его ангаре, целую неделю ездил по берегам

близких к Москве рек, отыскивая места, абсолютно недостижимые для посторонних глаз. На следующий день он повёз меня и Ганьшина в облюбованное им местечко. Сначала мы ехали в автомобиле, потом в одной деревне пересели в розвальни. С немалыми трудами мы добрались до полянки в густом глухом лесу, расположенном на берегу Оки.

— Будем строить здесь! — объявил Подрайский.

Вскоре там уже работала рота сапёров. Они снесли сотни деревьев, расширяя поляну. Были выкопаны невероятно сырые землянки и выстроены домики из сырых, обливающихся слезами, сосновых брёвен для сапёрно-инженерных войск, которым предназначалось сооружать амфибию.

Участок обнесли колючей проволокой, через каждые сто—двести шагов стояли часовые.

— Когда-нибудь здесь будет город. Город Подрайск,— заявил однажды «бархатный кот» и вкусно чмокнул губами.

Но мы назвали наш участок «Полянкой». У нас появился свой паровоз и два вагона, в которых мы совершали рейсы между «Полянкой» и Москвой. На железной дороге, в кратчайшем расстоянии от «Полянки», соорудили платформу, куда выгружались прибывающие материалы. На соседних станциях дежурили солдаты. Они входили в каждый пассажирский поезд и ставили всех пассажиров спиной к окнам, чтобы никто не видел ящиков на платформе.

Словом, было сделано всё, чтобы о необыкновенной, загадочной «Касатке» разузнали все, кому о ней не полагалось знать. Зато далеко вокруг «Полянки» сиял ореол тайны, зато всюду пела и играла «Тона-Бенге».

18

А Ладосников тем временем...

Впрочем, лучше всего будет, если я, с вашего разрешения, сразу опишу, что произошло однажды вечером в феврале 1916 года.

Я сидел дома. Распахнулась дверь.

— Машенька, ты?

Прямо с улицы, в ботиках, в пальто, моя сестрица влетела ко мне в комнату. Я не ожидал её увидеть в этот вечер у себя. Недавно выйдя замуж за художника Станислава Галицкого, своего однокурсника по Строгановскому училищу, она перестала баловать меня своими посещениями. Теперь из уважения к молодожёнам я сам должен был посещать их семейный дом, поглощать там «питательные домашние обеды».

Маша уселась на моей постели и едва перевела дух. Пристало ли замужней женщине вести себя так несолидно?

— Что с тобой?

— Я сейчас встретила Ладосникова. Он совершенно пьян.

— Ладосников? Машенька, ты не ошиблась?

— Он кого-то на улице побил.

— Побил? Ну, значит, это не он.

— Как же не он? Он же со мной разговаривал... Алёша, надо сейчас же ити его искать.

Отдышавшись, Маша более или менее связно рассказала про свою встречу. Проходя по Неглинной, она увидела, что на тротуаре сгрудилась толпа. Хотела перейти на другую сторону, но вдруг заметила выдававшуюся над толпой голову Ладосникова в глубоко нахлобученной меховой шапке. Он что-то кричал, был будто в центре скандала. Конечно, моя сестрица, не раздумывая, бросилась к Ладосникову. Он держал за ворот какого-то господина с чёрными усиками, одетого в дорожную шубу.

— Знаешь, Алёша,— говорила сестра,— этот человек оказался мне в первый момент очень похожим на Подрайского. Такой же кругленький, холёный. Но это был не он. А Ладосников кричал: «В землю вколочу! На-

жился, мерзавец, на войне!» Я так и не поняла, с чего у них началось, но публика явно сочувствовала Ладосникову. Тут послышались полицейские свистки. Я взяла Ладосникова под руку и поскорее увела.

— Куда?

— Если бы я знала куда... Понимаешь, он послушно шёл. И всё рассуждал о том, какая у тебя, Алёшка, чудесная сестра...

— Это Ладосников так разговорился?

— Да, идёт, разглагольствует... Я вдруг поняла, что он дико пьян. Повела его к нам, он вырвался и ушёл...

— Как же ты упустила его?

— Ну, знаешь... Попробуй, удержи такого дядю.

Я принялся быстро одеваться. Конечно, надо идти искать Ладосникова. Если он запил, то... Наверное, ему очень тяжело.

— Алёша, я думаю... — нерешительно произнесла Маша. — Думаю, что тот слух был, возможно, правильным.

Я кивнул. Мы с Машей легко понимали друг друга, у меня не было секретов от сестры. Но неужели Ладосников отчаялся, сдался? И куда же он пошёл? Где его искать?

Не теряя времени, я отправился к Сергею.

19

Сергей, к счастью, оказался дома. Однако известие о пьяном Ладосникове не произвело на него особенного впечатления.

— Во-первых, мы с тобой ему не няньки, — сказал Ганьшин. — А во-вторых, ничего с ним не случится. Он и раньше запивал... И что же — обходилось...

— Как запивал? Когда?

— Разве ты не знаешь? У него это чуть ли не с шестнадцати лет... Тут, брат, целая история.

Отвечая на мои нетерпеливые расспросы, Ганьшин поведал мне примерно следующее. Ладосников рос болезненным, хилым. Неумная мать нередко причитала над ним, вбила ему в голову, что он «захудаленький», «несчастненький». Его отчим — портной на московской окраине — не любил ребёнка. Так Михаил Ладосников и стал угрюмым, диковатым и, несмотря на бесспорную одарённость, словно скованным всегдашним сомнением в своих силах. Однажды — кажется, в день, когда он окончил реальное училище, — его напоили водкой. И вдруг он заорал на отчима, замахнулся на него кулаком и, едва веря себе, увидел, что тот попятился, испугался, побледнел.

Потом было тягостное пробуждение. Ладосников ещё больше замкнулся, помрачнел. Однако с тех пор он стал время от времени прикладываться к горькому вину. Он пил не часто, но помногу — запивал.

Лишь годы спустя работа с Николаем Егоровичем Жуковским, работа над проектом «Лад-1», казалось бы, почти исцелила Ладосникова. И вот он снова сорвался.

— Мы должны его найти, — заявил я. — Было бы подлостью оставить его в такой момент.

И я выложил разные мои мысли и предположения о том, что стряслось с Ладосниковым. Ганьшин слушал, покуривая трубку. Потом сказал:

— На днях я снова пересчитал его вещь. Расчёт верен. Самолёт должен взлететь. Я вижу лишь одну причину неудачи...

— Ну, ну, не томи... Какую?

— Мотор...

— Что мотор?

— Полагаю, что мотор не развивает мощности, указанной в преискуранте фирмы.

— Ну, Ганьшин, это ты хватил... Что ты? Это же Америка!

— А что Америка? Там, что ли, мало «бархатных котов»?

Я призадумался. Ныне этому трудно поверить, но тогда, в 1916 году, американские моторы «Гермес» были действительно приняты нами без проверки мощности, на веру. Считалось так: если в прейскуранте фирмы указано «250 сил», значит, это свято. Разумеется, мы погоняли мотор «Гермес», я собственноручно разобрал и собрал один экземпляр, повозился с ним, удовлетворяя свою любознательность конструктора. Более детальным изучением мотора на испытательном станке, который имелся в лаборатории Николая Егоровича Жуковского, мне тогда некогда было заняться. Я отложил это на будущее. В те дни меня, как вам известно, целиком захватило колесо.

— Чёрт возьми,— воскликнул я,— неужели впрямь?..

— Убеждён,— сказал Ганьшин.— Убеждён, что «Гермес» недотягивает... И в этом вся загвоздка. Завтра же надо проверить его мощность.

— Так пойдём же! Скорей пойдём искать Ладошников!

Ворча, Ганьшин всё-таки оделся, и мы вышли.

20

Не буду перечислять всех мест, где мы побывали, отыскивая Ладошникова. Его следы были обнаружены на квартире Пантелеймона Гусина.— изобретателя азросаней, с которым Ладошников был дружен. Конструктор самолёта «Лад-1» забрёл туда после встречи с Машей, не застал Гусина и опять канул в ночную Москву.

Наконец, часа в два или в три ночи, мы, адски измученные, всё-таки нашли его в ночной извозчицкой чайной где-то на одной из Тверских-Ямских близ Брестского вокзала.

Мне запомнился туман, застывший там всё. Каждый раз, когда в чайной открывалась дверь, туда врывались клубы морозного пара. Электрические лампочки светились сквозь туман большими расплывчатыми пятнами.

Замёрзшие, усталые, мы с Ганьшиным буквально плюхнулись на стулья возле столика Ладошникова. А он не удивился, ничего не сказал. Словно так и полагалось, чтобы в третьем часу ночи, чуть ли не под утро, сюда ввалились мы.

В его лице, необычно бледном, не было, казалось, и следа мрачности, угрюмости. Он даже выглядел весёлым. Рядом с Ладошниковым сидели два извозчика в синих поддёрках. Наш приход, как видно, оборвал оживлённую беседу.

В чайной вкусно пахло жареной на сале колбасой. Проголодавшись, я потягивал носом. Пахло и водкой. Тогда, на время войны, продажа водки была запрещена. Здесь, а также в заведениях вроде этого, её наливали в белые фаянсовые чайники, предназначенные для кипятка. В маленьких чайничках, которые всегда для порядка подавались вместе с большими, был заварен чай.

Ладошников заглянул в большой чайник и крикнул в туман, чтобы нам принесли стаканы.

Ганьшин усердно протирал очки. Ему не терпелось начать разговор. Он уже позабыл, как ворчал и кряхтел, когда я тянул его на мороз, на поиски. Постепенно войдя в азарт, он ещё дорогой предвкушал, как огоршит Ладошникова, обрадует его. Сейчас Ганьшин улыбался. И близируко шурился Ладошников придвинул ему чайник. Ганьшин сказал:

— Слушай! Я, кажется, нашёл причину, из-за которой твой аэроплан...

Ладошников вскинул голову, нахмурился. У него вырвался запрещающий жест. Он простёр руку, или, вернее, пятерню,— широкую в кости, грубоватую, с почерневшими от металлической пыли и смазки подушеч-

ками пальцев пятерню конструктора и мастерового, которая когда-то поразила меня.

— Брось! — прокричал он.

— Погоди! Ты думал о том, что никто не проверял мощности мотора?

Но Ладосников явно не воспринял этих слов. Он шлёпнул ладонью по мокрой клеёнке, как бы пресекая этим всякие разговоры об аэроплане. Ганьшин всё же не сразу унялся. Мне пришлось охлаждать его пыл.

Ладосников налил всем водки. Мы выпили. Потом пили ещё. Закусывали горячей колбасой со сковородки. Стало жарко. Захотелось спать. Мне уже нравился и туман, плавающий в чайной, и то, что свет лампочек совсем расплывался в глазах. Ганьшина, бедняга, тоже порядком развезло, но он опять заговорил о том же... Сквозь приятную дрему я слышал: «мотор «Гермес», «прейскурант», «заявленная мощность...» Потом у Ганьшина стал заплетаться язык...

Эта встреча в чайной завершилась неожиданно. Ладосников впоследствии всегда хохотал, когда вспоминал про ту ночь. Он уверяет, что протрезвел именно в тот момент, когда нас окончательно сморило. Поняв наконец, о чём толковал ему Ганьшин, он уже не мог добиться от нас ничего путного. Оба друга, которые примчались, чтобы спасти Ладосникова, уже, как говорится, не вязали лыка.

Пришлось Ладосникову везти нас на извозчике к себе.

21

Предположения Ганьшина оказались верными. Фирма «Гермес» действительно несколько завысила в рекламных преёскурантах мощность своего авиамотора. Выражаясь нашим профессиональным языком, «Гермес» недобирает до заявленных данных десять—двенадцать процентов.

Всё это мы выяснили в аэродинамической лаборатории Московского Высшего технического училища. Вся лаборатория, как я, кажется, уже упоминал, занимала одну большую комнату, выделенную правлением училища.

Участники студенческого воздухоплавательного кружка сами смастерили все приборы. В одном углу высилась так называемая ротативная машина, несколько похожая с виду на гимнастические «гигантские шаги», служившая для исследования воздушных винтов — пропеллеров. Эту машину изобрёл и построил один из учеников Жуковского, замечательный конструктор самолётов Савин, к сожалению, умерший молодым. Там же, в этой комнате, находились две аэродинамические трубы: одна круглая, диаметром в метр, другая — прямоугольная, или, как её называли, плоская, — сколоченные из обыкновенных досок. В своё время Ладосников (разумеется, под началом Николая Егоровича) спроектировал эти трубы, а затем, вооружённый инструментами слесаря и плотника, сам с двумя-тремя товарищами их соорудил.

Кажется, я вам уже говорил, что характерной чертой Ладосникова было пристрастие к опытам, к экспериментированию. Он, например, из года в год с удивительной настойчивостью занимался исследованием полёта мух и стрекоз, создав для этой цели собственную миниатюрную аппаратуру.

Поначалу эти его опыты вызвали ряд шуток, кто-то из товарищей прозвал его повелителем мух, но... Если вы хорошо представляете себе Ладосникова, то легко поймёте, что подтрунивать над собой он никому не позволял.

Он очень серьёзно относился ко всему, что делал. В аэродинамических трубах он множество раз продувал модель своего «Лад-1».

Приникая к стеклу, вставленному в стенку трубы, Ладосников часами следил, как ведёт себя модель в набегающем воздушном потоке. Однако

такого рода наблюдения не удовлетворяли Ладосникова. Ему же, необыкновенному конструктору, принадлежала одна выдумка, которая поныне применяется во всех аэродинамических лабораториях мира. Он стал обклеивать крылья, фюзеляж и хвостовое оперение продуваемой модели шелковинками, то есть тончайшими нитями некручёного шёлка, которые делали как бы видимыми потоки воздуха, всяческие завихрения, срывы струй, показывали картину обтекания.

Таким образом, обтекаемость всех форм самолёта, чем Ладосников как бы предвосхитил будущее авиации, была не только изумительной догадкой конструктора, но и... Нет, скажем лучше так: была изумительной догадкой, возникшей на основе упорного, последовательного, долгого труда.

Однако мы немного отвлеклись. В большой и вместе с тем невероятно тесной комнате, где расположилась лаборатория Жуковского, приютился и станок для испытания авиационных моторов. Станок мы тоже соорудили сами в мастерских училища. Скромная, недорогая, далеко не совершенная аппаратура в нашем уголке моторов была, однако, достаточно точной. Там, в лаборатории, уже в те времена возникла целая школа искусства испытания и измерения. Три студента — ныне серьёзные деятели авиации — посвятили себя (и как оказалось, на всю жизнь) тому, что казалось всем нам чем-то малозначительным, малоинтересным, — аппаратуре лаборатории, испытательным и измерительным приборам.

И вот эти приборы показали, что «Гермес» «недобирает».

Ганьшин не мог себе простить, что доверился каталогу фирмы. Он, который ничего не брал на веру, вдруг так влип! Ладосников отмалчивался. Что же сказать? Ругайся не ругайся, а мощность мотора этим не поднимешь... А вдруг? Я всегда, во всех каверзах, надеюсь до последнего момента на некое «вдруг»...

— Вдруг мы до чего-то не додумались, — говорил я. — Скажем, определённый состав горючей смеси... Или какой-то способ форсировки... Вызовем представителя фирмы. Ведь американец лучше нас знает свой мотор... И вдруг!.. Это же известная американская фирма...

— Да, теперь-то нам она известна, — съязвил Ганьшин.

— А разве мы в конце концов не сможем заставить её исполнить договор? Привлечём Подрайского... Надо, кстати, поскорее ему обо всём сообщить.

Я готов был тотчас же помчаться к месту службы, в таинственный особняк на Малой Никитской, но услышал громкий смех Ладосникова. Такова была его особенность. Он редко принимал участие в наших разговорах, но умел неожиданно расхохотаться и вставить резкое меткое слово.

— Беги за сочувствием, Бережков, — проговорил он. — Имей только в виду, что бархатный кот сам никого никогда не надувал. И, наверное, не представляет себе, что это такое. Выдержит ли его нежная душа?

22

Нежная душа Подрайского выдержала. Впрочем, сперва он встревожился.

— А «Касатка»? «Касатку» он всё-таки сдвинет?

Да, путь к сердцу Подрайского пролегал лишь через фантастическую земноводную машину — всё было поставлено на эту карту...

— Сдвинет, конечно, — уверил он себя. — А на крайний случай у меня есть на примете нечто... Но пока тсс...

И он не сказал мне больше ни слова об этом таинственном «нечто». Его глаза вдруг сощурились, и на круглой розовой физиономии выразилось нескрываемое удовольствие. Я с изумлением наблюдал эту метаморфозу.

— Вообще говоря, всё это очень хорошо! — продолжал он.

— Что хорошо?

Подрайский наклонился ко мне и, словно сообщая величайшую тайну, прошептал:

— То, что я ещё не заплатил денег фирме «Гермес».

Откинувшись, он посмотрел на меня с видом человека, окончательно уверовавшего в собственный гений. Я всё же решил напомнить.

— А как же «Лад-1»?

Но «бархатный кот» словно не слышал.

— Попрошу вас, Алексей Николаевич, завтра снова произвести испытание «Гермеса». Я привезу мистера Вейла.

— Обязательно привезите его. Возможно, он нам что-нибудь укажет. Какой-нибудь секрет или каприз мотора, чего сами мы не раскусили.

— Возможно, возможно, — промурлыкал Подрайский.

23

Американец явился в наилучшем, казалось бы, расположении духа. Его, видимо, ничуть не смутила претензия к производству фирмы «Гермес». Войдя в лабораторию, он — яркорыжий, с веснушками на широком носу, в расстёгнутом пиджаке, под которым обрисовывался животик, — с нескрываемым любопытством огляделся и приветствовал нас громким добродушным возгласом.

Ладошников, насупившись, едва ему кивнул. Мы с Ганышиным поклонились тоже весьма сдержанно.

Невзирая на такой приём, мистер Вейл без малейшего смущения стал осматривать лабораторию, подошёл к ротативной машине, выразил своё одобрение, покровительственно хлопнул рукой по деревянной обшивке круглой аэродинамической трубы, направился к станку для испытания моторов, возле которого уже стояли все четыре авиадвигателя «Гермес», пригляделся к щитку измерительных приборов и опять одобрил:

— О, русский прибор! Хорошо... Очень хорошо!

Подрайский, следя за Вейлом, любезно давал ему некоторые объяснения, хотя не имел на это никаких полномочий. Мы молча наблюдали. Вчуже посмотреть — перед нами были два добродушных, милейших человека. Наверное, и я принял бы за чистую монету их приятные улыбки, если бы не знал подоплёки.

Укрепив на станке мотор, мы приступили к испытанию. Все показатели, как и в прежние разы, оказались меньше того, что фирма обещала в прейскуранте. Этот прейскурант, отпечатанный на плотной глянцевиной бумаге, неожиданно оказался в руках у Подрайского. Мне всегда чудилось, что такие предметы он достаёт, как фокусник, из рукава или попросту из воздуха. Чарующая улыбка играла на его физиономии.

— Вот-с, — произнёс он, предъявляя прейскурант. — Не то-с...

Рыжий американец рассмеялся. Очевидно, у него был наготове неотразимый ответный ход. Протянув руку к панели, где были расположены измерительные аппараты, он проговорил:

— Русски прибор!

И замотал головой, показывая, что он, представитель американской техники, не может доверять нашей установке. Пожалуй, только в ту минуту я понял, почему вся его манера вызывала во мне смутную неприязнь. В его непринуждённости сквозило явное пренебрежение.

Американец продолжал:

— О, этот прибор не для серьёзный разговор!

Улыбка Подрайского стала несколько искусственной. Неужели и его задел тон американца? Нет, Подрайский остался Подрайским. Он был взволнован лишь попыткой Вейла расстроить его хитросплетения.

Но «бархатный кот» не успел ничего вымолвить. Ладошников шагнул к американцу и, глядя в упор, отчётливо спросил по-английски:

— Больше ничего вы не имеете сказать?

Высокий — на голову выше толстяка американца, — сильный, костлявый, Ладошников был грозен. Конструктор аэроплана, он требовал ответа от фирмы, которая, вопреки своим обязательствам, так и не представила мотора обусловленной мощности. Вейл опешил перед этим натиском. Может быть, он испугался: как бы этот русский верзила не ударил? Однако, ничего больше не промолвив, Ладошников круто повернулся и пошёл из лаборатории.

Вейл кинулся ему вдогонку. Американец мигом сообразил, что в интересах фирмы — поскорее поладить миром. Ссора с клиентами? Скандал? Ни в коем случае!

Мы увидели, как Вейл, живо жестикулируя и рассыпаясь в извинениях, влёк Ладошника обратно в лабораторию. При этом американец чуть ли не обнимал Ладошника, от чего тот энергично уклонялся.

Мешая русские и английские слова, Вейл говорил:

— Мистер Ладошников, пожалуйста, садитесь... Я вас понимаю... Понимаю, как конструктор... Всё сделаю для вас, мистер Ладошников... Конечно, отклонения в мощности на несколько процентов в ту и в другую сторону вполне возможны...

— К сожалению, у вас отклонения только в одну сторону, — буркнул Ладошников.

— Мы подберём для вас... Даю вам слово, мистер Ладошников... Если хотите, мы сегодня же напишем нашей фирме...

Тут прозвучал голос Подрайского — он, конечно, не упустил момента:

— Да, да, напишем... Обязательно напишем.

Поймав Вейла на слове, вцепившись всеми коготками в его неосторожно вырвавшееся обещание послать фирме письмо, Подрайский мгновенно расцвёл. Мурлыкая, чуть ли не напевая, он взял Вейла под ручку и, мило попросившись с нами, подмигнув нам, увёл американца.

Мы остались втроем в лаборатории. Чего же мы добились? Американец не показал нам никакого секрета, ничего не открыл. На станке всё ещё стоял мотор «Гермес», совершенно новенький, блестящий алюминием и сталью. Ни одна струйка масла не выбивалась из клапанов, не стекала по серебристому корпусу. Конечно, что ни говори, это отличная вещь. Лишь высокого развития индустрия могла выпускать такие машины. В американском моторе не было никакой поражающей оригинальной идеи — конструктор использовал и скомпоновал то, что уже было достигнуто моторостроением в разных странах, — но козырем фирмы, несомненно, была технология массового производства.

Как вы знаете, американцы ещё прихвастнули, преувеличили достоинства своего мотора и подвели этим нас, но... Но где же нам взять другой? Где найти более мощный двигатель? У нас, в России, авиационные моторы не производились... Значит, надо уповать всё на ту же фирму «Гермес». Ну, рассмотрим лучший случай. Вейл напишет своей фирме, письмо пойдёт через океан, нам отгрузят из Америки новые моторы, которые опять направятся морем в Россию, морем, где рыщут немецкие подводные лодки. Предположим, что придут моторы повышенной мощности (что весьма сомнительно). Но когда мы их получим? Через полгода, вряд ли раньше. Неужели ждать? Неужели ничего нельзя поделать?

Я понимал, что ни на какое «вдруг» уже нечего рассчитывать. И всё-таки... Всё-таки думалось: а вдруг?!

(Продолжение следует)



МИХАИЛ ЛУКОНИН

★

НОВЫЕ СТИХИ

ДАЛЕКОЕ

Я шёл,
и я никак не узнавал
тот самый
Земляной Садовый Вал,
там, где бывал,
где ты жила,
где мы...
Здесь всё снежком занесено слегка.
Мы шли и шли,
в моей —
твоя рука.
Тогда я не заметил там зимы.
Я не нашёл ни дома, ни окна,
в том не твоя
и не моя вина.
И не война.
Ушли дороги врозь.
Тогда мы называли дружбой это,
то, что вело зимой нас до рассвета,
потом уже
любовью назвалось.
Тогда я провожал тебя,
в ту ночь,
по лестнице поднялся,
чтоб помочь
ключ повернуть,
вернуть портфель твой
и варежку пожать:
— Нет, не снимай,
не май же!
— Да, пока ещё не май...
И я ушёл
по скользкой мостовой.
Пойми,
я не лукавлю и не лгу,
мой давний друг,
я у тебя в долгу:
на много лет, с зимы далёкой той
влюбился в жизнь,
захвачен высотой
и счастьем то далёкое зову.
Ты разбудила всё,
чем я живу.

Была ещё любовь. Ещё была.
 А та зима
 опять белым-бела,
 иду по ней в том памятном году,
 и лёгкий тот снежок в начале дня
 зовёт,
 волнует,
 радует меня.
 Чего-то я ищу,
 чего-то жду.

* *
 *

Ты — всё.
 Ты — море,
 ты — гроза.
 Вся радость в имени твоём.
 Ты, и ещё твои глаза,
 и я —
 мы будем все втроём.
 Ты:— всё,
 река ты.
 Нет, не то.
 Рек множество, а ты одна.
 Не любишь ты,
 и я — никто,
 ничей, как беглая волна.
 Всё, что люблю,—
 стихи, цветы,
 всё, что волнует, помнится,
 о чём мечтается,—
 всё ты.
 Вся жизнь тобою полнится.
 Пойми,
 мне жаль теперь тебя,
 мне легче участь выдали.
 Чем быть любимой, не любя,
 любить,
 хотя бы издали.
 Но жалость что, она пуста,
 когда тебе, наверно, друг,
 не я — гроза,
 не я — мечта,
 не я вблизи,
 не я вокруг.
 И трудно жить с такой бедой,
 вся проза вдруг надвинется,
 гроза — грозой,
 река — рекой,
 а море — морем видится.

★ ★
★

Лето моё началось с полёта,
 зима началась в «стреле»,
 лёгкое,
 белое,
 беглое что-то
 наискосок
 слетало к земле.
 Ночью к окну подплыло Бологое,
 но виделся
 памятный край,
 к горлу прихлынуло всё дорогое
 с просьбой:
 — Не забывай!..
 Что же, скажи, не сбылось?
 Что забылось?
 Мать,
 расскажи, научи.
 Сердце встревоженное забилося,
 ворочается
 в ночи.
 Видишь, сын повернулся к дому,
 Волга,
 слышишь меня?
 Хочу я к простору припасть снеговому
 в свете
 ясного дня.
 Я выхожу и иду по зазимью,
 больше ждать не могу,
 город вдали за рассветною синью,
 степь
 на другом берегу.
 Дышит, дымит полынья,
 не застыла,
 Волга моя на ходу.
 Глазок,
 чтобы видеть всегда светило,
 дыханьем
 прожгла во льду.
 Я по веленью сыновнего долга
 иду всё смелей, быстрее,
 кличет,
 зовёт меня,
 требует Волга
 зовом
 всех матерей.
 Волга, приду
 и щекой небритой
 прижмусь к твоему рукаву.
 Волга,
 слышишь,
 в глаза взгляни ты,
 скажи мне:
 так ли живу?

ЧЬЕ-ТО ЛЕТО

Ещё шумит позёмка,
и будут холода.
Идёт одна девчонка
неведомо куда.
Быть может, на свиданье?
Да нет, начало дня.
Нехитрое создание —
Загадка для меня.

Идёт, летают полы,
парок летит от губ.
А парень возле школы
пихнул под шапку чуб,
глаз золотисто-карий
по ней стреляет в лёт.
Смеюсь: ушибся парень?
До свадьбы заживёт!

Горят лучи на льдинках,
гнёт ветер верховой.
Идёт себе

 в ботинках
и в шапке меховой.
Куда? — гадаю снова,
зачем я,
всё равно
мне от неё ни слова
услышать не дано.
Идёт, легко одета,
в глазах её костры.

Да,

 вот где

 чьё-то лето
зимует до поры!
Шумят цветные парки,
роса на лепестке.
Река под солнцем жарким,
когда весло в руке.
Да, здесь зазимовали
зелёные сады,
и ночь на сеновале,
и знойный день страды.
Вздыхает море тяжело,
смывает берега.
Здесь и живёт ромашка,
когда метут снега.
Вот здесь июль плодовый
переживает срок.
И солнца луч, готовый
упасть у самых ног.
Удар волны с размаха
и тихий звон ручья.

Идёт,
не зная страха,
ещё совсем ничья.
Она проходит мимо,
идёт в свои края,
она неповторима,
как молодость моя.
Она живёт, мечтает,
по улице идёт.

Весна снега дотаит,
и ландыш доцветёт.



АВЕТИК ИСААКЯН

★

САТАНА И ЕГО ДОЧЕРИ

(Шуточная средневековая басня)

Трёх дочерей имел всеильный Сатана,
И, кроме трёх, была ещё одна.
Дочь старшую за князя выдавая,
«Ты будешь «Гордостью»! — ей Сатана сказал.—
Ты будешь «Жадностью» отныне, дочь вторая,
Тебя купец богатый в жёны взял!
Ты, третья дочь моя, уходишь в дом к поэту,
Ты будешь «Завистью» навеки с этих пор!
Других имён вам трём отныне нету!» —
Так прозвучал отцовский приговор.
А дочку младшую, с горячей, пылкой кровью,
Что ближе всех всегда была ему,
Рогатый Сатана в сердцах назвал «Любовью»
И отдал человечеству всему!

Перевод с армянского Сергея Михалкова.



ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ. ДОКУМЕНТЫ

ИРАКЛИЙ АНДРОНИКОВ

★

ТАГИЛЬСКАЯ НАХОДКА

В редакцию «Нового мира» пришёл пакет. На конверте значился адрес отправителя: «Инженер Н. С. Боташев, Нижний Тагил...»

Пакет распечатали. В нём оказались новые материалы о гибели Пушкина, выборки из писем современников, писем неопубликованных, ещё никому не известных, более ста лет пролежавших под спудом. «В настоящее время, — сообщил инженер Боташев, — письма хранятся в Н.-Тагильском музее краеведения. Они были обнаружены в Нижнем Тагиле у одной из жительниц, родные которой работали в бывшем демидовском управлении. Письма были взяты ими, видимо, в начале двадцатых годов. Установить это точно не представляется возможным, так как эти люди сейчас уже умерли. Письма были обнаружены и приобретены для музея моей тёткой Е. В. Боташевой».

Редакция ознакомилась с материалами известных пушкинистов Т. Г. Цявловскую и профессора С. М. Бонди, которые подтвердили их безусловную подлинность и отметили их большое историко-литературное значение.

Однако, прежде чем печатать присланные материалы, надо было ознакомиться с полным текстом писем в оригиналах и подготовить научную публикацию.

Это дело редакция «Нового мира» поручила писателю Ираклию Андроникову и командировала его вместе с сотрудниками редакции в Нижний Тагил.

Ниже мы печатаем рассказ И. Андроникова об этой поездке.

Мы приехали в Тагил ночью, остановились в «Северном Урале». Утром Боташев пришёл к нам в гостиницу. Ему тридцать пять лет. Это инженер Ново-Тагильского металлургического завода. Свою основную профессию он совмещает с краеведением, изучает историю Урала и в 1953 году напечатал книжку, содержащую неизвестные архивные материалы о крепостном изобретателе-самоучке Егоре Кузнецове, создавшем в XVIII веке прокатные станы, астрономические часы и музыкальные дрожки¹.

Первое, что замечаешь, пожимая руку Николая Сергеевича Боташева: из-за очков в металлической светлой оправе на вас устремлены широко раскрытые серые глаза; над губой аккуратно подстрижены рыжеватые усики.

Когда познакомились и разговорились, Боташев предложил нам вместе идти в музей, к его тётке Елизавете Васильевне, чтобы сразу же посмотреть оригиналы найденных писем, убедиться в их подлинности и уточнить историю находки.

Музей помещается в левом крыле ампирного дома с фронтоном и белыми колоннами, напоминающего великолепный стиль Росси. Прежде это был дом Демидовых — богатейших уральских заводчиков, владевших на Урале почти миллионом десятин земли, рудными месторождениями, медными и железными заводами, пятнадцатью тысячами крепостных душ. Нижний Тагил, можно сказать, принадлежал им. Ныне в ампирном

¹ Книга написана им совместно с Е. И. Гагариным.

доме, где находилось прежде управление демидовских заводов, помещаются горсовет, госархив и госмузей.

Удивительный город — Тагил! Великолепные постройки XVIII — XIX веков, которые сделали бы честь старому Петербургу; губернская архитектура; однотипные деревянные дома прошлого века на каменном фундаменте, потемневшие от времени. И — огромный новый Тагил: могучие трубы доменных печей, ажурные конструкции кранов, многокилометровые ограды заводских территорий. Дворец культуры, которому равный не сразу подыщешь, новые улицы, вроде Песчаной в Москве, просторные «Гастрономы», автобусы, огибающие регулировщика под светофором, рекламные кинотеатров, газетные витрины с последним номером «Литературной газеты», магазин подписных изданий... В центре города — заросли лиловой сирени и яблони в розовом цвету, городской сквер, в котором веточки никто не ломит.

Эти цветущие яблони, густые шпалеры сирени, жёлтые дорожки, скамейки — внизу, как раз под окнами нашего номера. И ещё прежде, чем познакомиться с Боташевым, мы наблюдали удивительную картину. Бледный рассвет. На жёлтом востоке, как четыре поднятых к небу ствола, высятся трубы. И вдруг — пожар! Полнеба охватывает золотисто-красное зарево. Но никто никуда не звонит, не торопится! Город спит, и сирень цветёт, и чирикают воробьи. А небо пылает. Это из домы пустили шлак. Наконец медленно зарево гаснет.

Елизавета Васильевна Боташева — женщина невысокого роста, темноволосая, с проседью, с живыми глазами, радушная, на редкость скромная. Занимает она в музее должность библиотекаря, на деле же отдаёт музею всю душу. Каждый экспонат для неё — живой, и рассказывает она об Урале, может быть сама не сознавая того, удивительно. Конечно, Боташев — инженер — не случайно занимается краеведением. Интерес к этому он унаследовал от тётки. А Елизавета Васильевна, в свою очередь, тоже потомственный краевед. Изучением Урала занимался её дед — Шорин, друживший с Маминым-Сибиряком. И дом, в котором помещился музей, описан у Мамина-Сибиряка в романе «Горное гнездо» и существует не только в городе, но и в литературе. И как только Елизавета Васильевна заговорила об этом — заговорила история. Кстати, это в крови у тагильчан: они преданно любят свой край и свой город, знают историю Урала до тонкости, гордятся его ресурсами, восхищаются его красотой, и краеведение там в почёте.

Если вам придётся побывать в Нижнем Тагиле, загляните в музей краеведения. Город сыграл огромную роль в истории русской промышленности и немалую — в истории русской культуры. Но это всем известное значение Тагила становится в музее точным, реальным, вещественным. А вещи там удивительные!

Модель первого русского паровоза, сконструированного в 1834 году тагильскими крепостными мастерами-самоучками Черепановыми.

Первый в мире двухколёсный педальный велосипед, сделанный крепостным Артамоновым. Говорят, что на этом высоченном велосипеде с огромным передним колесом и крохотным задним, с педалями, похожими на ступени, Артамонов, одолев расстояние в 2 500 вёрст, прикатил с Урала в Москву, на коронацию Александра I.

В этом музее хранятся астрономические часы Кузнецова, изготовленные в 1775 году. Они показывали часы и минуты, «восхождение и захождение» солнца, «рождение и ущербление» луны, дни святых, соответствующие календарному числу по святым, заключали в себе механизм курантного боя, который сопровождался движением фигурки молотобойца: он брал из горна крицу, клал под молот, ударял по ней и снова относил в горн.

Крепостные живописцы Худояровы изобрели уральский хрустальный лак, не уступающий лакам китайским. Много работ целой семьи этих тагильских художников выставлено в музее. Но самые интересные — работы Худоярова Павла, изображающие медный и железный рудники, листобойный и листопрокатный цех Нижне-Тагильского завода. Эти картины, показывающие крепостной труд рабочих, написаны в 1835 году; такие темы в живописи того времени — величайшая редкость!

В музее выставлена доска из первого чугуна, выплавленного на Тагильском заводе в 1725 году.

Экспонируется овальный стол весом в 26 пудов, отлитый из первой выплавленной в России меди.

С изумлением рассматривали мы рекламные изделия Нижне-Тагильского завода, изготовленные для московской промышленной выставки 1882 года, — стальные прутья толщиной чуть не с руку, холодным способом завязанные узлами, закрученные винтами, завитые косами. Кажется, только богатырь, подпирающий плечами небо, мог справиться с этой работой. Нет! Это сделали рабочие тагильских заводов, обыкновенного роста люди, но великие мастера, остроумные изобретатели, настоящие художники своего дела, способные удивить Европу, как лесковский Левша.

И ещё есть там один экспонат. Он найден в 1946 году при промыве Висимо-Уткинской плотины, недалеко от Тагила.

К «мёртвому брусу» этой заводской плотины кованой цепью был прикреплён чугунный цилиндр. Вскрыли его — в нём оказался цилиндр свинцовый. А внутри свинцового — медный. А в медном — свёрнутые в трубку заводские документы 1872 года. «Сведения эти, — сказано в сопроводительной записке, — должны показать картину настоящего положения заводов, показать, насколько и в чём будущее поколение ушло от нас вперёд».

Замечательная находка и замечательный документ! Впрочем, чего только нет в Тагильском музее: писанные первоклассными художниками портреты всех поколений Демидовых, начиная с Никиты Демидовича Антуфьева, получившего от Петра I привилегию разрабатывать железную руду на Высокой горе; мраморный бюст Петра I, изваянный едва ли не Шубиным; портрет Авроры Демидовой, писанный Карлом Брюлловым; подносы, шкатулки, столики, расписанные хрустальным лаком, чугунное художественное литьё, руды и мраморы, малахиты и самоцветы — всё, чем богаты недра и природа Тагила, продукция тагильских заводов, портреты знатных людей нашего времени — уроженцев Тагила, документы революционной борьбы...

Наконец дело дошло и до писем о Пушкине. Мы вернулись в библиотеку, откуда начали экскурсию по музею. Елизавета Васильевна вынесла красный сафьяновый альбом с золотым тиснением и зелёными тесёмками — старинный, с потрёпанным корешком. Перевернули крышку переплёта и форзац. А дальше — все листы из альбома вырезаны, как по линейке. И к оставшимся корешкам аккуратно подклеены письма, преимущественно французские, писанные на тонкой бумаге разными почерками, но главным образом мелким, бисерным, почерком, и чернила во многих местах изрядно повыцвели.

Это целая книга — 340 страниц писем, адресованных в разные города Европы из Петербурга и датированных 1836 и 1837 годами.

Да, письма эти действительно представляют собой удивительную находку!

Весной 1836 года молодой гвардейский офицер Андрей Карамзин — сын знаменитого историографа Н. М. Карамзина, в ту пору уже покойного, — заболел и по совету врачей предпринял путешествие по Германии, Франции и Италии. Он останавливался во Франкфурте и Эмсе, от-

дыхал в Баден-Бадене, знакомился с достопримечательностями Парижа и Рима, а родные регулярно сообщали ему петербургские новости. Чаще всех пишет мать, Екатерина Андреевна. Пишет старшая сестра, Софья Николаевна, известная в литературе своей дружбой с Жуковским, Пушкиным, Лермонтовым и другими замечательными людьми той эпохи. Несколько реже пишет брат — офицер гвардейской артиллерии Карамзин Александр. Кроме того, в альбоме имеются письма других сестёр Андрея Карамзина — Екатерины Николаевны (по мужу Мещерской), младшей сестры, Елизаветы, и брата Владимира; он студент Петербургского университета.

Постоянные посетители карамзинского салона — брат Е. А. Карамзиной П. А. Вяземский, В. А. Жуковский, А. И. Тургенев, В. А. Соллогуб... В письмах Карамзиных сохранились их приписки или передаются их суждения и пожелания.

Охватывают письма период в один год и два месяца: первое письмо в альбоме датировано 27 мая 1836 года, последнее — 30 июля 1837-го. Несколько листов — видимо, два или три письма, относившихся к июню 1836 года, — вырвано. На корешке вырезанного из альбома листа сохранился кусочек текста, датированный 10 июня.

Но, прежде чем коснуться содержания писем, следует сказать несколько слов о Карамзиных и об их литературном салоне.

Не только при жизни самого Николая Михайловича Карамзина, но и в 1830—40-х годах дом этот был одним из центров русской культуры. «Всё, что было известного и талантливое в столице, — писал современник, — каждый вечер собиралось у Карамзиных». «Весь большой свет теснился в карамзинской гостиной», — подтверждает другой, отмечая при этом, что дом был открыт «для всякой интеллигенции того времени». «Там выдавались дипломы на литературные таланты», — говорит третий.

Действительно, в гостиной Карамзиных собиралось общество, состав которого в известной степени отражал общественное положение покойного Н. М. Карамзина — выдающегося русского писателя и учёного, за свою «Историю Государства Российского» удостоенного официального звания историографа Российской империи, что приравнивало его к высшим сановникам.

В доме Карамзиных бывают поэты, литераторы, музыканты и учёные, придворные вельможи, великосветские красавицы, дипломаты, гусарские поручики, с которыми Софья Николаевна Карамзина танцует на придворных балах.

Это великосветский литературный салон, но, в отличие от других великосветских домов, здесь не играют в карты и признают русскую речь. У Карамзиных собираются для беседы и обмена мыслей и говорят о поэзии, о науке, о политике.

Хозяйкой салона была, конечно, вдова историка — Екатерина Андреевна. Но душою, главным действующим лицом и самой занимательной собеседницей — Софья Николаевна, дочь Карамзина от первого брака, владевшая искусством непринуждённого разговора и, как теперь выясняется, одарённая эпистолярным талантом — умением писать письма, легко и свободно передавая на бумаге новости дня, разговоры, характеристики.

Время от времени в доме появляется Александр Николаевич Карамзин: служба в гвардейской артиллерии налагает на него известные обязательства, невыполнение которых, как видно из писем, довольно часто приводит его на гауптвахту, откуда, располагая в избытке досугом, он пишет великолепные послания брату Андрею — содержательные и остроумные, полные иронии по адресу великосветского общества. Пишет, в отличие от матери и сестры, чаще всего по-русски. До отъезда за границу Андрей служил с братом в одной батарее; они вместе росли (Андрей ро-

дился в 1814 году, Александр — в 1815-м), у них общие приятели, общие литературные интересы; оба пишут и собираются выступать в печати.

Этот «Сашка», как называют его в письмах родные, дожил до старости (он умер в 1888 году), но так ни в чём и не проявил заметно значительности своего безусловно незаурядного таланта, о котором можно судить на основании писем. Имя его осталось в истории русской культуры благодаря Лермонтову, упомянувшему его в шутовском стихотворении, написанном для альбома С. Н. Карамзиной:

Люблю я парадоксы ваши
И ха-ха-ха и хи-хи-хи,
Смирновой штучки, фарсы Саши
И Ишки Мятлева стихи.

Об этих «фарсах Саши» мы получаем теперь довольно отчётливое представление.

Подсчитать количество найденных в Тагиле писем нелегко. Почти каждое из них заключает в себе несколько самостоятельных писем. Скажем, вечером берётся за перо мать. Заполнив страницы две и пожелав своему любимому Андрэ спокойной ночи, она уходит спать, а утром сестра Софи приписывает к этому своё, иной раз на трёх-четырёх страницах. Приходит брат, появляются приписки, довольно значительные; потом видишь руку сестры Мещерской. И снова почерк матери. Бывает, что пишется такое письмо дня три. Александр Карамзин шлёт брату письма, которые сочиняет несколько дней, приписывая каждый раз по страничке: это письмо-дневник. Как сосчитать все эти письма? Словом, в тагильском альбоме сто тридцать четыре самостоятельных сообщения, не считая мелких приписок. Точнее определить невозможно.

Письма охватывают широкий круг знакомств Карамзиных, содержат подробные сообщения о великосветских балах и придворных раутах, о литературных чтениях, о театральных спектаклях, о музыкальных вечерах. Родные пересказывают Андрэю всё, что заслуживает, по их мнению, внимания в петербургской литературной и великосветской жизни. Кроме того, в этих письмах отражена вся жизнь семьи, её дела, помыслы и заботы.

Андрей не заботится о своём здоровье, он позволил себе выпить бокал вина. Это вызывает дома тревогу, мать шлёт ему наставления.

Он тратит деньги, не сообразуясь с доходами. И мать напоминает, что они живут на пенсию, которой обязаны заслугам его добродетельного отца.

Маленькое арзамасское имение Макателемы почти ничего не приносит: староста не подчиняется распоряжениям; и управляющий Ниротморцев сообщает, что к ней, к Екатерине Андреевне, в Петербург должна скоро прибыть депутация крестьян, двадцать бунтовщиков, которые хотят искать у неё защиты от неё же самой. Идёт рекрутский набор. В солдаты отдадут подстрекателей. Но достаточно ли это для восстановления порядка? Нужен советчик, нужны деньги: для Александра эти вопросы не существуют.

Они переклеили обои в гостиной: одна половина будет жёлтой, другая — голубой. Андрэ должен об этом узнать. От Клементия Роскета Екатерина Андреевна получила в подарок стальное перо, которым пишет это письмо, и считает, что получается очень мило.

Андрей переезжает в Париж. И мать спешит подать сыну совет: ему следует попасть в салон знаменитой м-м Рекамье, где встречаются литераторы всех направлений. С м-м Рекамье дружна С. П. Свечина (католличка, покинувшая Россию и с давних пор поселившаяся в Париже). Она

пользуется влиянием, её салон посещают многие знаменитости. Александр Иванович Тургенев

очень жалел, что сам сейчас не в Париже и не может представить тебя м-м Рекамье; ты, право, должен постараться познакомиться с ней, хотя бы через м-м Свечину, — пишет мать.

К этому прилагается письмо А. И. Тургенева к м-м Рекамье, рекомендуемое её вниманию сына знаменитого Карамзина.

Андрей посещает в Париже балы и спектакли. Софи считает нужным передать ему «справедливые замечания Вяземского», который сказал: «Это весело, но не полезно: в Париже должно познакомиться с специальностями, с людьми эпохи»¹.

Андрей пишет свои письма по-французски. Екатерина Андреевна недовольна этим. Она обращается к авторитету Жуковского, который делает по-русски приписку в письме от 25 декабря 1836 года:

У нас по большинству голосов в экстраординарном заседании решено, чтобы ты — старший и достойный сын Карамзина — писал свои письма по-русски, а не по-французски. В этом заседании присутствовали две твои сестрицы, твоя единственная родная мать и я, твой родной друг. За русскую грамоту поданы голоса материнский, который считаю за пять, и мой, следственно шесть голосов, за французскую грамоту стоит один — Софьи Николаевны, по своей похвальной привычке всегда проказничать; Катерина Николаевна изволит с своею обыкновенною флегмою держаться середины. — Прошу покориться этому приговору, сверх того меня помнишь хоть и в Париже и не слишком содрогаться при воспоминании обо мне, слушая прения либералов и прочее. Обнимаю и люблю как душу.

Жуковский запросто, без приглашения, заходит к Карамзиным пообедать. Александр Иванович Тургенев, после пятилетнего отсутствия вернувшийся из-за границы, видится с ними чуть ли не каждый день — у них, у Вяземских, у Мещерских: эти два дома связаны с домом Карамзиных тесными родственными отношениями.

Михаил Юрьевич Виельгорский, сановник, меценат и композитор, живёт на Михайловской площади, в одном доме с Карамзиными; возвращаясь домой из Зимнего дворца или с концерта, он постоянно заходит к Карамзиным, где гости засиживаются до поздних часов.

В доме продолжают бывать друзья покойного историографа — когда-то, в молодости, члены прогрессивного литературного общества «Арзамас», в 1830-е годы уже достигшие высокого служебного положения: министр внутренних дел Д. Н. Блудов, министр юстиции Д. В. Дашков, дипломаты П. И. Полетика и Д. П. Северин.

Если вспомнить при этом, что ближайшие друзья Карамзиных — Вяземский, Жуковский, А. И. Тургенев и Пушкин — тоже в своё время были деятельными членами этого литературного общества, объединявшего литературных последователей Н. М. Карамзина, то будет понятным название, которое дала салону Карамзиных известная А. О. Россет-Смирнова, — «Ковчег Арзамаса».

Из тагильских писем мы узнаём о служебных и литературных делах беллетриста Владимира Соллогуба, приятеля Андрея и Александра Карамзиных; Софья Николаевна знакомится с поэтессой графиней Ростопчиной и даёт Андрею довольно точный её портрет. Александр посвящает брата в издательские планы Вяземского и В. Ф. Одоевского, задумавшие

¹ Напечатанное здесь курсивом — по-французски. Ввиду того, что большей частью Карамзины писали по-французски, в дальнейшем оговариваю только русские тексты. Курсивом выделяются французские фразы в русских письмах и русские — во французских. Подчёркнутое Карамзиными печатается разрядкой.

го издавать свой журнал, противопоставленный пушкинскому «Современнику».

В письмах постоянно упоминаются знаменитая А. О. Смирнова, Е. М. Хитрово и её дочь Д. Ф. Фикельмон — жена австрийского посла в Петербурге, упоминаются дочь графа М. М. Сперанского Е. М. Багреева, семья Олениных, писатели В. И. Даль, И. П. Мятлев, А. А. Перовский, А. Н. Муравьёв, Э. П. Мещерский, А. А. Краевский, французский историк и писатель Лёве-Веймар, приехавший в Петербург в 1836 году, и многие другие знакомые Карамзиных.

Андрею интересно знать обо всём, что видит и о чём говорит Петербург. Екатерина Андреевна (в письме от 29 сентября 1836 года) рассказывает, как все проводящие лето в Царском Селе, «начиная от придворных и до последнего простолюдина», отправились смотреть пробу паровых карет на дороге в Павловск. Поезд состоял из четырёх вагончиков, соединённых по двое.

Каждый вагон, — пишет Е. А. Карамзина, — имеет два отделения — одно закрытое, другое открытое. Пара ещё не было, поэтому каждые два вагончика тащили две лошади, запряжённые одна за другой, *гусем*. В каждом поезде, состоящем из двух вагончиков, помещалось около 100 человек. Лошади неслись галопом. Эта проба была устроена, чтобы показать удобство и лёгкость этого способа сообщения. Говорят, что к середине октября всё будет готово и поезда уже будут ходить при помощи пара. Это очень интересно. Вообще это была красивая картина — погода стояла прекрасная, обе дорожки, ведущие к железной дороге, пестрели народом; собралась целая толпа — явление у нас необычное. Говорят, московские купцы настойчиво просят государя разрешить построить на их средства железную дорогу от Петербурга до Москвы...

Есть и более интересные сведения. В письме, начатом 5 июня 1836 года, Софья Николаевна Карамзина сообщает, что у Вяземских, «в день рождения Поля»

Гоголь прочёл свою комедию «Женитьба». Слушая её, мы смеялись до слёз, — пишет Софья Николаевна, — так как читает он замечательно. Но его произведения имеют все один и тот же порок: недостаток изобретательности в построении интриги и однообразии шуток, которые всегда вульгарны и тривиальны. *Впрочем, самый русский дух, без примеси европейского*. Он уезжает сегодня с тётей и рассчитывает тебя увидеть в Эмсе...

Мнение Софьи Николаевны о недостатке изобретательности в построении сюжета «Женитьбы» разделялось в ту пору многими. Актёр И. И. Сосницкий считал, например, что в «Женитьбе» есть прекрасные сцены, но комедии нет, сюжета никакого, люди приходят и уходят «бог знает зачем». Однако Софья Николаевна говорит уже не об одной «Женитьбе»: поставив в упрёк автору «Ревизора» недостаток в построении интриги, она показала, что новизна гоголевской драматургии вообще непонятна ей. Всё же в последней фразе она отметила национальную самобытность пьесы, её «русский дух, без примеси европейского».

Поскольку чтение «Женитьбы» происходило у Вяземских в день шестнадцатилетия «Поля», это число установить не так трудно: рождение Павла Вяземского праздновалось 2 июня, следовательно, 2 июня 1836 года происходило и чтение «Женитьбы» у Вяземских — дата, в биографии Гоголя новая.

Четыре дня спустя — 6 июня — вместе с Верой Фёдоровной Вяземской и дочерью её Гоголь выехал на пароходе за границу. Вяземский проводил их.

Сейчас много идёт разговоров об опере Глинки, которой хотят открыть сезон в Большом театре, после его перестройки; говорят, она очень хороша, — сообщает Александр Карамзин в письме от 5 ноября 1836 года. — Виельгорский отзывается об этой опере весьма восторженно, как о замечательном произведении искусства. К сожалению, говорят, невозможно будет достать места на первое представление, которое состоится в конце месяца.

Похвалы Виельгорского опере Глинки известны. Ему же принадлежит и неблагоприятное суждение о ней, высказанное после премьеры. В этом отзыве отразилось уже общее мнение — мнение света. Письма Карамзинных передают атмосферу, в которой готовилось первое представление «Ивана Сусанина».

Вчера, в четверг¹, было открытие Большого театра, который теперь очень красив, — пишет Софья Николаевна 28 ноября 1836 года, — давали «Иван Сусанин» Глинки; присутствовал Двор, весь дипломатический корпус, все сановники. Я поехала с милой м-м Шевич в ложу второго яруса (нам самим достать ложу, конечно, не удалось). Некоторые арии этой оперы прелестны, но в целом она показалась мне какой-то жалобной по тону, однообразной и мало эффектной — всё на русские темы и всё в миноре. Декорации Кремля в последнем акте великолепны — толпа народа на сцене незаметно сливается с фигурами, нарисованными на полотне сзади, и уходит в бесконечную даль. Энтузиазм, как всегда у нас, был довольно прохладный, аплодисменты то стихали, то возобновлялись, но всякий раз как бы с усилием.

Декорации Андрея Роллера понравились Софье Николаевне больше, чем музыка Глинки, красот которой она по-настоящему не оценила.

Премьера «Ивана Сусанина» вызвала противоположные суждения и резкие споры. Пушкин, Гоголь, Жуковский, В. Одоевский, Вяземский восторгались оперой Глинки, аристократия бранила её. Булгарин написал о ней злобную и невежественную статью. Но было и среднее: снисходительное одобрение. На первом спектакле присутствовал царь: он аплодировал опере Глинки, которую ещё весной посоветовал переименовать в «Жизнь за царя». Таким образом, тон высокомерной похвалы выражал мнение официозных кругов. Отзыв Софьи Николаевны Карамзиной объясняется, видимо, тем, как была воспринята опера в ложе «милой м-м Шевич», точнее: Марии Христофоровны Шевич, родной сестры шефа жандармов А. Х. Бенкендорфа. Интересно, что Софья Николаевна пишет: «Иван Сусанин». Лишний раз подтверждается, что общество не сразу привыкло к чуждому опере Глинки названию — «Жизнь за царя».

Знаменитое «Философическое письмо» Чаадаева, напечатанное в сентябрьской книжке «Телескопа» за 1836 год и содержавшее наряду с суровой критикой современного состояния России пессимистический взгляд на историческое прошлое русского народа и на его будущее, в доме Карамзинных справедливо расценили, как оскорбление национального чувства. Софья Николаевна нападает на Чаадаева, возмущается цензурой, которая пропустила его сочинение. Правда, это не расходится с тем, как было встречено письмо Чаадаева в Зимнем дворце. Критика самодержавно-крепостнического строя привела императора в бешенство. Чтобы умалить впечатление, произведённое письмом, Николай приказал считать Чаадаева сумасшедшим и держать под наблюдением врача.

Характерно, что Александр Карамзин в содержании чаадаевского письма выделяет именно эту часть — критику современного состояния русского общества — и с ней соглашается.

¹ Ошибка Карамзиной: 27 ноября 1836 года приходилось на пятницу.

Философия самая ужасная вещь настоящего века, — начинает он по-русски в своём обычном, полном иронии тоне, — станешь философом, что вот де, как проводишь время, что де молодость проходит таким подлым образом, что оскотинился, что чувства душевные тупеют, приметно, что начинаешь весьма походить на полону и пр. При этой философии начинает по всему телу проходить какая-то гадость, которая мало по малу переходит в сонливость, станешь зевать, ляжешь да и в с х р а п е! А на другое утро в казармы! Видя такую всеобщую гадость в жизни, можно помешаться и даже написать письма вроде Чадаева, о которых говорит тебе сестра! В галиматые этого человека, право, есть справедливые мысли, —

признаёт он, отвергая при этом точку зрения Чадаева, которую справедливо считает ложной. Он, утверждает Карамзин, «смешивает частности одного времени с общим характером народа и ругает бедную Россию там, где нужно ругать весь век, всё человечество».

Но особенное значение тагильской находки даже не в этих — отдельных — оценках: комедии Гоголя, оперы Глинки, «Философического письма» Чадаева, игры четы Каратыгиных, пения А. Я. Воробьёвой-Петровой...

Старинная дружба связывала с домом Карамзиных А. С. Пушкина, который близко познакомился с историографом и его женой, будучи ещё лицеистом. Когда Пушкину грозила ссылка в Сибирь или в Соловки, Н. М. Карамзин ходатайствовал за него вместе с Жуковским.

Писатели, в среде которых формировались литературные взгляды Пушкина, считали Карамзина великим учителем. Пушкин с величайшим уважением относился к его литературно-учёной деятельности и к нему самому. Карамзин первый высоко поднял авторитет и звание писателя; Пушкина привлекала его благородная независимость, бескорыстие, чуждое искательства славы, широта взглядов, принципиальность, добросовестность Карамзина как учёного, значение трудов которого было гораздо шире его концепции, построенной на утверждении единовластия и крепостного состояния крестьян. Своего «Бориса Годунова» Пушкин посвятил «драгоценной для россиян памяти Николая Михайловича Карамзина». Но консервативные взгляды его высмеивал, а в 1830-х годах в одном из писем признался, что «под конец» Карамзин был ему чужд.

К Екатерине Андреевне Пушкин в юные годы питал настоящее, глубокое чувство. «Если бы в голове язычника Фидиаса, — писал один из постоянных посетителей дома Карамзиных, Ф. Ф. Вигель, — могла блеснуть христианская мысль и он захотел бы изваять мадонну, то, конечно, дал бы ей черты Карамзиной в молодости». Она была старше Пушкина девятнадцатью годами; когда он познакомился с нею, ей было уже тридцать шесть лет. Замечательный исследователь биографии и поэзии Пушкина и автор романа «Пушкин», покойный Ю. Н. Тынянов считал даже, что чувство к ней Пушкин сохранил до конца жизни. «Предмет его первой и благородной привязанности», — писала о Карамзиной Р. С. Эдлинг, хорошо знавшая Пушкина.

Постоянным посетителем дома Карамзиных Пушкин стал уже после смерти историка, по возвращении своём из михайловской ссылки. К 1827 году относятся его стихотворения «В степи мирской, печальной и безбрежной» (вписанное в альбом Софьи Николаевны) и «Акафист Екатерине Николаевне Карамзиной».

Сперва он бывает у Карамзиных один, а с 1831 года с женой — Натальей Николаевной, потом и с её сёстрами.

Значение того, что рассказывают Карамзины не только о Пушкине, но и о других своих знакомых, понятно каждому, потому что все знакомства

Карамзиных, кроме чисто деловых, были одновременно и знакомствами Пушкина. Но важность обнаруженных писем усугубляется ещё и тем, что Карамзины во всех подробностях знают семейную историю Пушкина. Эта трагедия протекает у них на глазах. В их доме Пушкины встречаются с Жоржем Дантесом. Карамзины — в числе ближайших знакомых поэта, получивших по городской почте анонимное письмо, предназначенное для Пушкина и содержащее в себе нестерпимое оскорбление. Карамзины принимают деятельное участие в улаживании конфликта между Пушкиным и Дантесом в ноябре 1836 года... Впрочем, не будем предвосхищать события, подробно изложенные в письмах к Андрею Карамзину.

О том, что такие письма в своё время существовали, биографам Пушкина было известно. До нас дошли письма Андрея Карамзина из Парижа, из Рима, из Баден-Бадена. Они адресованы матери, сёстрам, брату, содержат в себе великолепные описания его путешествия и ответы на сообщения родных, в том числе и суждения о Пушкине. Письма А. Н. Карамзина хранились в семье потомков Е. Н. Мещерской и незадолго до революции появились в печати («Старина и новизна», 1914, тт. XVII и XX).

Но каким образом другая часть переписки — письма к нему — оказалась в Нижнем Тагиле?

Оказывается, в этом нет ничего странного. Предоставим слово Николаю Сергеевичу Боташеву.

«В то время, — рассказывает он, — Нижнетагильскими заводами владели братья Павел и Анатолий Демидовы. Анатолий Николаевич большей частью жил в Италии. Купив княжество Сан-Дonato, близ Флоренции, он стал называться Демидов, князь Сан-Дonato. Павел Николаевич жил в России. В 1836 году он женился на известной красавице Авроре Карловне Шернваль. Брак был непродолжительным: в 1840 году Павел Демидов умер, оставив малолетнего сына. Вместе с сыном Аврора Демидова вступила в права владения Нижнетагильскими заводами, наравне с Анатолием Демидовым. В 1846 году она вышла замуж вторично — за Андрея Николаевича Карамзина, того самого, которому адресованы обнаруженные в Тагиле письма. В 1849 и в 1853 годах Андрей Карамзин приезжал в Нижний Тагил и участвовал в управлении заводами. В начале Крымской войны он вступил добровольцем в действующую армию и 16 мая 1854 года был убит в Малой Валахии.

Очевидно, в один из приездов А. Н. Карамзина в Нижний Тагил и попали туда эти письма, которые он хранил, как реликвию. После его смерти они остались в Тагиле. Где они находились с тех пор — неизвестно. Обнаружились они снова лет шестнадцать тому назад, перед самой Отечественной войной».

В 1939 году умер в Тагиле 84-летний маркшейдер Павел Павлович Шамарин. До Октябрьской революции он работал в демидовском управлении. Вскоре после смерти Шамарина его племянница Ольга Фёдоровна Полякова, бухгалтер рудоуправления в Тагиле, разбирая его вещи, старые книги, приложения к «Ниве» и прочее, взяла в руки потёртый сафьяновый альбом с золотым тиснением, завязанный зелёными ленточками.

Раскрыв альбом, увидела вклеенные в него старые французские письма. Ольга Фёдоровна показала находку Елизавете Васильевне Боташевой. Вследствие этого и попали письма в Тагильский музей. Но это произошло уже во время войны. Директором музея была тогда Надежда Тимофеевна Грушина.

Прежде всего надо было выяснить содержание писем. Грушина поручила перевести их на русский язык. Эту работу выполнила врач туберкулёзного санатория Ольга Александровна Полторацкая, эвакуированная во время войны из Ленинграда, великолепно знающая французский язык.

Когда работа эта была закончена, решительно всем и уже окончательно стала ясной ценность отыскавшихся писем. Н. С. Боташев заинтересовался этой находкой. Пользуясь переводом Полторацкой, он отобрал из писем Карамзиных факты, относящиеся к Пушкину, и, снабдив краткими примечаниями, прислал в редакцию «Нового мира».

О. А. Полторацкая вышла после войны на пенсию и поселилась под Москвой, около станции Вешняки, Казанской железной дороги. Я побывал у неё. Узнал, что ей было поручено сделать подробное изложение, на основании которого музей получил бы возможность судить о содержании писем, что задачи максимально точного перевода всех писем и каждого полностью она перед собою не ставила. Словом, что в её переводе — не весь текст и, прежде чем печатать, следует сверить его с оригиналом.

Эта работа проделана. Письма Карамзиных изучены заново. Выборки текста, присланные Н. С. Боташевым, дополнены и содержат теперь всё, что касается Пушкина, — от важных сообщений до простого упоминания имени.

Редакция ставила целью дать полный и точный перевод публикуемых писем. Поэтому все французские тексты заново переведены О. П. Холмской.

ИЗ ПИСЕМ КАРАМЗИНЫХ

Публикация Н. Боташева

Пояснительный текст И. Андроникова

Первое письмо: 27 мая 1836 года. Имена Дантеса, Гончаровых — сестёр и брата Натальи Николаевны Пушкиной, Мещерских, П. А. Вяземского... Мы сразу входим в круг лиц, с которыми постоянно встречается Пушкин.

Софья Николаевна рассказывает Андрею о «Сашке», который несколько дней развлекал её «своим милым лицом и смешными выходками».

Он нас покинул в воскресенье вечером, — пишет она. — Ж. Д < антес > также уезжал в Красное, у них учение целыми днями.

Милый Вяземский навещает нас ежедневно. Тётя нездорова, у неё болит нога. Дантес больше не появлялся, и мы знаем о его существовании только потому, что получили от него баночку парижской помады. Вчера был день рождения Пьера. У нас обедали его братья, Вяземский и Мальцов... Сегодня после обеда поедем кататься верхом с Гончаровыми, Балабиным и Мальцовым. Потом будет чай у Екатерины — она устраивает его для Александрины Трубецкой, в которую влюблены Веневитинов, Мальцов и Николай Мещерский. Завтра думаем всей компанией сделать прогулку в омнибусе в Парголово...

Это характерно для всей переписки — подробные сообщения о здоровье родных (у тётки, Веры Фёдоровны Вяземской, болит нога), о том, кто и в кого влюблён, кто к ним заходит, кого зовут на обед...

Кроме Вяземского, который бывает у них ежедневно, такие же частые гости в доме Мещерские: Екатерина Николаевна, урождённая Карамзина, и её муж Пётр Иванович, или Пьер, как называют его в письмах в отличие от Вяземского, именуемого обычно «князь Пётр». На обед по случаю дня рождения Мещерского приглашены его братья Николай и Сергей и двоюродный брат Мещерских — Иван Мальцов. В 1820-х годах он принадлежал к числу молодых людей, составлявших литературно-философский кружок «любомудров», участвовал в создании журнала «Мо-

сковский вестник», потом служил вместе с Грибоедовым в Персии и единственный уцелел при разгроме русской миссии в Тегеране. Это миллионер, уже подумывающий о том, чтобы основать в Петербурге бумагопрядильную мануфактуру. Славится как анекдотист. В пору, когда мы застаём его в доме Карамзиных, ему около двадцати девяти лет.

Иван Балабин, который примет участие в кавалькаде, — конногвардеец, приятель Дантеса и братьев Карамзиных. Он из тех Балабиных, в доме которых давал уроки Николай Васильевич Гоголь. Вечернее чаепитие у Екатерины Мещерской устраивается в честь княжны Александрины Трубецкой и влюблённых в неё А. В. Веневитинова (брат рано умершего поэта Д. В. Веневитинова), Мальцова и Николая Мещерского; Софи Карамзину бесконечно интересуется, за кого княжна выйдет замуж. В 1837 году она успокоилась — Трубецкая предпочла князя Мещерского.

Брат Саша и Дантес — в Красном Селе, в лагерях; о них говорят, как о мучениках.

Что касается прогулки в Парголово, то она состоялась. И в ней принимал участие Дантес. По словам Софьи Николаевны, было очень весело. Княгиня Бутера — владелица загородного имения «Шувалово» — разрешила компании воспользоваться её домом. Обедали в её великолепной гостиной. Вино «лилось рекой». Мальцов «трещал без умолку». На обратном пути остановились в имении княгини О. С. Одоевской — жены Владимира Фёдоровича, известного писателя, старого друга Карамзиных, — и пили у неё чай. «В полночь мы уже были дома», — заключает Софья Николаевна письмо.

3 июля 1836 года. Пишет Александр Николаевич Карамзин из Красного:

Кавалергардский полк прибыл в *Красное* только сегодня, и Дантес уже два раза был у нас.

Два дня спустя Екатерина Андреевна сообщает сыну ту же новость: Дантес отправился с визитом в Красное Село к Александру.

Они увлечены Дантесом, вполне разделяют отношение к нему петербургского великосветского общества, считают, что он совершенно заслуживает внимания, с которым относятся к нему при дворе; он пользуется расположением императора и шефа кавалергардов — императрицы, дружески встречается с наследником — они вдвоём совершают верховые прогулки.

Наш образ жизни, дорогой Андрей, всё тот же, — извещает его сестра 5 июня. — Каждый вечер у нас гости. Дантес бывает почти ежедневно. Он расстроен тем, что их дважды в день гоняют на военные учения (великий князь нашёл, что конная гвардия не умеет сидеть на коне), но он всё так же весел и остроумен и находит время принимать участие в наших кавалькадах...

Не подозревая, какую роль сыграет впоследствии в жизни Андрея Карамзина красавица Аврора Шернваль, Софья Николаевна рассказывает брату:

Сообщаю тебе о золотой свадьбе — м-ль Аврора Ширнваль выходит замуж за богача Поля Демидова. Какая разница с той скромной судьбой, которая ожидала её в браке с г. Мухановым.

Жених Авроры Шернваль, Александр Алексеевич Муханов, скромный офицер, выступавший в литературных журналах, — по мнению друзей, «человек замечательных дарований», — был горячим почитателем Пушкина и приятелем Карамзиных, Баратынского, Вяземского. Он умер молодым в 1834 году, незадолго до свадьбы. Он не принадлежал к родовитой аристократии и несметными богатствами Демидовых не обладал.

Братья его, Николай и Владимир Мухановы, такие же горячие почитатели Пушкина, встречаются время от времени с Карамзиными.

Каждый год 1 июля в Петергофе отмечается традиционный праздник — именины императрицы. Софья Николаевна была на этом празднике вместе с м-м Шевич. Описанию этого дня посвящено письмо, датированное 8(20) июля 1836 года.

...Празднество началось в 8 часов утра. Первые часы я провела довольно уныло в весьма скучном обществе, прогуливаясь медленным шагом по аллеям... Единственный приятный момент был, когда все спустились в сад и затем прошли вереницей после представления государю. Здесь я увидела почти всех наших друзей и знакомых, между прочим, Вяземского (он держался весьма непринуждённо в своём придворном костюме, который, наконец, решил надеть), Одоевских (он был в камергерском мундире, а она вся розовая, с полевыми цветами в волссах, очень похудевшая, но почти красивая), Надин Соллогуб (которая 11-го уезжает со своей тёткой за границу и там проведёт больше года; зимой, может быть, поедет в Италию, а сейчас отправляется прямо в Баден-Баден, где она надеется тебя увидеть. М-м Смирнова сейчас уже в Бадене. Бедный Андрей, береги своё сердце!), Опочининых и Люцероде (которые поручили мне передать тебе привет), Бутурлиных (они уезжают 25-го. Лиза была очаровательна в венке из палевых роз) и Дантеса; признаюсь, увидеть его мне было очень приятно. Повидимому, сердце привыкает к тем, с кем встречаешься ежедневно... Он спросил, с кем я приехала, что думаю делать. Он, правда, презрительно бросил: «Как, Вы с этой?», тем не менее, он был очень обходителен с м-м Шевич. Я его представила ей, и он просил позволения сопроводить нас вечером на прогулке, что она разрешила тем более охотно, что до этого она всем твердила (к моей величайшей досаде): «Боюсь, что нам нельзя будет без кавалеров пойти на иллюминацию, наши кавалеры нас обманули, не выдали ли вы наших кавалеров?» А когда её спрашивали: «Кого именно?», она отвечала: «Пйшчевича и Золотницкого». Представляешь себе, как мне было стыдно! На кого мы возлагали надежду, да и тут ещё потерпели разочарование.

Поручик Гусарского полка Пйшчевич и Золотницкий, которых так жаждала видеть сестра шефа жандармов м-м Шевич, — родные племянники шефа жандармов. Смушение Софьи Николаевны Карамзиной вызвано, однако, не этим. Молодые люди недостаточно солидны, по её мнению, чтобы сопровождать их — её и м-м Шевич — на иллюминацию, где будет присутствовать весь двор.

Имена Пйшчевича и Золотницкого постоянно встречаются в письмах Карамзиных. Всё же этого было бы недостаточно, чтобы обращать на них особое внимание. Мы останавливаемся на этих именах потому, что оба — и Пйшчевич и Золотницкий — печатались в «Современнике». Во втором томе Пушкин поместил дельный разбор книги «Статистическое описание Нахичеванской провинции», принадлежащий В. Золотницкому; путевой очерк П. Пйшчевича «О Киеве» уже после смерти Пушкина напечатан в шестом томе.

Но вернёмся к петергофскому празднику.

После прогулки по всем садам, отправившись с м-м Шевич слушать вечернюю зорю, Софья Николаевна опять увидела множество знакомых, которые собирались на костюмированный бал, и

снова встретила Дантеса. В дальнейшем он нас уже не покидал. Мы прихватили с собой твоего бедного товарища Александра Голицына (очень грустного по случаю неприятностей по службе),

Шарля Россети, Поликарпова и пресловутого Золотницкого, который, наконец, отыскался и весь оставшийся вечер не отходил от своей тётки... Меня вёл Дантес и очень забавлял своими шутками, своей весёлостью и даже весьма комичными вспышками своих страстных чувств (всё по отношению к прекрасной Натали)...

Лица, мелькающие в придворной толпе и упомянутые в этом письме, — знакомые Пушкина:

Вяземский Пётр Андреевич, старый друг Пушкина, «декабрист без декабря», как назвал его один из советских исследователей, — поэт и критик. В 1820-х годах, уволенный со службы, состоял под тайным надзором полиции, слыл «либералом». В ту пору это литературный единомышленник Пушкина. Но в 1830-х годах либерализм его потускнел, взгляды стали умеренными. За вступлением на государственную службу следует «пожалование» в камергеры. Сначала Вяземский выказывает равнодушные к придворному званию, а тут впервые решается надеть камергерский мундир. В 1840-х годах он уже окончательно отрешился от идей своей молодости и примкнул к врагам прогресса и демократии. В письме Софьи Карамзиной отмечен момент, характерный для постепенного вхождения Вяземского в атмосферу политической реакции.

Владимир Фёдорович Одоевский — писатель и журналист, критик и публицист, музыкант и учёный, ближайший сотрудник Пушкина по «Современнику». Карамзина назвала его камергером: ошибка. В ту пору он ещё камер-юнкер.

Ольга Степановна — жена его.

Надин Соллогуб — кузина писателя Соллогуба Владимира. Красавица. Фрейлина. Очень нравилась Пушкину. В 1832 году он посвятил ей стихотворение:

Нет, нет, не должен я, не смею, не могу
Волнениям любви безумно предаваться;
Спокойствие моё я строго берегу
И сердцу не даю пылать и забываться...

Опочинин — гофмейстер Фёдор Петрович, женатый на одной из дочерей фельдмаршала Кутузова — Дарье Михайловне.

Люцероде — саксонский посланник. Хорошо относился к Пушкину. Известен его перевод на немецкий язык пушкинской «Капитанской дочки».

Бутурлин Дмитрий Петрович — военный историк, сенатор, женатый на красавице Елизавете Михайловне Комбурлей и обязанный ей своей карьерой.

Поликарпов Евгений — конногвардеец, сослуживец и приятель Андрея и Александра Карамзиных.

Шарль Россети, точнее — Александр-Карл Россет, младший брат А. О. Смирновой, поручик Преображенского полка. Друг Карамзиных.

Пушкина на этом празднике нет: он избегает участия в придворных церемониях, хотя звание камер-юнкера обязывает его к этому.

О чувствах Дантеса по отношению к Наталье Николаевне Пушкиной Софья Николаевна пишет Андрею, как о чём-то хорошо ему известном. Действительно, в это время в петербургском свете уже широко обсуждается увлечение Дантеса. Всем известно, что Дантес намеренно появляется там, где бывает жена Пушкина, что он совершает прогулки верхом вместе с ней и с сестрой её Екатериной Гончаровой, что прежде Дантес вместе с усыновившим его бароном Геккереном посещал дом Пушкина, но, после того как по городу разнеслись слухи о его ухаживании за Натальей Николаевной, Пушкин перестал их принимать. Всё это было известно Андрею Карамзину ещё до отъезда. «Комичные вспышки страстных чувств» Дантеса по отношению к жене Пушкина! Софья Ка-

рамзина находит их комичными! Они ещё забавляют её. Она не видит
 • в них ничего дурного.

Отзыв Софьи Николаевны о журнале Пушкина — о «Современнике» — неблагоприятная оценка, исходящая из дома друзей, — как много говорит это об одиночестве Пушкина!

24 июля/5 августа <1836 года>. — С. Н. Карамзина.

Вышел № 2 «Современника», но говорят, что он бледен и в нём нет ни одной строчки Пушкина (которого *разбил ужасно и справедливо Булгарин, как «светило, в полдень угасшее»*). Ужасно соглашаться, что какой-то Булгарин, стремясь излить свой яд на Пушкина, не может хуже уязвить его, чем сказав правду. Есть несколько остроумных статей Вяземского, между прочим одна по поводу «Ревизора». Но надо же быть таким беззаботным и ленивым созданием, как Пушкин, чтобы поместить в номере сцены из провалившейся «Тивериады» Андрея Муравьёва...

С этой оценкой не согласен Карамзин Александр. Прочитав послание сестры, он приписывает:

Не верь Софи в том, что она пишет тебе о «Современнике», номер отлично составлен; Пушкин, правда, ничего там не написал, зато есть прекрасные статьи дядюшки и Одоевского. Пушкин намерен напечатать там свой новый роман.

Он имеет в виду «Капитанскую дочку». Трагедию А. Н. Муравьёва «Битва при Тивериаде», в 1832 году провалившуюся на сцене Александринского театра, Карамзин в своей приписке не поминает.

Пушкин считал, что второй номер «Современника» «очень хорош». Поэтому, возможно, что в оценках Александра Карамзина повторяются иной раз и суждения Пушкина: Карамзин его часто видит.

Две недели спустя (7 августа 1836 года) Александр Николаевич сообщает брату о собственных литературных делах и подаёт совет:

...ты, брат, не забудь написать и прислать что-нибудь для журнала Одоевского, раз уж наше имя красуется в проспекте среди имён Тяпкиных, Фитюлькиных и компании. С прозой у меня обстоит ещё хуже, чем со стихами. Я ничего не продаю, стало быть, мне нигде не платят, но я не теряю мужества...

Под «журналом Одоевского» Александр Карамзин понимает задуманный В. Ф. Одоевским и А. А. Краевским «энциклопедический и эклектический» журнал «Северный зритель», который они предполагали издавать с начала 1837 года.

В пору, когда Пушкин приступал к изданию «Современника» (четыре книжки в год), Одоевский и Краевский, принявшие близкое участие в этом журнале, задумали свой, ежемесячный. К участию в своём журнале они хотели привлечь тех, кто сотрудничал в «Современнике», а также идейных противников Пушкина, прежде всего группу реакционных литераторов из «Московского наблюдателя».

Издание нового — ежемесячного — журнала цензура не разрешила; после закрытия «Московского телеграфа» затевать новые ежемесячные журналы было запрещено. Тогда, «убеждённые в том, что существование двух журналов, в одном и том же духе издаваемых, может только повредить им обоим», Краевский и Одоевский в начале августа 1836 года предложили Пушкину в корне преобразовать «Современник». Пушкин их условий не принял, и 16 августа Одоевский с Краевским обратились к начальнику главного управления цензуры С. С. Уварову за разрешением издавать трёхмесячный «Русский сборник».

Уваров, ненавидевший Пушкина, увидел в этом ущерб «Современнику» и поддержал конкурентов Пушкина, задумавших свой орган отнюдь не в «одном духе с «Современником», а, как сказано в их прошении, «в духе благих попечений правительства о просвещении в России». Все эти факты, установленные только недавно В. Н. Орловым, а затем и А. П. Могиланским, освещены в одной из последних работ Ю. Г. Оксмана.

Андрей и Александр Карамзины внесли свои имена в «список лиц, желающих участвовать в издании журнала «Северный зритель». Поэтом-уто Александр и напоминает брату о «журнале Одоевского».

Прежде чем перевернуть ещё несколько листов, напомним, что летом 1836 года Пушкины снимают дачу на Каменном острове, а Карамзины — в Царском Селе. Тем не менее о жизни Пушкиных они знают от общих знакомых. 30 августа, по случаю семейного праздника, в Царском Селе обедали Мещерский и сослуживец обоих братьев и ближайший друг их Аркадий Россет. После обеда приехали «друзья сестёр» — Мухановы, Николай и Владимир.

Старший, — пишет Александр Карамзин 31 августа из Петербурга (по-русски), — довольно толст и похож на умершего своего брата; он не хорош, но видно, что это вещь известная, очень разговорчив, весел и общителен; младший, напротив, совершенно чёт знает что такое! худенький, гаденький, тихонький...

Старший накануне видел Пушкина, которого он нашёл ужасно упавшим духом, раскаивавшимся, что написал свой мстительный пасквиль, вздыхающим по потерянной фаворитке публики. Пушкин показал ему только что написанное им стихотворение, в котором он жалуется на неблагодарную и ветреную публику и напоминает свои заслуги перед ней. Муханов говорит, что эта пьеса прекрасна.

Вначале речь идёт, конечно, об оде «На выздоровление Лукулла», напечатанной в конце 1835 года в «Московском наблюдателе» и доставившей Пушкину в 1836 году ужасные неприятности. В наследнике богача Лукулла, ворующего казённые дрова, все узнали министра народного просвещения С. С. Уварова, который обратился с жалобой на Пушкина к царю. По поручению Николая Бенкендорф сделал Пушкину строгий выговор; неприятность усугублялась тем, что Уваров ведал цензурой и Пушкин находился в зависимости от него. Как раз в августе Уваров поддержал ходатайство Одоевского и Краевского о разрешении издавать журнал, который должен был подорвать литературную и материальную базу «Современника». За три дня до встречи с Мухановым (26 августа) цензура запретила в «Современнике» статью Пушкина «Александр Радищев»; это тоже одна из причин того угнетённого состояния, о котором, со слов Муханова, пишет Александр Николаевич Карамзин. Материальные дела Пушкина таковы, что он вынужден занимать у ростовщика под залог столового серебра.

Новое стихотворение, которое Пушкин прочёл Николаю Муханову 29 августа, — «Памятник», законченный за несколько дней до этого (на автографе дата: «21 августа 1836 г. Каменный остров»). Слова Муханова лишний раз подтверждают, что стихотворение написано Пушкиным не для самопрославления, а в ответ на суждения реакционной критики и той части читающей публики, которая готова была соглашаться с тем, что Пушкин — «светило, в полдень угасшее». Однако смысл стихотворения Муханов истолковал слишком просто; «Памятник» — не жалоба на неблагодарную публику. Справедливо считает Т. Г. Цявловская, что, как часто бывало в таких случаях у Пушкина, стремление возразить против журнальных нападок послужило для него только поводом. Пушкин создал стихотворение, исполненное глубокого философского смысла; эти размыш-

ления о роли и заслугах поэта адресованы не критикам и не охладевшей к нему части «читающей публики» и обращены уже не к своему времени, а к читателю будущему, который сумеет оценить подвиг поэта и значение этого подвига...

Кстати о Пушкине, — продолжает Александр Карамзин, — я с Вошкой и Аркадием после долгих собраний отправились вечером Натальина дня *в увеселительную прогулку* к Пушкиным на дачу. Проезжая мимо иллюминированной дачи Загрядской, мы вспомнили, что у неё Фурц и что Пушкины, верно, будут там.

Александр с братом Владимиром («Вошкой») и с другом Аркадием Россет едут на Каменный остров, чтобы поздравить Наталью Николаевну Пушкину — именинницу. И вспоминают дорогой, что Наталья Кирилловна Загряжская (которой по мужу её Наталья Николаевна Пушкина приходится внучатой племянницей и которую Карамзин именует «Загрядской») тоже в этот день именинница.

Несмотря на то, мы продолжали далёкий путь и приехали только для того, чтоб посмотреть туалеты этих дам и посадить их в экипаж.

На этом попытки молодых людей увидеться с Пушкиными не кончились:

После того, как на третий день возобновили свою прогулку, мы возвратились окончательно пристыжёнными. В назначенный день мы отправляемся в далёкий путь, опять едем в глухую, холодную ночь и почти час слушаем, как ходят ветры севера, и смотрим, как там и сям мелькают в лесу далёкие огни любителей дач. Приехали: «Наталья Николаевна приказали извиниться, оне очень нездоровы и не могут принять». Гневные восклицания и проклятия вырвались из наших мужских грудей, — продолжает Александр Карамзин, переходя на французский язык. — Мы послали к чёрту всех женщин, живущих на островах и хворающих не ко времени, и воротились домой, смущённые ещё более, чем в первый раз. Вот чем ограничились пока что наши визиты. Если бы не это, столь услужливое заблуждение, Пушкины приехали бы в Царское и провели бы там вчерашний и позавчерашний день.

Здесь уже речь идёт об именинах самого Александра — 30 августа, — на которые Пушкины не приехали.

Их отсутствие, — пишет Карамзин далее, — совершенно осчастливило мою кроткую голубку, которая хотела царить без соперниц, особенно в торжественный день моих именин. Но судьба посмеялась над её радостью и обернула против неё же самой все её жестокие и бесчеловечные пожелания желудочных колик Пушкиным.

«Голубкой» иронически именуется дочь м-м Шевич Александрина, за которой Александр слегка ухаживает. «Предурная собой», как пишет о ней современница, она не может соперничать с Натальей Николаевной Пушкиной и радуется, что та не приехала. Но за эту радость она наказана: вместо Натальи Пушкиной приехала Наталья Строганова, дама, пользующаяся в свете большим успехом, которая отвлекла внимание Александра Карамзина от мадемуазель Шевич.

Приписка от 3 сентября содержит рассказ о новой поездке на Каменный остров.

Вчера вечером я с Володькой, — пишет Александр снова по-русски, — опять ездили к Пушкиным и было с нами оригинальнее, чем когда-нибудь. Нам сказали, что дескать дома нет, уехали в театр. Но на этот раз мы не отстали так легко от своего предприятия, вошли в комнаты, велели зажечь лампы, открыли клавиорды, пели,

открыли книги, читали и таким образом провели 1¼ часов. Наконец оне приехали. Поелику оне в карете спали, то пришли совершенно заспанные. *Александрин* не вышла к нам, а прямо пошла лечь; Пушкин сказал 2 слова и пошёл лечь. 2 другие вышли к нам, зевая, и стали просить, чтоб мы уехали, потому что им хочется спать, но мы объявили, что заставим их с нами просидеть столько же, сколько мы сидели без них. В самом деле мы просидели более часа. Пушкина не могла вынести так долго, и после отвергнутых просьб о нашем отъезде она ушла первая. Но Гончариха высидела все 1¼ часов, но чуть не заснула на диване. Таким образом мы расстались, объявляя, что если впредь хотят нас видеть, то пусть посылают карету за нами. Пушкина велела тебе сказать, что она тебя целует (её слова)...

17 сентября в Царском Селе Карамзины праздновали день именин Софьи Николаевны.

Мы ждали много гостей из города, и это нервировало маму, — пишет она два дня спустя (19 сентября). — Но всё сошло очень хорошо, обед был превосходный. Среди гостей были Пушкин с женой, Гончаровы (все три блистали молодостью, красотой и тонкими талиями), мои братья, Дантес, А. Голицын, Аркадий с Шарлем Россети (Клемента они потеряли в городе во время сборов), Скалон, Сергей Мещерский, Поль и Надин Вяземские (тётя осталась в Петербурге ожидать дядю, но он так и не приехал из Москвы) и Жуковский. — Ты легко можешь себе представить, что, когда за обедом дошло дело до тостов, мы не забыли выпить за твоё здоровье. Послеобеденные часы в таком милом обществе показались нам очень короткими. В 9 часов пришли соседи: Лили Захаржевская, Шевичи, Ласси, Лидия Блудова, Трубецкие, графиня Строганова, княгиня Долгорукова (дочь князя Дмитрия), Клюпфели, Баратынские, Абамелек, Герздорф, Золотницкий, Левицкий, один из князей Барятинских и граф Михаил Виельгорский, — так что мы могли открыть настоящий бал и всем было очень весело, судя по их лицам, кроме только Александра Пушкина, который всё время был грустен, задумчив и озобочен. *Он своей тоской и на меня тоску наводит.* Его блуждающий, дикий, рассеянный взгляд поминутно устремлялся с вызывающим тревогу вниманием на жену и Дантеса, который продолжал те же штуки, что и раньше, — не отходя ни на шаг от Екатерины Гончаровой, он издали бросал страстные взгляды на Натали, а под конец всё-таки танцевал с ней мазурку. Жалко было смотреть на лицо Пушкина, который стоял в дверях напротив молчаливый, бледный, угрожающий. Боже мой, до чего всё это глупо!

Когда приехала графиня Строганова, я попросила Пушкина пойти поговорить с ней. Он согласился, краснея (ты знаешь, как ему претит всякое раболепие), как вдруг вижу — он остановился и повернул назад. «Ну, что же?» — *«Нет, не пойду, там уж сидит этот граф!»* — *«Какой граф!»* — *«Дантес, Гекрен, что-ли!»*

Запись очень значительна. О том, что Пушкин, Жуковский и Виельгорский 17 сентября 1836 года присутствовали на именинах С. Н. Карамзиной, было известно и раньше — из её письма к И. И. Дмитриеву. Но здесь Софья Николаевна впервые называет имена остальных гостей, а главное, пишет о состоянии Пушкина.

Кто они, эти гости?

Поль и Надин Вяземские — дети П. А. Вяземского, племянники Е. А. Карамзиной. Гончаровы — Александрина и Екатерина, сёстры Натали Николаевны Пушкиной. Аркадий и Шарль Россет — братья

А. О. Смирновой, молодые офицеры, друзья Карамзиных, почитатели Пушкина. Таким же горячим почитателем Пушкина был живший в одной квартире с Росsetами офицер Генерального штаба Николай Скалон. Сергей Мещерский — деверь Екатерины Николаевны Карамзиной-Мещерской, Александр Голицын — сослуживец и друг Андрея и Александра Карамзиных. Последним назовём Дантеса. Он не граф Геккерен, а барон Геккерен. Графом Пушкин назвал его иронически, из глубокого презрения к положению, богатству и титулу этого усыновлённого голландского барона.

Эти приглашены на обед.

Вечером собирается великосветская знать, проводящая лето в Царском Селе, «соседи». Родственные связи объясняют их положение в свете и уточняют состав салона Карамзиных — круг, в котором Пушкин приговорён был жить и работать.

Генерал Захаржевский — шурин Бенкендорфа. Лили Захаржевская — Елена Павловна — его жена, приближённая великой княжны Марии.

Шевичи — о них уже говорилось — сестра и племянники Бенкендорфа.

Золотницкий — племянник Бенкендорфа.

Графиня Строганова — дочь канцлера В. П. Кочубея.

Княгиня Долгорукова — дочь влиятельного вельможи, московского генерал-губернатора князя Д. В. Голицына.

Один из князей Бярятинских — очевидно, лейб-кирасир Александр Бярятинский, сын ближайших друзей императора, назначенный «состоять при наследнике». «Преданный друг» Дантеса — как Бярятинский подписался в одном, из своих писем к нему; Герздорф и Абамелек — лейб-гусары. Баратынские — лейб-гусар Ираклий Абрамович Баратынский, брат поэта, с женой (он женат на сестре Абамелека). Лидия Блудова — дочь министра внутренних дел. Ласси (les Lassy) — видимо, члены семьи генерала от инфантерии Бориса Петровича Ласси (1737—1820), Клюпфели — кто-то из семьи дипломата Филиппа Клюпфеля. Трубецкие — кавалергард Никита Трубецкой с женой: он родственник В. Ф. Вяземской, и, наконец, сослуживец Бярятинского кирасир Левицкий.

Имена, перечисленные Карамзиной, не сходят со страниц писем к Андрею; это — общество Карамзиных. Но это и общество Пушкина.

Тридцатишестилетняя графиня Наталья Викторовна Строганова, которую поэт должен занять разговором, — его первая, лицейская, любовь. Наталья Кочубей. В 1830-х годах Пушкин собирался изобразить её в романе «Русский Пелам» под именем Чуколей. Но в планах сохранилось и настоящее имя: «Кочубей, дочь его». «Наталья Кочубей вступает с Пельмовым в переписку» и т. д.

Это постоянная гостья Карамзиных, которой они оказывают особое уважение, называя её в письмах «пикантной», «любезной», «блистательной», «обольстительной», подчёркивая, что с ней «очень любезен государь». Её свёкор — знаменитый дипломат наполеоновских времён, старый сановник, пользующийся уважением двора и аристократии. Это близкий родственник Гончаровых, отец рождённой вне брака Идалии Полетики, заклятого врага Пушкина и верного друга Дантеса. Муж Н. В. Строгановой — флигель-адъютант, харьковский генерал-губернатор.

Описывая свои именины, Софья Николаевна сообщает подробность, на которую обратят внимание биографы Пушкина. Дантес ведёт свою игру с Н. Н. Пушкиной, не отходя ни на шаг от её сестры. Ухаживание за Е. Н. Гончаровой в сентябре 1836 года? Это — сведение новое. Софья Николаевна пишет: «продолжал те же штуки, что и раньше...» — следовательно, Дантес ухаживает за Екатериной Гончаровой давно?

20 сентября Екатерина Андреевна описала внезапное появление в их доме Жуковского, который остался обедать и был «очарователен своей детской весёлостью».

А затем,— сообщает она, — явилась блистательная Аврора с розовыми перстами (она, правда, вся розовая и прелестна, как богиня, чьё имя она носит)...

Слова «правда, вся розовая» должны, очевидно, служить подтверждением строк Баратынского, который писал, обращаясь к Авроре Шернваль:

Выдь, дохни нам упоением,
Соименница зари:
Всех румяным появлением
Оживи и озари...

Она приехала с прощальным визитом,— продолжает Екатерина Андреевна,— завтра она уезжает в Финляндию, где будет дожидаться жениха, а после свадьбы вместе со своим золотым мужем поедет за границу. Ты, вероятно, увидишь её в Италии. Она обещала, что будет внимательна к тебе,— предупреждает Карамзина сына.— Только не увлекайся до безумия, что часто с тобой случается при знакомстве с хорошенькими женщинами, а эта уж очень хороша.

Как нам уже известно, эти предостережения подействовали ненадолго: через десять лет Андрей Карамзин женился на Авроре Шернваль-Демидовой, к тому времени уже овдовевшей.

Перевернём несколько страниц. Письмо Александра от 30 сентября 1836 года (среда).

17-го у нас в Царском был большой вечер; вероятно, Софи уже описала его тебе во всех подробностях. Что же касается моей здешней жизни, то она настолько лишена всяких событий, так бледна и так однообразна, что не стоит говорить о ней. Три четверти времени я провожу с Аркадием, иногда бываю у Пушкиных, часто посещаю Вяземского, который теперь будет жить на Моховой... Вчера я был на музыкальном вечере у Геккерн, где меня представили м-м Сухозанет,— пишет он.— В пятницу пойду к ней на вечер с танцами. Ещё разговаривал вчера с прекрасной Фикельмон — она велела тебе кланяться — и с м-м Элиз, которая делала невероятные усилия, чтобы выскочить из своего платья. Затем я отдыхал в кругу Гончаровых... Сегодня пойду к Пушкиным провести вечер.

«М-м Элиз» — известная Елизавета Михайловна Хитрово, в эту пору уже немолодая; её пристрастие к чрезмерно открытым платьям было на устах у всего Петербурга. Она дочь фельдмаршала М. И. Кутузова. «Прекрасная Фикельмон» — внучка Кутузова, дочь Хитрово, вышедшая замуж за австрийского посла в Петербурге. Это самые сердечные друзья Пушкина, самые заботливые друзья.

На музыкальном вечере у голландского посланника Геккерена Александр Карамзин знакомится с женой своего шефа — генерал-адъютанта И. О. Сухозанета. Сухозанеты в свойстве с Бенкендорфом: брат м-м Сухозанет женат на падчерице шефа жандармов. Это выдвинуло Сухозанета. 14 декабря 1825 года его артиллерия расстреляла войска декабристов на Сенатской площади в Петербурге. С того дня началось возвышение этого «запятнанного человека», как осторожно назвал его Пушкин в своём дневнике.

От Сухозанетов Карамзин идёт к Пушкиным, к Гончаровым. Встречи поэта с Карамзинными оказываются более частыми, чем это было известно раньше, светские цепи — ещё более крепкими.

Сбоку письма Карамзин приписывает (по-русски):

У Пушкина 700 подписчиков, не много. Одоевский готовится издавать свой журнал, но ещё нет ничего. Я буду у него послезавтра. Пришли ему статейку. Говорят, что 3-й том «Современника» очень хорош, я ещё не имел его. Литературн<ых> новостей больше нет.

Этим сообщением уточняется число подписчиков «Современника» и состояние издательских дел Пушкина — стоит только сопоставить слова Карамзина с цифрами тиража журнала. Первая и вторая книжки «Современника» были напечатаны в количестве 2 400 экземпляров. Тираж третьей вдвое меньше: всего 1 200. А подписчиков только 700! И даже сотрудник Пушкина, Карамзин, считающий, что «Современник» хорош, хлопочет о журнале Одоевского. Объясняется это, конечно, тем, что Одоевский ему покровительствует. Впрочем, сведения о «Русском сборнике» Одоевского запоздали: ещё 16 сентября Николай I запретил издавать его.

Наступает октябрь. Из Царского Села Карамзины возвращаются в город. В воскресенье, 18 октября, дочь П. А. Вяземского — молодая Мария Валуева — устроила у себя чай.

Там были неизбежные Пушкины и Гончаровы, — пишет Софья Николаевна Карамзина, — Соллогуб и мои братья. Мы сами туда не поехали, так как у нас были гости — м-м Огарёва, Комаровский, Мальцов и молодой Долгоруков, друг Россети, довольно скучная личность.

Софья Николаевна ничего не пишет о состоянии Пушкина: она не была у Валуевых. Но вспомним, что это происходит накануне празднования лицейской годовщины у М. Л. Яковлева, где Пушкин разрыдался, читая свои стихи...

У Карамзиных — гости. Прежде всего обратим внимание на м-м Огарёву, Варвару Андреевну, сестру всесильного графа П. А. Клейнмихеля, одного из ближайших сотрудников Николая. Другое лицо, представляющее для нас интерес, — «молодой Долгоруков, друг Россети», тот, чьей рукой, по мнению исследователей, написан анонимный «диплом». О том, что эта гнусная личность бывает у Карамзиных, мы узнаём впервые. Граф Егор Комаровский — конногвардейский офицер, постоянный посетитель карамзинской гостиной, старый знакомый Пушкина.

Как видишь, — продолжает Софья, — мы вернулись к нашему обычному городскому образу жизни. Возобновились наши вечера, и на них с первого же дня всё те же привычные лица заняли свои привычные места — Натали Пушкина и Дантес, Екатерина Гончарова рядом с Александром, Александрина с Аркадием, к полуночи — Вяземские и один раз, должно быть по рассеянности, Виельгорский...

Н. Н. Пушкина и её сёстры, Дантес, Аркадий Россет, Вяземские, Александр Карамзин — это «свой».

День спустя — 20 октября утром — Екатерина Андреевна рассказывает сыну:

Вчера много говорили о *Современнике*. Ты мне так и не написал, получил ли его, а между тем князь Пётр <Вяземский> тебе его послал... Постараюсь выслать тебе 3-й том, который недавно вышел. Все говорят, что он лучше остальных и должен вернуть популярность Пушкину. Я его ещё не видела, но нам кое-что из него читали — там есть прекрасные вещи от издателя, очень милые Вяземского и неписуемая нелепица *Гоголя «Нос»*. Софи возмущена, что же касается меня, то я смеялась, но не нашла в этой вещи не скажу здравого смысла, — фантастика может обойтись и без него, — но всё-таки воображение требует хоть какого-нибудь правдоподобия...

Письмо от 3 ноября полно самых разнообразных новостей. Прежде всего Софья Николаевна спешит рассказать о том, что занимает всё петербургское общество, «начиная с редакторов и кончая духовенством», — о «Философическом письме» Чаадаева, которое напечатано в «Телескопе». Как уже было сказано, она даёт этому сочинению резко отрицательную оценку и пишет:

Что ты скажешь о цензуре, которая всё это пропустила? Пушкин очень метко сравнил её с норовистой лошадью, которая не перепрыгнет, хоть ты её убей, через белый платок, т. е. через некоторые запрещённые слова, например, свобода, революция и т. д., но бросится через ров, если он будет чёрный, и сломает себе шею.

...За чаем, — продолжает она, — у нас всегда бывает несколько человек гостей, в том числе Дантес, который всегда очень забавен. Он поручил мне передать тебе привет.

Три дня спустя, 6 ноября, Александр уведомляет брата:

...Одоевскому запретили издавать журнал. Наша литературная слава оказалась недолговечной, дорогой мой, наши имена были напечатаны в объявлении, и на том всё кончилось. Впрочем, что касается меня, я окончательно отказался от писательской карьеры. Если я когда-нибудь и питал тайком кое-какие иллюзии насчёт моего поэтического таланта, они уже давно умерли от недостатка пищи.

Сообщение о том, что «Русский сборник» Одоевскому не разрешён, как уже сказано, несколько запоздало. Уверения же, что он — Александр Карамзин — навсегда отказывается от литературного поприща, наоборот, слишком поспешны. Его стихотворения под псевдонимом «А. Лаголов» в 1837 году будут напечатаны в «Современнике» (в книжках V и VII), в 1839 году выйдет в свет его повесть в стихах «Борис Ульин» и снова появятся — в «Отечественных записках» — стихи.

В том же письме — 6 ноября — имеются строки о «м-м Пушкиной»:

Завтра, если это тебя интересует, — пишет Александр Карамзин, — я собираюсь завтракать у м-м Пушкиной, что я делаю каждую субботу, сопровождая это целой кучей любезностей.

Эти слова можно отнести только к Наталье Николаевне, жене поэта. Никакой другой «м-м Пушкиной», даже если перелистаем все 340 страниц, мы в письмах Карамзиных не найдём.

Всего важнее здесь число, когда Александр Карамзин собрался на завтрак в дом Пушкина, — суббота 7 ноября. В эти дни в жизни Пушкина происходят трагические события...

4 ноября члены карамзинского кружка — Вяземские, Жуковский, Росеты, Скалон, Виельгорский, Хитрово, тётка Соллогуба Васильчикова — получили по городской почте анонимный «диплом», адресованный Пушкину. Считая, что поводом к этому послужило настойчивое ухаживание Дантеса, Пушкин вызывает его на дуэль. Встревоженный Геккерен договаривается с Пушкиным об отсрочке её на две недели. В качестве посредников в дело вмешиваются тётка Наталья Николаевна Е. И. Загряжская, М. Ю. Виельгорский, В. А. Жуковский. Узнав о намерении Геккерена уладить конфликт таким образом, чтобы Дантес попрежнему мог бывать в обществе Натальи Николаевны и её сестры, Пушкин приходит в бешенство. В конспективных записках Жуковского отражено его тяжёлое душевное состояние. «Его слёзы», — записывает Жуковский 8 ноября...

В чём же дело? Почему Карамзины не посвящают в это Андрея? Перед нами их письма от 10 ноября, от 11-го... О Пушкине нет ни слова. Что же, они не знают об этих событиях? Знают! И об анонимном «дипломе» и о вызове на дуэль, об отсрочке, которую Пушкин предоставил Дантесу, о

тяжёлом состоянии Пушкина... Знают прежде всего потому, что Софья Николаевна в числе тех знакомых, которые получили 4 ноября гнусный пасквиль. Кроме того, Пушкин сам посвятил их в свою семейную драму — рассказал о шагах, которые он предпринял. «Зачем ты рассказал обо всём Екатерине Андреевне и Софье Николаевне, — выговаривает ему в записке Жуковский, который хлопочет, стараясь уладить конфликт. — Чего ты хочешь? Сделать невозможным то, что теперь должно кончиться для тебя самым наилучшим образом?»

Жуковский требует, чтобы Пушкин сохранил вызов в тайне: тогда можно избежать дуэли. Он уверяет Пушкина, что об отсрочке дуэли хлопочет старый Геккерен, что Дантес ни при чём. «Это я сказал и Карамзиным, — пишет он Пушкину, — запретив им накрепко говорить о том, что слышали об тебе, и уверив их, что вам непременно надобно будет драться, если тайна теперь или даже после откроется...»

Вот почему Карамзины сохраняют молчание: они делают это в интересах Пушкина. Об анонимном пасквили Андрей Карамзин узнал от Аркадия Россета. И только после того, как Жуковский сообщил им, что опасности поединка больше нет, что Пушкин взял обратно свой вызов, мать и сестра рассказывают Андрею в письмах о том, что представляется им самым невероятным в этой истории и что занимает уже всё петербургское общество, — о предложении, которое сделал Дантес Екатерине Гончаровой, сестре Н. Н. Пушкиной.

У нас тут скоро будет свадьба, — пишет Екатерина Андреевна 20 ноября. — Кто женится и на ком, ты ни за что не догадаешься и я тебе не скажу, оставляю это удовольствие твоей сестре. Впрочем, ты уже, наверно, знаешь от Аркадия Россети. Это прямо невероятно — я имею в виду свадьбу, — но всё возможно в этом мире всяческих невероятностей. Ну, до свидания, я немножко устала и надо оставить листок бумаги для Софи, чтобы не лишать её удовольствия посплетничать с тобой... Александр занимается своим туалетом, он идёт на раут к княгине Белосельской, а до этого ещё будет обедать у Дантеса.

Отметим в скобках: княгиня Белосельская — один из самых отъявленных врагов Пушкина — падчерица графа А. Х. Бенкендорфа. Впрочем, вернёмся к письму.

У меня есть ещё для тебя престранная новость, — продолжает Софья Николаевна, — это свадьба, о которой тебе уже говорила мама. Не догадался? Ты хорошо знаешь обоих действующих лиц, мы нередко рассуждали с тобой о них, но никогда не говорили всерьёз. Поведение молодой девицы, каким бы оно ни было компрометирующим, в сущности компрометировало другую, ибо кто же станет смотреть на посредственную живопись, когда рядом мадонна Рафаэля. А вот нашёлся, оказывается, охотник до упомянутой живописи — может быть, потому, что её легче приобрести. Отгадай! Ну да, это Дантес, этот юный и надменный красавец (теперь, кстати, очень богатый); он женится на Екатерине Гончаровой, и право же, вид у него такой, как будто он очень доволен; он даже словно обуреваем какой-то лихорадочной весёлостью и легкомыслием. Он бывает у нас каждый вечер, так как со своей наречённой видится только по утрам у её тётки Загряжской, — Пушкин не принимает его в своём доме, так как очень раздражен против него после того письма, о котором тебе рассказывал Аркадий <подразумевается анонимный пасквиль.— И. А.>. Натали очень нервна и замкнута, и голос у неё прерывается, когда она говорит о

свадьбе своей сестры. Екатерина себя не помнит от радости; по собственным её словам, она не смеет поверить, что её мечта осуществилась. В обществе удивляются, но так как история с письмом мало кому известна, то это сватовство объясняют более просто. И только сам Пушкин — своим волнением, своими загадочными восклицаниями, обращёнными к каждому встречному, своей манерой обрывать Дантеса при встречах в обществе или демонстративно избегать его — добьётся в конце концов, что люди начнут что-то подозревать и строить свои догадки. *Вяземский говорит*, что он как будто обижен за свою жену из-за того, что Дантес больше за ней не ухаживает. В среду я была у Салтыковых, там и объявили об этой свадьбе, и жених с невестой принимали уже поздравления... Дантес, зная, что я тебе пишу, просит сказать, что он очень счастлив и что ты должен пожелать ему счастья.

«Это — самопожертвование», — отвечал Андрей Карамзин, поражённый сообщением сестры и полагавший, что Дантес «совершил эту штуку» во сне.

«Что это — великодушие или жертва?» — спрашивала императрица, желавшая знать подробности о «невероятной женитьбе Дантеса». «Неужели причиной её явилось анонимное письмо?» — недоумевала она.

Слух о предстоящем браке Дантеса привёл в недоумение решительно всех, кто в продолжение многих месяцев наблюдал за отношением Дантеса к Наталье Николаевне Пушкиной. Никто не хочет верить, что он женится по своей воле; Наталья Николаевна — одна из самых красивых женщин, которые когда-либо существовали, а Екатерина Николаевна, рослая, статная и даже схожая с ней чертами, «смахивала, — как писал современник, — на иноходца или на ручку от помела».

В биографической литературе о Пушкине утвердилось такое представление: Е. Н. Гончарова влюблена в Дантеса, а он увлечён Н. Н. Пушкиной. После получения анонимного письма, когда Пушкин посылает вызов Дантесу (в ноябре), у Геккеренов возникает проект: они объяснят Пушкину, что Дантес влюблён в его свояченицу и будет просить её руки, если Пушкин возьмёт назад вызов, сохранив дело в тайне. Принято считать, что до получения анонимного пасквиля брак Дантеса с Гончаровой не проектировался, что этот проект есть следствие анонимного письма и последовавшего за ним вызова на дуэль. Наряду с этим имеются данные, опровергающие это предположение: во второй половине октября 1836 года, то есть задолго до того, как Пушкин получил пасквиль, Сергей Львович, отец поэта, в не дошедшем до нас письме сообщал из Москвы в Варшаву дочери — Ольге Сергеевне — о предстоящем браке Е. Н. Гончаровой. 2 ноября, то есть опять же до пасквиля — на два дня раньше, — Ольга Сергеевна отвечала ему: «Вы мне сообщаете новость о браке м-ль Гончаровой».

Следовательно, разговоры о её замужестве начались задолго до того, как Пушкин получил пасквиль. На это обратил внимание П. Е. Щёголев — автор исследования «Дуэль и смерть Пушкина». Но Б. В. Казанский — автор новых исследований о гибели Пушкина — уверен в противном. Он считает, что в переписке С. Л. Пушкина с дочерью речь шла о браке Е. Н. Гончаровой, но не с Дантесом.

Действительно, имя Дантеса в письме О. С. Павлищевой не упомянуто. Однако теперь, после писем Карамзиных, вопрос о сватовстве Дантеса придётся пересмотреть, ибо становится ясным, что имена Е. Н. Гончаровой и Дантеса связывали уже в начале 1836 года — до отъезда Андрея Карамзина за границу, что летом и осенью 1836 года этот роман продолжается (вспомним, что Дантес ни на шаг не отходит от Гончаровой, а внимание его приковано к Пушкиной); письма Карамзиных говорят о

том, что Екатерина Гончарова задолго до получения пасквиля играла по отношению к сестре низкую роль: сперва подвизалась на ролях сводни, потом выступила в роли любовницы (*amante*), а затем и жены. Об этом мы ещё узнаем в дальнейшем.

Кроме того, нам известно теперь ещё одно обстоятельство, позволяющее утверждать, что ещё в октябре — и тоже задолго до получения пасквиля — Наталья Николаевна отвергла Дантеса. Об этом мы узнаём из неопубликованного дневника княжны Марии Барятинской, предоставленного мне М. Г. Ашукиной-Зенгер, которая обращает внимание на важную запись. Но сперва — о Марии Барятинской.

Барятинские знакомы с Карамзиными и с Пушкинными. В доме Барятинских постоянно бывает Дантес. Красивую девушку, принадлежащую к одной из самых привилегированных фамилий России, интересуют балы, кавалькады, придворные празднества, светские новости...

Около 24 октября 1836 года она заносит в дневник разговор, который зашёл в связи со слухами о том, что Дантес намерен жениться. Барятинская заинтересована Дантесом, и родные решают выяснить эти слухи через ближайшего друга Дантеса — кавалергарда А. В. Трубецкого. «И папа,— записывает Барятинская,— узнала через Тр <убецкого>, что его отвергла госпожа Пушкина. Может быть, поэтому он и хочет жениться. С д о с а д ы! Я поблагодарю его, если он осмелится мне это предложить...»

Итак, Н. Н. Пушкина отвергла Дантеса недели за три до получения Пушкиным анонимного письма. А за две недели — в начале двадцатых чисел октября — уже распространился слух, что он собирается жениться. И тогда же, в двадцатых числах, заговорили о замужестве Е. Н. Гончаровой. Иначе старик С. Л. Пушкин не мог бы узнать об этом в Москве ещё в октябре и Ольга Сергеевна Павлищева не могла бы писать об этом 2 ноября из Варшавы.

Кроме того, известно со слов Жуковского, что Геккерен предоставил ему какое-то «материальное доказательство», что дело, о котором идут толки, — то есть предложение Дантеса свояченице Пушкина — «затаяно было ещё гораздо прежде» вызова Пушкина, следовательно, до получения анонимного письма — в октябре.

Таким образом, нам известно теперь:

- 1) что в октябре Наталья Николаевна отвергла Дантеса;
- 2) что в те же дни пошли слухи о замужестве Гончаровой;
- 3) что в это же время заговорили о женитьбе Дантеса;
- 4) что, по уверению Геккерена, тогда же затаялось дело о сватовстве Дантеса к свояченице Пушкина.

Произошло всё это в начале второй половины октября, в сравнительно короткий промежуток времени.

Перечисленные события предшествуют появлению пасквиля. Становится ясным, что пасквиль — акт мести и за поступок Натальи Николаевны, роняющий Дантеса в глазах великосветского общества, и за возникший, должно быть, у Е. И. Загряжской — тётки Гончаровых — проект брака Екатерины с Дантесом, которого, по мнению родных Гончаровой, обязывают к этому понятия чести.

Как бы то ни было, эти факты должны изменить отношение исследователей — не к содержанию пасквиля, а, как выражаются юристы, к причинной связи событий.

Вернёмся к письму Карамзиных. Из него можно понять, что Екатерина Гончарова не могла скрыть своего отношения к Дантесу (вспомним слова о поведении, «компрометирующем» эту девицу). Однако ни у кого из Карамзиных не возникало мысли о возможности брака; сама Екатерина боится поверить в это. Поступок Дантеса вызывает всеобщее недо-

умение. Об анонимном письме известно пока немногим; друзья держат его в секрете. Поэтому, пишет Карамзина, великосветские сплетни объясняют это «более просто». Чем же они объясняют это? Объясняют по-разному: многие уверены, что это Пушкин принудил Дантеса жениться, когда узнал, что у него с Гончаровой роман. Другие считают, что Дантес делает это для спасения чести Пушкиной, что это «самопожертвование». И только сам Пушкин своими загадочными восклицаниями и манерой обращения с Дантесом наведёт всех на мысль, беспокоится Софья Николаевна, что начнут подозревать правду, поймут, что здесь надо подозревать нечто более сложное, искать другую причину. И потому именно, что Карамзиным известна связь неожиданной «влюблённости» Дантеса в Е. Н. Гончарову с анонимным письмом, их беспокоит, что общество может догадаться об этом. Отсюда и загадочный, иносказательный тон письма к Андрею, и трёхнедельное молчание; даже за границу Андрею они сообщают об этой истории только после того, как осложнение считается улаженным и Пушкин взял обратно свой вызов.

Наталья Николаевна оскорблена. С помощью её сестры Дантес нанёс ущерб её самолюбию и престижу, унизил её, поставил в смешное положение, сделав его темой великосветских пересудов. Побуждаемая обидой и ревностью, она рассказывает Пушкину о том, что нащёптывала ей Геккерен, уговаривая её изменить своему долгу, бросить мужа, уехать с Дантесом за границу. Именно в этот момент, когда Дантес посватался к её сестре, она и раскрыла мужу всю гнусность поведения обоих Геккеренов. Понятно, почему она «нервна и замкнута и голос у неё прерывается, когда она говорит о свадьбе своей сестры». Понятно, почему Пушкин ещё более, чем раньше, раздражён против Геккеренов, отказывается принимать у себя Дантеса и Е. Н. Гончарову, заявляет, что между домом Пушкина и домом Геккерена не может быть ничего общего, почему он избегает Дантеса и говорит ему резкости, почему, наконец, производит впечатление, словно он обижен за жену. Не обижен, конечно, а глубоко уязвлён. Профессор Б. В. Казанский прав: вся эта история со сватовством Дантеса к Екатерине Гончаровой изменяет в глазах Пушкина отношение Дантеса к Наталье Николаевне, делает его оскорбительным.

Но светское понятие приличий и вопросов чести таково, что Карамзины продолжают сохранять нейтралитет: продолжая относиться дружески к Пушкину, они в то же время помогают свиданиям Дантеса с Екатериной, которые в доме Пушкиных встречаться уже не могут.

Поведение Пушкина Софья Николаевна описывает на основании собственных впечатлений. После 4 ноября Пушкин, как мы говорили, продолжает бывать у них. 16-го, по случаю дня рождения Екатерины Андреевны, он приглашён к ним на обед, во время которого тихо, скороговоркой, поручает сидящему около него Соллогубу условиться с виконтом д'Аршиаком — родственником и секундантом Дантеса — об условиях дуэли: двухнедельная отсрочка кончилась.

В одиннадцать часов вечера — гости уже разошлись — Карамзины едут на раут к австрийскому посланнику Фикельмону. По случаю смерти французского короля Карла X объявлен придворный траур, и все 400 человек, приглашённые в австрийское посольство, — в чёрном. Одна Е. Н. Гончарова выделяется среди остальных гостей белым платьем, в котором она явилась по праву невесты. С нею любезничает Дантес.

Пушкин приехал один, без жены, запретил Екатерине Николаевне разговаривать с Дантесом, сказал ему самому несколько более чем резких слов.

Через день — 18 ноября — на балу у Салтыковых (Софья Николаевна была на этом балу) объявлено о предстоящей свадьбе Дантеса.

Пушкин не верит, предлагает Соллогубу биться об заклад, что свадьбы не будет.

Взяв обратно свой вызов, Пушкин пишет письмо Геккерену. 21 ноября он прочёл его Соллогубу, сказав: «...с сыном уже покончено, теперь вы мне старичка подавайте». «Тут он прочитал мне,— говорит Соллогуб,— всем известное письмо к голландскому посланнику. Губы его задрожали, глаза налились кровью. Он был до того страшен, что тогда я понял, что он действительно африканского происхождения».

Желая предотвратить новый конфликт, Соллогуб рассказал об этом Жуковскому. Вечером, у Карамзиных, Жуковский успокоил его: дело улажено, письмо отослано не будет.

Тогда же — 21 ноября — Пушкин написал Бенкендорфу. Он утверждал: сочинитель анонимного письма — Геккерен, о чём он — Пушкин — считает своей обязанностью довести до сведения правительства и общества.

Бенкендорф доложил императору. Опасаясь компрометации европейского дипломата, Николай принял Пушкина.

Это было в понедельник, 23 ноября. В тот вечер Софья Карамзина танцевала у саксонского посланника Люцероде с конногвардейцем Головиным, с конноартиллеристом Огарёвым, с конногренадером Хрущовым,

а мазурку с Соллогубом, у которого на этот раз была тема для разговоров со мной — неистовства Пушкина и внезапная влюблённость Дантеса в свою наречённую... Соллогуб всё ещё делает вид, что презирает светское общество, и с большим жаром обличает его ничтожество, чем доказывает, что неравнодушен к нему. Он ухаживает за м-м Пушкиной и многим нравится в свете...

Об этом мы узнаём из письма от 28 ноября.

Когда в начале 1836 года Пушкину передали разговор Соллогуба с Натальей Николаевной — разговор, тон которого показался ему недостаточно уважительным, Пушкин послал вызов, но помирился, удовлетворившись объяснениями Соллогуба. Он не искал поединка, а просто исполнил принятые в ту пору формальности. Отношения восстановились. В ноябре Пушкин избрал Соллогуба посредником между собой и Дантесом.

В самом ухаживании за Натальей Николаевной Пушкин ничего предосудительного не видел, если только внимание к ней и восхищение её красотой не выходили из границ безусловного уважения к ней и к чести имени, которое она носила. В ноябре Соллогуб уже понимал это. Впрочем, новость, что он «ухаживает за м-м Пушкиной», относится, конечно, не к тому вечеру, когда Софи Карамзина танцует с ним в доме саксонского посланника, а, вероятно, к осенним месяцам 1836 года. Вряд ли наблюдение это могло быть сделано через день после того, как Пушкин прочёл Соллогубу своё письмо, обращённое к посланнику Геккерену.

В следующих письмах Карамзиных имени Пушкина нет, однажды упоминается Дантес.

29 декабря. Почерк Софьи Николаевны, которая для начала спешит рассказать о Дантесе. Свадьба назначена на 10 января. Её братья поражены изяществом квартиры, приготавливаемой для новобрачных, и обилием столового серебра. Дантес говорит о своей невесте «с явным чувством удовлетворения», отец Геккерен балует её.

С другой стороны, Пушкин попрежнему ведёт себя до крайности глупо и нелепо; выражение лица у него, как у тигра, он скрежещет зубами всякий раз, как заговаривает об этой свадьбе, что он делает весьма охотно, и очень рад, если находит нового слушателя. Слышал бы ты, с какой готовностью он рассказывал сестре Екатерине <Мещерской. — И. А.> о всех тёмных и наполовину вобращаемых подробностях этой таинственной истории; казалось, он рассказывает ей драму или новеллу, не имеющую никакого отношения к нему самому. Он до сих пор утверждает, что не позволит жене

присутствовать на свадьбе и не будет принимать у себя её сестру после замужества. Вчера я внушала Натали, чтобы она заставила его отказаться от этого нелепого решения, которое, конечно, вызовет ещё новые пересуды. Она, со своей стороны, ведёт себя не слишком прямодушно: в присутствии мужа не кланяется Дантесу и даже не смотрит на него, а когда мужа нет, опять принимается за прежнее кокетство — потупленные глазки, рассеянность в разговоре, замешательство, а он немедленно усаживается против неё, бросает на неё долгие взгляды и, кажется, совсем забывает о своей невесте, которая меняется в лице и мучается ревностью. Одним словом, всё время разыгрывается какая-то комедия, суть которой никому толком не известна... А пока что бедный Дантес перенёс тяжёлую болезнь — воспаление в боку, вид у него ужасный, он очень изменился. Третьего дня он появился наконец у Мещерских, похуевший, бледный, очень интересный. Со всеми нами он был необыкновенно нежен, как бывает, когда человек очень взволнован или несчастен. На следующий день он пришёл опять, на этот раз со своей наречённой, а что хуже всего — с Пушкиными, и снова начались гримасы ненависти и поэтического гнева; мрачный, как ночь, нахмуренный, как Юпитер во гневе, Пушкин прерывал своё угрюмое и стеснительное для всех молчание только редкими, отрывистыми, ироническими восклицаниями и, время от времени, демоническим смехом. Ах, смею тебя уверить, он был просто смешон!.. Для разнообразия скажу тебе, что только что вышел 4-й «Современник», в нём напечатан новый роман Пушкина «Капитанская дочка», говорят, восхитительный.

Вчера я была с м-м Пушкиной на балу у Салтыковых и веселилась гораздо больше, чем на придворных балах.

Несмотря на то, что Софья Николаевна стремится изобразить поведение Пушкина как нелепое, нельзя без волнения, без какого-то внутреннего содрогания читать о его душевных страданиях. Сестра Карамзиной — Екатерина Николаевна Мещерская, вернувшаяся из деревни после долгого отсутствия, — была поражена лихорадочным состоянием Пушкина «и какими-то судорожными движениями, которые начинались в его лице и во всём теле при появлении будущего его убийцы». Графиня Наталья Викторовна Строганова говорила, что в те дни у него был такой устрашающий вид, что будь она его женой, она не решилась бы вернуться с ним домой. Вера Фёдоровна Вяземская ещё осенью отказалась принимать у себя Дантеса одновременно с Пушкиными, предложила Дантесу не входить в дом, если у их подъезда стоят экипажи. Тем самым этот дом был для Дантеса закрыт. «После этого, — писал биограф Баргнев со слов Вяземской, —...свидания его с Пушкиной происходили уже у Карамзиных».

Софья Николаевна осуждает Пушкина, осуждает Наталью Николаевну. Дантеса она не осуждает: Дантес «несчастный».

Она вмешивается в семейные отношения, дружески внушает Наталье Николаевне, чтобы та подействовала на Пушкина. Для неё самой многое в этой истории непонятно: «таинственная история, — пишет она, — комедия, суть которой никому толком не известна». Тем не менее она осуждает Пушкина, жалея Дантеса. А ведь Пушкин-то друг им, считающий их лучшими своими друзьями, ближе которых у него действительно нет никого в Петербурге! Это — двадцатилетние отношения!

Но мы видим, что в этом конфликте Софья Николаевна, не думая о последствиях, снова разделяет «общее мнение» — мнение света, против которого всегда восставал Пушкин, мнение всех этих Захаржевских, Шевичей, Белосельских, Клейнмихелей, Сухозанетов, Барятинских...

Письмо её от 9 января 1837 года посвящено предстоящему бракосочетанию Дантеса: «Завтра, в воскресенье, будет происходить эта странная свадьба». Они, Карамзины, собираются присутствовать во время обряда в католической церкви св. Екатерины. А братья Софьи — Александр и Вольдемар — будут шаферами невесты.

Пушкин же, — продолжает она, — завтра проиграет не одно пари, так как он со многими бился об заклад, что эта свадьба — одно притворство и никогда не состоится. Очень всё это странно и необъяснимо и вряд ли приятно для Дантеса. Вид у него отнюдь не влюблённый. Но Екатерина счастлива — гораздо более, чем он.

Следующее письмо, датированное 12 января 1837 года, начинается с рассказа о впечатлении, которое произвело на всех последнее письмо Андрея Карамзина из Парижа:

Жуковский, Тургенев, Виельгорский, Пушкин захотели послушать твоё письмо и отозвались о нём все одинаково — нашли, что в нём отражается высокий ум и яркое, живое воображение.

Предлагая после этого перейти к новостям и «посплетничать», Софья Николаевна пишет:

Итак, свадьба Дантеса состоялась в воскресенье. Я присутствовала при туалете м-ль Гончаровой, но её злая тётка Загряжская устроила мне сцену, когда дамы сказали ей, что я еду с ними в церковь. Возможно, из самых лучших побуждений — от страха перед излишним любопытством, но она излила на меня всю жёлчь, которая у неё накопилась за целую неделю от разговоров с разными нескромными доброжелателями.

Софья Николаевна «чуть не заплакала».

Это было не очень приятно для меня, да вдобавок и очень досадно — я теряла надежду видеть вблизи лица главных актёров в заключительной сцене этой таинственной драмы.

В этих строках поражает неприкрытое любопытство и совершенное непонимание смысла происходящих событий. Софья Николаевна полагает наивно, что свадьба — заключительная сцена «таинственной драмы». Она говорит, конечно, о «драме» Дантеса. Но даже и в его судьбе это ещё не финал!

На следующий день после свадьбы Дантес с женой приехали к Карамзиным. Софья Николаевна отдала им визит. Она восхищена красотой комнат, комфортом и пишет, что не видела более весёлых и безмятежных лиц, чем у них:

я говорю о всех троих, ибо отец является неотделимым участником этой семейной драмы. Не может быть, — восклицает она, — чтобы с их стороны это было притворством, для этого нужна сверхчеловеческая скрытность, и вдобавок такую игру им бы пришлось продолжать всю жизнь. *Непонятно!*

При всём этом она, конечно, очень наивна: восхищённая Дантесом, она видит в показной улыбке выражение счастья, его плоские шутки кажутся ей забавными, сна не допускает в нём сверхчеловеческой скрытности, но не догадывается о циническом спокойствии карьериста.

16 января 1837 года, сидя на гауптвахте петербургского ордонансгауза, Александр Карамзин решает приняться за большое письмо. Поговорив о ненавистном начальнике — Ганичеве, упрятавшем его в дежурную комнату под недельный арест, он переходит к новостям — литературным и светским.

Неделю тому назад сыграли мы свадьбу барона Эккерна с Гончаровой,— повествует он по-русски.— Я был шафером Гончаровой. На другой день я у них завтракал. *Их элегантный интерьер* очень мне понравился. Тому 2 дня был у старика Строганова (*посажённый отец невесты*) свадебный обед с отличными винами. Таким образом кончился сей роман à la Balzac к большой досаде с.-петербургских сплетников и сплетниц... Надо тебе сказать,— продолжает он, перевернув страницу,— что я дал несколько стихотворений моих Вяземскому для его Альманаха и Одоевскому, который собирает провизии для «Прибавления к Русскому Инвалиду», которое купил Плюшар от Воейкова и которое сделалось или должно сделаться порядочною литературною газетой. Формат её огромен, и она выходит еженедельно.

В четвёртом томе «Современника» появилось извещение о том, что в начале 1837 года должен выйти в свет альманах «Старина и новизна», изданный князем Вяземским. Наряду с письмами царевича Алексея, Екатерины II, Н. М. Карамзина, отрывками из записок И. И. Дмитриева и графа Ростопчина, историческими анекдотами о принце Бироне Вяземский собирался печатать в нём стихи, отрывки из повестей и писем о русской литературе. Вначале он собирался назвать альманах «Старина». Слово «новизна» добавлено по совету Пушкина.

По причинам, нам неизвестным, альманах в свет не вышел. Не состоялся, как было говорено, и «Русский сборник» Одоевского и Краевского. Тогда они заключили договор на право издания «Литературных прибавлений к Русскому Инвалиду», которые перешли к издателю Плюшару от А. Ф. Воейкова. Новым редактором «Прибавлений» стал А. А. Краевский. Но фактическим литературным руководителем, как установлено в последнее время, был В. Ф. Одоевский. В числе сотрудников «Литературных прибавлений» значился и Александр Николаевич Карамзин.

Порассказав о разных незначительных новостях, Александр добавляет на последней странице:

У нас бывают умные люди — Вьельгорский, Тургенев, Жуковский, Пушкин и пр. *Иногда они очаровательны, но иной раз так скучны*, как и нашему брату дураку не всегда удаётся... Но довольно я наболтал,— пишет он в заключение,— пора закусить да и в с х р а п е.

Утром 27 января Екатерина Андреевна продолжает письмо, начатое накануне:

Среда, 10 часов. Лиза и я только одни встали в целом доме, мой дорогой друг. Софи и Сашка спят ещё после бала у графини Разумовской...

Страница дописана. В доме встали. Софья Николаевна начинает новую. В прошлый четверг они были приглашены к Фикельмонам, где собралось 500 человек на бал «очень приятный, очень оживлённый, очень элегантный».

А в воскресенье был большой вечер у Екатерины (Мещерской.— И. А.), где присутствовали Пушкины, Геккерны, которые продолжают разыгрывать свою сентиментальную комедию, что весьма нравится публике. Пушкин скрежещет зубами, и на лице у него появляется его тигровое выражение, Натали опускает глаза и краснеет под жарким и долгим взглядом своего beau frère¹. Это начинает становиться безнравственным сверх всякой меры. Екатерина ревниво направляет лорнет на эту пару, и, чтобы уж никто не оставался без роли в этой драме, Александрина отчаянно кокетничает с Пушкиным,

¹ Зятя.

который, повидимому, серьёзно в неё влюблён; жену свою он ревнует из принципа, а свою *belle soeur*¹ — из чувства. В общем всё это очень странно. Наш дядя Вяземский говорит, что он закрывает лицо своё и отвращает его от всего семейства Пушкиных...

Эти строки пишутся в тот час, когда Пушкин в кондитерской Вольфа ожидает секунданта — Данзаса, который поехал за пистолетами...

Следующее письмо от матери, от Екатерины Андреевны, по-русски: французский язык не передал бы так значительности его содержания...

Суббота. 30 января 1837. Петербург.

Милый Андрюша, пишу к тебе с глазами, наполненными слёз, а сердце и душа тоскою и горестию; закатилась звезда светлая, Россия потеряла Пушкина! Он дрался в среду за Дантесом, и он прострелил его насквозь; Пушкин бессмертный жил два дни, а вчерась, в пятницу, отлетел от нас; я имела горькую сладость проститься с ним в четверг; он сам этого пожелал. Ты можешь вообразить мои чувства в эту минуту, особливо, когда узнаешь, что Арнд с первой минуты сказал, что никакой надежды нет!

Он протянул мне руку, я её пожала, и он мне также, а потом махнул, чтобы я вышла. Я, уходя, осенила его из дали крестом, он опять мне протянул руку и сказал тихо: перекрестите ещё; тогда я опять, пожавши ещё раз его руку, я уже его перекрестила, прикладывая пальцы на лоб, и приложила руку к щеке: он её тихонько поцеловал и опять махнул. Он был бледен как полотно, но очень хорош; спокойствие выражалось на его прекрасном лице.

Других подробностей не хочу писать, отчего и почему это великое несчастье случилось: оне мне противны; Сонюшка тебе их опишет. А мне жаль тебя; я знаю и чувствую, сколько тебя эта весть огорчит; потеря для России, но ещё особенно наша; он был жаркий почитатель твоего отца и наш неизменный друг 20 лет.

Эти дуэли ужасны, — продолжает она, переходя на французский язык, — и что ими можно доказать? Пушкина больше нет в живых, а те, кто остались, через два года и не вспомнят об этой истории. Да сохранит тебя небо от такого шага, да удержат тебя от него твоё сердце и твой разум. Прижимаю тебя к моему скорбному сердцу, сожалея, что это горе коснулось тебя...

Софья Николаевна продолжает:

А я так легко говорила тебе в последнюю среду об этой печальной драме, в тот день и даже в тот час, когда свершалась такая ужасная развязка. Бедный, бедный Пушкин! Как он должен был страдать все три месяца после получения этого гнусного анонимного письма, которое послужило причиной, по крайней мере я в ней причиной, несчастья, столь страшного. Я не могу тебе сказать, что именно вызвало эту дуэль, которую женитьба Дантеса, казалось, делала невозможной, и никто ничего не знает. Думают, что раздражение Пушкина дошло уже до предела ещё в прошлую субботу, когда на балу у Воронцовых он видел, как жена его разговаривает, смеётся и вальсирует с Дантесом, а эта неосторожная не побоялась снова встретиться с ним в воскресенье у Мещерских и в понедельник у Вяземских. Уезжая оттуда, Пушкин сказал моей тётке: «он не знает, что его ждёт дома». Он подразумевал своё письмо к отцу Геккерену, оскорбительное сверх всякой меры, в котором он называл его «старой сводней» (тот действительно играл эту роль), а его сы-

¹ Свояченицу.

на презренным трусом; он обвинял Дантеса в том, что даже после своей женитьбы он осмеливается обращаться к м-м Пушкиной со своими казарменными остротами и гнусными объяснениями в любви, и он грозил публично оскорбить его на балу, если письменного оскорбления ему недостаточно. Тогда Дантес послал к нему в качестве своего секунданта некоего д'Аршиака из французского посольства, чтобы передать ему вызов. Это было во вторник утром, а вечером на балу у графини Разумовской я видела Пушкина в последний раз; он был спокоен, смеялся, разговаривал, шутил; он как-то очень крепко пожал мне руку, но я тогда не обратила на это внимания. В среду утром он поехал к своему товарищу по лицу Данзасу, чтобы пригласить его себе в секунданты, встретил его на улице, посадил к себе в сани, тут же объяснил ему, в чём дело, и в пятом часу они уже отправились на место поединка — на Парголовскую дорогу возле имения Одоевских. Там, говорят, Пушкин проявил величайшее спокойствие и энергию. Дантес стрелял первым и ранил его в середину тела; он упал, но когда Дантес бросился, чтобы поддержать его, он закричал: «Вернитесь на место, мой выстрел!» Его приподняли и поддерживали; так как пистолет выпал у него из руки на снег, Данзас подал ему другой. Он долго целился, пуля пробила руку Дантеса, но только мягкую часть, и остановилась против желудка — пуговица на мундире предохранила его, и он получил только лёгкую контузию в грудь, но в первую минуту он зашатался и упал, тогда Пушкин подбросил пистолет вверх и закричал: браво! Потом, видя, что Дантес поднялся и идёт, он сказал: «А, значит, поединок наш не окончен». Он был окончен, но он-то думал, что ранен только в бедро. По пути домой тряска в карете вызвала у него сильные боли в животе. Тогда он сказал Данзасу: «Кажется, это серьёзно. Послушай: если Арендт найдёт мою рану смертельной, ты мне это скажешь. *Меня не испугаешь. Я жить не хочу.*»

Дома он увидел жену и сказал ей: «*Как я рад, что ещё вижу тебя и могу обнять. Что бы ни случилось, ты ни в чём не виновата и не должна упрекать себя, моя милая!*» — Арендт сразу объявил, что рана безнадежна, так как перебита большая артерия и вены, кровь излилась внутрь и поранены кишки. Пушкин выслушал этот приговор с *невозмутимым спокойствием, с улыбкой*. Он причастился, всех простил; он был в памяти до последней минуты и с ясным сознанием наблюдал за угасанием своей прекрасной жизни. От государя он получил полное участия письмо, в котором выражено пожелание, чтобы он умер, как христианин, и не тревожился о судьбе жены и детей, ибо заботу о них государь берёт на себя. Пушкин недолго страдал; всё время он был неизменно ласков со своей бедной женой. За 5 минут до смерти он сказал врачу: «Что, кажется, жизнь кончается?» Без агонии закрыл он глаза, и я не знаю ничего прекраснее его лица после смерти — чело, исполненное мира и покоя, задумчивое и вдохновенное, и улыбающиеся губы. Я никогда не видела у мёртвых такого ясного, утешительного, поэтического облика. Его несчастная жена в ужасном состоянии, почти невменяема; это понятно. *Страшно о ней думать.* Прощай, дорогой Андрей. Нежно люблю тебя.

Софи:

О том, что Пушкин пожелал перед смертью проститься с Е. А. Карамзиной, было известно и прежде — со слов тех, кто находился возле него. Но в собственном её рассказе, исполненном высокой простоты и строгости, Пушкин предстаёт в таком бесконечном величии, что по силе и бла-

городству чувств, которые оно порождает, это скромное сообщение следует, пожалуй, отнести к самым замечательным документам пушкинской биографии. Какая живая минута — это письмо! И как хороша здесь каждая фраза — стиль Карамзина — «я имела горькую сладость проститься...»

Письмо Софьи Николаевны не содержит новых неизвестных фактов. О дуэли и последних днях Пушкина она пишет со слов д'Аршиака, Данзаса, Вяземских, Тургенева, П. И. Мещерского... После того, как Пушкин пожал ей руку на балу у графини Разумовской, она увидела его снова только в гробу. Но её описание воссоздаёт события этих последних дней и заставляет заново их пережить.

Софья Николаевна недоумевает: что именно вызвало эту дуэль, какой поступок Дантеса оказался последним, побудившим Пушкина достать из письменного стола ноябрьское письмо к Геккерену, которое слышал тогда Соллогуб, внести в него новые оскорбления и отослать в голландское посольство. Считалось, что это письмо написано и отослано 26 января. Б. В. Казанский доказывает: 25-го. Слова Софьи Николаевны Карамзиной подтверждают это предположение. Тем самым хронология последних трёх дней жизни Пушкина выяснена уже окончательно.

П. А. Вяземский, видимо со слов д'Аршиака, передавал потом фразу Пушкина, сказанную за час до поединка: «С начала этого дела я вздохнул свободно только в ту минуту, когда именно написал это письмо». Так и по рассказу Софьи Николаевны Карамзиной: в последний вечер перед дуэлью Пушкин смеялся, разговаривал, шутил.

Есть в письме и другие подробности, которые дополняют общую картину гибели Пушкина.

Пользуясь отъездом д'Аршиака, который в связи с участием в дуэли должен вернуться во Францию, Екатерина Андреевна пишет сыну коротенькую записочку.

Понедельник. 1 февраля 1837. 11 часов вечера.

Сейчас, когда я пишу тебе эти строчки, в гостиной у нас полно народу... Тургенев передаст эту записку д'Аршиаку, которого после истории с бедным Пушкиным заставили уехать, — его отсылают в качестве курьера. Если ты зайдёшь к нему, то сможешь узнать подробности об этой роковой дуэли. Он привезёт тебе маленькую книжечку — новое издание Онегина, по-моему, очень изящное; думаю, что тебе приятно будет сейчас получить его.

На следующий день Екатерина Андреевна пишет обстоятельное письмо.

Вторник. 2 февраля 1837. Петербург. 1 час дня.

Вчера было отпевание бедного дорогого Пушкина; его останки повезут хоронить в монастырь около их имения, в Псковской губернии, где похоронены все Ганнибалы; ему хотелось быть похороненным там же. Государь вёл себя по отношению к нему и ко всей его семье, как ангел. Пушкин после истории со своей первой дуэлью обещал государю не драться больше ни под каким предлогом и теперь, будучи смертельно ранен, послал доброго Жуковского просить прощения у государя в том, что не сдержал слова. Государь ответил ему письмом в таких выражениях: *«Если судьба нас уже более в сем мире не сведёт, то прими моё последнее и совершенное прощение и последний совет: — умереть христианином! — Что касается до жены и детей твоих, ты можешь быть спокоен, я беру на себя устроить их судьбу»*. — Когда В. А. Ж^{уковский} просил г^{осударя} *«прям во второй раз быть секретарём его для Пушкина, как он был для Карамзина, г^{осударь} призвал В. А. и сказал ему: «Послушай, братец, я всё сделаю для П^{ушкина}, что могу, но*

писать, как к Карам<зину>, не стану; П<ушкина> мы насильно заставили умереть, как христианина, а Карам<зин> жил и умер, как ангел». Есть ли что-нибудь более справедливое, более деликатное, более благородное по мысли и по чувству, чем это различие, которое он сделал между обоими. Мне хотелось самой передать тебе все подробности, хоть я и боюсь, что не сумею сделать это так хорошо, как Софи, но сейчас я только об этом и думаю.

Сообщение о том, что Пушкин после истории со своей первой дуэлью обещал царю «не драться больше ни под каким предлогом» и, раненый, послал Жуковского просить прощения за то, что не сдержал слова, — сообщение важное. До сих пор было известно — из писем А. И. Тургенева и Вяземских, — что Пушкин просил у царя прощения своему секунданту Данзасу и себе самому. Но в чём конкретно заключалась эта просьба, за что просил Пушкин прощения — не расшифровывалось.

Биографу Пушкина Бартеневу Вяземский рассказывал много лет спустя, что после свадьбы Дантеса Николай I, «встретив где-то Пушкина, взяв с него слово, что если история возобновится, он не приступит к развязке, не дав ему знать наперёд», что Пушкин, связанный словом, накануне дуэли собирался известить его о своём решении через Бенкендорфа, написал Бенкендорфу письмо — и не отослал. И будто бы это письмо было найдено в кармане сюртука, в котором Пушкин стрелялся, и хранилось потом у Миллера, секретаря Бенкендорфа.

На самом деле письмо, адресованное Бенкендорфу и хранившееся у Миллера, Пушкин писал не в январе, а в ноябре и тогда же отослал его. Поэтому-то оно и хранилось у Миллера; в кармане сюртука в день дуэли оно быть не могло. Из-за этой неточности рассказ Вяземского подвергался сомнению. Между тем он совпадает со свидетельством Е. А. Карамзиной, писанным через три дня после дуэли. И оба — Карамзина и Вяземский — говорят об одном, — что царь связал Пушкина обещанием не драться.

Мы знаем, что после того, как ноябрьское столкновение было улажено, Пушкин сообщил царю через Бенкендорфа о своих подозрениях относительно Геккерена и о том, что он — Пушкин — будет искать удовлетворения. 23 ноября, как уже было сказано, царь вызвал Пушкина.

Кроме того, мы знаем, что в январе — за три дня до поединка с Дантесом — Пушкин вторично разговаривал с царём на эти же темы. Об этом известно со слов самого царя, записанных сановником Корфом.

Теперь выясняется, что во время одного из этих свиданий царь взял с Пушкина обещание не драться. Вяземский говорит: «не дав ему знать наперёд»; Карамзина: «не драться ни под каким предлогом».

В обоих случаях смысл остаётся тот же.

Может возникнуть вопрос: зачем понадобилось царю брать с Пушкина слово? Уж не собирался ли он в самом деле уберечь поэта от поединка?

Для того, чтобы правильно понять смысл этой царской «заботы», постараемся представить себе это свидание.

Пушкин во дворце, в кабинете царя. Он повторяет то, о чём уже сообщил Бенкендорфу: анонимный «диплом» писан Геккереном и он — Пушкин — собирается объявить об этом во всеуслышание. Он не ищет защиты: он предупреждает, что защищать свою честь будет сам и не считается с дипломатическими привилегиями Геккерена.

Что может царь ответить на это? Грозить? Угрозами Пушкина не напугаешь: Пушкин — человек бесстрашный; он уже не побоялся однажды заявить царю, что если бы 14 декабря 1825 года оказался в Петербурге, то вышел бы с заговорщиками на площадь. Спорить с ним? Но Пушкин всё равно останется при своём. Лучше всего дать ему заверение, что будут

приняты меры, что не следует предпринимать ничего, не посоветовавшись с ним — с Николаем («не дав знать наперёд»), — и уж во всяком случае не доводить дело до поединка («не драться ни под каким предлогом»). «Дай мне слово, — говорит царь, — ты же мне веришь, Пушкин!»

Несомненно, он должен был сказать Пушкину что-нибудь в этом роде.

Взяв с Пушкина слово не драться, царь тем самым отнимал у него свободу действий по отношению к Дантесу и Геккерену и на время пресекал возможность общественного скандала. Но даже и в том случае, если Пушкин не посчитался бы с просьбой царя (а, зная Пушкина, царь, вероятно, был в этом уверен), слова Николая всё равно были бы восприняты в обществе, как стремление предостеречь Пушкина, спасти его. В любом случае царь должен был выглядеть в этой истории разумным советчиком, миротворцем.

Одним словом, потребовать с Пушкина обещания не затевать конфликта с голландским посольством было выгодно для Николая во всех отношениях. А спасти Пушкина он, разумеется, не собирался. Если в 1826 году он ещё надеялся привлечь его ко двору, использовать его перо и влияние в интересах престола, то к 1837 году окончательно разуверился в этом. И когда Пушкин вышел из его кабинета, любые слова, которые мог произнести Николай, были поняты присутствовавшим при свидании Бенкендорфом, как уверенность, что столкновения этого не предотвратишь и что Пушкина всё равно ничто не удержит. Истинное отношение царя угадать Бенкендорфу было нетрудно. Секундант Пушкина К. К. Данзас рассказывал впоследствии, что Бенкендорф поддерживал Геккерена и Дантеса, что, зная заранее о предстоящей дуэли, он не пожелал предотвратить её. И 27 января намеренно послал жандармов не в сторону Парголово, где должны были встретиться Пушкин с Дантесом, а в противоположную сторону. Эти факты давно и широко известны из биографии Пушкина.

Мы знаем, как разговаривал Николай I с декабристами. Допрашивая их, он проявлял сочувственный интерес и лицемерное участие к ним. А вслед за тем отдавал распоряжения заковать в кандалы, посадить на хлеб и на воду. Поэтому он вполне мог сочувственно беседовать с Пушкиным, а с Бенкендорфом вёл разговоры иного характера. И можно не сомневаться, что действия Бенкендорфа 27 января — в день дуэли, — о которых рассказывал Данзас, совершались с ведома Николая. И что с ведома Николая враги Пушкина были поддержаны Бенкендорфом.

Но теперь мы наконец понимаем, за что Пушкин просил прощения: бесконечно честный, он просил извинить его за нарушение слова.

Это новое понимание предсмертной просьбы, обращённой к царю, которой долго придавали смысл верноподданнический, помогает понять и ответ Николая (в передаче Е. А. Карамзиной он почти не отличается от ранее известных нам записей). Смысл ответа сводится к следующему: «Я прощу тебе нарушение слова и обеспечу жену и детей, если ты исполнишь христианский обряд».

Пушкину пришлось пойти на это условие: он ничего не оставлял семье, кроме долгов. Что он был к этому вынужден, понимали даже те современники, которые осуждали его: «Он выполнил свои христианские обязанности, — писала в день смерти Пушкина племянница Виельгорского Волкова, — потому что император ему написал, что за это позаботится о его жене и детях».

Николай проследил за выполнением своего требования: доктор Спаский, находившийся возле раненого поэта, записал, что священник был в присутствии лейб-медика Арендта.

После смерти Карамзина Жуковский составил текст указа о его заслугах и о пенсии семейству его. Когда умер Пушкин, Жуковский пред-

ложил царю составить такой же указ и о нём. В ответ на это царь произнёс те слова, которые приводит Карамзина. Министру юстиции Дашкову Николай объяснил более грубо. «Какой чудак Жуковский, — сказал он, — пристаёт ко мне, чтобы я семье Пушкина назначил такую же пенсию, как семье Карамзина. Он не хочет сообразить, что Карамзин человек почти святой, а какова была жизнь Пушкина?» «Он дал почувствовать Жуковскому, что и смерть и жизнь Пушкина не могут быть для России тем, чем был для неё Карамзин», — занёс в свой дневник А. И. Тургенев. И Екатерина Андреевна, только что писавшая: «Пушкин бессмертный...», «потеря для России...», соглашается с отзывом императора...

Но самое важное в этом письме не то, что в нём сказано; самое важное, что в нём нет ни одного слова о том, будто умирающий Пушкин посылал благословения по адресу государя, желал ему долгих лет царствования, восклицал: «Жаль, что умираю: весь его был бы...» Словом, даже намёка нет, будто Пушкин умер, примирившись перед смертью с престолом и с богом. Советские исследователи в результате огромной и кропотливой работы доказали, что всё это было придумано друзьями, и прежде всего Жуковским. Когда Жуковского упрекали потом, зачем он приписал Пушкину верноподданническую фразу «весь его был бы...», он отвечал: «Я заботился о судьбе жены Пушкина и детей». Этот факт сообщал один из первых биографов Пушкина. На самом деле у Жуковского были и другие причины, более важные.

В дни, когда толпа осаждала дом Пушкина, когда раздавались угрозы по адресу его убийц и в первый раз с такой очевидностью стало ясно, что «литературный талант есть власть» (Н. Языков), Бенкендорф выдвинул против друзей Пушкина обвинение, будто они хотели превратить погребение поэта в демонстрацию против правительства, волнение, вызванное известием о смертельном ранении Пушкина и о его гибели, использовать для «торжества либералов».

Независимость Пушкина, его высокое чувство национального достоинства, прежняя его дружба с декабристами, народная слава истолковывались в высших кругах петербургского общества как проявление «либерализма». «Пушкин был склонен к либерализму», — доносил своему правительству неаполитанский посланник Бутера. Бюртембергский дипломат Гогенлоэ проявление в те дни всеобщего горя и гнева расценивал как действия «русской партии, к которой принадлежал Пушкин».

После 14 декабря 1825 года Николай I не переставал подозревать о существовании ещё не открытого тайного общества. В 1834 году, в связи с запрещением «Московского телеграфа», один из ближайших помощников царя утверждал, что «декабристы ещё не истреблены», что в России «есть партия, жаждущая революции». Появление в 1836 гсду «Философического письма» Чаадаева в «Телескопе» снова вызвало подозрение, что это — дело «тайной партии». Поэтому, когда в феврале 1837 года Бенкендорф прочёл пересланное ему анонимное письмо, полное сожалений по адресу убитого Пушкина, он расценил его, как документ важный, доказывающий «существование и работу Общества».

Агенты его доносили, что в толпе, окружавшей дом Пушкина, раздавались угрозы по адресу Дантеса и Геккерена, что обвиняли жену Пушкина, что во время перевоза тела в Исаакиевский собор почитатели Пушкина собираются отпрячь лошадей в колеснице, что в церковь явятся депутаты от купцов и студентов, а над гробом будут сказаны речи.

Поэтому-то гроб с телом Пушкина тайно, ночью, под конвоем жандармов и был перевезён из квартиры в придворную церковь. По этим-то причинам и умчали мёртвого Пушкина из Петербурга в Михайловское ночью, в сопровождении жандарма...

Пушкин был положен в гроб не в придворном мундире, а в фраке; это вменено в вину Вяземскому и Тургеневу. Вяземский, прощаясь, бро-

сил в гроб Пушкина перчатку. Это воспринято, как условный знак. Всё вместе истолковано, как действия партии, враждебной правительству.

Геккерен, получавший информацию в салоне министра иностранных дел Нессельроде, доносил своему министру, что смерть Пушкина открыла власти «существование целой партии, главою которой был Пушкин». «Эту партию можно назвать реформаторской»,— утверждал голландский посланник, добавляя, что предположение русского правительства не лишено оснований, если припомнить, что Пушкин был замешан в событиях, «предшествовавших 1825 году». Правда, таким заявлением он стремился восстановить свою упавшую репутацию и подобное сообщение было ему крайне выгодно. Тем не менее не подлежит сомнению, что сообщает он своему правительству то, что слышит в придворных петербургских салонах.

Подозревать в ту пору Вяземского, а тем более Жуковского, в намерении составить заговор против правительства у Бенкендорфа не было, конечно, никаких оснований. Но в том, что Пушкин до конца оставался непримиримым противником самодержавно-полицейской власти и всей общественно-политической системы страны,— в этом шеф жандармов не ошибался. Партии либералов в России 1830-х годов не существовало. Но политические настроения, о которых Бенкендорф доносил царю, давали о себе знать постоянно и с особой силой проявились в связи с убийством Пушкина, ещё раз — и уже в угрожающих размерах — подтвердив, что имя Пушкина в самых широких кругах русского общества являлось символом национального достоинства, свободолюбия и прогресса. На языке того времени это и называлось либерализмом. И с им в о л о м либерализма Пушкин, конечно, был.

Выдвинув гипотезу о существовании заговора, Бенкендорф получал тем самым возможность предупредить любые проявления протеста, заранее объясняя их как действия заговорщиков, и принимать меры предосторожности, пресекая возможные действия этой предлагаемой «демагогической партии».

«Вы считали меня если не демагогом, то какой-то вывеской демагогии, за которую прячутся тайные враги порядка»,— писал Бенкендорфу Жуковский, опровергая выдвинутые против него обвинения.

«Мне оказали честь, отдав мне первое место»,— жаловался Вяземский брату царя, великому князю Михаилу, убеждая его не верить в существование заговора.

Вот почему Жуковскому, Вяземскому, Тургеневу важно было доказать, что они никогда не замыслили против правительства, что устраивать Пушкину народные похороны не собирались, что это не соответствует их понятиям. Вот почему они стремились убедить правительство и великосветское общество, что в зрелые годы Пушкин был человеком благонамеренным и умер, как подобает христианину и верноподданному. «Да Пушкин никоим образом и не был либералом, ни сторонником оппозиции, в том смысле, какой обыкновенно придаётся этим словам. Он был искренно предан государю»,— писал Вяземский Михаилу Павловичу. В этом же духе действовал Жуковский. С этой целью сочинил он своё знаменитое письмо к отцу поэта, изобразив Пушкина раскаявшимся и смирившимся. Письмо его распространилось во многих копиях, а потом под названием «Последние минуты Пушкина» было напечатано в «Современнике».

В этом смысле старался не только Жуковский: то, что писали Вяземский и Тургенев, точно так же было рассчитано на широкое оглашение. Отправляя свои письма в Москву, Тургенев и Вяземский просили директора московской почты Булгакова снимать копии для общих знакомых. В этих письмах они стремились разъяснить, в каком трагическом положении оказался Пушкин вследствие тёмных интриг, среди враждебного

общества. Но и они повторяли ложь о примирении и о просветлённом конце, считая, что эта версия реабилитирует их в глазах правительства.

Таким образом, письма близких людей — Жуковского, Тургенева, Вяземского — облик Пушкина заведомо искажают.

Что касается сообщений других современников, знавших поэта мало, то сведения их о гибели Пушкина основаны зачастую на непроверенных слухах; к этим откликам относиться следует тоже с большой осторожностью.

Тагильские письма писались людьми, близко стоявшими к Пушкину, и писались не для распространения в обществе. В этом их особая ценность. Можно не сомневаться, что если бы в словах, сказанных Пушкиным перед смертью, хоть как-нибудь проявились те чувства, о которых повествует Жуковский, Карамзины — люди религиозные и консервативные — не преминули бы сообщить об этом Андрею; поторопились же они сказать, что государь вёл себя по отношению к поэту, «как ангел».

В воскресенье вечером мы ходили на панихиду по нашему бедному Пушкину, — продолжает письмо мачехи Софья Карамзина. — Трогательно было видеть толпу, стремившуюся поклониться его телу; говорят, в этот день у них перебывало более 20 000 человек: чиновники, офицеры, купцы — и все шли в благоговейном молчании, с глубоким чувством, — друзьям Пушкина было отрадно это. Один из этих неизвестных сказал Россети: *«Видите ли, Пушкин ошибался, когда думал, что потерял свою народность: она вся тут, но он её искал не там, где сердца ему отвечали»*. — Другой, старик, поразил Жуковского глубоким вниманием, с каким он долго смотрел на лицо Пушкина, уже сильно изменившееся; он даже сел напротив и неподвижно просидел так с ¼ часа, слёзы текли по его лицу, потом он встал и пошёл к выходу. Жуковский послал за ним узнать его имя: *«Зачем вам, — ответил он, — Пушкин меня не знал, и я его не видал никогда, но мне грустно за славу России»*. И вообще это второе общество проявляет столько энтузиазма, столько сожаления, сочувствия, что душа Пушкина должна радоваться, если хотя бы отголосок земной жизни доходит туда, где он сейчас. Более того: против убийцы Пушкина подымается волна возмущения и гнева, раздаются угрозы — но всё это в том же втором обществе, среди молодёжи, тогда как в нашем кругу у Дантеса находится немало защитников, а у Пушкина — это всего возмутительнее и просто непонятно — немало ожесточённых обвинителей. Их нисколько не смягчили адские муки, которые в течение трёх месяцев терзали его пламенную душу, к сожалению слишком чувствительную к уколам этого презренного света, и за которые он отомстил, в конце концов, только самому себе: умереть в 37 лет — и с таким прекрасным, таким трогательным спокойствием!..

Когда слух, что Пушкин находится в смертельной опасности, облетел город, всем стало ясно, что в Петербурге существуют два лагеря: Софья Николаевна очень точно сформулировала это в словах о «нашем обществе» — то есть великосветском, где раздаются обвинения по адресу Пушкина, и о «втором обществе», которое оплакивает Пушкина, являя замечательные примеры любви.

Никто, конечно, не подсчитывал точно, сколько народу приходило проститься с Пушкиным. Жуковский писал, что за два дня мимо гроба прошло более 10 000 человек; С. Н. Карамзина утверждает, что более 20 000 за один день. Говорили ещё, что «при теле перебывало 32 000 человек», что в последние дни жизни Пушкина «25 000 человек приходили и приезжали справляться о его здоровье». Прусский посол Либерман пи-

сал в своём донесении, что в доме Пушкина перебивало «до 50 000 лиц всех состояний». Как бы то ни было — речь идёт о десятках тысяч: стоявших у подъезда, приходивших проститься, запрудивших Конюшенную площадь и прилегающие переулки и улицы во время отпевания тела.

В этой необычной в то время толпе чиновников, литераторов, артистов, студентов, учеников, купцов, военных — много «простолудинов», мелькают тулупы, иные приходят просто в лохмотьях; весь город взволнован событием, возбуждён, опечален. Муханов записывает, что в Гостином дворе о смерти Пушкина толкуют сидельцы и лавочники. Вяземский обращает внимание, что «мужики на улицах» говорили о нём. Сохранился рассказ (Д. Милютина) о том, что мальчик-половой в трактире Палкина беспокоился, кто будет вместо Пушкина «назначен для стихов». Везде слышатся толки и злоба на Геккеренов.

Убийство Пушкина широкие круги петербургского общества восприняли, как общественное бедствие. Иностранцы дипломаты донсят своим дворам, что гибель поэта возбудила «национальное негодование», «всеобщее возмущение» (баварский посланник), расценивается, как «общественное несчастье» (неаполитанский посланник), как «потеря страны» (пруссский посланник); вюртембергский посланник сообщает, что Пушкину «создают апофеоз» чиновники, «многочисленный класс, являющийся в России в некотором роде третьим сословием». Французскому послу Баранту приписывают слова, что «общенародное чувство», проявившееся в те дни в Петербурге, «походило на то, которым одушевлялись русские в 1812 году».

Описывая последнюю панихиду, Софья Николаевна сознательно умолчала о том, что ночью, в числе ближайших двенадцати человек, она присутствовала при выносе тела в придворную церковь; набережная была оцеплена жандармами, жандармы наполняли пушкинскую квартиру.

Понятно, об этом Карамзина не могла написать Андрею.

Гибель Пушкина изменила отношение Карамзиных к предшествовавшим событиям. Поведение его в продолжение всех этих месяцев уже не кажется Софье Николаевне ни «глупым», ни «смешным». То, что она называла «комедией», предстало теперь в новом свете. Великая слава поэта, которую неизвестный почитатель назвал «народностью» Пушкина, каждого заставляет понять, что эти дни уже подлежат суду истории. Но даже и в этой обстановке Софья Николаевна стремится видеть в поединке Пушкина и Дантеса столкновение своих знакомых; она хочет оплакать Пушкина, не обвиняя при этом Дантеса. «Я рада, что ничего не случилось с Дантесом», — пишет она Андрею. Ей кажется, что если бы в результате дуэли погибли оба — и Пушкин и Дантес, — было бы хуже: гибель Пушкина не вызвала бы такого сочувствия. Роль жертвы, по её представлению, «это всегда самая благородная роль, и те, — пишет она о Пушкине, — кто осмеливается нападать на него, по-моему, очень походят на палачей».

В субботу вечером я видела несчастную Натали, — продолжает Карамзина, — не могу передать тебе, какое раздирающее душу впечатление произвела она на меня: настоящий призрак — блуждающий взгляд и выражение лица до того жалкое, что невозможно без боли в сердце смотреть на неё... И как она хороша даже в таком состоянии.

В понедельник были похороны, то есть отпевание. Собралась огромная толпа, все хотели присутствовать, целые департаменты просили разрешения не работать в этот день, чтобы иметь возможность пойти на панихиду, пришла вся Академия, артисты, студенты университета, все русские актёры. Церковь на Конюшенной невелика, поэтому впускали только тех, у кого были билеты, иными словами, исключительно высшее общество и дипломатиче-

ский корпус, который явился в полном составе (один дипломат даже сказал: «Я только здесь в первый раз узнаю, что такое был Пушкин для России. До этого мы его встречали, разговаривали с ним и никто из вас (он обращался к даме) не сказал нам, что он ваша национальная гордость»). Площадь перед церковью была запружена народом, и, когда открыли двери после службы, все толпой устремились в церковь; спорили, толкались, чтобы пробиться к гробу и нести его в подвал, где он должен оставаться, пока его не отвезут в деревню. Один молодой человек, очень хорошо одетый, умолял Пьера <Мещерского> разрешить ему только прикоснуться рукою к гробу; тогда Пьер уступил ему своё место, и юноша благодарил его со слезами на глазах.— Как трогателен секундант Пушкина, его друг и товарищ по лицу полковник Данзас, которого прозвали в армии «храбрый Данзас», сам раненый¹, с рукою на перевязи, с мокрым от слёз лицом, говорящий о Пушкине с чисто женской нежностью, не думаянисколько о наказании, которое его ожидает; он благословляет государя за данное ему милостивое позволение не покидать своего друга в последние минуты его жизни и его несчастную жену в первые дни её тяжкого горя. Вот что сделал государь для семьи...

И тут Карамзина перечисляет «милости» Николая, распорядившегося выплатить долги Пушкина, выкупить его имение Михайловское; вдове назначена пенсия в пять тысяч рублей, детям — по 1 500 рублей. Оба сына записаны в пажеский корпус.

Кроме того, — продолжает Софи, — в пользу детей будет на казённый счёт выпущено полное издание произведений Пушкина, которое, вероятно, расхватают мгновенно.

Распоряжения Николая Софья Карамзина воспринимает как его искренние сочувствие и заботу. На самом же деле эта благотворительность, ничего Николаю не стоившая, послужила для него удобным поводом выступить перед глазами Европы в роли просвещённого покровителя литературы. Чуть ли не все иностранные дипломаты в своих донесениях из Петербурга отметили в те дни щедрую помощь русского императора осиротевшей семье первого поэта страны. Славу Пушкина Николай I умело использовал в своих интересах.

Возвратимся к письму.

Поверишь ли, — пишет С. Н. Карамзина, — в эти три дня было продано 4 000 экземпляров «Онегина».

Как эта небольшая подробность передаёт атмосферу тех дней!

Вчера <то есть после отпевания, в понедельник. — И. А.> мы ещё раз видели Натали, она была спокойнее и много говорила о муже. Через неделю она уезжает в имение брата возле Калуги, где намерена провести два года. «Мой муж, — сказала она, — велел мне два года носить по нём траур (какая деликатность чувств с его стороны, он и тут заботился о том, чтобы охранить её от пересудов света), и я думаю, что лучше всего исполню его волю, если проведу эти два года одна в деревне. Сестра придет ко мне, это будет для меня большим утешением».

Да, таково было завещание Пушкина: в день смерти, прощаясь с женою, он сказал ей: «Отправляйся в деревню, носи по мне траур два года, а потом выходи замуж, только не за шелопаю». Это слышали Вяземские.

¹ Данзас был ранен в турецкую кампанию.

Ещё мы говорили об анонимных письмах. Я рассказала ей о том, что ты говорил по этому поводу, и о твоём страстном возмущении против их гнусного автора.

«Пощёчины от руки палача — вот чего он, по-моему, заслуживает», — писал родным Андрей Карамзин, высказывая опасение, что если «этот негодяй когда-нибудь откроет своё лицо», то «наше снисходительное общество» — то есть великосветское — выступит в роли его соучастника.

В этом он не ошибся.

В те дни друзья Пушкина постоянно возвращаются к мысли о паскви́ле, угадывая теперь, задним числом, что он был главной причиной, приведшей Пушкина к гибели, что развязка трагедии — на душе сочинителя, что с тех пор Пушкин «не мог успокоиться».

Теперь, — продолжает Карамзина, — расскажу об одной забавной мелочи среди всех наших горестей: Данзас просил государя разрешить ему сопровождать тело; государь ответил, что это невозможно, так как Данзас должен итти под суд (говорят, впрочем, что это будет одна формальность). Для того, чтобы отдать этот последний долг Пушкину, государь назначил Тургенева — «как единственного и з друзей Пушкина, который в настоящее время ничем не занят». Тургенев сегодня вечером уезжает с телом. Он очень недоволен этим и не умеет это скрыть. Вяземский хотел поехать, я ему <Тургеневу> сказала: <слово заклеено>, разве он не с вами?» *«Помилуйте, с о мною! — он не умер!»*

То же самое отметил в своём дневнике Тургенев: «О Вяземском со мною (у Карамзиных): «он ещё не мёртвый».

Карамзиной кажется «забавной» стороной в этом деле, что царь, без ведома Тургенева, назначил его сопровождать гроб с телом Пушкина вместе с жандармом. Тургенев подчинился, но заявил, что поедет «на свой счёт и с особой подорожной». В дневнике он, уязвлённый, подчёркивает: «отправились мы — я и жандарм!!» Ирония его ответа Карамзиной в том, что он «ничем не занят» и поэтому царь превратил его в служителя погребальной процессии: возить Вяземского ему не положено — Вяземский не мёртвый, а ему, Тургеневу, царь, мол, определил возить только покойников.

А. И. Тургенев отвёз тело Пушкина, и похоронил в Святогорском монастыре, и уже вернулся в столицу, но волнение, вызванное убийством Пушкина, ещё не утихло. Об этом можно судить по строчкам тагильских писем, даже по тем, которые не имеют прямого отношения к Пушкину.

10 февраля Софья Николаевна пишет «несколько строчек»: праздновалось рождение младшей сестры, Лизы. Желая устроить ей настоящий праздник, Екатерина Николаевна Мещерская повела её в русский театр, «где Каратыгин был великолепен в пьесе «Матильда, или ревность» Лиза Карамзина и Наденька Вяземская «безумствовали от восторга». Вместе с ними повели восьмилетнего сына Мещерских — Николеньку.

Сперва он был очень доволен, но затем испугался, что будут стрелять из пистолета, так как из всего происходившего на сцене. понял только, что там ссорятся; история же с Пушкиным, о которой он столько слышал... необыкновенно обострила его наблюдательность по отношению ко всему, связанному с дуэлями, и он решил, что и тут будет дуэль. Пришлось увести его домой раньше окончания...

Не могу тебе передать, — продолжает Софья Николаевна на той же странице, — какое грустное впечатление произвёл на меня салон Екатерины в то первое воскресенье, когда я там опять побывала, — не было уже никого из семьи Пушкиных, неизменно присут-

ствовавших раньше,— мне так и чудилось, что я их вижу и слышу звонкий, серебристый смех Пушкина. Вот стихи, которые написал на смерть Пушкина некий г. Лермантов, гусарский офицер. Они так хороши по своей правдивости и по заключённому в них чувству, что мне хочется, чтобы ты их знал.

СМЕРТЬ ПОЭТА

Погиб Поэт! — невольник чести —
 Пал, оклеветанный молвой,
 С свинцом в груди и жаждой мести,
 Поникнув гордой головой!..
 Не вынесла душа Поэта
 Позора мелочных обид,
 Восстал он против мнений света
 Один как прежде... и убит!
 Убит!.. к чему теперь рыдания,
 Пустых похвал ненужный хор,
 И жалкий лепет оправдания?
 Судьбы свершился приговор!
 Не вы ль сперва так злобно гнали
 Его свободный, смелый дар
 И для потехи раздували
 Чуть затаившийся пожар?
 Что ж?.. веселитесь... — он мучений
 Последних вынести не мог:
 Угас, как светоч, дивный Гений,
 Увял торжественный венок!..

Его убийца хладнокровно
 Навёл удар... спасенья нет:
 Пустое сердце бьётся ровно,
 В руке не дрогнул пистолет.
 И что за диво?.. Издалёка,
 Подобный сотням беглецов,
 На ловлю счастья и чинов
 Заброшен к нам по воле рока;
 Смеясь, он дерзко презирал
 Земли чужой язык и нравы;
 Не мог щадить он нашей Славы;
 Не мог понять в сей миг кровавый,
 На что он руку поднимал!..

И он убит — и взят могилой,
 Как тот певец, неведомый, но милый,
 Добыча ревности глухой,
 Воспетый им с такою чудной силой,
 Сражённый, как и он, безжалостной рукой.

Зачем от мирных нег и дружбы простодушной
 Вступил он в этот свет завистливый и душный
 Для сердца вольного и пламенных страстей?
 Зачем он руку дал клеветникам ничтожным,
 Зачем поверил он словам и ласкам ложным,
 Он, с юных лет постигнувший людей?..

И прежний сняв венок — они венец терновый,
 Увитый лаврами, надели на него:

Но иглы тайные сурово
Язвили славное чело;

Отравлены его последние мгновенья
Коварным шёпотом насмешливых невежд,
И умер он — с напрасной жаждой мщенья,
С досадой тайною обманутих надежд.

Замолкли звуки чудных песен,
Не раздаваться им опять:
Приют певца угрюм и тесен,
И на устах его печать.—

Как это прекрасно, не правда ли? Мещерский пошёл отнести эти стихи Александрине Гончаровой, она просила их для сестры, которая с жадностью читает всё, что касается мужа, постоянно говорит о нём, обвиняет себя и плачет. Она всё время так мучается, что жалко смотреть, но стала спокойнее и у неё уже нет такого безумного блуждающего взгляда. К сожалению, она плохо спит, вскрикивает по почам, зовёт Пушкина; бедная, бедная жертва собственного легкомыслия и людской злобы... Одоевский умиляет своей любовью к Пушкину: он плакал, как ребёнок, и нет ничего трогательнее тех нескольких строчек, в которых он объявил в своём журнале о смерти Пушкина. «Современник» будет попрежнему выходить в этом году.

Стихотворение Лермонтова Софья Николаевна приводит в письме без единого отступления от собственноручного текста Лермонтова; это понятно — стихотворение дал ей списать В. Ф. Одоевский, у которого находился автограф. В первые дни после смерти Пушкина предполагалось напечатать этот текст в «Современнике», — после замечания, которое получил Краевский от Уварова, об этом нечего было и думать. Заключительных строк Софья Николаевна не приводит по вполне понятной причине — в те дни Лермонтов ещё не написал их, ещё не пострадал и не сослан. Это потом — по возвращении из ссылки, через год с небольшим — он делается гостем и другом Карамзиных, гордостью и украшением их салона. А в феврале 1837 года он ещё «некий», он ещё не знаком с ними, хотя в доме Карамзиных бывает добрый десяток его однополчан — лейб-гусаров. Впоследствии познакомил его с Карамзиными, очевидно, Одоевский.

Несколько строк, в которых Одоевский объявил о смерти Пушкина, — это краткий некролог, начинающийся словами «Солнце нашей поэзии закатилось. Пушкин скончался, скончался во цвете лет...», помещённый в № 5 «Литературных прибавлений к Русскому Инвалиду». Считалось, что автор этого некролога Краевский. Р. Б. Заборова — сотрудница Ленинградской публичной библиотеки — высказала недавно предположение, что некролог написан Одоевским. Как видим, предположение её подтверждается.

121-я страница альбома. Письмо по-русски с датой: «17 февраля. Дежурная комната». Почерк Александра Карамзина, довольно разборчивый:

На смерть Пушкина я читал два рукописных стихотворения: одно какого-то лицейского воспитанника, весьма порядочное; другое гусара Лермонтова¹, по-моему, прекрасное, кроме окончания, которое, кажется, и не его.

Вообще публика приняла с таким энтузиазмом участие в смерти своего великого поэта, какого никак я от неё не ожидал. *Что касается высшего света* — эта заплеснувшая <заплесневелая?> пенка публики, она слишком достойна глубокого презрения, чтобы

¹ Так у Карамзина.— И. А.

обратить внимание на её толки pro et contra¹, которые, если это возможно, бессмысленнее её самой. Как ни ругай публ и к у <тут Карамзин переходит на французский язык> в *собственном смысле слова, всё же это лучшее, что у нас есть. Совершенно неправильно было бы говорить, как часто у нас и говорится, что у наших писателей нет публики: скорее наоборот, нашей публике недостаёт писателей.* Немудрено, что им нравится какая-нибудь чучела Брамбеус на голодный зуб. Желали бы лучше, да нет.

Под стихотворением лицейского воспитанника Карамзин подразумевает «Воспоминание о Пушкине», автор которого остаётся до сих пор неизвестным, хотя из текста стихотворения следует, что оно написано однокашником Пушкина, принимавшим участие в праздновании лицейских годовщин.

Разницу между этим слабым стихотворным откликом на смерть Пушкина и гениальным стихотворением Лермонтова Карамзин почувствовал, но в оценке заключительных строк «Смерти Поэта» (они были написаны между 10 и 16 февраля) оказался на уровне своего круга. Гневная речь Лермонтова, обращённая к потомкам «известной подлостью прославленных отцов», — строки, в которых Лермонтов грозит палачам Пушкина народной мстью, предрекает время, когда польётся их чёрная кровь, — не понравилась Александру Карамзину. Для него это слишком смело и резко, хотя он с презрением говорит о высшем свете и сочувственно — о читателях Пушкина, о демократической части общества. И неплохо объясняет успех произведений О. И. Сенковского, выступавшего под псевдонимом «барон Брамбеус». Сенковский, писатель и критик, редактор журнала «Библиотека для чтения», рассчитанного на обывательские вкусы, вместе с Булгариным и Гречем выступал против Пушкина. В отзыве Александра Карамзина чувствуется человек, не чуждый литературной борьбы 1830-х годов, сторонник Пушкина, Вяземского, Одоевского.

16 февраля Наталья Николаевна Пушкина вместе с сестрой Александриней и тёткой Екатериной Ивановной Загряжской уехала из Петербурга в калужское имение брата «Полотняный завод».

Вчера выехала из Петербурга Н. Н. Пушкина, — пишет Александр Карамзин. — Я третьего дня её видел и с ней прощался. Бледная, худая, с потухшим взором, в чёрном платье, она казалась тению чего-то прекрасного. Бедная!!!

Во всех письмах о дуэли и смерти Пушкина друзья старательно оберегают честь Натальи Николаевны: это понятно. Даже те, кто не знает Пушкина близко, как, например, сослуживец Краевского литератор Януарий Неверов, считают слова Пушкина о невиновности Натальи Николаевны «его последним святым завещанием». Только Вяземский упрекнул Наталью Николаевну в «бестактности» да в том, что в её отношении к Дантесу после его женитьбы было много беспечности и непоследовательности.

Письма Екатерины Андреевны и Софьи Николаевны Карамзинных не предназначены для распространения и пишутся не для того, чтобы защищать вдову Пушкина в общественном мнении. В первые дни обе женщины рассказывают о Наталье Николаевне с глубоким сочувствием. Но следующие письма — о последнем свидании с нею, о проезде Натальи Николаевны через Москву, где она не пожелала повидать отца Пушкина, — полны сурового осуждения.

Прежде всего это относится к письму Софьи Николаевны, написанному 17 февраля. Она раздосадована тем, что перед отъездом Наталья

¹ «За» и «против».

Николаевна «слишком занималась упаковкой вещей» и «кажется, совсем не была тронута, когда прощалась с Жуковским, Данзасом и Далем, этими тремя ангелами-хранителями, которые окружали постель её умирающего мужа и так много сделали, чтобы смягчить его последние минуты». Софья Николаевна находит, что в такую минуту «можно бы проявить больше чувства». Ей кажется, что Наталья Николаевна «менее грустна, чем обычно». Софья Николаевна не удивляется этому. Она считает, что «Натали» «поставила на карту драгоценную жизнь Пушкина» по легкомыслию, и «даже не ради увлечения, а ради жалких соблазнов кокетства и тщеславия».

Бедный, бедный Пушкин,— восклицает Карамзина,— она его никогда не понимала. Потеряв его по своей вине, она сильно страдала только несколько дней, а теперь горячка уже прошла, осталась только слабость и угнетённое настроение; и то пройдёт очень скоро!

Обе сестры виделись, чтобы попрощаться, вероятно навсегда, и тут Екатерина, наконец-то, хоть немного откликнулась на это несчастье, которое по-настоящему лежит на её совести тоже,— она заплакала, но до тех пор она всё время была весела, спокойна, смеялась и всем, с кем виделась, говорила только о своём счастье. Вот ещё тоже чурбан, да и дура вдобавок!

Суд над Дантесом ещё не кончился, говорят, его разжалуют и затем вышлют из России. Геккерен готовится к отъезду и у себя в кабинете самолично распродаёт весь свой фарфор и серебро; весь город ходит к нему покупать, кто для смеха, а кто из дружбы.

Пришёл отклик Андрея на письмо, в котором Екатерина Андреевна рассказывает о последних минутах Пушкина и о своём с ним прощании. А вот ответ матери:

Среда, 3 марта, 1837, С.-Петербург.

Я знала, что весть о трагической смерти Пушкина поразит тебя в самое сердце. И ты не ошибся, предполагая, что м-м Пушкина станет для меня предметом сочувствия и забот. Я ходила к ней почти каждый день, сперва с глубоким состраданием к её великому горю, но потом, увы, с уверенностью, что это горе, хотя и острое сейчас, не будет ни продолжительным, ни глубоким. Грустно сказать, но это правда. Наш добрый, наш великий Пушкин должен был бы иметь совсем другую жену, более способную его понять и более подходящую к его уровню. Их рассудит бог, но всё же эта катастрофа ужасная и во многом до сих пор тёмная,— он внёс в неё свою долю непостижимого безрассудства... Бедный Пушкин, жертва легкомыслия, неосторожности и неразумия этой молодой красавицы, которая ради нескольких часов кокетства не пожалела его жизни. Не думай, что я преувеличиваю, я ведь её не виню, как не винят детей, когда они по неведению или необдуманности причиняют зло.

Эту характеристику Н. Н. Пушкиной продолжает в том же письме Софья Карамзина.

Сейчас она уже успокоилась,— пишет Софья Николаевна о жене Пушкина,— и ведь он хорошо её знал, он знал, что это Ундина, в которую ещё не вдохнули душу. Да простит ей господь, ибо она не ведала, что творит. И ты, мой дорогой Андрей, не горюй о ней — для неё ещё много найдётся на земле радостей и удовольствий.

Нельзя не задуматься над этими строчками: Карамзины хорошо знают Наталью Николаевну и, конечно, сообщают о ней мнение искреннее и авторитетное. Их письма дополняют наши представления о характере

этой женщины, помогают понять её отношение к Пушкину, и к его гибели, и к окружавшим его. Софья Николаевна называет её бестолковой, Екатерина Андреевна пишет, что её поведение после гибели Пушкина говорит о недостатке ума и о чёрством сердце, но, к стати сказать, горькие упрёки по адресу Натальи Николаевны никак не повлияют на их дальнейшие отношения с ней. По возвращении своём из деревни она попрежнему будет украшать их салон, где когда-то появлялась с Пушкиным и встречалась с Дантесом. Она ещё увидит внимание к себе в этом доме. И только один Лермонтов будет избегать разговоров с ней.

Нет надобности защищать и оправдывать жену Пушкина. Но всё же причина его гибели не она. И в этом отношении письма Е. А. и С. Н. Карамзиных уступают свидетельствам Вяземского, Александра Тургенева, Александра Карамзина, Екатерины Мещерской, Соллогуба. Те понимают общественный смысл происшедших событий, говорят о загадочной обстановке, о клевете, пытаются разгадать анонима. Вяземский считает, что постыдную роль в этой истории сыграли «некоторые общественные вершины», что Пушкина «положили в гроб и зарезали жену его» городские сплетни и клевета петербургских салонов. Соллогубу понятно, что в лице Дантеса Пушкин искал расправы с целым светским обществом. А Софья Николаевна и Екатерина Андреевна ограничивают конфликт семейными рамками; сосредоточившись на личности Натальи Николаевны Пушкиной, они не делают даже попыток угадать скрытые — и главные — причины гибели Пушкина, ни словом не намекают о них Андрею. Хотя Екатерина Андреевна и пишет, что «эта катастрофа ужасная и во многом до сих пор тёмная», — ни она, ни Софья Николаевна не связывают эту историю ни с тайными интригами, ни с отношением к Пушкину великосветских салонов, ни с лютой ненавистью к нему графа Бенкендорфа, графа и графини Нессельроде, Уварова, княгини Белосельской — падчерицы Бенкендорфа, которую Данзас назвал в числе сильнейших врагов Пушкина, скрыв её под буквой «княгиня Б.».

Несмотря на скудную информацию, Андрей Карамзин лучше их сумел понять в Париже смысл происшедшего в Петербурге. «Поздравьте от меня петербургское общество, маменька,— писал он.— Оно сработало славное дело: пошлыми сплетнями, низкою завистью к Гению и к красоте оно довело драму, им сочинённую, к развязке: поздравьте его, оно стоит того...»

Всеобщее сочувствие, возбуждённое смертью Пушкина, тронуло Андрея Карамзина и обрадовало его до слёз. «Но с другой стороны,— продолжает он,— то, что сестра мне пишет о суждениях хорошего общества высшего круга, гостиной аристократии (чёрт знает, как эту сволочь назвать!), меня нимало не удивило: оно выдержало свой характер. Убийца бранит свою жертву... это в порядке вещей».

Но удивительно, что это своё негодование по адресу аристократии Андрей Карамзин не распространяет на Дантеса. Убеждённый в том, что Дантес пожертвовал собой ради спасения чести любимой женщины, а выйти на поединок был вынужден, Карамзин не хочет верить, что Дантес после свадьбы своей продолжал говорить Наталье Николаевне о своей любви к ней. «Я первый, с чистой совестью и со слезой на глазах о Пушкине, протяну ему руку: он вёл себя честным и благородным человеком — по крайней мере, так мне кажется,— пишет Андрей Карамзин родным,— но что у Пушкина нашлись ожесточённые обвинители... негодяи!»

Софья Николаевна вполне с ним согласна: в её собственных письмах за горестными строчками о Пушкине следуют сожаления по адресу Дантеса, который будет разжалован.

Вот что значат понятия о чести в светском обществе, понятия, по которым оскорбитель, убивший на поединке оскорблённого им человека, реабилитируется в общественном мнении, понятия, по которым великий нацио-

нальный поэт и наглый развратник в глазах даже таких людей, как Андрей и Софья Карамзины, выступают, как равноправные члены общества.

Всё же вести, которые приходят в Париж от матери и сестры, не объясняют Андрею тайных причин катастрофы. И он обращается с просьбой: «Скажите брату Саше, что я ожидаю от него письма, он, как мужчина, многое мог слышать».

13 марта Александр берётся за перо. Его письмо на семи страницах — из них половина посвящена Пушкину. Приведём их здесь полностью — это самый значительный документ тагильской находки.

Здравствуй, брате, что делаешь? Здоров ли? весел ли? Я очень доволен твоими письмами, где ты так хорошо пишешь о деле Пушкина. Ты спрашиваешь, почему мы тебе ничего не пишем о Дантесе, или лучше о Эккерне. Начинаю с того, что советую не протягивать ему руки с такою благородною доверенностию: теперь я знаю его, к несчастью¹, это знание мне дорого обошлось. Дантес был совершенно незначительной фигурой, когда сюда приехал: необразованность забавно сочеталась в нём с природным остроумием, а в общем это было полное ничтожество как в нравственном, так и в умственном отношении. Если бы он таким и оставался, его считали бы добрым малым, и больше ничего, и я бы не краснел, как краснею сейчас, при мысли, что был с ним дружен, — но его усыновил Геккерн по причинам, до сей поры неизвестным обществу (которое мстит за это, строя всяческие предположения). Геккерн — человек весьма хитрый и развратник, каких свет не видывал, и ему не стоило большого труда совершенно завладеть умом и душой Дантеса, у которого ума было значительно меньше, чем у Геккерна, а души, возможно, и вовсе не было. Эти два человека, не знаю уж с каким дьявольским умыслом, принялись так упорно и неуклонно преследовать м-м Пушкину, что, пользуясь простыми отношениями, которые были у неё с Дантесом, и отвратительной глупостью её сестры Екатерины, они добились того, что за один год почти с ума свели несчастную женщину и совершенно погубили её репутацию. Дантес в то время хворал грудью и худел на глазах. Старик Геккерн уверял м-м Пушкину, что Дантес умирает от любви к ней, заклинал спасти его сь и а, потом стал грозить местию, а два дня спустя появились эти анонимные письма (если правда, что Геккерн сам является автором этих писем, то это совершенно непонятная и бессмысленная жестокость с его стороны; однако люди, которым, казалось бы, должна быть известна вся подоплёка, утверждают, что его авторство почти доказано). За сим последовали признания м-м Пушкиной мужу, вызов и затем женитьба Геккерна; та, которая так долго подвизалась на ролях сводни, выступила, в свою очередь, в роли любовницы (*amante*), а затем и супруги; она, единственная из всех, выиграла на этом деле, торжествует и по сие время и до того поглупела от счастья, что, погубив репутацию, а возможно, и душу своей сестры м-м П<ушкиной>, убив её мужа, она в день отъезда м-м Пушкиной послала сказать ей, что готова забыть прошлое и всё ей пр о с т и т ь!!! У Пушкина тоже была минута торжества: ему казалось, что он утопил в грязи своего врага и заставил его играть роль труса; но Пушкин, полный ненависти к этому врагу, давно исполненный омерзения к нему, не сумел взять себя в руки, да он даже и не пытался. Он сделал весь город, всех посетителей салонов наперсниками своей ненависти и своего гнева, он не сумел воспользоваться выгодами своего положения и стал почти смешон. И так как он не объяснял нам всех причин своей ярости, то мы все говорили: да чего же он

¹ Далее по-французски.

хочет? Что он, с ума сошёл? Или показывает свою удаль? — А Дантес тем временем, следуя советам своего старого <два бранных слова>, вёл себя необыкновенно тактично, стараясь, главным образом, привлечь друзей Пушкина на свою сторону. Наше семейство он усерднее, чем раньше, заверял в своей дружбе; он делал вид, что откровенен со мной до конца и не скупился на излияния чувств, он играл на таких струнах, как честь, благородство души, и так преуспел в своих стараниях, что я поверил в его преданность м-м П<ушкиной> и в любовь к Екатерине Г<ончаровой>, словом, во всё самое нелепое и невероятное, но только не в то, что было на самом деле. На меня словно нашло ослепление, словно меня околдовали; ну, как бы там ни было, а я за это жестоко наказан угрызениями совести, которые до сих пор меня тревожат; каждый день я переживаю их вновь и вновь и тщетно пытаюсь их отогнать. Без сомнения, Пушкину было тяжело, когда я у него на глазах дружески пожимал руку Дантесу, стало быть, и я способствовал тому, чтобы растерзать это благородное сердце, ибо он страдал невыразимо, видя, что его противник встаёт обелённый из грязи, в которую Пушкин его поверг. Гений, составлявший славу своей родины, привыкший слышать только рукоплескания, был оскорблён чужеземным авантюристом <.>, который хотел замарать честь Пушкина, и когда он, исполненный негодования, заклеил позором своего противника, тогда собственные его сограждане поднялись на защиту авантюриста и стали извергать хулу на великого поэта. Конечно, не все его соотечественники изрыгали эту хулу, а только горсточка низких людей, но поэт в своём негодовании не сумел отличить вопль этой клики от голоса широкой публики, к которому он всегда был так чуток. Он страдал безмерно, он жаждал крови, но бог, к нашему горю, судил иначе, и лишь собственная кровь поэта обогрела землю. Только после его смерти я узнал правду о поведении Дантеса — и немедленно порвал с ним. Может быть, я говорю слишком резко и с предубеждением, может быть, это предубеждение происходит именно от того, что раньше я был слишком к нему расположен, но, так или иначе, не подлежит сомнению, что он обманул меня красивыми словами и заставил видеть преданность и высокие чувства там, где была только гнусная интрига; не подлежит сомнению, что и после своей женитьбы он продолжал ухаживать за м-м Пушкиной, чему я долго не хотел верить, но очевидные факты, которые стали мне известны позже, вынудили меня, наконец, поверить. Всего этого достаточно, брат, чтобы ты не подавал руки убийце Пушкина. Суд его ещё не кончен¹. После смерти Пушкина Жуковский принял по воле государя все его бумаги. Говорили, что Пушкин умер уже давно для поэзии. Однако же нашлись у него многие поэмы и мелкие стихотворения. Я читал некоторые, прекрасные донельзя. Вообще в его поэзии сделалась большая перемена: прежде главные достоинства его были удивительная лёгкость, воображение, роскошь выражений, *беспощадность, связанная с большим чувством и жаром*; в последних же произведениях его поражает особенно могучая зрелость таланта; сила выражений и обилие великих, глубоких мыслей, высказанных с прекрасной, свойственной ему простотою; читая их, поневоле дрожь пробегает, и на каждом стихе задумываешься и чувствуешь гения. В целой поэме не встречается ни одного лишнего, малоговорящего стиха!.. Плачь, моё бедное отечество! Не скоро родишь ты такого сына! На рождении Пушкина ты истощилась!..

¹ С этой фразы и до конца — по-русски.

Сопоставим этот замечательный документ с тем, что пишут Вяземский и Тургенев.

В первые же дни после смерти Пушкина, решив выяснить для себя ход событий и мотивы, руководившие Пушкиным, они всё более приходят к убеждению, что Пушкин пал жертвой тонкой и сложной интриги, что его «погубили». Сопоставляя при встречах с друзьями последние разговоры Пушкина, обмениваясь подозрениями и догадками, Вяземский понимает, что против Пушкина и его жены были устроены «адские козни», «адские сети», что они «попали в гнусную западню», он пишет о «развратнейших и коварнейших покушениях двух людей» на «супружеское счастье и согласие Пушкиных».

Это мнение вполне разделяет Тургенев. В его глазах, как и в глазах Вяземского, Геккерен и Дантес с каждым днём «становятся мерзавцами более и более» по мере того, как раскрывается «гнусность поступков» Геккерена-отца.

В письмах, адресованных друзьям и знакомым, оба — и Тургенев и Вяземский — стремятся развеять клевету вокруг имени Пушкина, правильно информировать общество в отношении поступков Дантеса и хотя бы глухими намёками дать представление о том, что за спиной Дантеса стояли силы, враждебные Пушкину, что обстоятельства, толкавшие его к гибели, Пушкин предотвратить не мог.

То, что пишет Карамзин, совершенно совпадает с утверждениями Вяземского и Тургенева. Как и они, Карамзин уверен, что у Геккерена и Дантеса была цель — «замарать честь Пушкина». Точно так же он говорит о «дьявольском умысле», о «гнусной интриге».

Автором анонимного письма Карамзин считает Геккерена. Ему говорили, что люди, «которым должна быть известна вся подоплёка», авторство Геккерена считают почти доказанным. Кто они, эти «люди»? Кому могла быть известна «вся подоплёка» событий? Очевидно, он разумеет жандармов — руководителей III отделения Бенкендорфа и Дубельта. Кстати, Н. М. Смирнов, муж А. О. Россет, пишет в своих воспоминаниях, что «полиция имела неоспоримые доказательства», подтверждающие авторство Геккерена, и что Николай в этом не сомневался. Пусть П. Е. Щёголеву удалось доказать, что «диплом», адресованный Пушкину, переписан или даже написан изменённым почерком князя П. В. Долгорукова. Это не отводит подозрений от Геккерена — инициатива, несомненно, принадлежала ему.

Мы видим, что люди, близко стоящие к Пушкину, разделяют его убеждение относительно Геккерена. Они слышали это от самого Пушкина, а кроме того, его письмо к Геккерену известно им в копии: после смерти Пушкина копия находится в руках Вяземского. Вероятно, Карамзин читал это письмо и просто пересказывает пушкинские слова — там, где он говорит, как Дантес хворал и худел, а старый Геккерен уверял Наталью Николаевну, что он умирает от любви к ней, и заклинал её «спасти его сына». Припомним пушкинский текст. «Когда, заболев сифилисом, он должен был сидеть дома,— писал Пушкин посланнику,— вы говорили ей, что он умирает от любви к ней, вы бормотали ей: верните мне моего сына».

За увещаниями последовали угрозы, рассказывает Карамзин, «а два дня спустя появились эти анонимные письма».

Если сопоставить эти слова с записью в дневнике Барятинской, то последовательность событий становится совершенно понятной. Наталья Николаевна отказывается от внимания Дантеса, отвергает его, за этим следуют заклинания и угрозы Геккерена, а через два дня после угроз появляются анонимные письма.

Нет, чьей бы рукой ни был переписан текст пасквиля, ясно, что это месть, исходящая из дома Геккеренов!

Оставить оскорбление без последствий Пушкин не мог. Вызов, посланный им Дантесу, был только частью задуманного им плана действий.

— Через несколько дней вы услышите, как станут говорить о мести, единственной в своём роде, — заявил Пушкин Вяземской в первой половине ноября, когда ещё подозревал в сочинении письма Дантеса, — она будет полная, совершенная, она бросит того человека в грязь.

Когда Александр Карамзин говорит, что Пушкин «утопил в грязи своего врага», он, конечно, вспоминает эту угрозу и подтверждает тем самым, что Пушкин её исполнил. Из его слов выясняется также, что именно разумел Пушкин под выражением «бросить в грязь». Он его утопил в грязи, пишет Карамзин, «заставив играть роль труса».

Он имеет в виду тот момент, когда Пушкин, разгласив в ноябре о предстоящем поединке (вспомним упрёки Жуковского, что он не соблюдает тайны), вслед за тем отказался от вызова под предлогом, что Дантес женится на его свояченице. Конечно, после этого помолвка Дантеса должна была выглядеть, как проявление трусости, как нежелание драться. И в тот самый момент, когда Пушкин мог считать, что унизил и развенчал Дантеса в глазах светского общества, это общество начинает оказывать Дантесу внимание, жалеет его, подхватывает распушенный Геккереном слух о благородстве Дантеса, о жертве, которую якобы он принёс Наталье Николаевне Пушкиной. В городе говорят, что жениться на Гончаровой заставил Дантеса Пушкин (хотя Пушкин и бьётся об заклад, что Дантес не женится), а великосветская знать твердит о самопожертвовании. Только в такой связи можно понимать слова Карамзина о том, что Пушкин, «исполненный негодования, заклеил позором своего противника», а он «встаёт обелённый из грязи, в которую Пушкин его поверг».

Теперь, когда Пушкина уже нет, Карамзин понимает, какую помощь он и его родные оказали Дантесу, продолжая попрежнему принимать его в своём доме, где он снова получил возможность встречаться с Натальей Николаевной и самым присутствием своим наносить оскорбление Пушкину, который отказался принимать в своём доме не только его, но и свояченицу.

Самой тяжёлой виной Дантеса Карамзин считает его ухаживание за Пушкиной после женитьбы на её сестре. Если так, то ни о самопожертвовании, ни о рыцарском поведении, ни о любви к Екатерине Гончаровой не может быть и речи. А как раз в этом-то Дантес и старался заверить Карамзиных, склоняя их на свою сторону.

Поведение его оказалось сложной игрой. Эту игру ещё при жизни Пушкина понял Жуковский и внёс в свои конспективные записи несколько строк, разоблачающих двуличие и подлость Дантеса.

«После свадьбы. Два лица. Мрачность при ней. Весёлость за её спиной. — *Les Révélations d'Alexandrine* <Разоблачения Александрины>. При тётке ласка с женой; при Александрине и других, кои могли бы рассказать, *des brusqueries* <резкости>. Дома же весёлость и большое согласие».

Биографы по ошибке отнесли эти строки к Пушкину. Только после того, как Е. С. Булгакова по-новому осветила их, стало понятно, что речь в них идёт о Дантесе. Это у него «два лица» после свадьбы, а совсем не у Пушкина. Это он при Наталье Николаевне напускает на себя мрачность, а в её отсутствии весел. Свояченица Пушкина, Александрина, подметила, что при их тётке — Е. И. Загряжской — Дантес ласков с женой, а при ней — Александрине — и при других, кои могут передать Наталье Николаевне, говорит жене резкости. Между тем дома у Геккеренов «весёлость и большое согласие».

Эта подлая игра и разоблачает Дантеса в глазах Александра Карамзина.

Совершенно так же трактует Дантеса и Вяземский: если бы с его стороны, говорит он в одном из своих писем, был порыв страсти, то, оплакивая Пушкина, я не обвинял бы его противника: может проститься грех, «но не всякая подлость!».

Андрей Карамзин в Париже хочет найти оправдание Дантесу. Но Александр уже понял, что Дантес действовал по наущению Геккерена, который плетёт интригу, и он пишет: «не подавай руки».

В этом заговоре важную роль, гораздо большую, чем это было принято считать до сих пор, Александр Карамзин отводит Е. Н. Гончаровой. В его рассказе она выступает как пособница Дантеса и Геккерена, как активный враг; он называет её в числе убийц Пушкина.

С того дня, когда Пушкин, получив пасквиль, вызвал Дантеса на дуэль, аристократия встала на защиту авантюриста и принялась травить Пушкина пуще прежнего. Александр Карамзин возмущён этим. Он ценит и понимает поэзию Пушкина, он называет его врагов «кликлой», «горсточкой низких людей».

Не думай, однако, — приписывает он с краю по-французски, — что всё общество встало против Пушкина после его смерти; нет, только Нессельрод и ещё кое-кто. Другие, наоборот, например графиня Нат<али> Строганова и м-м Нарышкина (*Мар. Яков.*) с жаром выступили на его защиту, что даже повело к нескольким ссорам, а большинство вовсе ничего не говорило — *так им и подобает*.

О том, что в петербургском великосветском обществе ещё при жизни Пушкина образовались две партии: одна — за Пушкина, другая — за Дантеса, рассказывал в своё время секундант поэта Данзас.

Карамзин прав, когда говорит о существовании двух партий и о том, что во главе враждебных Пушкину сил находилась целая «клика». Даже по словам Михаила Павловича, брата царя, Пушкина довели до смерти «подлый образ действий» и сплетни «клики злословия», «конгрегации», которую великий князь называл «комитетом общественного спасения». Известно — об этом пишет профессор Д. Д. Благой, — что великий князь имел при этом в виду салон жены министра иностранных дел графини М. Д. Нессельроде.

Ненависть графини Нессельроде к Пушкину была безмерна и столь же хорошо известна, как и дружеское отношение её к Геккерену и Дантесу, на свадьбе которого она была посажёной матерью. Современники заподозрили в ней сочинительницу анонимного «диплома»: по лотой вражде своей к Пушкину и по моральной низости она была способна на это. Почти вне сомнений, что она — вдохновительница этого подлого документа.

Даже в те дни, когда Николай I, встревоженный проявлением народного сочувствия к Пушкину, счёл нужным продемонстрировать своё охлаждение к Геккерену и выслал ему табакерку с портретом своим — в знак того, что не желал бы более видеть его среди дипломатических представителей, аккредитованных при русском дворе, даже и тогда графиня Нессельроде не отступилась от Геккеренов, а продолжала выказывать им своё расположение и покровительство.

В её салоне в самой откровенной и циничной форме выражалась вражда, которую питало к Пушкину аристократическое общество в целом. В распоряжении исследователей имеется достаточно сведений, разоблачающих зловещую роль в судьбе Пушкина графини Нессельроде. Теперь прибавилось письмо Александра Карамзина.

Однако, если вполне положиться на его слова, что против Пушкина выступали Нессельроде и «ещё кое-кто», можно подумать, что силы противников и сторонников Пушкина были равны. На самом же деле отношение аристократии к Пушкину определяли не друзья, а враги. И не только самые лютые, кто клеветой и злоречием довели его до кровавой раз-

вязки; погубили его и те, которые открыто не выступали, но при его жизни Дантеса поддерживали, а после смерти — оправдывали. Да что же говорить о представителях великосветского общества, далёких Пушкину и враждебных, когда друзья — Карамзины — не встали на его сторону! Больше, чем защитительные речи аристократок, упомянутых Александром Карамзиным, говорят нам письма Андрея и Софьи: в дни, когда каждый грамотный русский проклинал убийцу поэта, они стремились его оправдать! Ничто не обнажает с такой ясностью отношение великосветского общества к Пушкину, как позиция его друзей, разделяющих взгляды этого общества! Много ли было в петербургских гостинных таких, как Александр Карамзин? Дамы, которых он называет?

Первая из них — уже упоминавшаяся в письмах графиня Наталья Викторовна Строганова. Помимо её близости к семейству Карамзиных, зимой 1836/37 года она находилась в дружеских отношениях с Вяземским; вернее всего, что в её отношении к гибели Пушкина отразилась позиция Вяземского.

Что касается Марии Яковлевны Нарышкиной, имя которой в связи с Пушкиным мы встречаем впервые, она не может быть причислена к николаевской знати: её муж — гофмаршал К. А. Нарышкин — находился в оппозиции к правительству Николая; мнений придворной аристократии Нарышкины не разделяли. То, что попытки Строгановой и Нарышкиной встать на защиту Пушкина привели к нескольким ссорам, лишний раз свидетельствует об активности пушкинских врагов.

«Да, конечно, светское общество погубило его!» — восклицал Вяземский, напоминая, что сплетни и анонимные письма приходили к Пушкину «со всех сторон». Что Пушкина убил «неблагожелательный свет» утверждала и Екатерина Мещерская. «В наших позолоченных салонах и раздушённых будуарах, — писала она вскоре после гибели Пушкина, — едва ли кто-нибудь думал и сожалел о краткости его блестящего поприща. Слышались даже оскорбительные эпитеты и укоризны, которыми поносили память славного поэта... и в то же время раздавались похвалы рыцарскому поведению гнусного оболъстителя и проходимца, у которого было три отечества и два имени». Какая точная характеристика барона Дантеса-Геккерена, французского монархиста-эмигранта, усыновлённого голландским дипломатом и обласканного русским двором!

Князь Пётр Вяземский... все эти дни был болен — физически и нравственно, как это с ним обычно бывает, — пишет Екатерина Андреевна сыну 16 марта, — но на этот раз тяжелее, чем всегда, так как дух его жестоко угнетён гибелью нашего несравненного Пушкина; сейчас ему уже лучше, уже два дня, как он стал выходить на прогулку...

Из писем Карамзиных окончательно выясняется, что об отправке письма Геккерену Вяземский узнал вечером 25 января — за два дня до дуэли: Пушкин сам рассказал об этом его жене — Вере Фёдоровне. Даже и не читая письма, Вяземский должен был понимать, что последствием его может быть только дуэль. И всё же, как видно, ничего не сделал для того, чтобы предупредить несчастье. Выходит, что намерение своё отвернуться от дома Пушкиных, о чём мы знаем из письма Софьи Карамзиной, Вяземский выполнил. Сомневался ли он, что может помочь Пушкину? Или не считал себя вправе вмешиваться в «дело чести», которое потом раскрылось ему как результат коварнейших покушений двух негодяев, — этого мы не знаем.

Но когда тело Пушкина после отпевания выносили из церкви, на паперти лежал кто-то большой, в рыданиях. Его попросили встать и постонить. Это был Вяземский.

Память Пушкина он защищал страстно, разрывая отношения с приятелями, которые вели себя в те дни непатриотично или колебались во мнениях. Во всяком случае, никто из людей, окружавших Пушкина в последние годы, не разоблачал с такой энергией, с такой убежденностью, как Вяземский, тайные интриги врагов, гнусность Геккерена и его приёмного сына.

29 марта 1837. С.-Петербург. — Письмо Софьи Карамзиной.

Суд над Дантесом окончен. Его разжаловали в солдаты и под стражей отправили до границы; затем в Тильзите ему вручат паспорт и конец — для России он больше не существует. Он уехал на прошлой неделе, его жена вместе со своим свёкром поедет к нему в Кёнигсберг, а оттуда, как говорят, старый Геккерн намерен отправить их к родным Дантеса, живущим возле Бадена. Возможно, что ты их там встретишь; думаю, мне не нужно просить тебя: «будь великодушен и деликатен»; если Дантес поступил дурно (а только один бог знает, какая доля вины лежит на нём), то он уже достаточно наказан: на совести у него убийство, он связан с женой, которую не любит (хотя здесь он продолжал окружать её вниманием и заботами), его положение в свете весьма скомпрометировано, и, наконец, его приёмный отец (который, кстати, легко может от него и отказаться), с п о з о р о м потеряв своё место в России, лишился здесь и большей части своих доходов...

Бедный Дантес наказан: он не любит жену, Геккерн может от него отказаться, они лишаются русских доходов, на совести у Дантеса — убийство, поэтому надо быть с ним деликатным и протянуть ему руку! Вот опять оно — мнение света! Как раскрываются характеры в письмах! Отношения к Пушкину и к Дантесу разделили семью на два лагеря: Софья и Андрей жалеют убийцу, Екатерина Мещерская и Александр проклинают его, Екатерина Андреевна, оплакивая Пушкина, не говорит о Дантесе ни слова, Вяземский выступает в защиту Пушкина, обвиняет обоих Геккеренов, обвиняет великосветское общество, а его дочь — Мария Валуева — торопится выразить сочувствие Екатерине Дантес...

Так называемые п а т р и о т ы, — продолжает Софья Николаевна, — случалось, начинали у нас разговоры о мести, предавали Дантеса анафеме и осыпали проклятиями, — такого рода рассуждения уже возмущали тебя в Париже, и мы тоже всегда отвергали их с негодованием. Не понимаю, неужели нельзя жалеть одного, не обрушивая при этом проклятий на другого... Если случится тебе встретить Дантеса, будь осторожен и деликатен, касаясь с ним этой темы...

«Патриоты», проклинающие Дантеса, — это те, кто стоял на морозе под окнами Пушкина, кого не пустили в придворную церковь, у кого украли тело поэта, те, которых Софья Карамзина называла «вторым обществом», — демократические круги, «средний класс», являвшийся тогда, по словам Пушкина, «единственно русским».

9 апреля, пятница, С.-Петербург. — Снова письмо Софьи Николаевны Карамзиной.

Жуковский недавно читал нам чудесный роман Пушкина «Ибрагим, Царский Арап». Этот негр до того обаятелен, что ничуть не удивляешься тому, что он мог внушить страсть придворной даме при дворе Регента. Многие черты его характера и даже его облик как будто скопированы с самого Пушкина. Перо писателя остановилось на самом интересном месте. Какое несчастье, боже мой, какая утрата, как об этом не перестаёшь сожалеть...

В рукописи этого неоконченного романа Пушкина заглавия нет. Название «Арап Петра Великого» дано редакцией «Современника», в которую после смерти Пушкина входили Жуковский, Вяземский, В. Одоевский, Плетнёв и Краевский. «Арап» был напечатан в 1837 году, в шестой книжке журнала.

Строчки из письма Екатерины Андреевны от 11 мая.

Чтобы сделать тебе подарок на пасху, записалась для тебя на собрание сочинений Пушкина за 25 рублей.

Среда, 2 июня 1837, Царское Село.

Пишет Софья Карамзина:

На днях я получила письмо от Александрины Гончаровой и Натали Пушкиной... Я ещё раньше писала ей о романе Пушкина «Ибрагим», который нам недавно читал Жуковский, — кажется, в своё время я и тебе говорила о нём, ибо он привёл меня в восторг, — теперь она мне отвечает: «И его не читала и никогда не слышала от мужа о романе «Ибрагим»; возможно, впрочем, что я знаю его под другим названием. Я велела прислать мне все произведения моего мужа, я пыталась их читать, но у меня не хватило мужества; слишком сильно и слишком мучительно волнуют они, когда их читаешь, будто снова слышишь его голос, — а это так тяжело.

Вероятно, Пушкин не читал жене этого неоконченного романа, над которым начал работать задолго до женитьбы — в 1827 году — и к которому позже, видимо, уже не возвращался.

9 июля, С.-Петербург. — Екатерина Андреевна Карамзина.

Хотела послать тебе «Современник», но князь Пётр Вяземский говорит, что послал его ещё в листах м-м Смирновой; надеюсь, она даст тебе почитать.

Речь идёт о пятой книжке «Современника», в которой напечатаны произведения Пушкина, обнаруженные при разборе его бумаг, — «Медный всадник», «Сцены из рыцарских времён» и стихи; «Медный всадник» — с большими пропусками и с переделками Жуковского. Это понадобилось, чтобы провести поэму через цензуру. В том же номере напечатано письмо Жуковского к отцу поэта под названием «Последние минуты Пушкина». И между прочим — стихи Александра Карамзина.

Александра Осиповна Смирнова-Россет, уехавшая за границу в июне 1835 года, хочет знать все подробности о гибели Пушкина, каждую новую строчку его стихов. Вяземский шлёт ей листы «Современника» в Баден, где в это время находится и Андрей Карамзин.

В этот курортный городок, излюбленный русской аристократией, в конце июня 1837 года приехали Геккерен и Дантес. Андрей Карамзин встретил Дантеса на прогулке и... подошёл к нему. «Русское чувство боролось у меня с жалостью», — объяснял он в письме к родным, упрекая брата Александра за то, что тот не пожелал повидать и выслушать убийцу Пушкина. «В этом, Саша, я с ним согласен, ты нехорошо поступил».

Вот ответ Софьи Николаевны Андрею:

17 июля 1837. Царское Село.

Твоё мирное свиданье с Дантесом очень меня порадовало...

О многом говорит это «мирное свиданье». Несмотря на гневные тирады по адресу великосветского общества, Андрей Карамзин слишком разделял понятия этого общества и возвыситься над ними не мог. Он принадеждал свету всецело. И нет ничего удивительного в том, что в 1840-х годах он уже числился адъютантом шефа жандармов. В год гибели Пушкина эта эволюция ещё не завершилась.

Две недели спустя после встречи с убийцей Пушкина Андрей Карамзин танцевал в Бадене на балу, устроенном русской знатью. «Странно мне было смотреть,— пишет он,— на Дантеса, как он с кавалергардскими ухватками предводительствовал мазуркой и котильоном, как в дни былые».

Это сообщение подействовало даже на Софью Николаевну, хотя она и тут показала, что не поняла трагедии Пушкина.

То, что ты рассказываешь о Дантесе, как он дирижировал мазуркой и котильоном,— отвечала она,— даже заставило нас всех как-то вздрогнуть, и все мы сказали в один голос: бедный, бедный Пушкин! Ну, не глупо ли было с его стороны пожертвовать своей прекрасной жизнью? И ради чего?

Это письмо от 22 июля — последнее упоминание имени Пушкина в тагильском альбоме.



Обстоятельства, погубившие Пушкина, были куда сложнее, чем это казалось Карамзиным. Поэта долгие годы губили и в конце концов погубили и унижавшая его придворная служба, и невозможность вырваться из петербургского света и спокойно писать, мелочная опёка царя, грубые нотации Бенкендорфа, борьба с цензурой, литературная травля, интриги бывших единомышленников, дела «Современника», долги, нужда, материальная зависимость от двора, глубокое одиночество, наглость Дантеса, козни его «отца», анонимный «диплом», сплетни и клевета злоречивого общества. Как много доказательств этому содержится в письмах Карамзиных! Огромный интерес представляет даже и то, что уже было известно раньше — от других современников.

Кроме того, тут много нового: в письмах, относящихся к июлю — октябрю 1836 года, находятся сведения о душевном состоянии Пушкина, о его литературно-издательских делах, об отношении его к Дантесу, о той двойной игре, которую Дантес одновременно ведёт с женой и свояченицей Пушкина. Ноябрьские письма помогут нам понять происхождение «диплома» и мотивы внезапного сватовства. Первые сообщения о дуэли и смерти Пушкина представляют собой новое опровержение легенды, сочинённой Жуковским. К документам, разоблачающим заговор «двух негодаев», прибавилось письмо Александра Карамзина.

Почти каждое письмо содержит неизвестные детали, новые даты, имена знакомых Пушкина, прежде нам не известных. Интерес представляют даже и такие бытовые подробности, как цитата из пушкинского стихотворения, употреблённая Александром Карамзиным в обыденной речи («к брегам печальным туманной родины моей»), или его же замечание о том, что «девки» в Красном Селе «валяют Чёрную шаль», в письмах, которые здесь не приводятся.

Воспоминания, записки строятся на отобранных фактах, пишутся потом с «поправкой на время», с учётом сложившихся мнений. Дневник, хотя записи в нём идут «по следам событий», пишется как документ для истории. А письма содержат описание событий, последствия которых большей частью ещё не известны, факты в них ещё не осмыслены; в них передано только первое отношение к событию с теми подробностями, которых не сохранила бы память мемуариста.

В своих письмах Карамзины часто говорят об одном, но каждый из них освещает факты по-своему. Благодаря этому мы видим Пушкина словно в стереоскопе, объёмно. А в совокупности эти письма составляют целую повесть о борьбе и о гибели Пушкина, повесть, и теперь ещё способную возбуждать чувства, с которыми приходили прощаться с Пушкиным его неизвестные почитатели. Пушкин во время дуэли и в дни стра-

даний, прощание с Карамзиной, вереница незнакомых у гроба, толпа на Конюшенной площади в час отпевания, стихи Лермонтова, отправляемые в Париж, письмо Александра Карамзина... Эти и многие другие страницы очень значительны. Такие письма стоят романа.

Понять смысл трагедии, разгадать, в чём причина того состояния Пушкина, которое они так подробно описывали, Карамзины не могли. Не раскрыли этого до конца и другие свидетели, которые понимали, что дело не только в Дантесе, и догадывались, очевидно, и о закулисных действиях Бенкендорфа и о подлинном отношении царя. Вяземский в своих письмах к друзьям настойчиво твердил в те дни о «печальной и загадочной обстановке», намекал на существование тайны, жаловался, что многое осталось в этом деле тёмным и таинственным для него самого и друзей. Но то, о чём догадывался Вяземский, он написать не решался: надо было называть имена. «Сказанное есть сущая, но разве неполная истина», — замечал он в конце обстоятельного письма к А. Я. Булгакову с рассказом о гибели Пушкина. «Предмет щекотлив», — объяснял он в письме к Е. А. Долгоруковой. Убедя сестру Авроры Демидовой — Э. К. Мусину-Пушкину — поверить в подлость Дантеса, поверить, что Пушкина погубили, что кавалергарды, вставшие на защиту Дантеса, покрыли себя позором, Вяземский настойчиво повторял, не приводя никаких доказательств: «Вы не знаете всех данных, не знаете всех доводов... вас должна убедить моя уверенность».

Не один Вяземский опасался писать. А. О. Смирнова, отвечая ему из Бадена, намекала, что и она кое-что знает и хотела бы поделиться своими мыслями о людях и делах, имевших отношение к гибели Пушкина, «но на словах», писала она, «я побаиваюсь письменных сообщений».

Можно было бы привести целый ряд доводов, почему в переписке пушкинских современников невозможно найти ключ к раскрытию этой тайны. Стоит только припомнить жалобы Пушкина, что царь читает его переписку с женой, или то беспокойство, которое побудило Клементия Россета обратиться к Пушкину с просьбой, чтобы он не отсылал по почте свой ответ Чаадаеву.

Все эти заявления и намёки в письмах друзей Пушкина относятся к тому времени, когда даже знаки сочувствия к нему рассматривались, как действия заговорщиков. С этим надо считаться. Тайна существовала. Современники раскрыть её не могли.

Но о ней писал не только Вяземский. О ней говорят и Карамзины. И они допускают существование причин, оставшихся им неизвестными.

Ведь несмотря на то, что, по словам Софьи Карамзиной, Пушкин рассказывал её сестре Е. Н. Мещерской «обо всех тёмных... подробностях» этой истории, она всё-таки кажется им «таинственной».

Хотя Жуковский и пеняет Пушкину за то, что он рассказал Карамзиным «всё», они утверждают, что «суть» истории непонятна и «никому не известна». Пушкин убит, а история и после смерти его продолжает казаться им «тёмной». Анонимное письмо Софья Николаевна называет «явной причиной несчастья». Значит, подозревает и тайные. Подозревает, потому что причины явные — поведение Дантеса — ещё не объясняют им состояния Пушкина. «Время откроет более», — писал Александр Тургенев.

В 1926 году исследователь дуэли и смерти Пушкина Б. В. Казанский выдвинул гипотезу, что пасквиль, полученный Пушкиным по городской почте, связывал имя жены Пушкина с именем Николая. И что Пушкин понял этот намёк. Независимо от Казанского с этой гипотезой выступил П. Е. Рейнбот. Её принял П. Е. Щёголев, поддерживал и развивал М. А. Цявловский.

Новые письма не поддерживают, но и не опровергают этой гипотезы. Зато они подтверждают главное, то, что открыло наше время и доказали

советские исследователи, — политический характер гибели Пушкина. Версия о семейной драме оказалась несостоятельной. Пушкина убило великосветское общество. Оно сочувствовало наглому искателю приключений, поддерживало грязного интригана, улыбалось выходке негодяя, выведившего каллиграфические буквы скабрёзного документа. Оно хотело гибели Пушкина, оно её подготовило.

И не так уж важно в конце концов, чьей рукой переписан документ, отравивший существование Пушкина. Кроме князя Долгорукова, рассылкой анонимных писем осенью 1836 года занимались молодой князь Урусов, молодой граф Строганов, молодой Опочинин... В великосветском обществе это считалось весёлой забавой. Враги Пушкина превратили эту забаву в орудие казни. Письма Карамзиных оживляют наши знания множественностью новых подробностей, проясняют наши представления о жизни Пушкина среди беспощадного к нему света.

И потому, что мы понимаем Пушкина лучше, чем понимали Карамзины, и знаем исход, которого Карамзины не предвидели, этот домашний разговор в письмах производит огромное впечатление. Он вызывает такие горькие сожаления, он будит, подымает в нас чувства такой бесконечной любви, которая уже давно доказала, что Пушкин бессмертен.

Вот какие материалы отыскивались в Нижнем Тагиле. Вы, может быть, скажете, что это случайная находка. Да в том-то и дело, что не случайная: такое происходит в Тагиле уже не впервые.

В 1924 году в одном из домов, которым прежде владели Демидовы, обнаружилась старинная картина, изображающая мадонну с младенцем, с подписью «Рафаэль Урбинас...»: она хранится теперь в Москве, в Музее изобразительных искусств имени Пушкина. Высказывалось мнение, что это «Мадонна», которую Рафаэль написал в 1509 году для церкви «Мария дель Пополо» в Риме, — она исчезла оттуда ещё в XVI веке. Потом её видели в Риме у кардинала Сфондрато... Автор этой гипотезы академик И. Э. Грабарь думает, что кто-то из Демидовых, собравших во Флоренции огромные художественные богатства, привёз «Мадонну дель Пополо» в Нижний Тагил. Другие специалисты не видят достаточных оснований считать «Тагильскую мадонну» творением великого Рафаэля. Но как бы то ни было, картина эта принадлежит кисти старого итальянского мастера, и мастера замечательного. Такая находка делает честь Тагилу. А тут ещё письма... Пожалуй, найдётся ещё что-нибудь в этом же роде! Впрочем, Тагил не один. Есть и другие города на советской земле — большие и малые. Стало быть, скоро услышим о новых находках.

ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ТЕХНИКИ

Инженер А. МАРКИН

★

ЭНЕРГЕТИКИ СКЛОНЯЮТСЯ НАД КАРТОЙ МИРА

Семь чудес света.

За несколько миллиардов лет своей жизни Земля написала гигантское многотомное сочинение.

Каждый пласт земной коры раскрывает нам автобиографию этого великого зодчего — тайны образования элементов, эволюции органической жизни. И только в последнем томе, охватывающем неслыханно длительные геологические события, появляется человек. Тысячелетия уходят на то, чтобы он научился пользоваться чудодейственным пламенем огня, делать примитивные орудия труда, строить жилища. Какой неизмеримо долгий период драматической борьбы с природой, накопления опыта, первоначальных познаний материального мира!..

Люди давно ушедших эпох оставили после себя монументальные памятники, и ныне изумляющие смелостью масштабов, изобретательностью и мастерством исполнителей. И в наши дни взгляд инженера, перелистывающего пожелтевшие страницы человеческой истории, подолгу останавливается на этих причудливых сооружениях.

В древнем мире насчитывали «семь чудес света». Самым старинным чудом строительного искусства была огромная пирамида — гробница египетского фараона Хеопса (3-е тысячелетие до н. э.). Другим выдающимся сооружением мировой архитектуры являлись Вавилонские висячие сады. Четыре памятника построили греки: храм Дианы Эфесской, гробницу царя Мавзола, исполинскую медную статую бога солнца — Колосс Родосский и статую Зевса Олимпийского, богато украшенную золотом и слоновой костью. Из семи уникалов, стоивших народу колоссальных усилий, только Фаросский маяк, построенный египтянами, был полезен людям.

Принося огромные человеческие жертвы, заставляя армии рабов осуществлять свои эгоистические прихоти, владыки народов хотели шагнуть через века и гордо заявить потомкам о бессмертии своих дел.

На этом, однако, не кончается архитектурное творчество далёкого прошлого. Несколько веков создавалась Великая Китайская стена — грандиозный памятник зодчества Древнего Китая. Длинной около четырёх тысяч километров и высотой до десяти метров, она сплошным поясом защищала северные границы страны от набегов кочевников. Множество людей трудилось над созданием знаменитых римских дорог.

А разве мы знаем, сколько памятников древности похоронено землетрясениями, скрылось в пучине океана или засыпано песками?..

Шли годы, мужали знания человека, всё шире раскрывались крылья науки, поднимая высоко вверх инженерную мысль.

Но потребовалось всё же немало времени, прежде чем Запад — уже с большим запасом технического опыта — мог создать свои «семь чудес». Неизвестно, кто первый произвёл их отбор. Назывались построенный более четырёхсот лет тому назад Римский собор святого Петра, триумфальная арка в честь побед Наполеона I, Суэцкий канал, трёхсотметровая Эйфелева башня, Фортский мост и Сен-Готардский тоннель. Седьмым образцом инженерного искусства считали постройку англичанами огромных пароходов-близнецов «Олимпик» и «Титаник».

На ранних ступенях строительного дела человек был главным источником энергии. Египетские цари использовали рабов на тяжёлых оросительных работах и для сооружения себе вечных памятников. Сроки строительства исчислялись поколениями. Пирамиду Хеопса с объёмом каменной кладки 2650 тысяч кубометров строили сто тысяч человек (не считая стольких же погибших) в течение четверти века.

Даже сооружения конца прошлого и начала нынешнего века отличались широким применением ручного труда. Тридцатичетырёхлетнее строительство Панамского канала велось средствами весьма примитивной техники. Крупнейшая гидроэлектростанция США Гранд-Кули строилась почти двадцать пять лет, а другая крупная ГЭС — Боулдер-Дэм — двадцать лет.

На крупнейшем строительстве России — прокладке железной дороги Москва — Петербург все земляные работы почти полностью были произведены вручную. Тяжкий, изнурительный труд! Вспоминаются слова Н. А. Некрасова:

Губы бескровные, веки упавшие,
Язвы на тощих руках,
Вечно в воде по колено стоявшие
Ноги опухли; колтун в волосах;
Ямою грудь, что на заступ старательно
Изо дня в день налегала весь век...

Рабочие гибли массами, их хоронили тут же вдоль трассы. «А по бокам-то всё косточки русские..: Сколько их! Ванечка, знаешь ли ты?»

Двенадцать тысяч землекопов, работая изо дня в день на протяжении восьми лет, пользуясь только лопатами и тачками, вырыли и уложили в насыпи свыше ста миллионов кубометров грунта.

В наше время несколько 14-кубовых экскаваторов, управляемых всего лишь сотней людей, могли бы выполнить такую работу в течение одного года или даже скорее. Мы знаем, что сложнейшее сооружение Куйбышевского гидроузла с объёмом земляных работ полтора миллиона кубических метров и бетонной кладки около восьми миллионов кубических метров было произведено в течение пяти лет. За три года советские строители, вооружённые новейшей техникой, построили Волго-Донской канал и Цимлянский гидроузел.

Масштабы и темпы современного строительства обязаны росту механизации и электрификации. Выполнение тяжёлых и трудоёмких работ мы перекладываем на плечи могучих механизмов. Свыше 80 процентов советских строительных машин приводятся в действие электродвигателями и менее 20 процентов — паровыми и дизельными двигателями. На новых строительствах на одного рабочего приходится более 20 киловатт мощности машин. Киловатт энергии способен заменить физическую силу двадцати человек; значит, каждый строитель имеет в своём распоряжении 400 механических помощников. Огромная, невиданная ранее сила!..

Всё это говорит о том, что уровень современной науки и техники, могущество атомной энергии позволяют практически решать проблемы исполинских масштабов. Мы живём в эпоху великих преобразований и научных открытий, пролагающих пути к небывалому расцвету культурной и материальной жизни человечества.

Представим себе, что тысячи учёных, инженеров, архитекторов, экономистов многих стран объединили свои творческие усилия, нацелили свои мысли на проекты сооружений международного значения. Такого рода техническое сотрудничество государств даст возможность воплотить в жизнь самые дерзкие мечты во имя блага человечества.

В наш век не существует изолированных друг от друга стран, государств-одиночек. Все уголки мира связаны нитями экономического и культурного наследия, преемственности прогресса. Тем самым облегчается задача выполнения грандиозных совместных работ. Ведь люди, как сказал Н. С. Хрущёв, живут на одной планете, «и хочешь — не хочешь, а как-то ужиться надо... А жить — это значит сосуществовать».

Перспективы и реальные возможности роста энерговооружённости поистине неограниченны. Значит, уже теперь можно ставить такие цели, в осуществлении которых заинтересованы народы всего мира. Бурное развитие энергетики и электрификации — прочный залог этому. Живым и ярким примером покорения стихийных сил и преобразования природы может служить наша страна.

На пути от 1920 до 2000 года.

Советская энергетика создана заново. За последние тридцать пять лет производство электроэнергии в СССР увеличилось в 332 раза по сравнению с тем временем (1920), когда наш народ, вдохновляемый В. И. Лениным, приступил к электрификации страны. За годы Советской власти построено и введено в действие свыше 300 электростанций, не считая множества мелких.

Если в 1926 году Советская страна с большим напряжением сил могла построить Волховскую гидроэлектростанцию под Ленинградом, то уже через шесть лет наши рабочие, специалисты выдержали большой экзамен, введя в действие Днепровскую ГЭС, которая и поныне держит первенство крупнейшей в Европе. Теперь в строй входит ещё более крупная станция — Куйбышевская ГЭС, а её мощность перекроет вступающая в эксплуатацию в 1956 году Сталинградская ГЭС. Но не пройдёт и пяти лет, как в сибирской дремучей тайге, на реке Ангаре, поднимется новый гигант — Братская ГЭС. Она будет иметь мощность более трёх миллионов киловатт и будет ежегодно давать больше электроэнергии, чем Куйбышевская и Сталинградская гидроэлектростанции, вместе взятые.

В истекшем году, кроме Куйбышевской, стали давать ток ещё четырнадцать крупных гидроэлектростанций. Из года в год в нашей стране увеличивается количество и тепловых электростанций. Второй год успешно работает первая в мире атомная электростанция, вслед за которой появятся и другие, с большей мощностью — 50—100 и более тысяч киловатт.

Примечательно, что за пятую пятилетку Советское государство прирастило такую мощность, какую, например, Англия или Франция не были в состоянии создать в течение всей истории развития энергетики.

Однако нужно помнить, что производство электроэнергии — это лишь часть энергетики, правда, наиболее революционная, прогрессивная и быстрорастущая. Если мы говорим об энергетике в широком понимании этого слова, то она охватывает также и всю массу различных двигателей: двигатели внутреннего сгорания, паровые машины и газовые турбины, водяные и ветровые двигатели.

Совершенно очевидно, что масштабы производства энергии в СССР будут неуклонно расширяться. В семидесятых годах электробаланс нашей страны достигнет, вероятно, порядка 750—1000 миллиардов киловатт-часов.

Новые энергетические гиганты позволят вплотную подойти к осуществлению самых смелых проектов. Советским инженерам есть о чём поразмыслить. И это не туманные мечты фантастов в часы досуга. Это уже неотложная работа, подлинно научная, которую надо делать изо дня в день. Люди, участвующие в этой работе, вряд ли смогут спокойно спать ночью — столь величественны будут задачи, поставленные перед ними. Предстоит немало порыться в отечественной и зарубежной литературе, быть может, лишний раз заглянуть в далёкое прошлое, заинтересоваться памятниками мировой архитектуры, подчас «ошарашивать» маститых учёных неожиданными вопросами, прорубаться сквозь чаши материалов, плутать и звать на помощь товарищей смежных специальностей. Во всём этом деле потребуются не только солидные знания, но и воля, но и большое сердце, неугасающий энтузиазм. Только так рождаются богатейшие идеи и планы.

...Карта нашей Родины. Вы отмечаете карандашом то, что уже сделано народом, всматриваетесь в будущее. Карта вдруг расцвечивается новыми яркими красками.

Вот европейская часть СССР. Здесь уже чувствуется недостаток воды. Её придётся подвести мощным потоком с севера. Будем решать проблему переброски части стока северных рек — Печоры, Мезени, Северной Двины и её притока Сухоны — в русла рек, впадающих в южные моря. Это нужно для резкого подъёма энергетики, судоходства, водоснабжения и орошения, для рыбного хозяйства и многих других целей.

Всё быстрее растёт потребность в металле. Пора разбудить знаменитую Курскую магнитную аномалию, в недрах которой лежит половина мирового фонда железной руды. В этом районе возникнут два-три советских Рура.

Нужно поднять сказочные богатства Сибири. Как же это сделать? В битве с природой мы выдвинем вперёд энергетика в тесном единстве с металлургией и транс-

портом. На великих сибирских реках возникнут каскады гигантских гидроузлов, в сибирских равнинах появятся уникальной мощности тепловые и атомные электростанции. Мы создадим искусственные моря и оросительные системы, перебросим часть сибирской воды в среднеазиатские пустыни.

Единая энергетическая система охватит центральную, южную части страны и Урал. В дальнейшем станет возможным объединение энергосистем Сибири, Дальнего Востока и других районов Советского Союза.

Далее — строительство сверхмагистральных путей. Они соединят четырнадцать морей и три океана — Атлантический, Северный Ледовитый и Тихий. К этому основному костяку сообщений прикнётся свыше ста тысяч километров железнодорожных, речных и морских магистралей, грандиозная сеть всякого рода подъездных путей. Проблема транспорта в нашей необъятной стране будет решена.

Приоткрывая завесу будущего, мы можем очертить лишь контуры дальнейших преобразований нашей страны. Какое необозримое поле грандиозных, вдохновенных работ!..

А если объединить в интересах человечества потенциальные возможности многих других стран? Если сложить воедино для совместных созидательных целей энергетические балансы таких, например, государств, как СССР, Соединённые Штаты Америки, Англия, Франция и т. д.?

И вот энергетики склоняются над картой мира...

Научные эскизы.

Из материалов Женевской конференции, посвящённой мирному использованию атомной энергии, можно узнать, что в настоящее время все страны мира производят 29 000 миллиардов условных киловатт-часов (в переводе всех видов энергии в электрическую). На конференции приводились соображения о будущем развитии энергетики. Так, представитель Гарвардского университета Мэсон считает, что в 2000 году мировое производство энергии может достигнуть 84 000 миллиардов условных киловатт-часов. Не будем рассуждать о точности этих цифр. Важно другое: этих масштабов достаточно для того, чтобы, казалось, самые несбыточные инженерные проекты международного значения приобрели вполне практический смысл. Конечно, основным условием разработки их является тесное, согласованное научно-техническое сотрудничество народов.

Советский Союз всегда стремился и стремится к такому содружеству, чтобы объединить волю и усилия наций для решения проблем увеличения богатства, культуры и процветания всего человечества. Ещё в 1921 году В. И. Ленин поручил Г. М. Кржижановскому организовать крупных специалистов и учёных для разработки проекта железнодорожной электромагистрали Лондон — Париж — Берлин — Варшава — Москва — Пекин. Ленин, как никто другой, ясно видел, какую величайшую роль может сыграть электрификация в развитии производительных сил. Он говорил о создании общего плана электрификации ряда стран в интересах их экономического и культурного подъёма.

Существует много интереснейших идей, имеющих большое экономическое значение для человечества. Есть несколько вариантов проекта строительства межконтинентальных путей сообщения, планов соединения морей и океанов, сооружения международных сверхвысоковольтных линий электропередач.

Проблема орошения пустынь давно волнует человеческие умы. Известно, что во всём мире орошается примерно 100 миллионов гектаров. Но эта площадь составляет лишь два процента территории всех пустынь. Под культурными посевами и насаждениями занято пока что едва ли десять процентов всех земель нашей планеты.

Инженерная мысль упорно трудилась над разными вариантами. Ставилась, например, такая задача: нельзя ли соединить каналом низменные части Туниса, Алжира и западной части Триполи (лежащие ниже уровня моря) со Средиземным морем. В Северной Африке тогда образовался бы внутренний водоём площадью 250 тысяч квадратных километров. Испарения увлажнят климат.

Другой проект рассчитывает использовать огромные запасы подземных вод для орошения и хозяйственного освоения Сахары. Есть предложение направить воды реки

Конго так, чтобы превратить озеро Чад в гигантское водохранилище. Это позволит оросить 60 миллионов гектаров пустынных земель.

В 1950 году египтянин Д. Ж. Полл предложил провести 75-километровым каналом воду из Средиземного моря в Каттарскую впадину, в Ливийской пустыне.

Учёный Герман Зергель выдвинул идею сооружения грандиозного гидроузла в Гибралтарском проливе с плотиной длиной в 29 километров и высотой до 35 метров. Уровень моря вследствие испарения понизится на 200 метров. Освобождается от воды площадь в 600 тысяч квадратных километров. Этого перепада воды достаточно для создания гидроэлектростанции мощностью 100 миллионов киловатт.

Новая энергетика даст возможность смелее подойти к тем сокровищам, которые лежат под нашими ногами. Дело в том, что кора Земли изучена лишь на небольшую глубину. А ведь все элементы, находящиеся в ней, имеют колоссальное экономическое значение. Это неисчерпаемый склад промышленного сырья, который ждёт приложения высшей техники.

Много, очень много есть проблем, привлекающих внимание учёных. Вот одна из наиболее интересных.

Проект сооружения в Беринговом проливе.

Поколения людей задумывались о том, как неудачно сложилась «отопительная система» для Северо-Восточной Азии и всей Северной и Западной Америки.

Новая Земля отклоняет тёплое Атлантическое течение от берегов Азии. Чем дальше отходит оно от берегов, тем глубже и шире сковывает вечная мерзлота материк Азии. И вот около 90 градуса долготы, там, где течёт Енисей, фронт вечной мерзлоты внезапно делает крутой поворот к югу. Что случилось? Оказывается, Атлантическое течение достигло центральной глубоководной части Ледовитого океана и, погрузившись вглубь его пучин, потеряло своё влияние на климат Северо-Восточной Азии.

Только на широте 46—47 градуса, где-то юго-западнее Новосибирска и дальше, южнее Хабаровска, линия вечной мерзлоты плавно идёт к северо-востоку, покидая берега Азии. Такое явление понятно. В этом месте происходит борьба тёплого течения Куро-Сиво с холодным Камчатским течением, в результате которой Куро-Сиво терпит поражение и отходит, предоставляя всю северо-восточную часть Азии, а также северо-западные районы Америки влиянию Ледовитого океана и его «филиала» в Тихом океане — Берингова моря. Получается как бы мешок, в который заключает Берингово море июльская изотерма, целиком огибающая его по границе Алеутских островов.

Результат поведения Гольфстрима в Атлантическом и Куро-Сиво в Тихом океанах резко, как на диаграмме, вычерчен линией вечной мерзлоты. Каждый изгиб, каждый поворот этой линии с изумительной точностью отмечает зависимость климата от морских течений. Так идёт борьба тепла и холода на гигантских пространствах.

К этому нужно добавить, что Евразия и Северная Америка обращены своими широко развёрнутыми фасадами к Ледовитому океану, а их «неудачно» расположенные горные хребты открывают холодным арктическим ветрам с Ледовитого океана три четверти территории Европы, две пятых — Азии и четыре пятых — Северной Америки. По существу вся Северо-Восточная Азия зажата в тисках трёх «холодильников» — Ледовитого океана, Берингова и Охотского морей.

Долго, настойчиво, терпеливо, всё более накапливая знания и технические ресурсы, готовится человек к решительной схватке с холодом. Учёные ищут на карте Северного полушария опору для великих преобразований; изучается обширный материал наблюдений и фактов.

Научная мысль всё чаще обращается к Берингову проливу. И это не случайно. Пролив разделяет два огромных материка — Евразию и Америку, является как бы открытыми воротами между двумя океанами: самым большим и самым тёплым — Тихим, и самым малым, но самым холодным — Северным Ледовитым.

Русский инженер А. И. Шумилин предложил идею грандиозного международного сооружения. По его замыслу, Берингов пролив может быть перекрыт плотинной-мостом. Это вполне возможно, тем более, что ширина пролива не превышает 85 километров, а средняя глубина составляет всего лишь 40 метров.

По плотине пройдёт сверхэлектромагистраль Лондон (тоннель под Ламаншем) — Париж — Берлин — Варшава — Москва — Иркутск — Берингов пролив — Вашингтон с ответвлением на Пекин. Вместе с тем, по мысли автора, эта гигантская перемычка прекратит доступ льдов и холодных вод Ледовитого океана в Тихий.

Каким же способом это можно осуществить?

В плотине монтируются сотни мощных пропеллерных насосов, которые будет приводить в действие атомная электростанция. Таким образом может быть создано тёплое искусственное течение, равноценное Гольфстриму. Плотина должна пропускать ежегодно поток тёплой воды в количестве около ста тысяч кубических километров. Много ли это? Укажем для сравнения, что Атлантическое течение ежегодно вливает в северо-европейские моря около полтораста тысяч кубических километров тёплой воды, что существенным образом сказывается на всех явлениях в этих морях и в омываемых ими странах.

Организованное людьми новое Тихоокеанское течение будет последовательно отеплять расположенные цепочкой Берингово море, Берингов пролив, Чукотское море, соответствующую часть Ледовитого океана. Появится возможность преобразовать и приблизить климат материков Азии и Северной Америки к климату соответствующих им по широте частей Европы, охватываемых Гольфстримом, Атлантическим течением и его северными ветвями.

Искусственное течение как бы восстановит более «справедливое» распределение тепла в природе. В самом деле, ведь вся Северо-Восточная Азия и часть Северо-Западной Америки имеют по своему географическому положению определённое сходство с Северо-Западной Европой, которое выражается в расположении в одних и тех же широтах крупных массивов суши в виде материков, полуостровов, островов, а также омывающих эту сушу морей.

Прекратив доступ льдов и холодных вод из Ледовитого океана в Тихий, мы сделаем его в основном незамерзающим. Тихоокеанский поток тепла уничтожит холодное Камчатское течение. Охотское море, ныне отделённое этим течением от Тихого океана и Куро-Сиво, резко потеплеет.

Сооружение в Беринговом проливе, грандиозное как по своим масштабам, так и по значению, сильно смягчит климат Арктики и прилегающих к ней материков, прогонит вечную мерзлоту. Более того, с помощью этой мощной установки можно будет разгромить знаменитый Сибирский антициклон и ликвидировать условия формирования колоссальных масс холодного арктического воздуха. Тем самым не только Азия и Северная Америка, но и частично Европа избавятся от холодного дыхания Арктики.

Освобождение от льдов нашей северной и северо-восточной прибрежной морской полосы раскрывает такие необъятные перспективы, сулит столь большие экономические выгоды, что сейчас просто нет возможности оценить их во всём комплексе. Полярное побережье — основная по протяжённости морская граница СССР. Реки, орошающие две трети поверхности Советского Союза, имеют сток к Полярному морю. С организацией искусственного тёплого течения становятся реальностью интенсивные круглогодичные связи с отдельными бассейнами, выход на мировые океанские дороги Сибири, этого всё более распрямляющего свои могучие плечи индустриально-аграрного колосса.

Наряду с этим произойдут существенные изменения и в географии побережья Северной Америки, которое находится сейчас в тяжёлых климатических условиях. Дело в том, что единственная здесь река, Макензи, неся свои воды в Северный Ледовитый океан, оказывает ничтожное влияние на ледовой режим этого побережья.

Несколько лет назад эта идея, не встречая принципиальных возражений со стороны видных советских энергетиков, в то же время вызвала сомнения в возможности обеспечить гигантские насосы Беринговой плотины необходимым количеством электроэнергии. Но теперь положение другое. Развитие ядерной физики, реальность сооружения крупных атомных электростанций — всё это открывает широкий путь к небывалому изобилию электроэнергии, несравнимому ни с чем ростом производительности труда.

Конечно, предлагаемая идея создания в Беринговом проливе «фабрики климата» требует дальнейшей разработки, тщательных научных расчётов. Всё это можно значительно ускорить путём привлечения для совместных исследований инженеров и учёных заинтересованных стран.

По воле человека.

Поколения людей могли не замечать в географии нашей планеты никаких изменений. Казалось, веками всё остаётся по-старому, неизбежно, и нет сил, которые могли бы преобразовать земную поверхность. Теперь мы знаем, что это вовсе не так. Потoki воды размывают и уносят в моря и океаны целые хребты. Морские волны подкапываются под материки. Ветер делает свою работу. Происходят поднятия и опускания земной коры. Меняются русла рек и их направления, становятся иными очертания морей и океанов. Всё течёт — всё изменяется.

И человек стоял над Рекой Времени, тщетно пытаясь разгадать его непостижимую тайну. Ещё величайший философ древности, Аристотель, писал о том, что среди неизвестного самым неизвестным в окружающей нас природе является время, так как никто не знает, что такое время и как им управлять.

В сочинении одного арабского писателя средних веков есть такой рассказ аллегорической личности:

«Однажды я проходил по улицам весьма древнего и удивительно многолюдного города и спросил у одного из жителей, давно ли он основан. Действительно, это великий город, — отвечал он, — но мы не знаем, с какой поры он существует, да и наши предки тоже ничего не знали об этом!

Пятьсот лет спустя я снова проходил по тому же самому месту и не заметил ни малейших следов города. Я спросил у крестьянина, косившего траву на месте прежней столицы, давно ли она разрушена. Станный вопрос, — отвечал он. — Эта земля никогда ничем не отличалась от того, как ты теперь её видишь! — Но разве прежде не было здесь богатого города? — спросил я. Никогда, — отвечал он, — по крайней мере мы никогда его не видели, да и отцы наши никогда нам ничего об этом не говорили!

Возвратившись ещё через пятьсот лет, я нашёл море на том же месте и на берегу его толпу рыбаков, у которых спросил, давно ли земля эта покрылась водою. Тебе ли об этом спрашивать, — сказали они, — это место всегда было таким же морем, как теперь.

Спустя ещё пять веков я опять возвратился и не нашёл моря. Спросил у стоявшего тут человека, давно ли произошла такая перемена. Я получил ответ такой же, как и прежде. Наконец, через такой же период времени я опять пришёл туда и нашёл цветущий город. Он был ещё многолюднее и богаче постройками, чем тот, который я видел в первый раз, и когда осведомился о времени его происхождения, то жители отвечали мне: начало его теряется в глубокой древности; мы не знаем, давно ли он существует, и отцы наши так же, как мы, ничего не знали об этом».

Современная геология накопила огромный материал, стали известными возраст Земли и её биография, составлена геохронологическая таблица, которая ведёт счёт отдельных исторических периодов на сотни миллионов лет.

Но Земля «работает» исключительно медленно. Природные процессы совершаются в темпах, которые подчас вовсе не устраивают человечество. «Для природы время — ничто, — писал Ламарк. — В этом нет затруднения, она всегда имеет его в своём распоряжении, и оно является для неё тем средством, при помощи которого она выполнила и свои самые великие и свои самые ничтожные дела. Для всей эволюции Земли и живых существ природе необходимы только три элемента: пространство, время и вещество».

Двадцатый век идёт под знаком ожесточённой борьбы науки и техники за возможность «убыстрить» время. Достигнуто уже многое. Связь и передача электроэнергии осуществляются со скоростью 300 тысяч километров в секунду. Люди добились того, что воздушный транспорт покрывает пространства со сверхзвуковой скоростью. Гигантски сократились сроки выполнения сложнейших научных исследований. Радиус открыт на пороге нашего века. Прошло немного времени, и учёные научились получать искусственным путём радиоактивные изотопы. Затем в руках человека появилась электронная лампа, он освоил телевидение, поставил себе на службу радиолокацию. Всего десять лет назад наука начала овладевать внутриатомной энергией, а теперь уже действует первая атомная электростанция.

Учёные с величайшим упорством проникают в тайники природы. Они переносят принципиальные схемы естественных процессов в лаборатории и ускоряют эти процессы. Чтобы создать алмаз, природе нужны сотни миллионов лет. В современной промышленности для этого достаточно нескольких часов. То же можно сказать о жидком топливе, горючем газе, многих материалах.

Всё больше раскрывая «секреты» природы, наука могучими средствами техники, так сказать, сдвигает календарь времени, ставит перед человечеством самые заманчивые проблемы.

В геологической истории Земли было немало крупных событий, прежде чем она приобрела современный облик. Случилось так, что природа стёрла с Северного полушария почти все живые краски. На огромном пространстве установилось постоянное безмолвие, почва глубоко — на десятки и сотни метров — скована вечной мерзлотой.

Всегда ли было так?

Учёные неопровержимо установили, что в глубоком прошлом на территории Северной Америки и Сибири были влажные субтропики. Там росли пальмы, лавры, магнолии и смоковницы. Исключительно богатая растительность оставила нам наследство в виде угольных бассейнов. Теперь трудно даже представить себе, что в Северо-Восточной Европе, например там, где ныне находится Московская область, некогда шумели тропические леса, резвились стаи обезьян, перепархивали с дерева на дерево разноцветные попугаи.

Когда узнаёшь об этих фактах, невольно думаешь: «А ведь кеплохо было бы вернуть Северу, хоть частично, благодатный климат прошлого!» В самом деле, нельзя ли, опираясь на достижения мировой науки, используя атомную технику, активно вмешаться в прихотливую игру тепла и холода, произвольно перетасовывать водные и воздушные течения на Земле?

На этот вопрос наука даёт положительный ответ. Можно сказать, что теперь человечество нашло магический ключ, который откроет ему пути для радикальной переделки природы. Этот ключ — сила ядерных реакций.

Рельеф суши дна морей и океанов — главное условие образования климата. Если у людей появятся средства выправлять в желаемом направлении контуры земной поверхности, значит, можно говорить и о преобразовании режима погоды в отдельных районах. Иногда даже незначительный естественный барьер преграждает путь тёплому воздушному или водному течению. Иногда, напротив, такая преграда понадобилась бы нам, чтобы защитить себя от леденящих потоков.

Нет сомнений, что научная мысль найдёт решение и этой проблемы. Когда-либо будет всё же создан искусственный круговорот течений от жаркого экватора через всю «отопительную систему» Северного полушария и обратно. При помощи грандиозных атомных взрывов в толще земной коры мы сможем провоцировать вулканическую деятельность. В океане будут «построены» новые острова, огромные дамбы, на суше — горные хребты. Ядерная энергия даст возможность людям пробивать широкие ущелья в горах, быстро сооружать крупнейшие каналы, искусственные водоёмы и моря.

Трудно охватить мысленным взором то, «что тогда будет». Осуществление на всём земном шаре инженерных проектов, основанных на широком использовании атомной энергии, откроет как бы вновь целые континенты с чудесным климатом и замечательными природными богатствами. Расцветятся изумрудной зеленью садов и полей, мириадами огней ранее холодные, безжизненные края «вечного безмолвия». По живописным просторам потекут обновлённые реки, пересечённые мостами автострад и межконтинентальных электромагистралей. Тысячи новых городов будут пользоваться плодами мирного труда.

Объединив усилия учёных и инженеров всех стран, мы сможем в полной мере овладеть стихиями и превращать их в производительные процессы. И тогда природа, великая и могучая, послушная и ласковая, щедро осыплет человечество неисчислимыми благами.



Т Р И Б У Н А П И С А Т Е Л Я

С. ЗАЛЫГИН

★

МЫСЛИ ПОСЛЕ СОВЕЩАНИЯ

Прошло, отшумело Всесоюзное совещание литераторов, пишущих на колхозные темы! Разъехались по местам его делегаты, занялись своими делами, но мысли, вызванные докладом, речами, спорами выступавших, не уходят из головы...

Широкое совещание писателей, посвящённое теме, которая вас волнует, тревожит, влечёт, разговор по тем самым вопросам, которые вы так или иначе уже выразили в своих очерках или романе, в любом другом жанре или ещё только обдумываете, ещё только укладываете в замысел,— это очень значительное событие для каждого участника...

Кто знает, быть может, это начало какой-то новой, более действенной формы работы нашего Союза писателей?

Конечно, ни одно совещание никогда не может привести всех его участников к совершенно определённым, от «а» до «я» законченным решениям и мнениям, тем более в такой области, как литература.

Наоборот, только кончится совещание, как появляются новые мысли и соображения, словно нарочно запоздавшие на один день...

На помощь приходит газета или журнал, в котором можно продолжить своё выступление, «взяв за основу», как говорится, стенограмму.

Прошедшее совещание ближе всего стоит к совещанию производственному, на котором люди хотят поучиться друг у друга, приобрести новые знания и навыки.

Но если бы писательское совещание происходило именно так, то на нём, вероятно, возникли бы разговоры, которых явно не хватало,— о творческом опыте, о том, как было создано то или иное произведение.

Писатель приехал в колхоз, он увидел там множество самых различных фактов, которые, кстати говоря, все видит, не только он; но вот писатель отобрал из всего того, что мы называем иногда «обстановкой», какие-то самые существенные для него факты. Возник замысел произведения. Писатель что-то домыслил, создал план повести, очерка, романа, потом этот план не один и не два раза менял, снова приехал в тот же или теперь уже в другой колхоз, потом прочёл произведение своего товарища по перу, и это навело его на новые размышления, прочёл партийные документы, ряд газетных статей, создал первый вариант, потом второй, может быть, третий... Сколько их — этих тысячу раз повторённых и всё-таки неизведанных путей и способов создания художественных произведений?!

И вот об этих-то путях, таких глубоко личных и в то же время общественных, обязательно должен идти разговор на каждом писательском производственном совещании. В этом отношении писателям больше нужно учиться у своих героев — трактористов, механиков, металлургов; там лишь только человек достиг заметного результата, как он уже стремится сделать своё достижение достижением других: всего завода или колхоза, всей страны, всех друзей за рубежом.

Всё это — некоторые пожелания организаторам подобных совещаний на будущее. Причём, пожалуй, самое существенное пожелание заключается в том, чтобы и впредь писатели чаще имели возможность вот так собираться, спорить, обмениваться мнениями.

* *
*

Есть самые различные манеры письма на одну и ту же тему, с одной и той же принципиальной целью, различное умение видеть одну и ту же жизнь, различные вкусы к фактам, которые мы называем литературным материалом.

Вот мне и хотелось поговорить о двух разных авторах, разных по содержанию их книг, по творческой манере, — о Валентине Овечкине и Галине Николаевой.

Речь идёт о произведениях авторов за последние два-три года. Очень коротко можно сказать так: Г. Николаева рассказывает нам о душевном состоянии людей, часто пренебрегая при этом конкретностью тех проблем и задач, которые эти люди решают («Повесть о директоре МТС и главном агрономе»), а В. Овечкин ставит и решает проблемы, не всегда заботясь о душевной деятельности своих героев (очерк «Своими руками»). Конечно, сказываются особенности жанра (повесть и очерк), но, думается, если бы Г. Николаева написала очерк, а В. Овечкин — повесть, и тогда сохранились бы в их произведениях эти особенности творчества.

Я ехал на совещание с намерением резко выступить против ряда недостатков «Повести» Г. Николаевой, но частью эти недостатки отметил докладчик, а другие — с исключительным знанием дела — писатель-агроном Г. Троепольский. Действительно, нельзя не возмущаться массой самых грубых ошибок, допущенных писательницей. Героиня повести Настя Ковшова, главный агроном МТС, попросту не смыслит в своём деле: она не знает сеялки, не знает, какие культуры сеют раньше, а какие позже, двумя градусниками измеряет температуру почвы, чтобы «правильно», с часу на час, назначить срок сева пшеницы, и многое-многое другое. Не знает или не замечает ничего этого и директор МТС, от лица которого ведётся рассказ о Насте.

Погрешности против техники составляют как бы первую группу недостатков повести.

А вот неполадки другого рода: будучи вполне, очевидно, недостаточно подготовленной, как специалист, Настя всё-таки предугадывает решения Пленумов ЦК нашей партии по сельскому хозяйству, за несколько лет вперёд действует вполне в духе этих решений, действует решительно и... побеждает.

Она побеждает косность одна, без поддержки общественности, без партийной организации, выступает (и весьма успешно) против директора МТС, главного инженера, секретарей райкома и обкома, и все эти люди вынуждены признать правоту девочки с бантиками в косичках и отступить перед ней.

И всё-таки в оценке повести, мне думается, не хватало одного: хозяйского, бережного отношения к этой вещи — хорошей ли, не очень хорошей,— мнения могут быть разные.

Да, множеством «производственных» погрешностей «Повесть» заслуживает самого серьёзного упрека. Однако вспомним, что огромное количество рассказов, повестей, романов, в которых герои с безупречным знанием дела строгаят, сеют, водят тракторы, конструируют, изобретают, несмотря на это, не было принято читателями, герои эти так и не нашли своего места в сердцах людей, были забыты, а вот Настя Ковшова, не смотря ни на что, преодолев подчас нелепые обстоятельства и условия, в

которые она поставлена волею Г. Николаевой, всё-таки живёт и пользуется любовью читателей.

Эта девочка с косичками, с двумя детскими бантиками, на скорую руку повязанными ей писательницей, обошла страницы молодёжных газет, не задерживаясь подолгу на библиотечных полках, посещает студенческие общежития, колхозные полевые станы, вместе с учебниками по алгебре и географии путешествует в сумках школьников, а ещё больше — школьниц.

Значит, есть в ней какая-то правда. Это — правда художественного образа, правда нескладного, упрямого, но чистого и устремлённого девичьего характера. Ждешь, что девушка должна поступить так, а она поступает как раз наоборот и удивляет тебя и заставляет верить себе.

Однажды мне пришла сдавать экзамен студентка. Такая серьёзная, маленькая и востроносенькая, коротко подстриженная девочка. Села, посидела за столом и, не взяв экзаменационного билета, сказала:

— Знаете, лучше я приду сдавать вечером.

— Почему? Ведь ваша очередь сейчас?

— Нет... Вечером я буду сдавать лучше. Да вы не спорьте — и для вас ведь тоже лучше, если я буду хорошо отвечать... — И она ушла.

Потом я спросил у её подруг, что это за девушка такая странная. Мне пояснили:

— Такая уж она есть. Мы её зовём Настей. Настя Ковшова.

А ведь это очень неплохо, что образ Насти встретил такое сочувствие у нашей молодёжи. Значит героический характер сверстницы дорог юношам и девушкам, значит и они хотят быть людьми настойчивыми, последовательными, бесстрашными.

Неправдоподобие повести, как отмечали многие и как говорилось выше, заключается ещё и в том, что Настя Ковшова обладает прямо-таки чудодейственной силой, — она, молоденькая агрономша, только что со школьной скамьи, поучает умудрённых жизненным опытом людей, решительно вступает с ними в борьбу, побеждает.

Но вот в чём дело: нельзя забывать о том, что рассказ о Насте мы слышим из уст влюблённого в неё человека.

Такой видит Настю не автор, такой она живёт в представлении далеко не объективного, восторженного рассказчика... Это гиперболлизация образа, ставшая возможной благодаря особому построению повествования.

Чехов об одном из своих персонажей говорит, что тот сухой и длинный, как адмиралтейский шпиль. Невозможно сказать о тощем человеке, что он высок, как столб, как башня, как мачта. А вот высокий, как «адмиралтейский шпиль», оказывается, сказать можно. Это крайнее из всех возможных правдоподобных и убедительных сравнений может найти лишь истинный художник слова.

Образ Насти преувеличен не в одной какой-то детали, а в целом, прежде всего в том, что мы называем несколько сухо и по-казённому «деловыми качествами» человека, которые нам очень дороги в людях.

И лирическое, искреннее повествование рассказчика, директора МТС, о своём необычайно умном и сильном главном агрономе — это очень тонкий, очень верный художественный приём, который позволяет выразить многое: и характер агронома и её непосредственного начальника — рассказчика, и отношения между ними.

Сколько раз мы читали о любви, зародившейся потому, что он «взглянул в её голубые глаза», или потому, что «в субботу вечером они вместе пошли в кино и он ощущал её тёплую руку в своей руке».

Нет, в «Повести» мы видим иное отношение «его» к «ней», видим глубоко человеческое, требовательное, советское суждение одного человека о другом. Мы видим, как дороги влюблённому рассказчику, если можно так выразиться, общественно полезные качества Насти — её настойчи-

вость, её безупречно честное отношение к своей работе, даже то, что Настя самого рассказчика на каждом шагу упрекает, критикует, так что он называет-то её «врагиней».

Но только и здесь, в этом своём успехе, которого она достигла в повести, Г. Николаева не обошлась без ложки дёгтя, без небрежности, свойственной всей «Повести». Она сама отнеслась к своей книге бесхозяйственно.

Зачем в заключение понадобилась декларация, в которой автор сначала риторически вопрошает себя, откуда могла появиться на свете такая героиня, как Настя, а затем отвечает себе же, именно себе, — читателю не нужен ни ответ, ни вопрос.

Здесь писательница пространно и уже от своего лица толкует о Насте, которую она в глаза не видела и знает только по рассказу случайного спутника. Поверить искреннему рассказу хотя бы и незнакомого человека можно — это бывает, — но в данном случае автору совсем не надо было такой концовки. Пускай бы ореол романтичности исходил только от влюблённого рассказчика, а не от автора — и вот тогда-то оправдываются все преувеличения настиных достижений.

И получилось так, что этот подвесок к «Повести» ниспровергает уже созданное обаяние образа Насти.

Вот так же искусственно, думается нам, автор стремится в этой повести о любви приподнять свою героиню, заставляя её предугадать важнейшие решения партии по вопросам сельского хозяйства.

Ещё в романе «Жатва», где-то в конце книги, как будто между прочим, у героев возникает желание слить земельные угодья соседних колхозов, желание развернуться на большой земле.

Иначе говоря, речь идёт об укрупнении колхозов.

Что, эта задача укрупнения вытекает из самой логики романа? Или она раскрывает образы героев, на ней показана психология людей? Ни то, ни другое. Автору нужно было приправить роман очередной хозяйственно-политической проблемой.

Можно возразить, что автор предугадал решения ЦК партии об укрупнении колхозов, подметил это желание в народе и вот ввёл его в роман. В чём же тогда его упрекать?

Поставим себя на место героев произведения — это часто бывает полезно... Почувствуем, какой это большой, какой сложный и важный вопрос — жить ли попрежнему своим колхозом или завтра объединиться с соседями, взять на себя соседские долги, принять стадо коров, в котором в прошлом году был ящур, зато попользоваться хорошими лугами смежного колхоза, новой теплицей, которая там построена, и земельными просторами, которые возникнут при слиянии.

Каждый, кто бывал в деревне в те годы, знает, что на колхозных собраниях такие вопросы решались редко за один приём; чтобы прийти к какому-то решению, люди собирались не раз и не два — дело тянулось часто месяцами, даже годами...

Почему же писателю позволительно так поверхностно касаться таких больших вопросов? Только потому, что он их заметил? Этого мало.

Большие проблемы потому и большие, что их замечают все, ими живут массы. Вообще писатель видит и замечает всё то же, что и другие люди, но изображает он увиденное, придавая фактам их действительное значение в жизни человека. Если же в художественном произведении проблема поставлена только потому, что она существует и она замечена автором, — этого недостаточно.

Вот тогда бы, давно, ещё при оценке в общем хорошего романа «Жатва», критике и следовало бы корректно, но вразумительно сказать:

— Товарищ автор! Так не годится: если уж вы касаетесь серьёзной проблемы об укрупнении колхозов, то и говорите о ней только всерьёз, отведите ей то место, которое она заслуживает!

Так нет же, этакое лёгкое «хозяйственно-политическое» рассуждение было возведено в достоинство романа, критики увидели в нём глубокую проницательность автора. А к чему это привело? К тому, что в «Повести» Г. Николаева уже совершенно вольно и запросто стала обращаться с большими проблемами.

Другое дело, когда эти проблемы действительно ставятся во главу угла очерков В. Овечкина.

Имя В. Овечкина связано с определёнными явлениями в нашей литературе. Когда мы сейчас всё ещё кого-то упрекаем, будто очерк у нас «зажимают», относятся к очерку, как к литературе второго сорта, мне кажется, мы делаем это больше по привычке. И редакции и читатели встречают хороший очерк не менее радушно, чем хороший рассказ или хорошую повесть. Оглядываясь на прошлое, мы можем сказать, что В. Овечкина, который писал и повести, и рассказы, и пьесы, привела к очерку лишь неистребимая потребность художника как можно активнее вмешиваться в жизнь, быть на переднем её крае.

Такие вот бывают разные писательские судьбы: один идёт от очерка к пьесе и повести и считает это решающим признаком своего несомненного творческого роста; другой от пьесы и повести приходит к очерку, и это — отнюдь не обратное, а подлинно поступательное движение.

Что греха таить — одно время очерки были у нас самым безмятежным жанром. Они писались только о передовиках, только о достижениях, если о свадьбах — так только о золотых и серебряных, и это не смогло не сказаться на их языке — приглаженном, штампованном, иногда слащавом.

Большие проблемы, помнится, мы стали считать достоянием больших романов.

И в том, что проблемный очерк снова завоевал в нашей литературе всеобщее признание и привлёк такое внимание читателя, — большая заслуга В. Овечкина, которому трудный жанр понадобился именно для того, чтобы поставить перед читателем и наиболее трудную проблему — вопросы партийного руководства сельским хозяйством.

Но там, где преодолены большие трудности, больше бывает и практический результат. Теперь, наверное, уже трудно найти работника сельского райкома, который не прочёл бы очерков В. Овечкина.

А раз люди с интересом прочли художественное произведение о себе, о тех проблемах, которые они сами решают повседневно, значит цель достигнута: слова писателя найдут отражение в практической деятельности этих людей — его читателей.

В. Овечкин имеет целый ряд последователей. Я думаю, что среди очень активной и довольно многочисленной группы очеркистов, преимущественно молодых, пишущих сейчас о деревне, есть много людей, дорёгу которым помог открыть В. Овечкин. Я лично обязан В. Овечкину очень большим. Мне думается, что я не написал бы многого из того, что у меня написано, не будь его очерков.

Потому я и позволю себе обратиться к В. Овечкину со следующими словами: выступив как борец против всяческого штампа, В. Овечкин в своём последнем очерке «Своими руками» не избежал этого самого штампа.

Как это произошло?

Есть мудрые слова о том, что недостатки человека — это продолжение его достоинств. Как часто это подтверждается в жизни! Решительность человека, безусловно, хорошее качество, но когда этот человек начинает, как говорят у нас, «рубать» направо и налево, — это уже его недостаток. Хо-

рошее качество — скромность, но чрезмерная застенчивость, робость — недостаток.

И вот лаконичность образов В. Овечкина, их ясность, проблематичность в последнем произведении писателя переходят уже в схематизм.

Секретарь райкома Мартынов, так хорошо нам известный, настойчивый, умный, лаконичный Мартынов, ныне всё превзошёл, всех переубедил, всё знает, и говорить ему теперь осталось только об известных истинах известными словами.

Победа — в большом ли, в малом ли деле — это начало новых событий, новой борьбы. У Мартынова же нет больше состояния борца — есть состояние победителя.

Не даёт ли здесь знать себя опасность, которая у «больших» писателей даже заметнее, чем у «средних» или начинающих? Она заключается, если так можно выразиться, в творческой инерции.

Создан автором убедительный, типический образ, образ этот получил признание читателей, любим ими, и вот автору становится трудно расстаться с ним. Появляются новые главы — продолжения, трилогии, в них всё тот же знакомый нам герой. Но психологический рисунок этого героя завершён давно. Чем ярче было то начальное, так сказать, первородное произведение, в котором читатель познавал и познал героя, тем труднее герою приходится в произведениях-отпрысках, в сестринских романах и очерках, которые и возникли-то не в пылу первоначального свежего замысла, не из непосредственных жизненных наблюдений писателя, а позже, из чувства всё той же инерции.

Сам автор, славно поработав, в своё время крепко замкнул круг и не оставил ни одной щели, в которую можно или даже нужно бы ещё втиснуть что-то существенное для развития образа. А всё-таки происходит движение образа по пути, который уже найден. Это движение становится всё медленнее, медлительность всё больше становится заметной — ведь мы знавали героя в его былом стремительном развитии.

Конечно, всё зависит от цели, поставленной автором перед самим собой. Могут быть ведь созданы значительные произведения и совсем «без людей» или только с людьми-фигурами, без раскрытия всей глубины их душевной жизни. Вспомним «Четверть лошади» Глеба Успенского, а ещё лучше — «Квитанцию». Первый очерк показывает нам положение безлошадного крестьянства в конце прошлого века, второй повествует о женщине, которая на одну сотую — мать, а на девяносто девять сотых принадлежит капиталисту, его фабрике. Мы зримо видим в этих очерках людей, нам доступно их душевное состояние в тот определённый момент, который схвачен писателем. Но развития, изменения душевного мира персонажей мы не найдём в этих очерках, да и не ищем его. Мы понимаем — автор ставил перед собой другую цель: люди нужны были ему здесь лишь постольку, поскольку он поднимал определённую социальную проблему. Развитие же очерка идёт уже в авторских рассуждениях по поводу поднятых проблем.

Давно нет этой проблемы, нет частной собственности на землю, безземельных и безлошадных, нет одной четверти лошади и одной сотой матери, нет и той общественной формации, о которой писал Глеб Успенский, а мы всё ещё с огромным интересом читаем эти очерки.

У человека неистребимый интерес ко всему тому, что касается его самого, — будь то в настоящем или в далёкой древности, будь то психологический рисунок или «голая» социальная проблема прошлого, — и литература всеми имеющимися у неё средствами удовлетворяет этот интерес, помогая человеку совлечься.

Важно другое — чтобы писатель в своём произведении, особенно если это короткое произведение, ясно говорил читателю: «Ты прочтёшь у меня

о любви двух молодых людей нашего времени», или: «Я расскажу о задачах партийного руководства на селе».

В соответствии с целью своих произведений автор должен выбирать и средства художественного воплощения замысла, и потом уже эти средства, избранный тон произведения он должен выдерживать до конца.

Первая тема — о любви — вовсе не исключает соприкосновения героев с хозяйственными и политическими проблемами, но это будут только обстоятельства, при которых развивается повествование о любви. Обстоятельства могут быть иногда решающими в судьбе героев, а всё-таки здесь нельзя так запросто, по ходу любовных объяснений, поднимать вопросы укрупнения колхозов и повышения урожайности.

Вторая тема — о партийном руководстве — тоже не исключает любви или ненависти героев друг к другу, но теперь уже эти их личные отношения могут иметь значение опять-таки только как некоторые — пусть очень важные — обстоятельства, при которых решается основная задача.

Другое дело — роман. Он способен вместить целый круг вопросов и личного и общественного бытия. В нём развивается несколько сюжетных линий, возможные отступления, он более ёмок.

Вот романа-то на колхозную тему, такого, скажем, каким были в своё время «Бруски» Панфёрова, у нас сейчас нет. И это внушает даже большее опасение, чем судьба очерка, о котором теперь все пекутся.

Хорошую повесть «Ненужная слава» написал С. Воронин, что и говорить!

Глубокая тема, очень острый конфликт, закономерное его решение. Хотелось бы только большей выразительности художественных средств: в повести человек уходит от любимой женщины, от жены, потому что ей вскружила голову незаслуженная слава председателя будто бы передового, а на самом деле давно уже отстающего колхоза.

Человек любил, разлюбил и уходит — это известная сюжетная ситуация. А вот любит и всё-таки уходит — как в «Ненужной славе» — это уже другое, новое, неизвестное. И я верю Воронину, что это так в жизни было, но остаётся всё-таки впечатление, будто я слышал рассказ от какого-то случайного спутника, который знает, что это было, а вот как всё это люди переживали, рассказчик не знает...

Были какие-то терзания, какие-то доводы за и против разрыва, упрёки самому себе за неумение повлиять на любимого человека, были душевные муки, но я так и не узнал внутреннего состояния героя.

А ведь литература выводит читателя из круга его личных переживаний и впечатлений, объясняет читателю и то, что сам он не переживал. Если читатель никогда в жизни не разводился, не порывал с семьёй, то, прочитав повесть об этом, он должен знать, что люди переживают и чувствуют в таком случае, что это за трагедия — развод.

В. Овечкин в своём докладе упоминал о творчестве Г. Троепольского. Он говорил примерно так: «Хороший вы писатель, Троепольский, но имейте в виду, что лирические рассказы у вас получаются лучше, чем сатира».

А я бы обратился к Троепольскому по-другому: «Хороший вы писатель и имейте в виду, что на вас сейчас лежит большая доля ответственности за развитие сатиры на колхозную тему». Вот что главное в творчестве этого писателя. Мы на него возлагаем большие надежды и должны это недвусмысленно ему сказать, поддержать его именно на этом пути.

В творчестве Троепольского — и в лирическом и в сатирическом — есть черта, которая является его заслугой. Он много пишет о рядовых людях, о людях без должностей. Мы иной раз превращаем свои произведения в литературу о руководителях, начиная от бригадиров и кончая секретарями обкома. Посмотришь, иные писатели-дворяне писали о простых, рядовых людях больше, чем некоторые из нас. А вот у Троепольского рядовые

люди занимают определённо главное место. Он о них пишет хорошо, тепло, лирически, но рисует и сатирические образы. Здесь все жанры не только приемлемы — просто необходимы.

Рассказ Г. Троепольского «Митрич» особенно хорош, хочется вернуться к нему ещё раз.

Для нашей литературы создание образа с сильным характером — это важнейшая задача.

Митрич Г. Троепольского — простой, обыкновенный человек — силен сознанием своего общественного долга, своей верой в коллектив.

Это рядовой колхозник, «без должности», как говорят у нас в деревне. Занят он самыми обыкновенными делами — сеет, косит, убирает, ходит на колхозные собрания, на которых говорит, правда, редко, но уж метко.

И вот ему, Митричу, мы верим, что он ещё до правительственных постановлений был против многолетних трав — за кукурузу, против налога с головы — за налог с гектара земельной площади, за планирование снизу. Верим, потому что Митрича воспринимаем уже как советского человека, прошедшего испытание временем, потому что понимаем — он «кроет» всяческие недостатки, так как знает: сила коллектива — это великая сила, которая может устранить на своём пути всяческие препятствия. Верим потому, что Митрич ко всякому мнению приходит огромным житейским опытом и поисками.

Вот он сидит на завалинке, стареющий, уже вздрагивающий от холода даже на тёплом солнышке, и читает газету... Не перечать, сколько раз мы встречали и в книге и в жизни эту стариковскую фигуру с очками на носу и в подшитых валенках. Но в знакомой с детства фигуре мы узнаём и нечто новое, значительное. Это ведь не для картинка в руках у старика газета. Зная Митрича, мы понимаем, что вот он сейчас, сдвинув на лоб очки, смотрит на мир, на огромные события нашего времени и на всё имеет точку зрения. Его скромные дела — это борьба за высокие идеалы. Он труженик и смотрит на всё глазами труженика. И ещё мы видим — это сильный характер.

В создании замечательного образа Г. Троепольскому помогает разнообразие его дарования; здесь и тёплая лирика, и острый, отточенный, почти сатирический разговорный язык, и тонкая наблюдательность.

Но есть в народе и Никиты Болтушки и Гришки Хваты, которых рисует Троепольский, есть и пьяницы, есть воровство: суды-то у нас работают. А вместе с этими людьми судят писателей — ведь писатели несут ответственность за моральный облик людей. И нам очень нужна сатира, товарищ Троепольский...

Все прогрессивные писатели в прошлом были очень жестокими критиками того общества, в котором они жили. Они противопоставляли себя этому обществу, отрицали его, отрицая — заглядывали в будущее. В этом была прогрессивность литературы. Мы же — сами то общество, в котором живём, его ответственные граждане, а в ряде случаев и зачинатели его, и ставим своей задачей утверждать своё общество. Но что значит — утверждать наше, новое общество? Если видеть в нём сегодня всё вполне совершенным, тогда зачем стремиться к завтра?

Так вот, основные принципы нашего общества, наши цели для нас незыблемы, а ход осуществления этих принципов мы рассматриваем критически: утверждаем всё новое, прогрессивное и отвергаем всё то, что нам мешает в достижении цели.

В применении к нашей колхозной теме это представляется мне так.

Я побывал во многих колхозах, в том числе и в отстающих, и нигде не встречал людей, которые всерьёз захотели бы вернуться от коллективного обратно к индивидуальному труду.

Почему? Да потому, что пожилой колхозник ещё помнит, сколько, скажем, на одну тонну хлеба он затрачивал труда раньше. Ведь в прошлом крестьянский труд был каторжным — от зари до зари, а в страду и совсем без сна. Крестьянин в начальную школу — когда такая школа открывалась в деревне — не отпускал детей: он всех, даже малышей, впрягал в работу. Механизация сельского хозяйства облегчила этот труд, но ведь машина может быть достоянием только коллектива. Если она будет в частных руках, снова должны появиться владельцы и батраки. Колхозник это понимает прекрасно не из учебников политэкономии, а на своём собственном опыте.

Политическая мысль давно уже пришла к выводу о необходимости коллективного труда в сельском хозяйстве, ещё во времена Оуэна. Здесь невольно вспоминаются проникновенные строки из очерков «Крестьянин и крестьянский труд» писателя — поборника правды, беззаветного искателя народного счастья: «На мой взгляд, жизнь современного крестьянина на каждом шагу, кажется, вопиет о том, что только дружество, сотоварищество, взаимное сознание пользы общинного, коллективного труда на общую пользу суть единственная надежда крестьянского мира на более или менее лучшее будущее, единственная возможность «сократить» те невероятные размеры труда, поглощающего в сию крестьянскую жизнь, не оставляя досуга, который теперь лежит на крестьянине таким тяжёлым и, как мне казалось (и кажется), бесплодным бременем».

Слова Глеба Успенского о коллективном труде крестьян, сказанные им три четверти века тому назад, были догадкой, мечтой, утопией.

Октябрьская революция была тем единственным средством, которое привело к осуществлению «единственной надежды крестьянского мира», сделало эту надежду реальным принципом существования не отдельных товариществ, а миллионов крестьян в России, да и не только в России, которое позволило направить труд крестьянина на благо человека.

Тот же Глеб Успенский, в тех же очерках говорил дальше, что в сознании крестьян его времени идея коллективного труда не только не жила, но и совсем не укладывалась. На вопрос о возможности коллективного труда крестьянин ответил Успенскому:

«— Нет! Куды! Как можно... Тут десять человек не поднимут одного бревна, а один-то я его как перо снесу, ежели мне потребуется... Нет, как можно! Тут один скажет: «Бросай, ребята, пойдём обедать!» А я хочу работать...»

А разве и сейчас ещё на колхозном поле мы не услышим это самое: «Бросай, ребята, пойдём обедать!», когда все другие ещё хотят и ещё должны работать?

В. И. Ленин, ссылаясь на Г. Успенского, говорил: «Мелкому производителю (и ремесленнику, и крестьянину) мешает перейти к коллективному производству крайне слабое развитие солидарности, дисциплины, их изолированность, их «фанатизм собственников», констатируемый не только среди западно-европейских крестьян, но, — добавив от себя, — и среди русских «общинных» крестьян (вспомните А. Н. Энгельгардта и Гл. Успенского)». И это «Бросай, ребята!» и остатки «фанатизма собственников» всё ещё сказываются в сознании крестьянина, как пережиток прошлого, и художественное слово со всей яростью, всеми жанрами и силами должно с этим бороться. Но пережиток этот — не единственное препятствие в осуществлении наших принципов.

У нас бывает, что художественное произведение сводится к рассказу о двух колхозах — плохом и хорошем, причём мораль такого сопоставления сводится к доказательству, что на трудодень колхознику лучше получать пять рублей, чем пятьдесят копеек, и лучше жить хорошо, чем жить плохо.

Но ведь ни один успех — тем более успех труженика — не приходит сам. Он является результатом преодоления трудностей, может быть и серьёзных жертв.

Писатель, говоря о жизни людей, не может не говорить об этих трудностях, об этих препятствиях, он только вправе остановиться на препятствиях большего или меньшего масштаба — судя по своей зрелости, по своей смелости, по степени своего мастерства.

Никто не упрекнёт писателя в том, что он изображает препятствия на пути человека сравнительно небольшие, — только нужно, чтобы он назвал их своим именем, придал им то значение, которое они действительно имеют в жизни.

Вот если большие препятствия выдать за легкоустранимые — это будет лакировкой, бесконфликтностью, а если проявить растерянность перед трудностями — появится недопустимая и необоснованная нервозность, появятся произведения без той мобилизующей силы, которой должна быть проникнута наша литература.

Литература наша и утверждает и критикует — это и её право и её обязанность, а цель и в том и в другом случае одна — содействовать развитию нашего общества.

Критиковать — сказать, что вот и это плохо и то неладно в колхозе, — не так уж трудно, труднее другое. Нам нужна самокритика, которая предполагает, что повсюду в нашей советской жизни писатель чувствует себя участником общего дела, и которая именно поэтому обязывает ещё ответить его на вопрос: а что в данных конкретных условиях нужно сделать, чтобы было лучше? В этом заключается дружеский тон критики, в этом одна из новых черт нашей литературы.

Новые, социалистические условия поставили людей в сельском хозяйстве в совершенно новые отношения друг к другу, такие отношения, которых никогда прежде не только не было, но их попросту почти невозможно было представить. Скажем, директор завода существовал и раньше, до революции, хотя администратор частного предприятия, конечно, в самом существе отличается от директора советского промышленного предприятия.

А вот колхозника и председателя колхоза совсем никогда ещё не было, человек вообще не знал такого среди себе подобных. Если же говорить о художественной литературе, то ей ещё предстоит «открыть» эту фигуру во всём её современном многообразии.

Сложность этого открытия именно в тех новых отношениях, в которых находится председатель с людьми своего колхоза. Колхозник трудится и на общем поле и в личном хозяйстве, интересы его — там и здесь. Председатель же, как мы часто говорим, «стоит на страже колхозных интересов». Но ведь вместе с этим он не минует и забот о личном хозяйстве колхозника: сколько дней колхозник работает на своём приусадебном участке, когда он получит для этого лошадей, получит дрова, кирпич, чтобы сложить печку, лес и плотников, чтобы построить новый дом, — все эти вопросы председатель решает ежедневно. Заботы о хозяйстве в целом — строительство, посевная и уборочная, агротехника, животноводство, клубная работа, подсобные предприятия, торговля, финансы и забота о каждом колхознике — понимание его душевных качеств, его личной жизни, трезвая оценка его нужд, просьб, требований и чаяний, — всё это входит в служебные обязанности председателя.

Один день председателя колхоза — это огромная книга, переполненная самыми разнообразными встречами, делами, мыслями, как бы написанная в самых различных жанрах: очерка, романа, сатиры, в стиле газетном, поэтическом, в стиле инструкций и директив. В этой книге сложнейшим образом переплетаются интересы личные, колхозные и государствен-

ные. Даже просто прочесть эту книгу нелегко, а перед писателем стоит задача ещё и рассказать о прочитанном. Не просто пересказать, а создать о ней художественный рассказ.

И читатель ждёт этого, так необходимого для него рассказа...

* *
*

Один частный вопрос... В деревне у нас сейчас бытует очень любопытный язык — тут отчасти старые, отживающие свой век деревенские «куды», «туды», «накось», тут и новые технические термины, которые употребляются уже не только как таковые, а в семье, в разговорном обиходе, и слова, которые сначала имели только, скажем, иронический смысл, а потом приобрели права гражданства. Вот так возьмут да и займут постоянное место в языке слова «дошло», «даёт жизни» или районное словцо, приведённое в докладе В. Овечкина: «холуизм». В новом языке деревни надо бы разобраться нашим лингвистам. Материал для анализа дают тут и книги писателей, трактующих колхозную тему.

По сути дела, колхозной может называться только та литература, которую читают колхозники.

А ведь толстые и тонкие журналы с нашими очерками и повестями очень часто не доходят до колхозного дома, оседают в читальнях, в библиотеках и потому, что тиражей не хватает.

Но как бы мы ни увеличивали тиражи за счёт существующих и даже за счёт новых журналов, их всё равно не хватит — такая у нас потребность в художественной литературе. Вот мне и думается, что Союзу писателей надо поставить вопрос о том, чтобы некоторые заслуживающие этого произведения перепечатывались из журналов областными, а ещё лучше — районными газетами.

Польза будет обоюдная — читателю и писателю. Чем больше будут читать нас те, о ком мы пишем, тем более жёсткие и справедливые требования будут к нам предъявлены, тем крепче будут наши связи с жизнью.



НИКОЛАЙ АТАРОВ

★

МОЖНО ЛИ ЧИТАТЬ КНИЖКИ НЕ ДУМАЯ?

„**В**чительская газета», напечатав в № 91 от 16 ноября 1955 года рецензию критика К. Владимиров, осудила повесть В. Пановой «Серёжа».

Статья называется «Бедный Серёжа», и мысль её состоит в том, во-первых, что маленький Серёжа не по годам много думает и что, во-вторых, «Серёжу, по существу, никто не воспитывает».

Критик утверждает следующее:

«В то время как простые маленькие советские мальчики и девочки мечтают об игрушках, о книжках, о вкусной манной каше, ум Серёжи заполнен мыслями о бессмертии, о бесконечности жизни, о своей исключительной судьбе».

Критик обескуражен:

«Ему некогда шалить. Ему надо по каждому поводу думать».

Критик подводит черту:

«Но не слишком ли мало для такого художника, как Панова, ограничиться задачей любования незрелостью детской мысли, наивностью поступков ребёнка? Ведь ничего другого в повести нет».

Не ради пустого спора с критиком, а для того, чтобы коснуться одного вопроса, всерьёз тревожащего нашу педагогическую общественность, то есть всех, кто воспитывает, хочется мне подсказать К. Владимирову, что именно другое можно найти в повести «Серёжа».

Разумеется, произведение это, как и всякое иное, может нравиться больше или меньше, может совсем не нравиться, но критика его будет успешной и плодотворной только в том случае, если она будет вестись с пониманием замысла писателя, если автор статьи будет исходить прежде всего из того, что есть в книге, а не станет сочинять какую-то совсем другую повесть, чтобы потом с лёгким успехом её разгромить.

В реально существующей повести В. Пановой Серёжа в самом деле очень маленький человек. Ему седьмой год. Он ловит стрекоз, любит кота Зайку, побавляется петуха, удит рыбу или, во всяком случае, копает для этой цели червей. Зимой осаждаёт ледяную крепость. Предмет его мечты — велосипед. При виде магазинного окна с игрушками «у Серёжи дух захватило от предвкушения счастья», — так пишет В. Панова.

Повесть проникнута подлинно материнской любовью писательницы к маленькому Серёже.

Только предвзятостью концепции критика можно объяснить, что он усматривает какие-то свои разногласия с писательницей по поводу отношения шестилетнего мальчика к игрушкам, играм и шалостям.

Да, Серёжа маленький. Ему ещё сказки рассказывают на сон грядущий. Он ещё в той поре, когда высоко ценится поездка в автобусе: можно,

уткнувшись носом в стекло, глядеть, глядеть, не отрываясь... Он ещё такой младенец, что готов верить взрослым, будто мама отправилась в больницу купить ему брата или сестру. Он ещё в том возрасте, когда позволительно больше всего на свете ненавидеть резиновые боты.

Но заставить нас верить, что Серёжа маленький, — это лишь часть художественной задачи автора. И не ради неё написана повесть. Всё дело в том, что Серёжа не хочет быть маленьким, и именно этим он удивительно похож на всех своих сверстников. Да и только ли сверстников! Человек не хочет быть маленьким — и это справедливо применительно к любому возрасту.

Маленький Серёжа живёт напряжённой душевной жизнью. В гостях ли у прабабушки или на её похоронах; в поездке ли с новым отцом по его совхозу или когда мама тихо шепчет «люблю» Коростелёву, а тот сжимает её руки; или в ту минуту, когда Серёжа обнаруживает, что у него самого есть сердце и вот оно — стучит под рёбрами, — в тысячах событий Серёжа вникает в загадки жизни, сопоставляет что-то, о чём-то думает. Как он думает? Да так, как умеет! Серёжа не понимает многого, ищет ответа у взрослых, и в то же время всё ему понятно по-своему.

В жизни Серёжи, как всегда бывает, маленькие происшествия сплетаются с большими событиями. Мама выбирает ему нового папу, то есть выходит замуж за хорошего человека — Коростелёва. Коростелёв покупает Серёже велосипед. Потом умирает нелюбимая Серёжей прабабушка. К соседскому мальчишке присзжает на побывку дядя — капитан дальнего плавания. Он на удивление «культурный» и деликатный, но достойным подражания мальчишки находят в нём только татуировку, которая изукрашила его спину, точно трансформаторную будку, черепом и костями. И в сарае они сами татуируют друг друга, даже таких маленьких, как Серёжа. От этого он заболевает. А меж тем мама уже возвратилась из больницы с серёжиным братом. Меж тем Коростелёв с мамой начинают готовиться к переезду семьи в никому не известные Холмогоры. И вдруг страшное, как конец мира, событие надвигается на Серёжу: его на время собираются оставить у тётки Паши, слишком он ещё слабенький после болезни... Серёжа не верит, что его оставляют из любви к нему, ради его же пользы. Он маленький, но «сердце его понимало уже, что ничто любимое не может быть обузой. И сомнение в их любви всё острее проникало в это сердце, созревшее для понимания». А мать даже и не догадывается о том, что происходит в эти дни в детской душе. Ведь об этом можно только догадываться. Дети и не умеют и стыдятся рассказывать о своих чувствах. Мать ничего не делает, чтобы вернуть Серёже веру в её любовь. Что это — тупость («Серёжа — маленький; он ничего не понимает») или невнимательность? Но тогда где же любовь?

То, чего не умеет сделать серёжина мать, делает Коростелёв.

Отношения между Коростелёвым и Серёжей, взрослым и маленьким, — замечательная страница нашей художественной прозы и, на мой взгляд, лучшее, что до сих пор написала Вера Панова.

Но раньше — вообще о взрослых. Это и серёжина мама, и васькина мама, и прабабушка, и вредная Лидка, которая, отлично подражая взрослым, «воспитывает» полуторагодовалого Виктора. Взрослые всё могут объяснить Серёже, но они «очень ленивые» и отговариваются, что заняты. Они и всевластны, но не знают, на что обратить свою власть над детьми. Серёжины вопросы кажутся им за недосугом бессмысленными. Соседская тётка находит для своего воспитанника-сироты Женьки самые изощрённо-«ласковые» наименования: «василиск», «рахитик», «лукавый»; она вполне способна у мальчишки, который с наслаждением лепит человечков и зверей, отнять пластилин, чтобы не занимался глупостями, и выбросить в уборную. Дядя-капитан рекомендует держать Ваську в ежовых рукавицах. А где-то тут, уже недалеко, и магический ремень.

- Ну, ты, сиди!
- Говори, только не ври!
- Фу, дурак...
- Что ты там пыхтишь?
- Положи на место!
- Как ты ешь!
- Как ты сидишь!
- Ты слышал, что я сказала?
- Не выдумывай!
- Ты мне действуешь на нервы.
- Ну, хватит...

Может быть, критику К. Владимирову и кажется всё это нормой воспитания, не заслуживающей разговора. Но Коростелёв думает иначе. Он не грубит и не сюсюкает в разговорах с Серёжей, не подгибает коленок, стоит перед ним во весь свой великанский рост. Он не отмахивается от Серёжи. Наоборот, советуется с ним. И ему это доставляет удовольствие. Вся душевная молодость самого Коростелёва откликается навстречу душевным потребностям шестилетнего мальчика. Коростелёв не придумывает программы воспитания и, может быть, не читал Макаренко. Но вот что интересно: всё то жизнеутверждающее, что проявилось в отношении Коростелёва к его маленькому другу, обязано своим рождением только нашей советской почве! Раскрыть это и должен был бы критик К. Владимиров в «Учительской газете», но он попросту не заметил главной фигуры повести — фигуры Коростелёва.

Между тем повести без Коростелёва просто не существует. Что же касается самого Коростелёва, то вот случай, когда советский человек показан нам не у станка и не в служебном кабинете, а у детской кровати, и мы точно знаем, каким он может быть у станка или в служебном кабинете.

Серёжа хочет самостоятельности на прогулке. Его ведут за руку. «А когда тебя ведут, то только руки потеют и никакой радости». Но Коростелёв-то это понимает.

Серёжа требует доверия. Он уже и спать может не как маленький, а ему всё ещё натягивают унизительную сетку на кровати, чтобы не упал спросонок. Но Коростелёв отменяет сетку.

Серёжа научил его сказки рассказывать и — ничего, теперь Коростелёв рассказывает их довольно бойко. Они уже могут шёпотом разговаривать друг с другом, доверительно, по-мужски, как равные. Правдивые отношения — они ко многому обязывают ребёнка и какие права дают над ним взрослому! Серёже есть уже к чьим коленям прислониться, чью твёрдую мужскую шею охватить руками. Одобрение такого человека — самая высокая награда для ребёнка.

Счастлив тот, кто не был этого лишён в детстве!

Коростелёв всё понимает верно: и великодушие детского дарения, самого великодушного на свете, когда не жалко самую любимую игрушку отдать — только возьми; и счастье обладания — пусть детским велосипедом со всеми его спицами, рулём, звонком и педалями; и страшную обиду обмана, когда взрослый дурак, смеха ради, суёт в детские руки под видом «Мишки косолапого» пустую конфетную бумажку. Он уже добивался правды, этот Серёжа. Он был уже хозяином судьбы, брал на свои плечи огромную ответственность. Он и смерть уже видел. Коростелёв понимает, что все, даже с виду ничтожные, происшествия серёжиной жизни имеют для Серёжи огромное значение. Ведь всё это — в первый раз!

И вот такой человек появился в жизни Серёжи, а критик К. Владимиров пишет заголовок «Бедный Серёжа» и утверждает, что «Серёжу, по существу, никто не воспитывает».

Стало быть, критик ищет в повести какой-то особый «воспитательный акт» и не находит его. Коли есть «дошкольник», должен быть где-то близко и воспитательный акт. И критик не замечает, что, например, объезд с Коростелёвым гигантских владений совхоза «Ясный берег» и встречи с людьми в этом объезде составляют огромный воспитательный акт в жизни Серёжи. Он видит и думает в этой поездке так же интенсивно, как Егорушка в чеховской «Степи».

Егорушка напряжённо думал, думал о том, кто такой «этот неуловимый, таинственный Варламов», котсрый владеет сотнями тысяч овец и таким бескрайним простором земли, что можно ехать и ехать по ней и на вопрос, чья она, слышать один и тот же ответ: «Варламовская». Я не собираюсь сравнивать поэтические достоинства этих двух повестей, но Серёжа видит просторы советской земли, видит трудовую жизнь взрослых людей, видит наше сельское хозяйство с его тракторами, грузовиками, фермами и силосными башнями.

«Серёжа спрашивал:

— А теперь это что?

И все ему отвечали:

— «Ясный берег».

И когда он думает об увиденном и услышанном в поездке, об отношениях Коростелёва с Лукьянычем, с оплошавшей дояркой, с уволенным парнем, — в нём, шестилетнем мальчишке, уже закладываются первые представления о трудовых основах нашего общественного строя.

Но критику не нравится именно тот факт, что Серёжа думает. Тут, видимо, критик пытается недоверие к самой мысли. Что он там, дошкольник, ненароком надумает?.. Жизнь, смерть, бессмертие... А тут ещё какой-то уголовник, месяц как освобождённый, забрёл во двор. И Лукьяныч дал ему дров попилить, а тётке Паше сказал: «Отдай этому ворюге мои старые валенки». А зачем плохого жалеть? — так думает Серёжа и тотчас спрашивает об этом.

«Очень вас прошу, не разговаривайте вы с ним на эти темы!» — как бы уговаривает нашу художественную литературу критик из «Учительской газеты».

И вдруг припоминается, кто именно единомышленник К. Владимирова в этой повести. Ведь эти слова принадлежат серёжиной маме — той, что ничего не понимает в детской душе или, может быть, полностью поглощена своей любовью к Коростелёву, счастьем нового материнства.

Так вот каковы позиции критика-педагога в этом важном вопросе. Это не позиции Коростелёва или хотя бы старого Лукьяныча. Это беспомощные позиции серёжиной мамы! Коростелёв, тот умеет ответить на самый трудный, туниковый вопрос: «Мы, что ли, все умрём?», который пришёл в голову Серёже, наслушавшемуся разговоров на прабабушкиных похоронах.

«— Нет. Мы не умрём. Тётя Тося как себе хочет, а мы не умрём, и в частности ты, я тебе гарантирую.

— Никогда не умру? — спросил Серёжа.

— Никогда! — твёрдо и торжественно пообещал Коростелёв.

И Серёже сразу стало легко и прекрасно. От счастья он покраснел, покраснел пунцово — и стал смеяться. Он вдруг ощутил нестерпимую жажду: ведь ему ещё когда хотелось пить, а он забыл. И он выпил много воды, пил и стонал, наслаждаясь. Ни малейшего сомнения не было у него в том, что Коростелёв сказал правду: как бы он жил, зная, что умрёт? И мог ли не поверить тому, кто сказал: ты не умрёшь!»

Так поступил Коростелёв, никогда не читавший Макаренко. А серёжина мама и в других, более лёгких случаях отвечала сыну: «Что ты там пыхтишь?» или «Не хочу с тобой разговаривать...» Она считает, что даже олуха, коли он взрослый, ребёнок должен уважать. «Если дети примутся

нас критиковать, как мы их будем воспитывать?» А когда Серёжа заинтересовался бродягой, зашедшим во двор, она просто рассердилась: «Я ведь сказала, что тебе рано об этом думать! Думай о чём-нибудь другом».

Если бы подвернулся под этот разговор критик К. Владимиров, он бы подсказал серёжиной маме, о чём должен думать в этом случае её сын, — разумется, о вкусной манной каше!

Странно только, что критик К. Владимиров допускает всё же просчёты в логике. Так, жалея думающего Серёжу и прописывая ему лишь игрушки и вкусную манную кашу, К. Владимиров зачем-то рекомендует ему ещё и книжки. Что это — минутная слабость духа? Или описка? Или К. Владимиров на собственном опыте уверился в том, что книжки можно читать не думая?

Кто же в таком случае бедный — Серёжа или критик?



ОТКЛИКИ И КОММЕНТАРИИ

По страницам иностранных литературных журналов

ИСКАНИЯ И СОМНЕНИЯ

ГФР

«Тексте унд цейхен» («Тексты и знаки»), ежеквартальный литературный журнал. № 4. 1955. Год издания 1-й. Издательство «Герман Лухтерханд». Штутгарт. Главный редактор Альфред Андерш.

★

За последнее время в Германской Федеральной Республике всё чаще можно услышать тревожные голоса западногерманских писателей, глубоко озабоченных кризисными явлениями в культуре и литературе своей страны. «Национальная культура, которая была когда-то нашей гордостью и которая, являясь национальной, имела отклик во всём мире, теперь у нас умирает», — с горечью писал недавно западногерманский драматург Гейнц Беккер.

Недовольство политикой милитаризма, которая губительно сказывается на общем положении страны, на развитии национальной культуры, проникает и в круги писателей, ещё далёких от передовых, демократических сил своего народа. Недовольство проявляется по-разному. Одни из писателей находят в себе мужество недвусмысленно и открыто (разумеется, насколько позволяют западногерманские условия) показывать в своих произведениях всю губительность такой политики для немецкого народа. Другие, отвергая эту политику, стремятся уйти в пресловутую «башню из слоновой кости», погрузиться в абстрактные мечтания о справедливости. Некоторые писатели, выступая за мир и национальную независимость, в то же время, в силу незрелости своих политических убеждений и из-за боязни быть заподозренными «в коммунизме», повторяют подчас злопыхательские вымыслы врагов мира о Советском Союзе, о Германской Демократической Республике.

Журнал «Тексте унд цейхен», о котором пойдёт речь, в какой-то мере отражает идейные и творческие искания и взгляды, колебания и сомнения, свойственные этим писателям.

В начале прошлого года западногерманское издательство «Герман Лухтерханд» известило читателей о выходе в свет этого нового литературного журнала. Говорилось, что журнал будет широко предоставлять свои страницы «литературе дерзания», «новой современной литературе», всемерно способствовать «литературному эксперименту и в той же мере отводить подобающее место литературе, связанной с традициями». Как же осуществляются эти общания?

Просматривая номера «Тексте унд цейхен», можно без особого труда установить, что «литературой дерзания» в понимании редакции является абстрактная, модернистская литература, а то, что неискушённый читатель может принять за «литературный эксперимент», представляет собой наскоро подшитою и перелицованную обноски тех формалистических литературных «теорий», которые имели хождение ещё в начале нашего века. Литературе же, связанной с реалистическими традициями, журнал уделяет самое минимальное внимание.

Познакомимся с последним номером этого журнала за 1955 год.

Журнал открывается статьёй «Мечты и проекты», принадлежащей перу Ганса Арпа. Ганс Арп — довольно известный в Западной Германии современный художник и поэт модернистского направления, автор стихотворного сборника «На одной ноге». Не владеясь в подробное рассмотрение его поэтических творений, скажем только, что название сборника вполне определяет и его содержание.

Статья Г. Арпа представляет интерес именно потому, что она, хотя и в смутной, глухой форме, отражает неудовлетворённость определённых кругов западногерманской

интеллигенции состоянием литературы и искусства Германской Федеральной Республики. «Наши слова — отбросы, — пишет Г. Арп. — Они исчезают в злой серости, не оставляя никаких следов. Серая наша жизнь теряется в серости». Стремясь вырваться из неприглядной действительности, Г. Арп зовёт художников и писателей в заоблачные миры абстрактного искусства, доступного лишь самым утончённым эстетам. «Звёзды пишут бесконечно медленно, — говорит автор статьи, — и никогда не читают того, что они написали. Я учился писать во сне...»

Статью Г. Арпа украшают две его новые гравюры. Одна из них изображает нечто напоминающее обуглившийся бублик, в центре которого уютно сидит какое-то чёрное пятно; другая похожа на размазанную чернильную кляксу. Не берёмся судить о художественных достоинствах этих оригинальных произведений, поскольку редакция журнала предупреждает, что «репродукции гравюр Ганса Арпа дают лишь слабое представление о красоте оригиналов».

Восхвалению модернистского направления в искусстве посвящена также статья молодого писателя Вальтера Енса «Речь в защиту абстрактной литературы».

Вальтер Енс, как и главный редактор «Тексте унд цейхен» Альфред Андерш и многие сотрудники этого журнала (Эрнст Шнабель, Мартин Вальзер и другие), является участником литературного объединения «Группа 47». Это объединение, созданное в 1947 году, включило в себя западногерманских писателей и поэтов различных политических взглядов и художественных направлений, вступивших в литературу в послевоенный период. Многие из них, как, например, Генрих Бэль, Вольфганг Кёппен, Вальтер Кольбенхоф, Вольфганг Всайрах, Ильзе Айхингер, получили уже широкую известность в немецких литературных кругах. Как это ни странно, но выступить в роли адвоката абстрактной литературы В. Енса побудило, видимо, также чувство острого протеста против застоя в литературной жизни Западной Германии. Он отмечает, что творчество многих писателей зашло в тупик, что западногерманская литературная критика выдаёт за образцы искусства произведения бесцветные, скучные и примитивные, призывает погрузиться в прошлое, тормозя тем самым развитие новой немецкой литературы. Но, к сожалению, молодой писатель оказался не в состоянии разобрататься в подлинных причинах упадка западногерманской литературы. Весь свой полемический задор он обращает, по сути дела, против реалистических традиций в немецкой литературе, утверждая, что реалистическая литература устарела и не может больше создать ничего значительного. Мысль, как видим, далеко не новая. Об «устарелости», о «смерти» реализма не уставали кричать идеологи модернистского, декадентского искусства ещё в конце прошлого столетия. Но реализм от этого не умер. Художники-реалисты создали за это время немало замечательных произведений, вошедших в сокровищницу мировой литературы, а хилые творения модернизма в большинстве случаев не пережили своих авторов.

Столь же не новыми, сколь и беспомощными, являются и другие доводы В. Енса, но на одном из них, нам кажется, следовало бы остановиться.

Автор статьи считает, что абстрактная литература имеет право на существование и общественное признание хотя бы только потому, что в своё время в гитлеровской Германии она подвергалась гонениям официальной критики. Надо сказать, что такого рода довод нередко выдвигают и другие писатели и поэты Германской Федеральной Республики. Испытывая чувство отвращения к профашистской и милитаристской литературе, которая особенно пышно расцвела за последние годы в Западной Германии, многие из этих писателей вполне искренне убеждены в том, что заумные словосочетания в поэзии, бессвязность повествования, отсутствие зачастую всякого содержания в рассказах и романах являются обязательным признаком «нового», «антифашистского» искусства. Эти, в большинстве своём молодые, писатели часто забывают о том, что так называемая «борьба за оздоровление литературы», проводившаяся по команде гитлеровского министерства пропаганды, ничего общего не имела с борьбой за утверждение реализма. Гитлеровские приспешники ратовали за лживое, антиреалистическое искусство, за примитивную натуралистическую литературу, утверждавшую идеи расового превосходства, грубого насилия над человеческой личностью, ненависти и вражды к другим народам.

Вальтер Енс предлагает «открыть путь такой литературе, в которой интеллект и воззрения, абстракция и образность, миф и математика соединятся в новое, неразрывное целое». Этот мудрёный рецепт никак не расшифрован его автором. Надо полагать, что вообще его представление о так называемой абстрактной литературе весьма и весьма смутно, поскольку наряду с писателями-модернистами Францем Кафкой и Робертом Музилом он причисляет к её adeptам и такого выдающегося немецкого реалиста, как Томас Манн.

В отличие от Вальтера Енса, другой западногерманский писатель, Эрнст Шнабель, в статье, опубликованной в этом же номере журнала, выступает за демократическое искусство, за здоровую реалистическую литературу. Вспоминая первые месяцы после разгрома гитлеризма, когда и в Западной Германии «горела смелая надежда», что война и фашизм «никогда больше не повторятся», Шнабель подчёркивает, что в ту пору в немецкой литературе господствовали прогрессивные, гуманистические идеи, литература была правдивой и честной. Но пора эта, как пишет автор статьи, ушла в прошлое, а тёмные силы, которые привели Германию к катастрофе, переживают своё возрождение. Правда, Эрнст Шнабель не хочет «включаться в хор тех, кто говорит, что у нас происходит реставрация», хотя и считает, «что они правы».

Залог сохранения национального искусства Шнабель видит в укреплении его связей с трудовым народом. К такому убеждению приходят за последнее время и другие известные западногерманские писатели. Так, например, Гюнтер Вайзенборн в одной из своих статей писал недавно: «Литература должна теперь сохранить свои связи с массами, если она хочет... сохранить остатки своего влияния. В этом заключается ныне основная задача писателя».

Летом прошлого года в городе Реклингхаузене проходил театральный и художественный фестиваль. Отличительной и характерной чертой этого фестиваля было широкое участие в нём западногерманских рабочих. Рурские горняки добились от организаторов фестиваля включения в его программу пьесы выдающегося немецкого драматурга и борца за мир Бертольда Брехта «Кавказский меловой круг». В своей статье Шнабель горячо приветствует требование западногерманских рабочих шире распахнуть двери для общенационального демократического искусства. «Совершённая немецкими рабочими в Реклингхаузене попытка приобщить наше время к искусству является необходимой и великопепной», — пишет Шнабель. Возражая сторонникам абстрактного искусства и литературы, он заявляет: «Я считаю, что искусство, если речь идёт о настоящем искусстве, всегда связано со временем... Искусство вне времени немислимо».

Нельзя не заметить, однако, что Шнабелю — автору статьи приходится вступать в серьёзное противоречие со Шнабелем-писателем. Напечатанные в журнале главы из его нового романа «Светская хроника», хотя и свидетельствуют о бесспорном литературном таланте автора, по своему содержанию мало чем отличаются от тех вневременных, абстрактных, с изрядной долей мистики произведений, которые в таком изобилии издаются ныне в Западной Германии.

В своём романе Шнабель описывает последствия страшного по своей разрушительной силе урагана, пронёсшегося в сентябре 1861 года над Бермудскими островами и погубившего немало человеческих жизней. Автор приглашает к себе в кабинет семерых погибших при кораблекрушении, рассаживает их вокруг письменного стола и начинает рассказывать о последних часах их жизни так, как он это себе представляет. Время от времени автор обращается к своим гостям из загробного мира и просит их подтвердить, действительно ли всё было так, как он рассказывает.

В публицистическом разделе журнала напечатана большая статья Голо Манна, перепечатанная из английского реакционного журнала «Энкаунтер». В этой статье под названием «Немецкие интеллигенты» автор пытается раскрыть роль немецкой интеллигенции в истории Германии с начала девятнадцатого века и до наших дней. Автор весьма вольно обращается с историческими фактами, произвольно и тенденциозно их истолковывает и всячески стремится развенчать всю немецкую интеллигенцию в целом. Так, например, говоря о позиции немецких писателей в годы первой мировой войны, Голо Манн зачисляет их всех в ряды шовинистов, «забывая» о том, что такие писатели, как Генрих Манн, Бертольд Брехт и многие другие, решительно выступали тогда против

агрессивного германского империализма. В статье содержится немало непристойных выпадов против марксизма, о котором автор имеет самое примитивное и искажённое представление.

Познакомимся с критико-библиографическим разделом журнала. В нём опубликована рецензия на вышедший недавно в гамбургском издательстве «Эрнст Тесслов» новый роман западногерманского писателя Карла-Людвига Опитца «Мой генерал». Как известно, предыдущий роман этого талантливого писателя — «Военщина», — содержащий острую критику гитлеровского вермахта, получил широкую известность в демократических кругах немецких читателей и вызвал озлобленные нападки реакционной критики. Автор рецензии не без оснований предсказывает, что новый роман Опитца с ещё большей злобой и ненавистью будет встречен идеологами германского милитаризма.

Действие романа «Мой генерал» начинается в последний год второй мировой войны и доводится до недавнего прошлого. Повествование ведётся от лица штабсфельдфебеля Хорлахера, типичного ландскнехта и убеждённого милитариста. Подобострастно и восторженно описывает Хорлахер боевые «подвиги» своего генерала во Франции, рассказывает о его послевоенной карьере. Эта подобострастность, доведённая до абсурда, приобретает в романе пародийное, остро сатирическое звучание. «Чудовищные залпы и грохот снарядов, — рассказывает Хорлахер, — потрясли Францию. Генерал брился. Потом он пил свой утренний кофе и съedal лёгкий омлет. Артиллерийский шквал достиг наибольшей силы. Генерал аккуратно закурил сигарету, и когда он выпустил в воздух первый клуб дыма, солдаты выползли из своих окопов, чтобы отдать себя на растерзание стальной буре».

После разгрома гитлеризма над генералом нависла угроза суда за совершённые им военные преступления. Но, как и многие его коллеги, он сумел избежать заслуженного наказания. Он снова стал играть немаловажную роль в западногерманских милитаристских кругах, снова готовился выступить в роли «защитника Европы».

С беспощадной иронией описаны в романе встречи бывших гитлеровских вояк, бредящих о новом реванше. На одном из заключающих такого рода встречи «вечере для господ» какой-то бывший офицер, уже по горло сытый войной, возразил не в меру воинственному генералу. Привыкший к беспрекословному подчинению, генерал не может перенести такую неслыханную дерзость и сходит с ума. Попав в сумасшедший дом, он считает, что попал в ведомство Бланка, где ему обещали предоставить высокий пост.

Отмечая, что Карл-Людвиг Опитц создал интересное и актуальное произведение большой обличительной силы, рецензент вместе с тем указывает, что сатирическая острота романа оказывается иногда недостаточной. «Современный милитаристский аппарат, — пишет он, — уже нельзя теперь легко поразить такими средствами. Это чудовище за последнее время социально перестроилось, стало безличнее и опаснее; современная сатира должна иметь это в виду, если она хочет сказать своё действительное слово».

В журнале опубликована также рецензия на две автобиографические книги Артура Кестлера — «Стрела в синеву» и «Тайнопись», вышедшие в мюнхенском издательстве «Курт Деш-ферлаг». Автор рецензии подробно пересказывает описанный в этих книгах жизненный путь ренегата Кестлера, много раз менявшего свои политические взгляды и нашедшего пристанище в лагере поджигателей войны. Хотя рецензент во многом сочувственно относится к автору этих малочтенных сочинений, он, тем не менее, подчёркивает «лживость метода» Кестлера и «устарелость» его рассуждений.

Большой интерес представляет опубликованная в журнале информационная заметка о работе издательства Германской Демократической Республики. Приведённые в этой заметке факты и цифры о массовых изданиях произведений немецкой классической литературы, книг современных немецких писателей, в том числе и писателей Германской Федеральной Республики, переводов произведений зарубежных авторов дают убедительное представление о размахе издательской деятельности в Германской Демократической Республике, где литература стала достоянием народа. Понимая, что всякие сравнения в этой области окажутся не в пользу Западной Германии, редакция журнала сочинила к заметке специальное примечание об отсутствии якобы в Германской Демократической Республике «свободы издательской инициативы».

Хотя читатель журнала «Тексте унд цейхен» не находит в нём пока ответа на многие актуальные вопросы, волнующие широкие круги населения Германской Федеральной Республики, вопросы, жизненно важные для судеб Германии, судеб немецкой культуры и литературы, хотя «текстам» зачастую недостаёт ясности и определённости, а «знакам» — содержательности, отражение в журнале некоторых явлений литературной жизни Западной Германии, безусловно, заслуживает внимания и интереса.

В. СТЕЖЕНСКИЙ.

ПЕСНЬ ЧЕЛОВЕКУ

«Будущее поколение не будет читать книг — оно будет занято спасением души. Следовательно, начнётся новый цикл румынской жизни, который будет проходить под девизом: «Не пишите, ребята, не пишите», — то есть как раз обратное тому, что проповедовал Элиаде Рэдулеску»¹.

Какое отношение имеет это утверждение, взятое из книги, вышедшей в Бухаресте ещё до войны, к «Газета литерарэ», которая издаётся в Румынской Народной Республике сегодня?

Самое непосредственное и прямое.

Ведь «новый цикл румынской жизни», когда не будут писать и читать книг, не был плодом больного воображения фашиствующего литератора Эмилия Чиоран, которому принадлежит это утверждение. Такой «цикл жизни» без книг и литературы, «цикл» уничтожения культурного наследия народа, восхваления «спасительного невежества», внедрения варварства во всех его формах не только подготавливался на самом деле с необычайной энергией и последовательностью, но он уже и начался в Румынии. Приход Советской Армии в 1944 году прервал его, а победа народно-демократического строя уничтожила окончательно, осуществляя благородные чаяния лучших сынов румынского народа.

Об этом нельзя не вспомнить, листая страницы «Газета литерарэ», дающей живое представление о современной румынской жизни и румынской литературе. В еженедельнике читатель может найти не только информацию о литературной жизни Румынии и оценку литературных событий недели. Круг его интересов широк и разнообразен. Так, например, в последних полученных нами номерах мы познакомились с новыми стихами молодой поэтессы Валерии Замфиреску и новыми переводами Маяковского, выполненными известным поэтом Чичероне Теодореску; с отрывком из нового романа Э. Камилара о Китае и актом из новой пьесы Давидоглу о вожде крестьянского восстания в Трансильвании Хориа. Мы прочитали в них дискуссионную статью по поводу нового толкового словаря современного румынского языка и по поводу нового учебника румынской литературы для IX класса средней школы; рецензию на последнюю книгу Марии Бануш, интервью с венгерским писателем Петером Верешем и статью о Беранже. Особое внимание еженедельник уделяет литературной жизни Советского Союза. Это выражается не только в обильной информации и перепечатках наиболее интересных статей из советских газет, — редакция «Газета литерарэ» специально заказывает статьи у советских критиков и литературоведов на темы, интересующие румынских писателей. К их числу относится, например, статья В. Тимофеева «Метод и стиль советской литературы», специально написанная для румынского читателя.

Для того, кто следит за развитием современной румынской литературы, совершенно очевидно, что её успехи обусловлены прежде всего новым общественно-политическим строем. Наиболее интересные и значительные книги, вышедшие за последние десять лет, так же как и счастливая перемена, происшедшая в личной и творческой судьбе многих румынских писателей, — прямое и явное следствие тех новых условий, в которых про-

Румыния

«Газета литерарэ» («Литературная газета»), еженедельник, орган Союза писателей Румынской Народной Республики. №№ 38—41. Сентябрь, октябрь. 1955. Год издания 2-й. Бухарест. Главный редактор Захария Станку.

★

¹ Элиаде Рэдулеску (1802—1872) — румынский просветитель, прозванный «отцом румынской литературы».

текает литературная жизнь страны после её освобождения. В рецензируемых номерах «Газета литерарэ» эта закономерность, присущая развитию всей румынской литературы, находит отражение в статьях, посвящённых творчеству широко известных в Румынии поэтов — Тудора Аргеши и Михая Бенюка. «Газета литерарэ» пишет о них по вполне конкретному поводу: недавно вышел в свет двухтомник «Избранных стихов» Бенюка, а несколько ранее был напечатан новый цикл стихов Аргеши «Песнь человеку». Книги эти совершенно разные. Авторы тоже разные — у каждого из них своё оригинальное творческое лицо и принадлежат они к разным поколениям, да к тому же в недалёком прошлом стояли на совершенно разных литературных и общественно-политических позициях. Рассматривая последние книги Аргеши и Бенюка, «Газета литерарэ» не проводит между ними никакой параллели. Однако, вчитываясь в эти статьи, нельзя не увидеть, что они, тем не менее, отражают одну и ту же закономерность времени.

Начнём с рецензии на двухтомник «Избранных стихов» М. Бенюка, поэта, который, в отличие от Т. Аргеши, уже известен советскому читателю по переводам, появившимся в разное время в нашей периодической печати.

Михай Бенюк принадлежит к тому поколению румынских писателей, которые начали печататься ещё в тридцатых годах, но получили возможность заговорить полным голосом лишь после победы народно-демократического строя. Бенюк был одним из тех немногих, но, несомненно, лучших представителей румынской творческой интеллигенции, которые, начиная свой путь в годы разгула реакции и фашизма, мужественно пошли против течения, несмотря на все трудности и риск, связанные с такой позицией. Свои первые стихи молодой поэт опубликовал в маленьком литературном журнале «Абечедар» («Азбука»), печатавшемся в трансильванском городке Брад, а впоследствии в Турде. Характерно, что именно здесь, вдали от столицы, молодёжь, объединившаяся вокруг маленького провинциального журнала, чётко провозгласила своё отрицательное отношение к фашизму, реакции и декадентской западной моде, господствовавшей в литературной жизни Бухареста. Стихи молодого Бенюка были с самого начала революционными стихами, несмотря на ограниченность его мировоззрения и несмотря на известные идеологические колебания, естественные в условиях, когда демократическое движение было разобщено, а наиболее последовательные его представители загнаны в глубокое подполье. В статье «Газета литерарэ» хорошо показано это единство и последовательность в творческом пути Бенюка. «Бенюк предстал с самого начала как поэт, чьё творчество питалось не только формально, но и по существу традициями народной поэзии и истории трансильванского крестьянства, — пишет еженедельник. — Он продолжал традицию именно тех трансильванских поэтов, которые в своё время передали в стихах горести и страдания безземельного крестьянства, силу и возмущение тех, кто провозгласил клич «Мы требуем земли!», их жгучую ненависть к эксплуататорскому порядку. Бенюк творчески продолжил лучшие традиции Эминеску и вместе с тем был органически связан с революционной венгерской поэзией».

Лирический герой Бенюка уже в первых стихах поэта был страстным искателем правды, он продолжал борьбу, которая началась задолго до него и которую вели многие поколения. Этот герой — выходец из крестьянства, и крестьянские восстания, которыми так богата румынская история, в известной степени предопределили революционный характер поэзии молодого Бенюка. Именно благодаря трансильванским крестьянам, потомкам великих революционеров Хориа и Аврама Янку, молодой поэт пошёл по единственно правильному пути, который привёл его в лагерь революции.

Автор статьи, опубликованной в «Газета литерарэ», критик Савин Брату, не ограничивается, однако, только показом преемственности и последовательности поэзии Бенюка. Он убедительно доказывает, что Бенюк стал настоящим и большим поэтом только после встречи с революционной партией рабочего класса, когда молодой поэт сознательно стал на позиции марксистско-ленинской идеологии. Встреча эта наложила отпечаток на все его стихи, написанные после 1939 года. Стихийный бунтарский дух уступает теперь место ясному пониманию закономерностей революционного развития. Бенюк становится автором своеобразной «лирической хроники» времени, в которой он часто вынужден, в силу внешних обстоятельств — война против Советского Союза и разгул реакции, — прибегать к аллегорическим образам. Однако стихи его от этого не становятся менее действенными. «Такие стихотворения, — пишет С. Брату, — как «Румынское сопротив-

ление» (1943), «Это судьба» (1943), «Жил когда-то на свете Хориа» (1943), — это потрясающие по своей силе документы сопротивления и борьбы поэта, которого не запугал фашистский террор, поэта-борца, уверенного в будущем».

Новый этап в творчестве Бенюка начался после освобождения Румынии. «Нет сомнений в том, — говорится в статье, — что произошёл новый скачок в идеологических взглядах поэта, хотя основа его партийной, революционной поэзии не изменилась». Теперь поэт видит наступление той новой эры, за которую он так страстно боролся. Его поэзия проверяется в новых условиях, искусство борца должно теперь служить новым задачам времени.

Поэт, который был выразителем гнева и печали, становится певцом радости и счастья. Это новое содержание требует новой формы, и «Газета литерарэ» показывает, как новый этап в творчестве Бенюка означал также и новый качественный рост его поэтического мастерства.

Таков путь Михая Бенюка — одного из известнейших и любимых поэтов новой Румынии.

Совсем по-другому сложилась судьба поэта Тудора Аргеzi. Советскому читателю хорошо известен пример Михаила Садовяну, чьё семидесятипятилетие недавно отмечалось во всех народно-демократических странах. Этот крупнейший мастер румынской прозы, автор более ста книг, сразу же после уничтожения фашистского режима выступил как один из самых активных борцов за социализм в своей стране. Значительно сложнее был путь Тудора Аргеzi, который принадлежит к тому же поколению, что и Садовяну, и также считается одним из крупнейших писателей Румынии. В первые годы после победы народно-демократического строя Аргеzi «молчал». Его поэзия всегда была сложной и противоречивой, порой весьма далёкой от жизни и устремлений народа. Но он всегда был выдающимся поэтом, а его поиски и колебания были отражением противоречивости времени и трудности пути большого художника.

Творчеству Аргеzi, его последним стихам посвящена, пожалуй, самая интересная из статей, опубликованных в рассматриваемых нами номерах «Газета литерарэ». Статья называется «Традиция и современность». Она написана Петру Думитриу — талантливым представителем новой румынской литературы.

В своей статье Петру Думитриу сравнивает и анализирует два недавно вышедших произведения: цикл стихов «Песнь человеку» Тудора Аргеzi, «одного из самых больших поэтов, которых дал румынский народ», и поэму молодого талантливого поэта А. Баконского «Работы и времена года». Несмотря на большое различие этих поэтов и их произведений, оба они, по мнению Петру Думитриу, стоят на одинаковых позициях, и это позволяет рассматривать обе поэмы «не как случайные, частные явления, а как выражение одной важной особенности новой румынской литературы» — обе они пытаются разрешить вечные проблемы в духе продолжения высоких традиций человеческой культуры, но выражают они отношение к жизни и мирозданию не человека вообще, а гражданина Румынии середины XX века. Петру Думитриу указывает, что цикл стихов Аргеzi о человеке не мог бы появиться, не будь последних открытий в физике и биологии, так же как не была бы написана поэма Баконского, если бы автор не жил в современной Румынии, стране, предпринявшей социалистическую реконструкцию своего отсталого сельского хозяйства.

Что касается эволюции творческого пути Аргеzi, который на пороге своего семидесятипятилетия совершил замечательный творческий взлёт, опубликовав ряд новых произведений: стихи для детей, поэтический цикл «Песнь человеку» и стихи о крестьянском восстании 1907 года, — Петру Думитриу пишет:

«Поэзия Аргеzi свидетельствует о повороте, который следовало ожидать. Это один из аспектов нашей культурной революции, отражение тех социальных перемен, которые произошли в нашей стране»¹ Далее автор показывает, как от эстетского обозрения жизни «без проблем» поэт перешёл к изображению основ человеческой жизни.

«Песнь человеку» — одно из немногих философских поэтических произведений в румынской литературе. Думитриу считает, что этот стихотворный цикл (Думитриу называет его поэмой) свидетельствует «о всё более решительном присоединении поэта к тем, кто ведёт борьбу за народное дело. Он свидетельствует также о непревзой-

дённом и общепризнанном мастерстве Аргези в работе над румынским языком, который под пером писателя превращается то в сверкающий кристалл, то в смертельный яд, то в утешение. Он то поёт, как скрипичная струна, то действует, как палочный удар».

Основная идея новых стихов Аргези состоит в понимании человека как волевого, бунтарского существа. Это концепция человека-Прометей, который восстаёт против сил природы и покоряет их. «Человек Аргези это «*homo sapiens*» и особенно «*homo faber*», существо, изобретающее и пользующееся орудиями. Эта идея даёт автору повод для создания стихотворения, посвящённого орудиям труда, — поэтического произведения, пока единственного в своём роде не только в румынской, но, может быть, и во всей мировой литературе. Оно называется «Изобретатель», и его героями являются орудия земледелия, навигации и промышленности. Но первое орудие человека — его рука — центральный образ другого большого стихотворения, пронизанного нежностью и любовью к этому хрупкому и вместе с тем столь могучему оудию. Оно называется «Я бы тебе её поцеловал — твою рабочую, твою творческую руку»...

Продолжая свой анализ нового поэтического цикла Аргези, Петру Думитриу показывает, с каким огромным огорчением и возмущением поэт смотрит на то, как человек страдает от собственных изобретений. Почему? Кто его заставил страдать? Аргези находит правильные ответы на эти вопросы. Он рисует промышленное общество, разделение труда при капитализме и в отдельном большом стихотворении, в котором его поэтические образы приобретают огромную сатирическую силу, изобличает различных «хозяев» жизни. Шаг за шагом своеобразными поэтическими средствами раскрывает Аргези историю борьбы между «хозяевами», показывает весь ужас, преступность несправедливых, завоевательских войн, рисует шовинистический угар, при помощи которого «хозяева» гнали массы людей на убой. И так продолжается до тех пор, пока восставшие народы не начинают войну за свержение всех угнетателей и уничтожение старого порядка.

Анализируя новый цикл стихов Аргези, Думитриу показывает и их ограниченность в том месте, где поэт рисует характер экономической эксплуатации капиталистического общества. «Это несомненно объясняется тем, — пишет Думитриу, — что мировоззрение поэта находится в процессе развития и уяснения. Аргези идёт в сторону социалистического реализма. Поэма заканчивается великолепным образом торжествующего человека, проникшего благодаря науке в тайны жизни и мира. Торжественно и просто славит Аргези подвиг мысли великих изобретателей — благодетелей человечества. ...Поэма заканчивается призывом к человеку стать подлинным хозяином своей судьбы, то есть тем самым благородным призывом, с которым обращаются к человечеству коммунисты».

Трудно переоценить значение нового поэтического цикла Тудора Аргези и тех тёплых слов, которые высказаны о нём в «Газета литерарэ», для новой румынской литературы. Обычно принято говорить, что борьба за социализм в странах Восточной Европы ведёт к оздоровлению литературы, к освобождению писателей от влияния декадентских школ, к утверждению реализма. Всё это, конечно, так. Но для того, чтобы понять творческий путь и судьбы писателей этих стран, следует всегда помнить, что вопрос здесь стоял о самом существовании литературы. В те времена, когда в Румынии готовился «цикл жизни» без книг и литературы, о котором говорилось в начале обзора, о Тудоре Аргези, хотя он и стоял далеко от революционной борьбы, в фашистских газетах писали, что его следовало бы «бить кнутом на площади» за его стихи.

Творческий путь Аргези за годы народно-демократического строя — новое доказательство того, что победа рабочего класса подняла на новую, высшую ступень творчество всех румынских писателей, как старых, так и молодых.

И. КОНСТАНТИНОВСКИЙ.

ДВЕ ТЕНДЕНЦИИ

США

«Этлэнтик» — ветеран среди американских журналов. В обширном и пёстром семействе однолетних «мэгэзинов» и газет-однодневок, которых то безжалостно губит, то возрождает в новой личине закон капиталистической конкуренции, «Этлэнтик» выделяется своим долголетием: он был основан в Бостоне без малого век тому назад — в 1857 году.

Этот не столь уж частый случай журнального долголетия неизменно привлекает к себе сочувственное внимание историков американской прессы. Они отмечают, что журнал дорожит своим несколько старомодным обличьем, которое призвано служить в глазах читателя своеобразной визитной карточкой. Но время берёт своё, пишет один из таких историков, Роланд Уолсли, и «Этлэнтик», опасаясь поражения на рынке конкуренции, вынужден был ввести и кое-какие новшества. Так на пуританском одеянии журнала, скроенном чуть ли не в середине прошлого века, появились яркие «заплаты» вроде ультрасовременной многокрасочной обложки и не менее живописных, по части красочных рисунков, рекламных объявлений.

«Этлэнтик», основанный как ежемесячник литературы, искусства и политики, и теперь, сто лет спустя, широко публикует стихи и рассказы, книжные обзоры и литературно-критические статьи, материалы по истории литературы и искусства. Но наряду с этим его всё больше занимают проблемы внешней политики США. В каждом номере журнал отводит место традиционному обзору международной жизни под рубрикой «Рапорт «Этлэнтика» о сегодняшнем мире».

О чём же «рапортует» своему читателю ветеран американской прессы? Мы, признаться, с особым интересом раскрывали один за другим последние номера журнала. Как отражается на его страницах богатая большими событиями политическая история нашего времени?

«Этлэнтик» нельзя упрекнуть в узости при выборе внешнеполитических тем. «География» его интересов довольно широка. «Рапорт «Этлэнтика» — это своеобразные маршруты дальних поездок, опоясывающие весь земной шар. Северная Африка, Италия, Югославия, Сингапур, Израиль... — мы выписали названия далеко не всех главок «Рапорта о сегодняшнем мире», помещённого в последних номерах.

Трудно возразить что-либо против самих маршрутов, намеченных журналом. Нельзя, однако, обойти молчанием то обстоятельство, что в качестве неперменного снаряжения для подобных дальних поездок «Этлэнтик» навязывает читателю всё тот же старый путеводитель, составленный ещё в годы «холодной войны» знатоками политики «с позиции силы».

Журнал восхваляет Северо-атлантический военный блок, в кривом зеркале досужих выдумок изображает положение в Советском Союзе и странах народной демократии. Он расслабленным слогом витийствует о «богоподобной миссии» Запада и тут же, рядом, переходя на вполне деловой тон, делится соображениями о дальнейшей судьбе американских капиталовложений в Азии и Латинской Америке.

Свои первые страницы «Этлэнтик» отводит обычно «Рапорту о сегодняшнем мире» и рекламным объявлениям крупных монополий. Читателю, таким образом, предоставляется возможность (заметим в скобках, вполне оправданная позицией журнала) воспринимать то и другое как бы слитым в единое целое.

Но повелительные требования времени ощущаются и на страницах этого журнала. В июньском номере обратит на себя внимание статья президента фирмы «Бэлл и Хауэлл», производящей фотоаппараты, линзы и другие фотопринадлежности, Чарльза Пэрси. Автор её решительно выступает за широкое развёртывание международных торговых связей. «Я верю в политику свободной торговли для Америки потому, что политические содружества на протяжении столетий шествовали по следам торговли... Взаимно выгодная торговля является солидной основой для создания прочных политических связей», — заключает автор.

«Этлэнтик» («Атлантический»), литературно-публицистический ежемесячный журнал. №№ 5—8. 1955. Издатель «Этлэнтик компани мансли». Год издания 98-й. Бостон. Редактор Эдвард Уинкс

★

Чарльз Пэрси не одинок в своих выводах. Хорошо известно, что не только в широких кругах американской интеллигенции, но и в деловом мире всё больше сторонников находит идея расширения торговли и культурного обмена США с Советским Союзом и с другими странами мира.

Этот же взгляд на вещи, не затуманенный духом нетерпимости и предрассудками «холодной войны», мы находим в некоторых литературно-критических статьях «Этлэнтика». Популярный в США прозаик и драматург Уильям Сароян в литературных заметках как бы подводит итоги своей двадцатилетней писательской деятельности. Он горько сетует на трудности писательской профессии, на обилие долгов, накопившихся за последние годы. Сароян неоднократно подчёркивает свою принадлежность к тем, кто не отвлекается ради лёгкого заработка от любимого дела...

Высказывания писателя о жизни и литературе звучат искренне. В них ясно сквозит оптимизм, вера в более радостный завтрашний день человечества. «...Без юмора нет надежды, а человек не мог бы дальше жить без надежды так же, как не мог бы не ступать ногами по земле,— пишет он.—...Я, как и все другие, появился на земле надолго,— продолжает Сароян.— Никакие несообразно мощные бомбы... никогда не будут пущены в ход кем-либо и против кого-либо. Зная это, веруя в это, настоящий писатель исполнен намерений сохранить себе здоровье и писать со всё более ясной целеустремлённостью, миром и любовью».

Умно, с несомненным знанием дела написана большая статья постоянного литературного обозревателя «Этлэнтика» Чарльза Роло о творчестве широко известного итальянского романиста Альберто Моравиа. Правда, автор в меру сил пытается увести внимание читателя от антифашистских и антивоенных тенденций, всё отчётливее проявляющихся в последние годы в развитии большого дарования Альберто Моравиа. Но Роло вместе с тем убедительно говорит о любви большого писателя к человеку, о гуманистическом направлении его творчества. Уже тот факт, что журнал отвёл место серьёзной статье о таком писателе, как Моравиа, и очень явственный акцент на гуманистических тенденциях в его творчестве,— явление отрадное.

Мы не случайно отвели рассказам и стихам «Этлэнтика» последнюю часть нашего обзора. Художественная проза и поэзия в этом журнале лишены большого общественного содержания, не затрагивают острых, значительных тем жизни народа. Из произведений, помещённых в 1955 году, запомнились, пожалуй, всего две новеллы. Автор одной из них — «До ре ми» — актёр и драматург Гарсон Канин. Он известен в Соединённых Штатах по пьесе «Рождённый вчера».

В новелле «До ре ми» рассказ ведётся от первого лица. Герой — гангстер, уже не впервые попадающий за решётку. Следуя совету тюремного надзирателя, он добросовестно записывает события последних месяцев своей жизни в надежде обнаружить просчёт, оказавшийся для него роковым.

Образ главного героя — постоянного обитателя исправительных домов, гангстера-неудачника — раскрывается в новелле ярко и убедительно. Читатель видит его безудержное влечение к запретному, тупое преклонение перед силой и ловкостью более опытных сообщников, поразительное убожество мыслей и чувств.

Название новеллы, повидимому, должно символизировать первые ступени уголовной карьеры преступника, уже в третий раз попадающего в тюрьму за своего ловкого компаньона. Канин, несомненно,— наблюдательный рассказчик. Но, прочитав новеллу, трудно сказать, как относится автор к судьбе своего героя, к нравам гангстерского мира. Нет в новелле ни чувства гнева, возмущения силами, порождающими преступные нравы, ни слов осуждения их.

Другая новелла — «Голоса» — принадлежит одному из виднейших прозаиков современной Англии, Олдосу Хаксли, в последние годы живущему в Калифорнии.

...Ощущения душевной пустоты, безрадостной праздности и взаимной отчуждённости безраздельно царят в доме богатой стареющей дамы. Она живёт в калифорнийском поместье, предаваясь сладостным воспоминаниям о роскошных приёмах в своём парижском салоне. «Увы, времена изменились, и не только времена... Санта-Барбара ведь не Париж. Да и Париж, надо сказать, уже не тот... Почти все те, кто был свидетелем былого, умерли, стали инвалидами или разорились»,— размышляет она.

Перед глазами читателя проходят трое из уцелевших обломков этого отживающего свой век мирка: стареющая светская львица, хозяйка дома Элеонор Марсден; всё ещё знаменитая, несмотря на возраст и недуги, актриса Мойра Диллон и дряхлый, глухой, как пень, сластолюбец Дадли Булл. Обаянием молодости ласкает взоры дам секретарь хозяйки, Алек Позна, то и дело заученным театральным жестом склоняющийся к ручке мадам Марсден.

Все эти персонажи переданы через восприятие двадцатилетней племянницы хозяйки дома. Своеравная Памела Фильд ненавидит свою тётку и всё, что её окружает. Памела решает выместить накопившуюся в ней злобу, использовав пристрастие Марсден к спиритизму. Она подстерегает тётку по пути в спальню и голосом «духа» обрушивает на неё поток оскорбительных слов. Элеонор Марсден в испуге оступается на верхней ступеньке лестницы и скатывается вниз, в гостиную. У старухи перелом позвоночника. Она умирает.

Не успевают увезти её тело, как Алек Позна начинает шантажировать Памелу. Напуганная, измученная девушка вскакивает среди ночи с постели. Крадучись в темноте, она нащупывает в старом шкафу верёвку... На этом обрывается новелла.

Написанные рукой опытного портретиста и бытописателя, «Голоса» не лишены элементов довольно острой сатиры. При всей неосмысленности поступков Памелы, она явно противостоит в новелле представителям старого буржуазного мира с его лицемерием и ханжеским бездушием.

В каждом номере журнала печатается довольно много стихов. Это поэтическое изобилие в одном из редакционных примечаний объяснялось тем, что стихи для номера отбираются из тех полутора тысяч стихотворений, которые ежемесячно поступают «самотёком» в редакцию. Но на страницах «Этлэнтика» почти не встретишь стихов крупных поэтов Америки. Порой может даже показаться, не задалась ли редакция целью продемонстрировать читателям наихудшие образцы современной американской поэзии.

«Этлэнтик» связан прочными деловыми узами с журналом «Перспективы США». Знакомя европейского читателя с литературой и искусством Соединённых Штатов, «Перспективы США» время от времени используют страницы «Этлэнтика», чтобы дать американцам представление — пусть иной раз и одностороннее — о культурной жизни других стран. За последние два года в качестве приложения к журналу были опубликованы обзоры, которые познакомили читателя с Индией, Голландией, Бельгией и Японией.

Последнее приложение к журналу посвящено Греции. Кос-кто из авторов его уже много лет живёт в Соединённых Штатах, далеко не все из них сохранили живые связи с культурой Греции, что, повидимому, и привело к некоторой тенденциозности их оценок и суждений.

В статьях о Греции, как, впрочем, и в ранее опубликованных обзорах, чувствуется предвзятость в отборе рассматриваемых фактов: журнал обходит молчанием многие значительные прогрессивные явления в развитии национальной культуры. Зато авторы «Этлэнтика» охотно говорят об «атлантическом единстве», о «западной цивилизации», о благодетельном значении американской экономической «помощи» малым и отсталым странам. Подобная односторонность в оценке сложных явлений национальной культуры вряд ли, разумеется, может способствовать выработке у американского читателя сколько-нибудь объективных, полных представлений о путях исторического развития других народов.

...В последних номерах «Этлэнтика», как видим, можно проследить две тенденции. Не всегда отчётливо выраженные на страницах журнала, они в известной степени всё же отражают реальные противоречия борьбы, столкновений различных точек зрения, различных настроений и мнений в общественной жизни сегодняшней Америки.

Е. РОМАНОВА.



ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

В. КАРДИН

★

ЦЕЛИНА И КНИГИ

Если бы не пыль или дожди летом, что дымкой заволакивают горизонт, если бы не слепящие зимние бураны, степь можно было бы окинуть взором в пределах, доступных человеческому глазу. Ничто не задержало бы взгляд на ровной и однообразной поверхности.

Однако и летняя пыль и февральский буран, хоть и ограничивают видимость, только усиливают тревожное ощущение бескрайности, рождённое степью. Ощущение это,

вероятно, от сознания одиночества, чуждого человеку по природе.

Но привычное представление о безлюдности степи обманчиво. Зрительное впечатление и чувство, вызванное им, меньше всего отвечают действительности, ибо степная действительность сегодня — это труд и борьба многих тысяч людей, по зову партии приехавших сюда поднимать целину и залежь.

1. О ПРЕТВОРЕННОЙ МЕЧТЕ И УТРАЧЕННЫХ ИЛЛЮЗИЯХ

*Довольно отдыхать тебе, земля,
потресканная жаждою столетий.
Пусть зеленеют всходами поля,
рождаются дома,
герои,
дети.*

И. Нонешвили.

Если составлять себе представление о целине по некоторым газетным очеркам и стихам, то это «край, где всё обильем дышит» («Не без кое-каких недостатков, конечно...»). Если судить по рассказам иных беглецов и по письмам паникёров, то это гибельные места («Пропади они пропадом — борщ холостой, в палатках и вагончиках ночью холод собачий, да и заработки не те, что сулили...»).

Так и сосуществуют два эти мнения — голубовато-розовое, радующее сердце редактора-перестраховщика, и шипуче-скрипучее, ласкающее ухо обывателя.

А целина — она сама по себе. На ней как в боях: и прорывы, и разведки, и отступления, и победы, и неудачи, и герои, и дезертиры, и награды, и потери.

На земле, от века не тронутой плугом, питавшей своими щедрыми соками лишь степные травы, развернулось сражение за

хлеб, за обилие хлеба, о котором мечтал и мечтает народ, видя в нём залог всяческого достатка, обеспеченности на будущее, верной помощи соседу. Претворение этой мечты (а целина наикратчайший путь к ней) в интересах самого святого и жизненного дела наших людей — в интересах построения коммунизма.

Поэтому в степные районы Казахстана и Сибири, расставшись с привычными насыщенными углами, приехали новосёлы. В освоении целинных и залежных земель открылась им высокая романтика героической борьбы за хлеб.

Совсем не просто и не легко сняться с родного места, уехать от близких, часто из благоустроенной квартиры или доброй хаты, чтобы поселиться в голой степи.

Вот она, эта голая, как говорится, без конца и без края степь. В конторе совхоза мы рассматриваем снимки. Кто-то полтора го-

да назад, едва спрыгнув с машины; навёл объектив на белый свет и щёлкнул затвором. Так появилась «Фотография № 1. Место будущей центральной усадьбы совхоза». А дальше — первая палатка (парусиновые, колеблемые ветром стены с маленькими слюдяными окошками памятни каждому, кто лежал когда-то раненым в медсанбате), первая электростанция (зыбкое строенье из кое-как сбитых фанерных листов), первое собрание (на повестке дня один вопрос: «Текущий момент и наши задачи»), первый жилой дом, первая партия машин...

Самое, на мой взгляд, характерное на целине — это острота и напряжённость становления жизни.

На новых землях, в обстановке для большинства необычной и непривычной, со всей силой определённости проявился советский характер, воспитанный партией в наших людях. Благодаря ему стала возможна та победа, которую одержали труженики глубинных земель, впервые дающих хлеб Отчизне. И именно там, где потребовалось величайшее упорство, стойкость и работоспособность, особенно очевидно банкротство иллюзорного представления о действительности, как о чём-то плавно текущем, не отягощённом сложностью и невзгодами.

О целине уже создано немало заметных и запоминающихся вещей, отмеченных стремлением писателей утвердить эту победу, воссоздать яркий и многогранный характер победителей.

Представляется наиболее закономерным суждение, которое вынес из своей поездки по целине Николай Погодин, завершивший очерк «Кустанайские встречи» откровенным признанием:

«Каким должен быть положительный герой среди молодёжи и даже той её части, которая сейчас живёт и работает на целине, я тоже ничего не знаю. Думаю, что если кто-нибудь из нас, литераторов, узнает это во всей силе и правдивости, то он напишет если не гениальное, то уж во всяком случае знаменитое художественное произведение современности. А от встреч с целинной молодёжью... у меня осталось великолепное впечатление силы, жизнедеятельности и непобедимости. Часто думалось о том, что таких, как эти молодые люди, сломить, пригнуть, победить нельзя».

Уже написаны очерки, повести, стихи, пьесы о целине. Книги вышли в Москве и Ленинграде, Барнауле и Алма-Ате, Новосибирске и Чкалове. Интерес писателей к це-

лине естествен, ибо покорение целины — одно из явлений, в котором наиболее полно и ярко проявились особенности нашего времени, дух и направление наших дней, дней интенсивного строительства коммунизма.

Такова объективная особенность советской литературы: насущное в судьбах государства, становясь насущным в жизни людей, делается ведущей темой искусства. Отсюда и позитивная роль литературы и искусства советского общества, призванных приближать час полного торжества великих созидательных целей народа.

Написанное о целине ещё раз подтвердило многообразие способов решения нашей литературой своих задач.

Исторические свершения в жизни общества отражаются в литературе либо в виде хроники, кропотливо воссоздающей пунктир последовательного течения событий и детали частных эпизодов, либо в виде эпоса, где автор, отбирая самое главное и наиболее характерное, умеет отбросить незначительные частности и прийти к важнейшим обобщениям, позволяющим постигнуть смысл происходящего в целом.

Отбор деталей не означает ни отказа от живых подробностей ни односторонности в подборе их. Напротив, в эпосе детали наиболее конкретны. Оттого очевиднее выступают противоречия данного времени и драматичнее обрисовывается столкновение, борьба этих противоречий. То же можно сказать и о человеческих характерах, где обобщение не уменьшает, а усиливает конкретность образа. Вспомним «Поднятую целину» — эпопею, отражающую один из значительнейших этапов в жизни советского общества. Путиловец Давыдов — индивидуальный характер, созданный нашей литературой, и в то же время это обобщённый коллективный образ двадцати пяти тысячника, вобравший в себя дела и думы, трудности и подвиги всех двадцати пяти тысяч сынов партии, возглавивших великий перелом в укладе русской деревни.

Чтобы прийти к такому обобщению, художник должен видеть совершающееся не только на узком отрезке времени, когда то или иное событие происходит, но в дальней исторической перспективе — от корней до вершины. Иному писателю нужно для этого время; другому мера таланта и глубина познания жизни своего народа позволяют разглядеть перспективу из самой гущи событий (напомним, что первая книга

«Поднятой целины» была завершена уже в 1933 году).

Так или иначе, эпопея о народном движении, которое за последние два года привело по зову партии на степные целинные земли Заволжья, Алтая и Казахстана многие десятки тысяч людей, ещё не создана, да, вероятно, и не могла быть создана в такое короткое время. Нет пока и широкой хроники этих событий. Очерки, рассказы и даже пьесы, появившиеся в печати, представляют пока собой лишь разрозненные эпизоды такой хроники, и с этой точки зрения следует о них и говорить — не рассчитывая на большие обобщения, но стремясь разглядеть типическое; не ожидая увидеть отдалённую перспективу, но отыскивая то, что показывает в событиях нынешнего дня, в их подлинной пестроте и противоречивой сложности истинный большой смысл. Ибо и хронике противопоставлена односторонность; ибо и очеркист, фиксирующий увиденное, не вправе очутиться в плену как у тех, кто стремится выставить перед наблюдателем лишь показную, парадную сторону, так и у тех, кто пытается вовлечь этого наблюдателя в замкнутый круг преходящих, мелких, но непомерно раздутых неурядиц.

От жизненной истины равно далеки и тусклые лакировочные стандарты, и крикливое истерическое метание по болотным кочкам, мешающее увидеть уверенную силу, и нелёгкий труд действительного подвига.

Из опубликованного более полутора лет назад очерка Ильи Сельвинского «На глубинных землях» мы узнали, с чего началось освоение целины. В очерке не было широкой панорамы, обстоятельно выписанных характеров, не было попытки создать «полотно». Однако была романтическая атмосфера развёртывающегося наступления, честная тревога за его ход и судьбу его участников. Когда И. Сельвинский размышлял о первых целинниках, прибывших из разных городов страны, о принципах отбора людей, о воспитании культуры чувств, когда говорил: «...молодёжь привезла с собой чудесные запасы весны и солнца. Не разбазаривайте же эти драгоценности! Относитесь к ним бережно, по-хозяйски!.. Целину поднимает прежде всего душа человека», он старался заглянуть в завтрашний день степи.

Чувство перспективы помогло писателю поднять в очерке проблемы, не потерявшие своего значения и поныне. Скажем, взаимо-

отношения новосёлов, людей городской культуры и современного понимания производственных процессов, с иными местными руководителями, склонными иногда сознательно, иногда несознательно держаться устаревших методов.

Описанную в очерке стычку молодых ленинградцев с директором Барсукбайской МТС Токеновым я вспомнил на одном из токов в Алтайском крае. Стояли неистовые дни уборки хлеба, и никого не удивил приезд на ток секретаря райкома партии. Секретарь — человек бывалый, не первый год в районе, и для него неорганизованность в уборке — нож острый, а организованности, что и говорить, было маловато. В расстёгнутом синем френче, поджарый, лёгкий, он быстро шагал по току, едва сдерживая гнев. И не сдержал:

— Понаехали тут со степенями...

(Директор совхоза, главный агроном и уполномоченный крайкома партии — кандидаты наук.)

Почему именно на учёные звания недавно приехавших работников обрушил своё, пусть справедливое, негодование секретарь?

Нет, не случайно мне вспомнился Токенов из очерка И. Сельвинского, вспомнилось токеновское предубеждение против новосёлов.

Рассказывают, что во многих районах после очерка «На глубинных землях» стали более энергично искоренять хулиганство и милиция отказалась от неуместного либерализма. Если сначала, как пишет И. Сельвинский, превосходство порой было на стороне хулиганов, то сейчас хулиганы, понеся изрядные потери, отступили. Многих из них то ли убедили товарищи, то ли сама жизнь, но они стали добросовестными работниками. Нередко, беседуя с примерным трактористом или передовым комбайнером, узнаёшь о его «грехах и заблуждениях молодости». Отдельных, более «стойких» хулиганов пришлось изъять из целинных коллективов и направить в места, специально для них предназначенные.

Бывают и сейчас безобразные поступки, хулиганские выходки, но это не носит уже того характера, о котором писал И. Сельвинский. Путёвки, как правило, теперь стали давать достойным. Но, во-первых, на целину приезжает немало народу и без путёвок, а во-вторых, многие организации в помощь целинникам на период уборки командируют почему-то отпетых бездельников и лоботрясов. Следовательно, то, что И. Сельвинский

писал об отборе людей, ещё, к сожалению, не устарело.

Если писатель всей душой и разумом коммуниста стремится до конца понять целинные будни, воссоздать их силой своего таланта, помочь утверждению нового на целине, — он на пути, на котором приемлемы и применимы самые различные творческие манеры и почерки.

Страницы очерка В. Солоухина «Рождение Зернограда» приобщили нас к первым дням и месяцам покорения казахстанской целины, передали ощущение напряжённости и новизны, царящее в потревоженной степи. «Жизнь меняет ритм» — называется первая глава о новых людях, появившихся в маленьких и очень далёких городках, далёких не только географически, но и нетерпимым бдением размеренной повседневности.

Начальник межсовхозной экспедиции Бапишев хотел бы видеть себя занятым человеком, хотел, чтобы люди знали, сколько у него работы. А её было мало, совсем мало, и девушка-телефонистка на просьбу соединить с экспедицией требовала номер: «...я не обязана знать какую-то экспедицию».

И вдруг всё изменилось. В городе появились инженеры, строители, кинорежиссёры, художники, писатели, почвоведы. Беспеременно звонил телефон, и телефонистка уже не требовала номера. В. Солоухин точно, с едва уловимой усмешкой увлечённого, но несколько стесняющегося этим человека передаёт приметы смены ритма.

Среди трудностей первых дней В. Солоухин заметил и такую, о которой никто не писал, но которую испытали многие целинники, — одиночество. Юноши и девушки, привыкшие к дому, к родным, к коллективу, оказываются разобщёнными. Живут по хатам, среди всё-таки чужих, особенно поначалу, людей, работы ещё нет. Вот почему так радостно взволновало всех и самого автора первое комсомольское собрание, закладка палаточного городка, начало пахоты.

В. Солоухину ближе всего люди, которых называют «душевными». Поэтому и удалось ему набросать портрет директора совхоза Николая Максимовича Мамонтова. Принципиально важно, что герой одного из наиболее удачных «целинных» очерков — внимательный и чуткий к людям руководитель, для которого цифры не заслоняют и не исключают живого человека. Можно лишь пожалеть, что образ Николая Максимовича

не развёрнут как обобщение, как олицетворение того единственно верного партийного стиля руководства, без которого не взять от целины всего того, что она должна дать.

Очерки Н. Погодина, И. Сельвинского, В. Солоухина говорят о том, что новая, небывалая тема о целине может стать предметом горячей работы, вдохновенного творчества писателя.

Как же горько читать рядом с такими произведениями литературные поделки, в которых — ни жизненной правды, ни авторского волнения, а только штампы и плакатная парадность!

Вот привычный каркас многих «целинных» опусов, из которых взяты приведённые ниже выдержки.

...Молодёжь отправляется на целину. «В десятки медных труб гремела музыка. На расцветённом флагами перроне кружились пары. Лихо плясали парни и девушки. Многоголосо гудела толпа провожающих». В последние минуты у вагонов митинг. Говорят о традициях, о комсомольцах, уезжавших некогда в тайгу и пустыни.

На ходу решаются личные дела.

«— Еду, — заявил Алексей жене. — Путёвку уже получил.

— А как же я?

— И ты поедешь. Устроюсь, а потом за тобой приеду.

— Трудно мне будет, — сказала Шура.

— Ничего. Привыкнешь. Поедешь?

— Поеду, Лёша. Раз надо — поеду».

В пути — песни, домино, шахматы, планы на будущее. Кое-кто выпивает. Обычно один на вагон. На пьяного обрушивается весь коллектив. Ему напоминают сказанное на митинге о традициях и Комсомольскена-Амуре. Если упорствует, выпускается специальный номер стенгазеты с сатирическими стихами:

Путь-дороженька к Алтаю приближается,
Днём и ночью наш Евгений забавляется,
Крепкой водкой вместо пищи пробавляется,
Ходит бодро, нараспашку, улыбается.

После этого с пьянством покончено. Пьяным Женю «больше не видели. Женя передел рубашку: вместо красной — синюю косоворотку. И удивительное дело, он оказался милейшим человеком, его все полюбили за добродушие, общительность».

При встрече — митинг, речи, пожелания. Потом — степь, трудности с жильём, питанием, работой. Но ничего. «Все обещали с

честью оправдать оказанное доверие, трудиться не покладая рук... Каждый механизатор, каждый рабочий совхоза, не жаля сил, стремился сегодня сделать больше, чем вчера, а завтра ещё больше, чем сегодня».

Иные всё же жалуются, плачут, думают об отъезде. С ними беседуют, им посвящают собрания. Так было и в Н-ском совхозе, откуда задумали бежать две девушки. Но «собрание положительно повлияло на обеих девушек».

А потом — радостные новоселья и свадьбы...

Едва народилось в жизни сложное явление, находящееся в стадии острых конфликтных столкновений, как у многих авторов оно уже приняло форму застывшего штампа: митинг—поезд—встреча—степь—новоселье. Здесь не только устоявшаяся композиционная схема, здесь трафаретное восприятие действительности, или, точнее, наложение на действительность трафарета, при котором одно скрадывается, другое выпячивается, третье закрашивается.

И это отнюдь не привилегия только прозы. Какой ледяной поток взаимозаменяемых «Первых борозд», «Новосёлов», «Трактористов» обрушила на нас со страниц журналов, газет, альманахов поэзия!

Нынче здесь не то, что год назад,—
Голоса весёлые звенят.
Нет, не одинока степь — вокруг
Много крепких, работающих рук!..

...Не успела мысль закончить я,
Как взревела дизелей семья,
И на штурм нетронутой земли
Трактора могучие пошли.

И, как волны, вздыбились пласты
Бархатной целинной черноты.
Повторяет радостно народ:
— Пахота великая идёт!

(Зулкия Жуматова. «На борозде»).

Пробудилась, вздохнула земля,
Песни юных взнес над веками.
Пески эти, сердца веселя,
Степь украсили, словно венками.

От путей и дорог вдали
Комсомольцы, друзья-трактористы,
Батальоны машин повели,
Как солдат-гвардейцев, на приступ.
И ковыльная степь, покорясь,
Изменяет свой облик старинный:
Пролегла, сизым паром дымясь,
Ворозда на земле целинной.

(Фёдор Горбунов. «Первая борозда»).

Поэзия тут перестаёт быть «ездой в неизвестное». Каждый образ привычно тянет за собой следующий. А подлинная поэзия труда и преодоления трудностей, поэзия неповторимости человеческого подвига, поэзия страстной мысли, рождённой великой мечтой, так и остаётся нетронутой целиной.

Едва протоптана тропка, по ней устремятся многие, повторяя и слегка варьируя уже сказанное. Подобное повторение вовсе не означает заимствования. Особенности штампа в том, что он, воплотив в себе лежащее наиболее близко к поверхности и придав ему удобообтекаемую форму, отделяется от грешной тверди и носится в воздухе, поражая, подобно микробу, всякого, кто не обладает иммунитетом.

Несомненное сходство характеризует и первые пьесы о целине — пьесу Н. Анова и Я. Штейна «Целина» (в сценическом варианте «По велению сердца») и пьесу В. Пнстоленко «Огни в степи». Критика справедливо отметила совпадение не только отдельных ходов, ситуаций, но в значительной мере и сюжетов (статья И. Вишневецкой «Схема и жизнь». «Литературная газета» № 128 от 27 октября 1955 года). Само по себе такое совпадение в каких-то пределах неизбежно, когда авторы одновременно прибегают к одному и тому же материалу. Суть в том, выявилась ли в трактовке событий и разработке характеров художническая индивидуальность, вне которой нет правды в искусстве. Но в данном случае, к сожалению, этого не произошло. В обеих пьесах более или менее одинаково упрощён подход к жизненным явлениям, и это неумолимо привело к обедняющему оба драматургических произведения подобию.

В воспоминаниях современников о Л. Н. Толстом среди множества мудрых высказываний великого писателя есть и такое: «В художественном произведении,—говорил Лев Николаевич,—должно быть непременно что-нибудь новое, своё... Нужно непременно в чём-нибудь пойти дальше других, отколупнуть хоть самый маленький свежий кусочек...»

«Маленького свежего кусочка» недостаёт многим вещам о людях, пашущих новые земли. И это особенно досадно, потому что целинная действительность необычайно многолика, тут столько явлений и вопросов, настоятельно требующих писательского внимания и вторжения, что, право же, грех отделяться бесхитростными иллюстра-

диями и удручающе однообразными зарисовками.

Последнее время мы научились особенно ценить в литературе значительность и жизненность поставленных проблем.

«А на целине, что ни шаг — то проблема». Эти слова я услышал от директора одного из новых алтайских совхозов. Кандидат экономических наук, в прошлом руководящий работник в комсомоле, а позже в Министерстве сельского хозяйства, он при-

знаётся: «Ни в каких чинах и должностях мне не приходилось над каждым делом столько голову ломать, как здесь».

Сложность жизни требует от литературы глубины постижения явлений и событий, умения сквозь все противоречия разглядеть ведущую тенденцию победоносного наступления на целину, умения правдиво рассказать о том, как полновесным зерном и человеческой зрелостью приходит эта победа.

II. ИСПЫТАНИЕ ЦЕЛИНОЙ

Жизнь на целине стала для новосёлов великой школой. Молодёжь, пробывшая год на целине, стала сильнее характером, выносливее, дисциплинированнее. Мы сами не заметили, как возмужали. Мы всегда готовы теперь к любой работе.

Из письма новосёлов зерносовхоза «Изобильный» советским писателям.

На глубинных землях, где свободный час в страдную пору на вес золота, где библиотекой называется иногда груда книг, сваленных в углу палатки или вагончика, молодёжь много читает и строго судит о прочитанном. Людям, на долю которых выпали немалые испытания, интереснее и поучительнее всего читать о тех, кто во имя высокой цели преодолевал самые тяжкие трудности. В наши дни, думается, сильнее всего своё родство с Павлом Корчагиным, Зоей Космодемьянской, Алексеем Мересьевым и Олегом Кошевым чувствуют степные новосёлы.

Однако хочется почитать и о своём брате-целиннике.

Да, целина нуждается в литературе.

Но и литература советская нуждается в целине. Ибо здесь сильнее, ярче и отчётливее проявились черты характера, душевный склад нашего современника, молодого человека середины двадцатого столетия.

Нет, невозможны какие-то особые «целинные» проза, поэзия, драматургия. Но наша литература рисковала бы оказаться обеднённой, если бы прошла мимо подвига молодёжи на целине.

В большинстве уже созданных произведений тема целины трактуется как тема серьёзного испытания моральных и физических сил человека. Это справедливо. К тому же, проходя через это испытание, люди изменяются, приобретают новые качества, совершенствуются.

Я познакомился с секретарём совхозной комсомольской организации, который ещё год назад числился в заядлых хулиганах и

картёжниках. Три его предшественника на посту секретаря не оправдали надежд комсомольцев. А этот оказался настоящим вожаком.

Бывает, правда, по-всякому. До чего, например, неожиданно сложилась в степи судьба некоторых аппаратных работников. Приехал на целину с чистым сердцем и горячим желанием трудиться товарищ П., кандидат наук, многолетний сотрудник Министерства сельского хозяйства. Приехал на должность главного агронома нового совхоза. Но за годы кабинетного сидения атрофировались какие-то качества, необходимые для живого дела. Ходит товарищ, нервничает, ночами не спит, а пока что плохо, совсем плохо получается с работой.

Зато в одном из соседних совхозов, причём это очень большой совхоз, оправдал себя смелый эксперимент. Комсомольца, недавно окончившего институт, назначили главным агрономом. Ходишь с ним по полю и диву даёшься: откуда у этого юноши такая основательность, такое всестороннее понимание совхозных нужд, такое умение обстоятельно говорить с подчинёнными. Одно слово: хозяин. Когда спрашиваешь, как это получилось, улыбается, пожимает плечами:

— Целина, она ума прибавляет...

Даже если продолжить перечисление подобных примеров, не постигнешь основного: как идёт этот процесс, почему завершается он то так, то этак, да и завершается ли он?

Снова листаешь книги.

Среди не особенно удачных «Рассказов о целинных землях» Анатолия Злобина (очень

уж часто очеркист отрывается от этих земель и уносится в облака) есть один примечательный — «В дороге». Герой его, Юрий В-н, попадает на новые места вопреки собственным намерениям. Решение за Юру приняла расторопная мачеха, и в поезде среди молодых добровольцев ему не по себе. Но постепенно парень освоился. В МТС он стал помощником комбайнера, а через год, в отпуске, приехал домой совершенно другим человеком, знающим себе цену, не без юмора относящимся к присмирившей мачехе.

Однако на фоне естественных и остроумных сцен в вагоне и дома провалом зияет описание целинного периода в жизни Юрия:

«Спустя несколько дней тридцать три автозавода приступили к работе на Макаровской машинно-тракторной станции. Тридцать три богатыря — так в шутку прозвали их. Среди этих богатырей был и Юрий. Ему не удалось сдать экзамен на тракториста. Он стал прицепщиком на тракторе Коккина. Работал старательно и добросовестно. К концу посевной его имя оказалось на доске почёта, а сам Юрий усиленно изучал комбайн, чтобы сдать экзамены на помощника комбайнера».

Как бы засверкал рассказ, если бы вместо этой анкетной, служебной характеристики автор раскрыл тонкую механику изменения психологии в новых жизненных условиях.

Слозю перед неодолимым рубежом оставиваются часто писатели перед тем, ради чего и стоило в первую голову браться за перо.

Для художника шолоховский смысл «поднятия целины» состоит, в частности, в постижении человека на решающих этапах изменения его судьбы, чувств и мыслей. Не случайно романы М. А. Шолохова написаны о годах самой крутой ломки в людском сознании.

Почему же так слабо используется опыт больших мастеров? Почему же всё-таки существует закордонный рубеж, достигнув которого автор либо тушует, либо отделяется информационным сообщением, вдруг забыв о своём назначении писателя?

Запомнилась мне реплика, услышанная однажды на ежедневной летучке в совхозе. В девять вечера в маленькой комнатухе каким-то чудом сохранившейся древней избы (изба громко именовалась «дирекцией», а клетушка — не иначе как «кабинетом ди-

ректора») собирались управляющие отделениями, бригадиры, заведующие токами. Говорили о прошедшем дне и дне завтрашнем. Спорили, ругались, упрекали друг друга, мирились, короче — «подводили итоги и намечали мероприятия».

В какую-то неожиданно наступившую тихую минуту бригадир Ковалёв раздумчиво произнёс:

— Да, жизнь здесь на каждом шагу палки в колёса ставит...

Было это сказано с горечью и вместе с тем с гордостью, с пониманием трудностей минувших и предстоящих, с тем чувством веры в себя, какое может быть лишь у человека, хорошо знающего, почём фунт лиха, и вместе с тем твёрдо уверенного: быть по-нашему!

Потом эту фразу, вкладывая в неё различный смысл, неоднократно повторяли выстулавшие.

Но как же выглядят в книгах эти палки, которые ставит в колёса жизнь на целине?

В пьесе «Целина» Н. Анова и Я. Штейна возникает немало столкновений. Ещё в вагоне бригадир Ярцев схватывается с хулиганом Бульбой. Дело чуть не доходит до драки. Богатырь Гмыря, сжав руку Бульбе, вынуждает того ретироваться. Когда приехали на место, заместитель директора совхоза, бюрократ Забыйкол, оставил людей без постельных принадлежностей. Едва не замёрзли. Ладно, удалось смастерить одеяла из мешков, набитых соломой. А потом этот же Забыйкол обманул киногруппу, выдав бригаду Ярцева за передовую, между тем как она ещё не выполнила плана. Чуть было обманом трактористы не попали на киноплёнку. Хорошо, что Ярцев проявил принципиальность и не разрешил съёмку.

Неприятные минуты пришлось пережить бригадиру из-за приезда к нему жены Кирры, сткровенной стяжательницы, дамы вульгарной и ветреной. Она своими неприглядными поступками и грязными разговорами чуть было не скомпрометировала Ярцева. Но он быстро поставил жену на место, и ей пришлось уехать.

Был у Ярцева момент, когда он, погорячившись и пустив в ход кулаки, чуть не лишился должности бригадира. Ему даже пришлось на короткое время стать рядовым трактористом. Но несправедливостью возмутились все инстанции, вплоть до министра совхозов, который немедленно прислал из Москвы специальный приказ восстановить Ярцева в бригадирах. Клевет-

ническая статья «Унтер Пришибеев на целине», не увидев света, попала на исследование и послужила материалом для разоблачения халтурщика, поэта Серебряшкина...

Всё неприятное, тяжёлое, дурное, что вот-вот могло обрушиться, требуя смелой и упорной борьбы с собой, неизменно пресекается волшебной палочкой на стадии «чуть не...». Палочка послужила шлагбаумом, не допустившим в пьесу реальные трудности, лишила драматургическое действие целеустремлённости и напряжённости, свела его к малозначительным эпизодам, не позволяющим выявить человека.

Речь идёт не о дотошном пересказе всего, что доведётся встретить человеку на целине, а о правде жизненных обстоятельств, в которых выступает герой, о правде не только его устремлений, но и трудностей, стоящих на пути их осуществления.

Умолчать о невзгодах, уверить, что они «всего лишь угрожали, могли произойти, но...», — значит преуменьшить подвиг тех, кто их побеждает, значит лишить себя возможности и права в полный голос поведать о людях степной целины, об их духовном величии, об их изумительных делах.

Когда человек, живя месяцами в палатке, воюя с бракоделами, получая порой к обеду окаменевшие пряники, ибо пекарня, случается, не успевает выпекать хлеб, — говорит, как это сказал мне тракторист Ляхов: «То ж и есть жизнь, ведь своим упорством, не глядя ни на что, стране урожай снимаешь», то, думаю, хоть он и не участвовал в дискуссии о положительном герое, но имеет собственную точку зрения по этому вопросу. И если писатель, заметив его красивое лицо, почерневшее от солнца и густой пропылённой щетины, услышав о его высоких показателях, захочет рассказать о нём, но забудет о препятствиях, которые тот одолевает с таким мужественным достоинством, но вовсе без христианского всепрощения, то удачи не будет.

Каждый коллектив, возникший в степи, поражает своей разнородностью. Сколько тут энтузиастов и «золотоискателей», рабочих и ловкачей, бессребренников и карьеристов, знатных людей и неудачников, домоседов и бродяг. И всё это объединено в бригады, отделения, ночует под одной полотняной крышей, обедает за одним сколоченным из досок столом.

Своей пьесой «Мы втроём поехали на целину» Н. Погодин резко выступает про-

тив понимания целинной действительности как чего-то статичного и устоявшегося.

Трое — заводские друзья, москвичи Ира Кулькова, Алёша Летавин и Марк Ракиткин. Ни одного из них нельзя ни причислить к лику целинных святых, ни списать с целины за безнадёжностью.

Марка Ракиткина, хоть он несомненный хулиган, не поставишь на одну доску со схематическими фигурами Мурзая из пьесы В. Пистоленко «Огни в степи» или Бульбы из пьесы Н. Анова и Я. Штейна. Там — геометрический чертёж, у Погодина — живой, противоречивый характер. Марк стремится переломить себя, начать, как говорится, «новую жизнь». Однако новая жизнь не получается. Слишком манит старое — карты, водка. Кончается пьеса, а борьба за Марка Ракиткина лишь развёртывается. Вести её в первую очередь Алексею Летавину. А он и сам парень путанный. То — толковый и острый секретарь, то — молодой самодовольный политикан, с апломбом рассуждающий о руководящей работе, то — мальчишка-юбочник. Начнёшь любоваться, как здорово Алексей требует от чубатого парня отчёта в том, что тот сделал для Родины, но тут же слышишь беседу Летавина с директором: Алексей, видите ли, считает, что ему не повезло на целине, и намеревается после отпуска уехать.

Однако, быть может, Н. Погодин умышленно, для увлекательности и пикантности «подмочил» репутацию своих героев; может быть, мы имеем дело с полемическим приёмом, и только? Нет, это не так, хотя полемическая заострённость пьесы несомненна.

Каждый из трёх друзей, несмотря на свои противоречия и метания, являет единый своеобразный характер, схваченный в самом остром — в процессе роста.

Хотелось бы, однако, в смело и широко задуманной пьесе полнее увидеть и самое дело, ради которого приехали юноши и девушки в дальние степные края. При чтении пьесы иногда начинает казаться, что на целине люди преимущественно выясняют отношения, спорят, любят, томятся, пляшут, пьют и лишь между этими делами пашут землю.

Размышляя вслух о том, с какой стороны обнаруживают себя люди на новом месте, лихой шофёр и первоклассный комбайнер-орденоносец Коля Выходов наставлял меня:

— Учти, человека надо определять в работе. Я гармонист, знаю, кто каков на вечерке. Но ведь то вечерка. А полное проявление бывает только вот, скажем, на току или где-нибудь ещё на деле...

Коля рассказал, как он в прошлом году приехал с Кубани со своим комбайном помочь алтайцам убрать урожай и заметил одну девушку — именно по тому заметил, как она трудилась. Эта девушка стала его женой, когда он насовсем перебрался во вновь созданный совхоз.

— И учти, не промахнулся.

В том, что Коля считает собственным открытием, — старая народная мудрость, распространяющаяся не на одних девушек. До-

подлинно узнать трудового человека лучше всего по его работе.

Не идёт речь о каком-то обязательном нормативном соотношении показа героя в быту и на производстве. Однако портрет людей целины не создашь, не рассказав ярко и достоверно об их большой, повседневной, требующей немалого физического и духовного напряжения работе.

Думается, Н. Погодин оставил втуне часть возможностей, которые могли бы содвинуться для углубления и уточнения характеров, для большего концентрирования вокруг центральной идеи.

Не лишённая просчётов погодинская пьеса — начало глубокой пахоты на широком поле.

III. О ПРЯМЫХ ПУТЯХ И ОБХОДНЫХ МАНЕВРАХ

*Целина — она совсем не праздник,
Это
будничный
суровый бой.*

Г. Курнев.

Два разговора. Первый в Москве со знакомым писателем перед отъездом.

— Зачем вы едете на Алтай? Потеря времени и трёпка нервов. Там слишком много такого, о чём не принято писать.

— Чего же?

— Всяких неурядиц, неприятностей, а порой и тяжёлого. Напишешь — упрекнут: «мрачная картина».

— Но почему картина должна получиться «мрачная», если люди, едва приехав на целину, сумели взять верх над неурядицами и лишениями, дали и дают стране хлеб?

— Так-то оно так, а всё-таки не принято...

Второй разговор в «газике», подсакивающим на ухабах алтайской дороги. Директор совхоза неожиданно повернулся ко мне.

— Вчера, когда мы искали причины бегства иных с целины, упустили одну.

— Какую же?

— Я до неё ночью додумался. Вам, наверно, странным покажется. Литература.

— Что же вы имеете в виду?

— Не вообще литература. А то, что написали в первый год о целине некоторые журналисты и очеркисты. Наш ведь совхоз организован нынешней весной. И к этому времени кто собирался на целину следил за газетами, журналами. Народ у нас, сами видите, грамотный. Я тоже, греш-

ным делом, старался ничего не пропустить. У каждого постепенно складывалось какое-то впечатление. Чувствуешь: не слишком легко будет, но жизнь ничего. Оклады приличные. Жилищное строительство вовсю. Техники полно. Новоселья там, лирика, свадьбы. Не хочу сказать, что это всё не так. Так — да не совсем так. Не та степень напряжения, к которой подготовились люди. И началось кое у кого разочарование. «А я думал...», «А я предполагала...», «Давайте расчёт — всё равно сбегу...»

Сказанное директором обидно, но попробуй не согласишься с этим, если столь многие очерки написаны в розово-голубом стиле с конъюнктурным учётом «принято» — «не принято».

Лучшие вещи о колхозной деревне В. Овечкина, Г. Троепольского, В. Тендрякова, А. Калинина со страстной прямоотой и партийной непримиримостью сказали именно о том, о чём, как полагали иные, «не принято писать». Сказали — и не только открылись читателю новые стороны действительности, но и родилась новая энергия для борьбы за дальнейшее коммунистическое переустройство колхозной жизни.

Способный алтайский поэт Марк Юдаlevич немало пишет о новых землях. Ему принадлежит стихотворение «Письмо с целины». Новосёл обращается к любимой, убежавшей в город:

Но однажды, проснувшись рано,
Только-только брезжил рассвет,
Я увидел — на полустанок
Убегал виноватый след.

В трудный час изменила та, которой больше всего верил. Морозу, тяжёлому труду, сну у костров она предпочла город, тёплую комнату, кино, спокойную службу в конторе. Поэт даже хлестнул страшным словом: предательство.

А всё стихотворение говорит о другом; оно мелькает, превращается в каталог облегчённых и скорых побед: ты, чудачка, прогадала. И у нас есть теперь кино, «мы свернули палатки и в свои перешли дома». Целинный быт уже не отличается от городского. Трудности — достояние вчерашнего дня.

Истинному чувству не ужиться рядом с полуправдой. Оно улетучилось. «Письмо» обернулось самодовольной и холодной отпиской.

Проживающий в Казахстане Иван Шухов написал серию интересных очерков «Покорители целины». В них, особенно в первом («Золотое дно»), любопытные сведения по истории, экономике, географии Северного Казахстана. Цифры, исторические факты, выдержки из документов, даты, стихи. А перед глазами оживает картина одного из богатейших районов страны, к богатствам которого едва притронулись.

Следующий очерк, «Весна на дорогах», рассказывает о встречах с людьми, прибывшими в Казахстан. Первые шаги в степи, первая работа и первая стычка с отщепенцем и шулером Виталием Важко.

Первая стычка, рассказывает писатель, стала и последней. Бригада изгнала Важко:

Сколько прочитано подобных сцен. Но шуховскую с ними не спутаешь. Здесь действуют лишённые плакатности, живые, конкретные люди.

Однако чем дальше, тем всё больше рассеивается внимание автора. Очерки становятся фрагментарными, недосказанными, производят впечатление набросков и заготовок для последующей работы. Встречаются наблюдения, доступные лишь зоркому писательскому глазу, чувствуется знание людей, — не столько, правда, новосёлов, сколько старожилов; есть справедливые суждения о литературе, о вреде «бесконфликтности», но всё это слабо организовано, не скреплено единством замысла.

Закроешь книжку «Покорители целины» и

пожалеешь — слишком всё же мало, бегло, обрывочно сказано о самих покорителях.

На залежных и целинных землях, куда приехали десятки тысяч патриотов, создаются новые города и посёлки, успешно строится новый быт, утверждаются принципы социалистического общежития. Но люди привезли сюда и немало такого, что следовало оставить на прежнем месте; в быт, в человеческие взаимоотношения лезет старое, пытаюсь пустить корни в свежераспаханной почве.

Борьба идёт не только с природными трудностями — они велики, но напрасно к ним сводят всё некоторые литераторы: идёт борьба с неорганизованностью и неразберихой, с паразитическими, хищническими настроениями, с распущенностью, которые хоть и относятся к разряду пережитков прошлого, однако удивительно сильны и стойки; с близоруким догматизмом и равнодушием кое-кого из руководителей, успешных уже на целине вырастить урожай бюрократически-канцелярской растительности.

Не так давно «Комсомольская правда» в корреспонденции «Дамоклов меч» сообщила, что суд оправдал главного агронома Белоглазовского совхоза Анатолия Павловича Лешкова. Когда я был в совхозе, над Лешковым ещё висел дамоклов меч, подвешенный ловкой рукой директора Петра Леонтьевича Самородова.

Столкнулись два отношения к работе — прямое, горячее, самостоятельное с безразличным, уклончивым, показным. Анатолий Лешков 1930 года рождения, а Пётр Леонтьевич в летах, понаторел, живёт с «запасным выходом». Фактически он дал Лешкову устное приказание сжечь на поле солону, а в письменном распоряжении отказал: «Не бюрократы же мы?»

После того как солону сожгли, пришёл запрет министерства. Заработала судебная машина. Лешков обвинялся в халатности, Самородов свидетельствовал. Суды-пересуды, подписка о невыезде, бесконечные напоминания...

При мне приехал на ток руководящий товарищ из края, осмотрелся и — к Лешкову:

— Ты и есть агроном, судить которого будут? Ну, давай показывай хозяйство...

В сентябре, как сообщила «Комсомольская правда», суд оправдал Лешкова. Правда и честность взяли верх над кознями и уловками.

Что это, благополучное завершение обычной судебной кляузы? «Нетипичный» случай?

Нет, это одно из проявлений той борьбы нового со старым, которая, принимая самые различные формы, ведётся на целине. Победа Лешкова закономерна, как закономерно неизменное торжество нового. Этому торжеству призваны помочь писатели. Значит, надо влезть, вмешаться в борьбу, надо разглядеть её там, где благодушный взгляд обнаружит лишь привычную ситуацию: опытный директор и молодой главный агроном.

Только изображая борьбу во всей её реальной сложности, можно показать, как положительный герой мужает, крепнет, становится в подлинном смысле положительным, преодолевая не картонные преграды, а воюя с реальным злом, которое воплощено не в абстрактных тезисах о пережитках, а тоже в живых людях.

Но существует и иная точка зрения. В дистиллированном виде она предстала перед нами в выпущенной Ленинградским издательством книге А. Вересова «Алтайская новь». От «Записок журналиста» — таким подзаголовком снабжена книга — несправедливо требовать художественной многосторонности характеристик. Быстротой написания можно оправдать некоторые шероховатости стиля и языковое однообразие. Не в том суть. Выражение «розовые очки» уже неудобно употреблять, настолько оно затаскано. Но точнее не скажешь. Ни в поезде, ни в путешествиях по МТС и совхозам автор «Алтайской нови» не расстаётся с этим немудрящим оптическим прибором.

Молодые ленинградцы, о которых написана книга, вначале не совсем ясно представляют себе, что их ждёт впереди. Они даже обижаются, когда один из товарищей предупреждает: «на первых порах, возможно, придётся жить в землянках... В случае чего не киснуть». Автор стремился рассказать об энтузиазме, а рассказал о бездумном бодрячестве. Но, возможно, часть молодёжи действительно не отдавала себе отчёта в том, что значит приехать ранней весной в голую степь и начать её освоение. Тем острее и неожиданнее встреча с целиной.

А в книге — обратное. Чем дальше, тем легче. Оказывается, на Алтае, даже если три года подряд засуха, неурожай, — хлеба в достатке. «Был в крае недород. А хле-

ба полно». Что ни шаг — сюрпризы и приятные неожиданности. «Комсомольцы ещё в Ленинграде пригостились к тому, что придётся жить в землянках. А тут — пожалуйста в обжитые дома. Конечно, в домах лучше». Только Костю Бобко преследовали неудачи. «Можно было подумать, что все трудности свалились именно на его голову!» Трудности невероятные: старушка, у которой жил Костя, держала, видите ли, в избе телёнка. Неопрятность хозяйки портит Косте настроение. Потом в мастерской неладья, не было обмазки для электродов, пришлось самому придумывать какой-то хитрый состав...

В одном абзаце аттестована группа кировцев, приехавших в Курью: «Потомственный путиловец...», «один из лучших сварщиков...», «тихая, но настойчивая...», «человек, не унывающий ни при каких обстоятельствах...», «слесарь и спортсмен...» и т. д. и т. п. Метод лаконичных, но неизменно восторженных ярлыков автор считает единственно допустимым. Бывает, в первый момент кто-то не покажется личностью прелестной во всех отношениях — строговат или суховат. Но вскоре непременно выяснится, что и он редких качеств товарищ. Затесался среди людей-херувимов карикатурный франт и мелкий жулик Порецкий, так он и сам не выдержал: бежал, прихватив попутно чужие рубашки и галстуки.

Вне сомнения добрые намерения А. Вересова, оперативного журналиста, вдоль и поперёк изъездившего Алтайский край, чтобы увидеть, как обосновались и работают ленинградцы, ставшие сибиряками. Книгой своей он хотел внушить бодрость и убедить, что освоение целины и залежи не так уж трудно и сложно, что молодёжь быстро и легко свыкается с непривычной работой, что сомнения относительно трудностей чрезмерны.

Однако оптимизм, который рождает такая книга, — ненадёжный, зыбкий. Он похож на мнимый «оптимизм» некоторых предвоенных фильмов, вроде кинокартины «Первый удар», которые «воодушевляли» юношество лишь на скорые, лёгкие и живописные победы. И как далёк такой «оптимизм» от сознания своей подлинной силы, сметающей все преграды на пути осуществления самой дерзкой мечты.

«Первое время на новом месте, в далёкой степи, жили мы в плохо освещённой сырой землянке. Но у нас была мечта о сплошных массивах золотистой пшеницы и

благоустроенных, красивых домах, об электричестве и водопроводе. Мы зачастую не имели хлеба, а мечтали о механизированном хлебозаводе. Мы с трудом добывали для питья воду, но ожесточённо спорили между собой из-за места, где лучше расположить фруктовый сад. Это были наши мечты и наши будни», — так рассказывает в «Правде» главный инженер Кулан-Утепского совхоза Александр Лемке.

В очерке Н. Погодина «Кустанайские встречи» и в пьесе его упоминается о «праздничном происхождении» иных молодых людей, несостоятельность которых обнаружилась на целине. К этому происхождению причастна литература, получившая наименование «праздничной».

Приверженность к воспроизведению парадов, встреч, митингов помешала некоторым поэтам и прозаикам заметить, как на новых землях разворачивается борьба против того, что Маяковский называл «стареньким бытиком», против нравов и порядков, чуждых целине и всей нашей советской жизни.

Два полярных мнения о целине, с упоминания о которых начиналась статья, существуют потому, что их не разбило ещё единственно правильное—третье, одинаково чуждое и восторженной трескотне и мрачному карканью, потому, что ещё не создан правдивый и яркий образ живого, деятельного, растущего в борьбе и испытаниях молодого патриота — целинника, примером своей полнокровной жизни и благородного труда опровергающего и казённых бодрячков и унылых малOVERов.

Алтайский край — Москва.

...В степи сейчас бураны. Поднятая целина укрылась под снегом.

А жизнь целинная идёт.

След в след, от дома к дому, засунув руки в карманы, подставив ветру спины, пробираются механизаторы к мастерской. В светлой тёплой комнате ребяташки учат таблицу умножения и стихи Пушкина — ничего не поделаешь, пока что два класса сидят вместе. После работы в красном уголке, с боем взятом у начальства, имевшего на него иные виды, участники самодеятельности готовятся к новогоднему вечеру. Секретарь парторганизации в пятиминутный перекур после персональных дел звонит дежурному электрику: «Не выключай в одиннадцать. Не уложимся. О подготовке к весне разговор». Молодая докторша под стоны роженицы лихорадочно листает студенческие конспекты: «Без них пропала бы. Первый раз самостоятельно роды принимать...»

Большой беспокойной жизнью живёт новый социалистический городок в степи. Нет тут ничего ни от экзотической глухомани, ни от унылой провинции. И новосёлы здешние — обычные советские люди, которым не чуждо ничто человеческое, у которых праздники редко приходят на смену будням, — люди, делающие благое для Родины дело. В этом их величие, поэзия их бытия. Рассказать об этом в правдивых, высоких книгах — нелёгкая, очень нелёгкая задача.

Но и люди, по призыву партии коммунистов приехавшие в голую степь, не избирали пути лёгкого и гладкого. Их путь — путь честного служения народу. Тот же, что и у нашей литературы.



ПИСЬМА ИЗ РЕДАКЦИИ

г. Краснодар,
шоссе Пилотов, д. 16, кв. 3
Ф. Плоскову

ПО ПОВОДУ ОДНОГО ОЧЕРКА

...Да, у нас всё ещё много отстающих, сильно запущенных колхозов, и понятно, что тема крутого и быстрого подъёма этих колхозов глубоко интересует и волнует писателей, работающих на деревенском материале.

В наши дни перед этими литераторами нет, конечно, более актуальной, насыщенной, но и весьма сложной задачи, как раскрытие опыта тех сельских вожakov, что преодолевают или уже преодолели отставание руководимых ими колхозов.

А что практически означает это преодоление? В Тутаевском районе (Ярославская область) ещё недавно вконец запущенные колхозы увеличили валовые сборы хлеба, льна, мяса, молочных продуктов в два раза. А они, эти колхозы, ещё не стали передовыми, а только поднялись до среднего или несколько выше среднего уровня.

В Романовском райкоме партии (Ростовская область) вы услышите убедительные соображения о том, что достижение всеми отстающими колхозами среднего уровня наверняка удвоило бы урожаи пшеницы, риса, кукурузы, овощей, трав и корнеплодов. За доказательствами ходить недалеко. Есть в Романовском районе колхоз имени Будённого; это — крупное хозяйство: десять тысяч гектаров превосходной земли, большая оросительная сеть, великолепные возможности развития животноводства, но все послевоенные годы колхоз претерпевал бесконечные неудачи, потери, нехватки. На дурно возделанных землях — тощие нивы, на животноводческих фермах — холод, грязь, скудные корма. И оттого в трудные слишком мало хлеба и ещё меньше денег, — здоровые, трудоспособные люди уходили кто куда; те же, кто не хотел покинуть родное селение, работали в колхозе неохотно, а вкладывали энергию и труд в личное хозяйство.

Но вот колхозники этой артели выбрали своим председателем А. П. Даниловского, человека с большим партийным и хозяйственным опытом, бывшего первого секретаря Целинского райкома КПСС, а потом председателя Романовского райисполкома. И не прошло года, как всё здесь едва не сказочно изменилось: налажена рабочая дисциплина, втрое возросла производительность труда, хлебопоставки закончены до срока, увеличиваются надои, все люди в хорошем расположении духа и перед ними замечательная перспектива — 50 миллионов рублей годового дохода.

А попробуйте рассказать, отчего и как произошло это. Некоторые уже пробовали, и получалось так: в колхоз пришёл волшебник с чудодейственной палочкой. Помашет он той палочкой над массивом в тысячу гектаров — и на каждом гектаре больше ста пудов хлеба. Коснётся палочкой закоренелого лодыря — и перед нами уже не лодырь, а чудо-труженник.

Читатель знает: если в колхозах нарушен принцип экономической, материальной заинтересованности, то никаких производственных чудес не произойдёт.

Тут-то и задача всех задач: показать, как же создаётся этот материальный стимул?

И если писатель не поживёт со своими героями долго и не проникнет в глубины жизни, в экономику колхоза, в душу человека, а, обуреваемый стремлением как можно скорее удовлетворить спрос читателей, поторопится со своей повестью или очерком, то и выйдет волшебник с палочкой.

Очерк «Председатель колхоза», опубликованный Вами, товарищ Плосков, в альманахе «Кубань», пожалуй, лучше многих очерков, напечатанных на периферии, кото-

рые мне довелось читать, но и он ни в какой мере не может удовлетворить читателя. Он, читатель, разумеется, верит, что Тенгинский колхоз за короткий срок превратился из отстающего почти что в передовой, но как это произошло — не понимает.

Напутствуя будущего председателя Тенгинского колхоза, агронома Александра Тимофеевича Плескача, секретарь райкома партии говорит:

— Положение в колхозе, Александр Тимофеевич, тяжёлое: трудодень низкий; на фермах, если не навести порядка, возможна бескормица; на текущем счету жалкие рубли. Будет трудно, очень даже трудно...

И правда: прибыв в колхоз, осмотрев хозяйство и поговорив с людьми, Александр Тимофеевич «...чувствовал, как волосы на голове начинают подниматься от нахлынувших забот».

Короче говоря, колхоз был запущен до крайности («Не колхоз у нас, а чёрт-те что», — сказал Александру Тимофеевичу коммунист Фетисов), и Вы, товарищ Плосков, очень заинтересовываете читателя этими строками: новому председателю надо было «решить, как и с чего начинать, как ближе подойти к людям, вдохнуть в них веру в неисчерпаемые возможности своего колхоза».

Так как же и с чего начал новый председатель?

Пытаясь ответить на это, Вы первым делом рисуете небольшую сценку «столкновения» председателя с птичницей Натальей Генденрик, и это, видимо, лишь для того, чтобы читатель узнал, что в колхозе много лодырей. «Сколько баб дома сидит, в колхоз и глаз не кажет!» — говорит птичница Александру Тимофеевичу. И тот решает: начинать с укрепления трудовой дисциплины.

Мысль, общеизвестная ещё в первоначальную пору коллективизации. А вот «как и с чего» начинать это укрепление?

Вы пишете:

«Созвал экстренное заседание правления. Провели партийное собрание, бригадные и внеочередное общеколхозное».

Стало быть, по меньшей мере пять-шесть собраний. Это для чего же? Ведь Александр Тимофеевич тут всего-навсего без году неделя, он ещё не вник в жизнь и дела колхоза, даже о лодырях узнал походя, а о систематическом расхищении артельного добра и совсем ничего не знал и о многом другом не знал. Что могли дать ему эти собрания и что он мог дать на них людям?

И это Вы правильно отмечаете, товарищ Плосков:

«Каких только слов не говорили! Речи были одна другой зажигательнее, а людей на общественных работах не прибавлялось».

Это одно из самых удачных мест в вашем очерке: худо, когда новый председатель начинает с беспросветного председательствования.

Впрочем, одно из проведённых в те дни собраний представляло бы для читателя интерес громадный. Это — партийное собрание. О чём говорили коммунисты, что рассказывали они Александру Тимофеевичу, что советовали ему, как зародился на этом собрании новый план действий колхозного руководства? Ведь ещё не было, и нет, и быть не может такого председателя артельного правления, который перестроил бы колхоз, не опираясь на партийную организацию, на колхозный актив.

Но об этом Вы, товарищ Плосков, ни слова не сказали, и так получается, что Александр Тимофеевич считался с парторганизацией лишь формы ради.

Хорошо Вы описали хождение нового председателя по домам, его откровенные беседы с колхозниками. Тут Александр Тимофеевич услышал, между прочим, такие суждения лодырей:

— И огород себе обработаешь, и кормов скоту заготовишь, и на рынок с чем надо съездишь. А кто в колхозе работает, у того коровы с голоду на всю станицу ревут...

И ещё узнал новый председатель то, о чём на колхозных собраниях не говорили:

— Если лошадь нужна, то без пол-литра к бригадиру и не суйся.

— Правленцы вовсе отвадили людей от колхоза.

— Из колхозной кладовой тянут продукты разные горлохваты...

Вот только несколько странно, что новый председатель (Вы пишете, что «он хорошо знал колхозную жизнь») лишь во время этих хождений ощутил всю силу материальной заинтересованности колхозника.

«Из всех хождений по хатам Плескач сделал для себя один вывод: нужны не обещания, а действия, причём такие действия, чтобы люди поверили в него, как в руководителя, поверили в свой колхоз, в трудодень и горячо взялись за дело».

Так он приходит к мысли о квартальном авансировании колхозников деньгами.

Но откуда взять эти деньги, если их даже «не хватает на минеральные удобрения»?

В колхозе некая группа «активистов» безнаказанно расхищает продукты из кладовой, и на расширенном заседании правления звучит сухой и резкий голос Александра Тимофеевича:

— Кормушку в кладовой пора прикрыть! Ни по запискам, ни по накладным — никому ни грамма из кладовой! Ни одному человеку!..

Очень правильно, очень хорошо. Но дальше — загадка за загадкой.

— Открыть в станице ларёк,— предлагает Александр Тимофеевич,— и там по среднерыночным ценам продавать мясо, мёд, масло — всё, что будет в излишке. Кому нужно — пусть покупает за наличные...

Вопреки логике, предположим, что весьма запущенный этот колхоз выполнил и мясопоставки, и молокопоставки, и вообще справился со всеми заготовками, и даже что-то продал государству, и у него всё же есть излишки. Ну, так их надо распределить по трудодням либо натурой, либо деньгами, реализовав эти излишки на рынке.

А тут смотрите: ларёк с продуктами колхозного труда, наличные рубли и среднерыночные цены.

Выходит донельзя целепо: чтобы получить денежный аванс, человек сперва должен купить за свои рубли мясо, масло, мёд, притом по среднерыночным ценам, и так образуется некий фонд для квартального авансирования того же колхозника.

Или ларёк будет обслуживать людей, увлечённых личным хозяйством и не отработавших трудового минимума? У этих-то есть наличные деньги. Что ж, для этого рода колхозников ларёк — милое дело: не надо всякий раз таскаться в райцентр или Краснодар, нужные продукты под боком.

Получается не колхозная торговля, а... улучшение быта лодырей.

Тут Вы, товарищ Плосков, либо всё перепутали, либо не захотели рассказать об этом деле внятно.

Вообще невнятность, скороговорка, недомолвки сильно портят Ваш очерк.

Например, трудно понять, откуда взялись сорок «излишних хряков», которые решено откормить и продать для авансирования колхозников. Судя по очерку, хряки эти сыграли в перестройке колхоза роль исключительную.

Что, мясопоставки здесь выполнены? И с плановой цифрой поголовья благополучно? И концентратов и добротного силоса (грубыми кормами хряков не откормишь) в колхозе достаточно?

А ведь первый секретарь райкома партии предупреждал Александра Тимофеевича: «...если на фермах не навести порядка, то возможна бескормица». Стало быть, как это и всегда бывает в запущенных колхозах, кормов здесь в обрез. А как новый председатель упорядочил дело на фермах, мы почти ничего не знаем, кроме того, что свиноводы «прекратили падёж молодняка, навели порядок в расходовании и приготовлении кормов и, уж если говорить честно, стали перевыполнять задания по среднесуточным привесам свиней». Ну, ещё пять-шесть бескровных строчек о соревновании, и в тех же строчках — об изучении передового опыта.

Впрочем, кроме того, в очерке сказано, что новый председатель и правление сочли необходимым учредить для каждого свинарника должность старшей свинарки, и это преподносится, как «новая форма организации труда», как новшество и проявление инициативы!

Недоумение читателя усиливается ещё вот каким обстоятельством. Для одной семьи зарезанный или проданный хряк — осязательная поддержка. Но на тысячу или даже тысячу двести колхозников (Вы пишете: «...собралось почти полторы тысячи человек — больше, чем в колхозе числится трудоспособных») сорок хряков — сущие пустяки. Вы с удовлетворением отмечаете, что «откормочные» хряки весили перед продажей «от 90 до 100 килограммов каждый», а ведь тысяча двести колхозников (лодырей считать не будем) отработали, надо думать, за квартал никак не меньше 70 тысяч трудодней.

Читатель понимает, что авансирование получилось скучным и что именно поэтому Вы умалчиваете об его размерах, и он не верит, не может поверить, что решение о ларьке, об откорме хряков и о соломе могло так благотельно взволновать участников заседания, как это описано Вами. Ведь умный колхозник Степан Богацкий договорился даже до того, что надо этой же ночью идти по хатам, чтобы оповестить людей о необыкновенном решении.

А дальше — дальше чудо за чудом.

«...Наступил перелом в умах людей, вокруг правления колхоза, вокруг коммунистов и-актива сплавилось всё больше и больше колхозников...»

Как легко, оказывается, совершить глубочайший переворот в самом отсталом колхозе: ларёк, четыре тысячи килограммов проданной свинины, мёрзлая солома, ну, ещё речь председателя на колхозном собрании, и уже «перековались» даже люди, по уши погрузившиеся в личное хозяйство и не имевшие ни одного трудодня.

Все рванулись к труду, и Вы, автор, восклицаете: «Нет, раньше такой работы в станице Тенгинской не было».

Верим, но думаем: товарищ автор уж очень поторопился и не изучил материала. А материал-то весьма труден, тут наскоком ничего не возьмёшь.

Ну, а потом и того гуще и пышнее. Так, в третьей главе мы читаем восхищённую речь бригадира Фетисова:

«— О людях говорю. Посмотри, как они работают! Где у нас теперь такие, которые не выполняют минимума трудодней. О своей жинке ничего не скажу: сам знаешь. А вот Раису Клименко возьми для примера. Кто она раньше была, если ни одного трудодня не имела? А теперь у неё триста восемьдесят трудодней! А Киселёва, Перчевская, Орбей! Да мало ли их наберётся таких. И у каждой по двести, триста трудодней».

Как же, как же это произошло?

Правда, автор упоминает о механизации, о составлении перспективного плана, о расстановке коммунистов, но всё это скороговоркой, торопливо и невнятно.

Конечно, никто, товарищ Плосков, не усомнится в том, что, приведя длинный и, так сказать, беллетризованный список имён, дел и цифр, Вы не погрешили против действительности. Но читатель вправе попросить Вас: нельзя ли рассказать о замечательных переменах в колхозе, о работе нового председателя более обстоятельно и вдумчиво, рассказать так, чтобы драгоценным опытом его могли воспользоваться тысячи товарищей, уезжающих на длительную работу в отстающие колхозы.

Вот что мне хотелось сказать Вам по поводу Вашего очерка «Председатель колхоза».

Алексей КОЛОСОВ.

ДОСТАВЛЕНО ПО АДРЕСУ

В десятом номере «Нового мира» за 1955 год было помещено «Письмо из редакции» Л. Славина, адресованное свердловской писательнице О. Марковой по поводу двух её рассказов — «Вдова» и «Кнопка». Отмечая бесспорную талантливость автора и жизненность поднятых тем, Л. Славин в то же время подробно анализировал (особенно на примере рассказа «Кнопка») слабые стороны этих произведений — некоторую надуманность ситуаций, неточность, небрежность языка.

В ответ на это О. Маркова прислала в нашу редакцию следующее письмо.

Дорогие товарищи!

Ничего не найду сказать против обстоятельного разбора рассказа «Кнопка» в письме Л. Славина. Пересмотрев рассказ заново и утвердившись в правоте Ваших требований, я могу только радоваться тому, что разбор был необходим, с большим тактом и благожелательством. Это так редко бывает!

К сожалению, рассказ «Кнопка» в его первоначальном варианте вошёл в сборник «Половодье». Если же рассказы будут переизданы, я обязательно учту справедливые замечания автора письма и редакции «Нового мира».

С чувством глубокого уважения **Ольга Маркова.**

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ

★

ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

З. Гусева. Полесская повесть.— **А. Дирингерова.** События и люди.— **Н. Муравина.** Непримиримость молодости.— **Н. Толчёнова.** Средствами сказки.— **М. Никулин.** Песни донских казаков.— **Р. Миллер-Будницкая.** Спор о Гойе.

ПОЛИТИКА И НАУКА

Кандидат исторических наук **Е. Черняк.** О мирном сосуществовании.— **С. Беглов.** Разоблачённый миф.— **Е. Примаков.** Наследие колонизаторов.— **Г. Голубев.** Дневники правдивого наблюдателя.— Действительный член Академии медицинских наук СССР **О. Б. Лепешинская.** Как возникают микроорганизмы.

Литература и искусство

Полесская повесть

Гудит непроходимый полесский бор, топкие болота отрезают пути-дороги в этот глубинный край. Даль, глушь... И вдруг читаешь: «Наверно, только здесь, в пущах Полесья, есть такое выражение: «попутный самолёт». Но что делать! Иная бабка и помрёт, никогда не увидав поезда или троллейбуса, ничего, кроме самолёта, такая здесь глушь!» И вот уже совсем иначе — с искоркой весёлой иронии — звучит мрачное слово «глушь». Да и в самом деле, какая же глушь, если белая школа на пригорке первой встречает утреннее солнце, а из ворот МТС выходят машины корчевать кустарники, копать канавы, пахать поля, если по вечерам в сельском клубе молодые певцы учат сольфеджио...

Светлыми родниками забила в вековечной глуши новая жизнь. Радуюсь этой новой жизни, любовно собирая её приметы, написала Лидия Обухова свою первую повесть «Глубынь-Городок». Полнота чувств, полнота ощущения жизни определили интонацию авторского голоса: то романтически-приподнятого, то лирически-взволнованного, то брызжущего юмором, светящегося улыбкой.

По-разному — возвышенно, нежно, страстно — можно рассказать о любви, охватив-

шей юношу и девушку. И в этом будет выражен не только темперамент героя, а и отношения, чувство, взгляд писателя. «И солнце не однажды в сутки всходит над Большанами. Оно поднимается всякий раз, когда симины глаза встретятся с глазами приезжего учителя...» С лёгкой, даже как бы шутовой улыбкой говорит это писательница, но как ясно мы видим горячий, восхищённый взгляд героини, открывшей солнце в себе самой.

Солнце души человека — вот самое дорогое, что сумела увидеть молодая писательница в жизни и что согрело лучшие страницы её повести. Это солнце освещает и милую девушку — аспирантку Женю Вдовину, вместе с которой мы узнаём людей и жизнь района; и колхозницу Симу с её стремлением «делать всё вокруг себя ясным, чистым, красивым»; и увлечённых большой мечтой молодых учителей Костю и Василя; и — ярче всего — образ секретаря райкома партии Ключарёва.

Молодая писательница, повествуя о трудах и днях секретаря райкома, стремится проникнуть в мир мыслей и чувств своего героя. И потому таким по-родному близким становится нам Ключарёв, потому открывается не только сложность и значимость хлопотливой, неустанной жизни секретаря райкома, но и её поэзия.

Лидия Обухова. Глубынь-Городок (Повесть о людях Полесья). «Знамя» №№ 10, 11 за 1955 год.

Да, да, поэзия! Ибо нет ничего прекраснее и поэтичнее, как найти в душе человека лучшее, что в ней заложено, помочь окрепнуть этому лучшему и расцвести в делах. Великолепный пример такой веры в человека, такой партийной помощи — история Алексея Любикова.

Смелым и рискованным шагом было рекомендовать председателем в слабый колхоз молодого, не занимавшегося организационной работой коммуниста. Больше интуицией почувствовал, чем опытом определил Ключарёв, что хватит у этого юноши — заведующего парткабинетом — и ума, и твёрдости, и способности вести за собой людей на трудное дело подъёма колхоза.

И вот, казалось, не сбылись надежды. Недоверчиво, сторожко встретили колхозники молодого председателя, не захотели ни подчиняться ему, ни работать с ним. И без того плохо налаженное хозяйство пошло к развалу.

В тревоге и смятении едет Ключарёв в колхоз. Нет, писательница вовсе не рисует первого секретаря сверхмудрецом, всегда имеющим готовое решение, всегда твёрдо знающим, как поступить. Ключарёв на месте, встречаясь с людьми, ищет необходимое решение — путь к сердцу и к сознанию человека. В душе его и жалость к Алексею, и досада на него и на себя, и возмущение равнодушным бездельником.

Сложное переплетение чувств, работа мысли, те импульсы действий, поступков, поведения человека, что скрыты от посторонних взоров, привлекают внимание писательницы, определяя художественную форму повествования.

В книге много психологически убедительных деталей. Так, чтобы передать душевное состояние Любикова в момент приезда Ключарёва и ответное движение чувств, которое тот испытал, писательница прибегает лишь к двум сравнениям: «По тому, как тот кинулся к нему на звук подошедшей машины, по лужам, не разбирая пути, словно из горящего дома, Ключарёв сразу понял, что дела здесь плохи». Вряд ли такие пространные изъяснения отчаяния, страха, надежды Любикова и описания тяжёлого положения в колхозе смогли сказать больше, нежели одно это образное сопоставление. И дальше: «Ключарёву вдруг захотелось обнять его; молча, по-мужски стиснуть тяжёлыми руками, как обнимаются иногда солдаты перед трудным делом или после

ратного подвига. Но подвиг у Любикова был ещё впереди».

Обращённостью к внутреннему миру героев обусловлена и психологическая выразительность портретов. Вот три мимолётные зарисовки: «Его выцветшие голубые глаза только на секунду столкнулись со взглядом Ключарёва, и сейчас же он отвёл их в сторону, словно испугавшись собственного голоса»; «Бабка Меланья в чёрном платке, туго стянутом у подбородка, принялась собирать посуду всё с тем же строгим и осуждающим выражением»; «Он кашлял от смеха в клочковатую бороду и всё поглядывал на Ключарёва заинтересованным, хитрым взглядом...» Три разных характера, три разные судьбы в этих как бы едва намеченных портретах. И, право, для нас уже не так важно, какой длины нос и какого цвета шевелюра у каждого из этих персонажей, мы узнали о них нечто большее по выцветшим от времени и горя глазам Софрона Прики, которого долгие годы нужды заставили пугаться собственного голоса, по суровой замкнутости бабки Меланьи, по хитровато заинтересованному взгляду Прохора Ивановича. А внешность их уже легко вообразить, пусть даже у каждого из нас это представление будет несколько иным.

Но вернёмся к Любикову. Как помог ему Ключарёв сломить стену недоверия колхозников, как укрепил его ослабевшую веру в себя?

Не с назиданий и поучений начал Ключарёв, хотя и советы дельные Любикову дал и пробрал крепко за неустроенную личную жизнь (ютился тот в каком-то чулане, без семьи, обедал с грехом пополам).

Главное, чему учил он Любикова, — будить активность и инициативу в каждом колхознике, будь он самым неприметным, как молчаливый Прика или ушедшая в себя, в своё горе, бабка Меланья. Только от забывшей живым источником народной инициативы начинает подниматься колхоз, окрыляется душа Любикова, сильнее становится сам Ключарёв.

Ключарёв живёт в повести как личность, со своим характером, привычками, манерой обходиться с людьми, со своим «лицом не общим выражением». И именно потому, что ярко выступили черты его индивидуальности, мы видим в нём и воплощение лучших, типических черт руководителя. В заботах об урожае, о подъё-

ме отстающих колхозов, в массе дел, требующих внимания и решения секретаря райкома, — перед нами не хозяйственник, не администратор, а именно политический руководитель и воспитатель людей. Мысль и сердце его всегда обращены к человеку.

Тема партии как тема воспитания в душе светлого чувства любви к своей Родине, к своему краю, к своему делу, тема партии как силы, способной помочь человеку стать красивее, умнее, прямее, — хорошо раскрыта в книге о дальнем, затерянном среди глухих лесов, озёр и болотной топи Глубынь-Городке.

И мы не удивляемся, что люди, которых здесь узнали, на наших глазах становятся лучше, что перед ними открываются новые дали, новые пути. Оживает, согревается в заботах о чужом ей маленьком Володяшке душа бабки Меланьи. С жаром уходит в работу, распрямляется, чувствуя руку товарищей, Софрон Прика. Талантливым, уважаемым руководителем стал Алексей Любиков. Ещё расти и расти, несмотря на годы, умному, деятельному Прохору Ивановичу.

Влюблённость в жизнь, во всё прекрасное в ней, непосредственность чувств — самые примечательные черты молодого, жизнерадостного таланта Обуховой. В этом его очарование и свежесть. Однако в повести есть места — и их немало, особенно во второй половине, — где влюблённость переходит в восторженность, любовь становится любованием. И тогда блёкнет язык, тускнеют образы.

Жизнь предстаёт перед нами, залитая ярким солнцем, — очень хорошо! Только ведь под лучами солнца сильнее, резче выступают и тени. В старой деревне, там, где долго властвовали насилие, темнота, суеверия, труднее выкорчёвывать пережитки прошлого. Пьянство всей деревней в престол, свадьбы в церкви, страх, приниженность в душе человека — всё идёт от прошлого, и писательница говорит об этом в своей повести. Борьба же против сил прошлого иногда кажется облегчённой.

Есть в повести сильно написанный образ зазнавшегося, мелкого человечка — председателя колхоза Блищука. Подменяя собой людей, заботясь только о показных успехах, он стал помехой развитию колхоза. Сцены разоблачения Блищука, разоблачения его завистливой, самовлюблён-

ной душонки полны напряжения, психологически глубоки. И позже, когда понурый, присмиривший Блищук просит отпустить его в Крым «пожить, где тепло», веришь правде созданного характера. Но как, зачем оказался Блищук на целинных землях? Не затем ли, чтобы только прислать оттуда бодрое письмо и чтобы автор мог сказать, что и с ним «всё в порядке». Здесь явно выступило стремление привести всё к благополучному концу. С поразительной быстротой «перестраивается» и находит своё место в общем труде и отъявленный бюрократ Пинчук.

Композиционно повесть делится на две части. В центре первой — Ключарёв и те люди, с которыми он соединён тысячами нитей, в развитии, душевных изменениях, нравственном и трудовом росте которых отражены его жизнь, его труд, его устремления. Во второй таким притягательным центром становится Якушонок — новый председатель райисполкома, пришедший на смену закоснелому, больше всего дорожащему своим спокойствием Пинчуку.

Фигура Якушонка выдвинута на передний план и выписана с некоторой нарочитостью. Она призвана показать, как велика сфера применения сил и способностей представителей Советской власти на местах. Слов нет, достойные примера образы председателей исполкомов, сельских Советов, наших депутатов народа редки в современных литературных произведениях, а тема советского строительства всегда важна, но художественная достоверность этого образа невелика.

Якушонок действует горячо, активно, самостоятельно, его достоинства признаёт весь район. Но, странное дело, сердце наше остаётся равнодушным: его доблести не восхищают, его беды не волнуют. Впрочем, больших тревог Якушонок и не испытывает, ему во всём сопутствует успех. Заехав на нерентабельный завод, он в течение нескольких минут отыскивает не замеченные никем резервы и возможности производства. Он попадает на молебствие, и молящиеся охотно покидают священника, чтобы побеседовать с ним. Ему отдаёт сердце женщина, которую невысказанно нежно любит Ключарёв. Даже Пинчук, место которого занял Якушонок, считает за счастье услышать его одобрение...

Якушонку не приходится серьёзно задумываться над чем-либо, настолько всё

для него ясно, просто. Умение понимать людей и руководить ими — чуть ли не органическое свойство его натуры: «И хотя он видел этих людей в первый раз, он находил тотчас верный тон, словно чутьём угадывал...»

Автор подробно описал внешность Якушонка, его голос, отчётливо рассказал о его поступках: хороших, умных, правильных, а вот мысли и сердце героя — то, что пленяет в Ключарёве, — остаются закрытыми. Тонкое и сложное движение мыслей и чувств — что, мы знаем, способна передавать Л. Обухова, — заменяется холодно-рассудочными описаниями душевного состояния героя: «Поскольку Якушонок никогда не мыслил себя отдельно от тех людей, которые его окружали, эти мечты о самоусовершенствовании неизбежно переходили у него в мысль о переустройстве всего райисполкома. Формально там выполнялись обе идеальные административные функции: подчинение и приказ».

Откуда, зачем явились эти сухие, как горелая корка, казённо-канцелярские слова, эти протокольные обороты речи? Куда делятся звонкий, свежий голос писательницы? Почему даже там, где сильнее всего говорит сердце о самом сокровенном и прекрасном — о любви, — вдруг репъём липнет штамп («Он смятенно впился глазами в Антонину»), возникают прозаизмы («Ему захотелось обнять её, чтобы утвердить свою причастность к ней перед всеми»).

Стремительная любовь Якушонка и Антонины (после двух встреч, из которых

при первой они даже не обмолвились ни словом — Якушонок проехал мимо на машине, — оба, не колеблясь, вручили свои жизни друг другу) тоже носит характер нарочитости, так как позволяет легко разрешить трудный вопрос личных отношений. Всё, что так трепетно горело в сердце Ключарёва, — его нежность к Антонине, восхищение ею, горькое сознание своей несладившейся семейной жизни — всё, что заставляло с волнением ждать — как же будет дальше, как поступит Ключарёв (нет, он не старался заглушить своё чувство!) — оказывается снятым. Узел разрублен. Узнав о свадьбе Антонины, Ключарёв вообще отрекается от личной жизни: «Всё личное растворилось как-то вдруг в Ключарёве, отошло, отшумев...»

Упрощённость образа Якушонка, ряд художественно неоправданных положений, а кое-где и налёт розовой умиленности огорчительны, мешают полноте воплощения большого авторского замысла. Но впечатление новизны познания нашей действительности, чувство радостного удивления перед открывшейся жизнью не стираются.

В повести не происходит особых событий, больших потрясений, бурных столкновений — люди делают свои обычные дела, заняты повседневными заботами, дни идут своим чередом. И всё же такими интересными для нас стали эти дни, такими близкими эти люди, в чьём труде, устремлениях, душевном мире виден большой мир нашей жизни и дел.

З. ГУСЕВА.

★

События и люди

Появился отдельным изданием роман И. Кремлёва «Солдаты революции». Напечатанный впервые в журнале «Звезда», этот роман вызвал много замечаний критики. Некоторыми из этих замечаний автор воспользовался, готовя текст к книжному изданию.

Роман «Солдаты революции» посвящён борьбе с иностранными интервентами и контрреволюционными элементами на Кавказе, обороне Астрахани под руководством С. М. Кирова. Совершенно очевидно огромное значение избранной писателем темы. Мы

И. Кремлёв. Солдаты революции. Роман. 752 стр. «Советский писатель», М., 1955.

приближаемся к сороковой годовщине Великой Октябрьской революции, и в нашей литературе всё ещё непростительно мало книг о деятелях революционного движения, о героях гражданской войны. А между тем такие книги крайне нужны. У нас много говорилось последнее время о воспитательной роли положительного литературного героя, о необходимости создать образ, вызывающий желание восхищаться им и подражать ему. Речь шла главным образом о людях нашего времени; но наряду с современниками не мешало бы почаще обращаться и к героям недавнего прошлого. В образах исторических личностей времён Октябрьской революции и гражданской

войны мы видим примеры беззаветного служения народу, великой гражданской доблести.

В романе И. Кремлёва рассказывается о малоизвестных фактах истории борьбы за Советский Кавказ, показаны наряду с прославленными героями, такими, как Киров и Дзержинский, малоизвестные широкому кругу читателей солдаты революции — Уллубий Буйнакский, Атарбеков, Оскар Лещинский. В книге И. Кремлёва много интересного, познавательного материала.

Но ведь одной тематикой не определяется ценность художественного произведения. И тут у И. Кремлёва попрежнему обнаруживаются слабости. Критика упрекала автора в том, что, взявшись за столь серьёзную тему, он не сумел раскрыть приметы времени в духовном мире своих героев, подменяя изображение характеров описанием эффектных случайностей. Говорилось также о рыхлой композиции романа, психологически необоснованных поступках некоторых персонажей и прочее.

И. Кремлёв внял голосу критики. Им многое сделано для устранения раздробленности сюжета, композиционного хаоса, особенно в первых главах романа. Переделке подверглись некоторые весьма существенные эпизоды. В книжном издании автор, например, не заставляет больше чекиста Атарбекова влюбляться в врангелевскую шпионку Нину Рошину, а делает поведение Атарбекова более соответствующим его характеру.

Однако погрешности всё же остаются. Подпольщица-большевичка Олёна вначале влюбляется в Буйнакского. «Боже мой, как я его люблю!» — думает она в зале суда, слушая последнюю речь приговорённого белыми к смерти председателя Дагестанского обкома. После казни Уллубия Буйнакского чувства Олёны обращаются к Николаю Гусеву. Во время кавалерийской атаки партизанского отряда, гарцуя бок о бок с Гусевым, Олёна убеждается, что и она им любима («Боже мой, он меня любит!»). В первом варианте Олёна после этого открытия погибает, сражённая «шальной пулей».

Критики справедливо отметили, что партизанский налёт, во время которого пули косят людей, не совсем подходящая ситуация для любовных переживаний. Во втором варианте автор помиловал Олёну. Тяжело раненная Олёна выздоравливает. Мы встречаем её в конце романа в роли разведчицы

в мятежном Кронштадте. Но ведь от того, что Олёна остаётся жить, не меняется фальшь её переживаний во время кавалерийской атаки!

В романе повествуется о белых офицерах, перешедших на сторону большевиков. Они дерутся храбро в рядах Красной Армии, вступают в партию. Критика обратила внимание на то, что мотивы этих превращений скрыты от читателей. Новая глава «Почему я с вами» должна была объяснить путь, который привёл царского генерала Реутова в ряды Красной Армии. Однако внутренний монолог, в котором Реутов восстанавливает в памяти события, имеющие решающее значение для его жизни, остался лишь декларативным.

К сожалению, в новом издании остались и другие недостатки. Известно, что историческая правда в художественном произведении достигается не одним лишь изложением исторических фактов. Для этого существуют учебники истории, научные монографии. Романист обязан типичные черты эпохи показать в человеческих характерах. Увлёкшись описанием событий, И. Кремлёв забыл о внутреннем мире своих героев. Из трёх неисторических персонажей Панфилов запоминается читателю лишь благодаря случайно найденной им сумке с деньгами. Об Астахове читатель знает, что он женился на дочери бывшего царского генерала. Денисов, жизнь которого не богата счастливыми случайностями, совсем не остаётся в нашей памяти.

Готовя книгу к отдельному изданию, автор недостаточно поработал над текстом.

В рецензии В. Кардина «Серый роман», опубликованной в «Новом мире» (№ 6, 1954), были приведены примеры текстуального сходства отдельных эпизодов «Солдат революции» и романа З. Фазина «Крепость на Волге», изданного в 1940 году. Не употребляя слова «плагиат», критик явственно предъявил это обвинение И. Кремлёву. Однако такое обвинение не соответствует действительности, ибо причина тут в том, что оба автора пользовались одним и тем же архивным источником. И. Кремлёву следовало, однако, отказаться от необязательного, чисто бытового эпизода, уже использованного З. Фазиним в его романе.

И. Кремлёву предстоит ещё большая работа над романом, который благодаря своему обширному познавательному материалу мог бы стать полезной книгой для нашего читателя.

★

А. ДИРИНГЕРОВА.

Непримиримость молодости

В энергичном, жизнерадостном стихотворении «Море» Роберт Рождественский рисует свой идеал молодости, бурной, полной борьбы. Он оканчивает его требовательным обращением к собственному сердцу:

Бурли! —
Ты слышишь? —
Громче давай!
Сердце моё,
не остывай!

В поэме «Моя любовь» молодой поэт спорит с осторожными обывателями, пренебрежительно называющими юношеские мечты «выдуманной блажью». Он прославляет трудную жизнь, похожую на крутую дорогу, «вздыбленную в высоту», и зовёт в этот путь любимую девушку.

Для Р. Рождественского любовь — это верность людям, готовность выдержать любую схватку, пройти, «где не сможет никто пройти», быть всегда в первом ряду. Поэтому его обещания любимой звучат, как клятвы Родине:

Сладкой жизни
не предложу,
Но тебе я вот что скажу:
Если только хочешь — решишь,
Если только хочешь — приди,
Это будет
честная
жизнь
До последнего стука в груди.
Это будет жизнь для людей,
Грозовая пора труда,
В ней обходных искат путей
Не посмею я никогда...

В лучших стихотворениях сборника «Флаги весны» и поэме Р. Рождественского «Моя любовь» читателя радуют живые ритмы, своеобразные интонации и прежде всего настоящее поэтическое мироощущение — глубина и человечность чувства.

Наиболее зрелое и значительное из произведений молодого поэта — поэма «Моя любовь» — задумано им как поэма о «своей любви» и «о том, что мешает счастью, мечтам», но это одновременно и поэма о его поколении, о Родине, о назначении человека, о том, какой дорогой идти в жизни.

Роберт Рождественский. Моя любовь. «Октябрь» № 1 за 1955 год.

Роберт Рождественский. Флаги весны. Редактор А. Коваленков. 89 стр. Петрозаводск, 1955.

У поэмы очень простая фабула. Это рассказ об одном свидании. Написана она единым порывом. Сразу ощутимая лирическая цельность её талантливо сочетается с богатством интонаций. Тут и язвительная ирония над корыстными людишками, и гнев, и нежные напоминания о прежних мечтах и встречах, о красоте мира, и требовательность прямого, правдивого человека. А вся поэма в целом — горячий, юношески гордо звучащий призыв к честной, большой человеческой жизни.

Весна... Вместе с ручьями и каплями, сводящими с ума, к поэту приходит письмо от милой. Полсоток дороги, радость встречи... Но едва вступает поэт в дом к любимой, как его окружает обстановка, которая никак не согласуется с его мыслями о будущем. Незнакомая дама — мать — бесцеремонно допрашивает его, много ли зарабатывают поэты, папаша провозглашает пошлые тосты, родственники, собравшиеся за обеденным столом, на что-то намекают «то жестами, то глазками»...

Присматриваясь к новым знакомым, юноша распознаёт в них обывателей — из тех, что «в меру подленьки, в меру умны, семянят проторённой дорожкой. Им плевать на дела страны, их заботы её не трогают». Мысленно он на миг пытается представить себе, какой была бы его жизнь, согласись он с ними:

...Будешь ты для жёнушки
Песенки
мычать
И кропать стишочки
В местную печать,
...Нарисуем,
если нужно,
Радость на лице.
Будем строить очень дружно
Счастье
и-
це.

Он с отвращением отталкивает от себя мысль о бескрылой обывательской жизни.

Родная, слышишь?!
Уйдём отсюда!
Уйдём!
Я здесь дышать не могу...

В этих призывах, составляющих сердцевину поэмы, читателя покоряет сила любви и ненависти. Поэт выразил в стихах свои мечты, свою любовь. Однако за собственными его надеждами, сомнениями,

упрёками почти не ощущается образ той, которая их вызвала. О ней известно многое: она любит стихи, любит их автора, но, как рыба в воде, чувствует себя среди ненавистных ему обывателей. Что это? Доверчивость ребёнка, ещё не разобравшегося в окружающих людях, или душевное убожество расчётливой мешаночки, ничем от них не отличающейся? Поймёт ли она призыв поэта к трудной, но честной жизни, к настоящей любви, или он покажется ей смешным и чуждым? Всё это из-за неопределённости образа остаётся загадкой. Повидимому, окончательное решение героини неясно и самому поэту. Отсюда и эмоциональная неопределённость кульминационных глав поэмы. Р. Рождественский то трагически вызывает:

Сердце!
Самое святое гибнет!
То,
чем жил я.
То,
во что я верил...

то, забыв о своей трагической жалобе, шутя объясняет своё состояние постовому милиционеру: «Но вы понимаете сами: весна...» О своём горе он пишет тем же ритмом, что и о наступлении весны:

Что же это?
Как же это?
Это я
или не я?
Жмурясь весело от света,
Ходят люди пьяные...
и
Как же это?
Что же это?
Может, просто
я упрямый
И забыл твои советы,
Мама,
мама...

Трагические интонации «Облака в штанах», которые влюблённо повторяет здесь молодой поэт, кажутся неуместными. Какой болью там звучало: «Что ж, выходи-те. Ничего, Покреплюсь. Видите — спокоен как! Как пульс покойника...», и крик о помощи: «Мама! Ваш сын прекрасно болен! Мама! У него пожар сердца...» И Р. Рождественский говорит милиционеру: «Что ж? И пойду», вызывает к матери: «Мама, мама!» Всё это как будто и похоже, но своих слов поэт здесь не нашёл. Между тем всякий раз, когда ему ясно чувство, его воодушевляющее, он создаёт самостоятельные и сильные строки.

Стихам Р. Рождественского свойственны естественность и непринуждённость, соединённые с энергией и своеобразием. Молодой поэт хорошо владеет ритмом и рифмой, но не всегда точно пользуется метафорой.

Сборник стихотворений Р. Рождественского, как мы уже говорили, тематически близок к поэме «Моя любовь». Уже само заглавие его — «Флаги весны» — предупреждает читателя о замысле поэта, собравшего здесь первые свои стихотворения, утверждающие страстный патриотизм молодых строителей «кипучей, стремительной жизни нашей».

Наиболее интересны стихи Р. Рождественского о молодёжи, например, стихотворение «Двое», без всяких красивых слов и общих фраз передающее сдержанность первого чувства.

Со стихами о молодости, честной, радостной, целеустремлённой, гордой, в сборнике соседствуют гневные сатирические стихи о плесени. Стихи эти — «Чужой», «Как это начинается», «О временно прописанных» — разоблачают внутреннюю пустоту и бесцветность молодых эгоистов и подлецов. Метки и остроумны и стихи «Сатира о сатире», высмеивающие трусов и перестраховщиков.

Слабее стихотворение Р. Рождественского из цикла «В доброй старой Вене» — о честных людях мира, солидарных с советскими людьми. Тут молодой поэт преподносит читателю уже знакомый ему в основных чертах литературный материал, нередко скользит по поверхности, впадает в риторику, становится многословным, бледным.

Не свободны от недостатков и некоторые лирические стихи сборника. Порой мы и в них улавливаем те неоправданные заимствования из Маяковского, о которых мы уже говорили, разбирая поэму «Моя любовь». Так, в стихотворении «Дорога» Р. Рождественский пишет: «Сразу скала, как взведённый курок». Повидимому, этот образ должен запечатлеть внезапность появления скалы. Конечно, тотчас вспоминается строчка из стихотворения Маяковского «Тамара и Демон»: «Вот башня — револьвером небу к виску разит красотою нетроганной...» У Маяковского это не только риторический приём, но и зрительный образ. Ведь очертания двух прижатых друг к другу башен — высокой и поменьше — напоминают револьвер, дулом упирающийся

ся в небо. Это сходство и придаёт жизнь метафоре, делает её точной и содержательной: Метафора же Р. Рождественского лишена этого образного содержания.

Хочется, чтобы учёба молодого поэта у великого мастера была глубже, напряжённее, чтобы Роберту Рождественскому уда-

лось преодолеть сегодняшние его недостатки: отсутствие психологической конкретности некоторых образов и портретов, прескальзывающую порой неопределённость настроений и неточность метафор.

Н. МУРАВИНА.

★

Средствами сказки

Со страниц книги на вас смотрят уморительные, озорные рожицы. Каждую мордочку, каждую фигурку отличает своё выражение, костюм, причёска...

Это малышки-коротышки — смешной, хлопотливый и славный народец, придуманный писателем Н. Носовым и так интересно живущий в сказке «Приключения Незнайки и его друзей»...

Точно живые, бегают по страницам занимательной, весёлой книги Н. Носова, чудесно иллюстрированной рисунками художника А. Лаптева, забавные, деловитые малышки. Они всё время очень заняты: рубят, пилят, сочиняют стихи, рисуют, музицируют, строят небывалые машины, открывают новые страны. А так как писатель наделил их самыми различными характерами, манерами, привычками, то, занимаясь своими делами, они частенько ссорятся и мирятся между собой, словом самые настоящие живые ребята.

Реальность, жизненность характеров сказочных малышей-коротышек — вот, бесспорно, самая подкупающая, самая привлекательная черта повествования об удивительных событиях, которые приключились с Незнайкой и пятнадцатью крошечными его друзьями.

Все они живут в домике на улице Колокольчиков в Цветочном городе.

Самым главным и самым умным заслуженно считается здесь Знайка. Зато о Незнайке каждому в Цветочном городе было ведомо, что он совсем ничего не знал!

«Этот Незнайка носил яркую голубую шляпу, жёлтые, канареечные брюки и оранжевую рубашку с зелёным галстуком».

Зачем же породила фантазия художника это подвижное, лукавое, пёстренькое и как будто вовсе никчёмное существо, ростом с небольшой огурец, выделяющее-

ся из числа своих неугомонных трудолюбивых собратьев даже не то чтобы ленью, а просто какой-то безалаберностью, неумением сделать никакое дело иначе, чем «шиворот-навыворот»?!

Дело в том, что маленький непоседа Незнайка «был не такой уж скверный,— говорится в книге.— Он очень хотел чему-нибудь научиться, но не любил трудиться. Ему хотелось выучиться сразу, без всякого труда, а из этого, конечно, даже у самого умного коротышки ничего не могло получиться».

Рассказывая любопытную историю о жизни малышей-коротышек детям, только что усевшимся на школьную скамью, писатель очень хорошо видит, что и среди них, вероятно, окажутся такие, как легкомысленный болтунишка Незнайка, которые тоже хотели бы чему-нибудь научиться, но с одним непременно условием: чтобы не тратить на это лишнего труда.

Из книги в книгу раскрывая тему воспитания детского характера, Н. Носов и в «Приключениях Незнайки и его друзей» продолжает в новой, интересной, живой манере основную и главную идейно-художественную линию своего творчества. Воспитательная, умная сказка насыщена тонким юмором, и надо ли доказывать, что уже самая радость восприятия ребёнком добрых, причудливых, бесхитростных образов книги принесёт ему куда больше пользы, чем навязчивое и сухое морализирование!..

Сказка — ложь, да в ней намёк,
Добрым молодцам урок,—

писал А. С. Пушкин. Нет сомнения, что «добрые молодцы» из первого-второго классов отлично поймут «намёк» сказки Н. Носова: пока Незнайка не научится быть стойчивым, волевым, упорным, пока не станет трудиться по-настоящему, до тех пор ничего не будет у него получаться, за что бы он ни принялся.

Н. Носов. Приключения Незнайки и его друзей. Редактор Л. Гульбинская. 168 стр. Детгиз. М. 1954.

...Во время одного из путешествий малышей, совершаемого ими по воздуху, случилось так, что Знайка, который сам придумал воздушный шар, затеял перелёт и руководит им, раньше всех спустился с воздушного шара на парашюте. Остальные малыши, оставшись без умного, толкового Знайки, приняли незнайкино командование: он-то уж был, конечно, тут как тут! И вот теперь, очутившись в неизвестном Зелёном городе, встреченный здесь, как знаменитый путешественник, Незнайка хвастает вволю.

Но, как и следовало ожидать, в Зелёный город является наконец Знайка и... триумф Незайки кончается полным крахом! Осмеянный, несчастный, бредёт Незайка куда глаза глядят. И вдруг малыш чувствует на своём плече чьё-то лёгкое, ласковое прикосновение. Это Синеглазка. Она решила, что общее презрение теперь только озлобит малыша, что нужно помочь ему.

Пройдя через всевозможные сказочные беды и потрясения, смешной человечек Незайка изведает и целительное чувство дружбы. Теперь, вернувшись в родной Цветочный город, он будет жить и всё делать уже не спустя рукава, не кое-как, не наспех: он будет стараться изо всех сил!

Так к Незайке пришли терпение и труд. И теперь мы уже по-настоящему полюбили этого бойкого, смешного, ушастьевского человечка — главного героя умной и светлой, пронизанной жизнелюбием сказки.

Не с одним только Незайкой происходит процесс духовного перерождения в книге Н. Носова. Есть в ней ещё один малыш-коротыш по имени Гвоздик, о котором известно, что это «бесшабашная голова», способная на самые рискованные и даже хулиганские выходки.

Но и Гвоздика перевоспитывает труд. Всем малышам приятно смотреть на него, когда он старательно помогает им готовиться к праздничному балу. Сразу видно, что Гвоздик любит работать! Да он признаётся и сам: «Я всегда люблю что-нибудь делать. Когда нечего делать — я не знаю, что делать, и начинаю делать то, чего вовсе не нужно делать...»

Слушая милую, невыдуманную, а словно в живой жизни подслушанную речь Гвоздика, как бы споткнувшегося о слово «делать» и повторяющего его вот уже который раз, невольно вспоминаешь героев других произведений Н. Носова, настоящих «всамделишных» детей — Костю Шишкина, Колю Синицына, Витю Малеева... Подлинность речи сказочных персонажей составляет яркую стилистическую особенность «Приключений Незайки».

А как хорош Гвоздик, усердно занимающийся перед балом стиркой на плоту! Вот он, в одних трусиках, чуть не вдвое согнувшись, полощет что-то в реке: ему тоже хочется прийти красивым и опрятным на бал к малышам! Странно, что эта превосходная сцена, проиллюстрированная не менее превосходной картинкой, вызвала раздражение критика Ю. Пухова, который в десятом номере журнала «Звезда» пишет, что Н. Носова можно было бы «упрекнуть... за элементы дидактики и ненужного недоверия к маленьким читателям (например, в сцене с Гвоздиком, возвратившимся домой до неузнаваемости переменившимся)» (?!).

А что же, Гвоздику так и суждено было остаться хулиганом? Видимо, по мнению Ю. Пухова, только в этом случае в книге было бы выражено доверие к маленьким читателям!

Вряд ли нужно отпугивать авторов детских книг даже от прямых разговоров с детьми, содержащих явно воспитательные цели. «Не упускайте из вида, — советовал Белинский писателям, — ни одной стороны воспитания: говорите детям и об опрятности, о внешней чистоте, о благородстве и достоинстве манер и обращения с людьми, но выводите необходимость всего этого из общего и высшего источника...»

Думается, так и поступает Н. Носов.

Необходимость активного, трудового, морального воспитания нашей детворы он решает яркими образами, широкими и смелыми средствами сказки.

Н. ТОЛЧЕНОВА.



Песни донских казаков

Собирающий и исследователь русских песен Александр Михайлович Листопадов, скончавшийся в 1949 году, оставил нам пятитомное наследие, «Песни донских казаков». Уже самый объём этого наследия (1200 произведений), жанровое его многообразие (тут и былины, и исторические песни, и военные казачьи песни, и лирические, и шуточные, и хороводные) говорит о фундаментальности и богатстве его. В сборнике, исследовании и классификации песен Листопадов вложил больше пятидесяти лет напряжённого творческого труда, наполненного бережной и горячей любовью к народной песне.

В каждом томе помещены статьи Листопадова по различным вопросам народного песенного творчества. Ознакомившись с ними, читатель получит самое широкое представление о деятельности исследователя-фольклориста, о его взглядах на народные песни, об отношении к работе своих предшественников — собирателей музыкального народного творчества, о методе записи песен и т. д.

Излагая почти 125-летнюю историю собирания песен донских казаков, автор с сердечным пристрастием критикует тех, кто проявлял в работе фольклориста спешку, небрежность, прибегал к фальсификации.

Собирая песни донских казаков, А. Листопадов придерживался широкого взгляда, считая их лишь ветвью среднерусских песен. Эта ветвь, утверждал он, имеет свои особенности, но они сводятся только к подробностям. Всё же существенное, «коренное», у них общее, русское.

Почти с самых первых шагов своей деятельности Листопадов сочетал принцип наиболее точной и наиболее правдивой записи с твёрдым правилом: нельзя записывать тексты песен, не принимая во внимание напевов, так как тексты и музыка в песенном народном творчестве составляют неразрывное единство. По его твёрдому убеждению, «безнадежная» запись приводит к искажению текста: пропускаются характерные повторения слов, фраз, пропускаются художественно выразительные разрывы слов, сдвигаются ударения.

Листопадов всегда проявлял острый интерес к бытовым и трудовым условиям, в

которых зарождались и совершенствовались песни. Он настойчиво рекомендовал записывать их, когда песня сопровождается коллективным трудом, отдыхом, походом. Тогда она, песня, «звучит в настоящем темпе, со всеми подголосками и достаточно широко».

Редакторы пятитомника «Песни донских казаков» бережно отнеслись к изданию рукописей Листопадова. Обращено серьёзное внимание на стремление фольклориста дать читателю, желающему глубоко изучать песни, все возможности без особых усилий и непредвиденных трудностей начать изучение их. В этом смысле приобретает особое значение классификация песен по жанрам, авторские примечания ко многим песням, алфавитные указатели имён, географических названий.

Если мы вправе сделать отдельные замечания редакторам, то прежде всего хотелось бы спросить их: стоило ли давать указатели исполнительских составов песен? Ведь сам Листопадов неоднократно обращал внимание на то, что казачье напевное исполнение не знает деления на голосовые партии: известное количество певцов, случайный состав голосов в итоге дают многоголосое изложение, позволяющее без композиторской обработки исполнять песни тем или другим ансамблем.

При всей ценности и актуальности теоретических, методических материалов пятитомника самое ценное в нём, конечно, сами песни.

Патриотические чувства, любовь ко всему родному присущи историческим песням, как нечто такое, без чего они не могли бы существовать и без чего их огромное художественное значение немислимо...

Исторические песни своим художественным содержанием легко опровергают ложную теорию о том, что в казачестве не было расслоения, что оно будто было однородным. Достаточно только ознакомиться с богатейшим циклом песен о Степане Разине, о Некрасове и о некрасовцах, чтобы убедиться в том, что уже в XVII столетии социальное размежевание в казачестве Дона было галицо. В канцелярии войска, в его круге хозяевами были так называемые «домовитые» казаки, и потому «голытьба» (незimuщие казаки) в заслугу ставили своим любимым атаманам, что они в круг и в канцелярии «не хаживали». В позднейшие времена казачья служба для

А. Листопадов. Песни донских казаков. Пять томов. Под общей редакцией Г. Сердюченко. Музгиз, М. 1949—1954 гг.

бедного казака стала настоящим разорением: справиться на службу сына — купить коня, амуницию — значит решить непосильную задачу. Во многих песнях казак, сетуя на трудности походной жизни, с сердечным сокрушением жалуется, что служба «всех добрых конников... позамучила», а там, дома, — его подворье, где хозяйствует «горькая бабёночка», заросло «травой-муравою».

Исстари драматично было положение бедного казачества на Дону. В прошлом русские крепостные крестьяне, они бежали от гнёта помещиков и значились «беглыми». Подчинение царской и помещичьей власти могло стать гибелью для них. Донские песни, отображая эту драму, с особой силой подчёркивают тот факт, что казаки Дона шли на сближение с царской властью, когда надо было укреплять отечество. Шли на помощь Ивану Грозному, чтобы сломить сопротивление татар, соратничали с Петром I против турок, шведов... Богата была их любовь к своей родине — её хватало не только на то, чтобы в боях пролить кровь за неё, но и на то, чтобы потом в песнях воспеть умные, героические дела гениальных полководцев — по-солдатски величаво простых и безгранично храбрых. В сборниках есть песни, посвящённые Суворову, Кутузову и т. д.

С необычайной глубиной и трагичностью рассказано в песнях о крестьянских (казачьих) восстаниях XVII—XVIII столетий, особенно в песне «Ай да, вот и не шуми, шумка». Это песня о Степане Разине, которому «зáутра ответ держать» перед царёвыми судьями, а сегодня ему «думу думать», как станет держать его, когда спросят: с кем бражничал? С кем разбойничал?

Большую познавательную и художественную ценность представляют собой военно-бытовые песни, раскрывающие перед нами внешний и внутренний облик людей, сложивших их. Красива у них душа, трудолюбивы и ловки руки, а их чудные голоса в разных случаях жизни то звучат неудержимой радостью, то глубокой задумчивостью, то скорбно просят помочь «в нужде-горе». Думается, что в создании этих песен немалое творческое участие принимали и женщины-казачки. Приходишь к такому выводу и потому, что в военно-бытовых песнях находишь нежные, затёйливые художественные украшения, и потому, что главной героиней в них часто выступают

то девушка, то жена молодого казака; они то собирают молодого «казаченьку» на «службицу», то прощаются с ним, то зовут его издалека «на батюшку Тихий Дон», а то оплакивают его, сложившего голову на чужбине.

Военно-бытовая песня вобрала в себя всё наиболее лиричное, наиболее эмоциональное из того, что присуще донской казачьей песне.

Песни донских казаков, и особенно песни военно-бытовые, своими художественными средствами и всем своим содержанием утверждают, что для казака жить — значит находиться в дозоре. Роль казака — роль конника, оберегающего рубежи родной земли от посягательств внешнего врага, — заставляла его быть в любую минуту готовым к боевому походу. Суровая необходимость теснейшим образом связывала казака с конём, с кавалерийской амуницией и с оружием.

В особую группу выделены песни советского Дона. Большинство этих песен — походные. Герои их, как правило, сами донские казаки. В одной песне они ожесточённо сражаются с денкикинцами, которых именуют взбесившимися волками. В другой — идут походом на Перекоп, чтобы разгромить засевших в Крыму врангелевцев, их конницу — «белое кавалерство».

В третьей песне восхваляется доблесть удалых красных командиров. «...Ворошилов идёт с нами. Нам и смерть с ним не страшна... И службица с ним красна».

Густо усеяны степи могилами трудовых донских казаков, охранявших рубежи родной земли. Время сравняло холмистые неровности, разрушило не только деревянные, но и каменные надгробья. Но в песнях донских казаков героям-патриотам возведены долговечные памятники, а это залог того, что потомки надолго сохранят их в памяти.

Пусть вольная пташка, сидя на калине,
Порой прощепечет ту песнь обо мне,
Что жил-был казак на далёкой чужбине,
Он помнил о дальней родной стороне.

...Эта короткая статья не ставила своей задачей конкретно разобрать все произведения пятитомника. В ней лишь хотелось бегло познакомить читателя с характерным содержанием и художественным своеобразием песен донских казаков. За рамками статьи остались представляющие большой музыкальный и поэтический интерес песни

гулебно-плясовые, хороводные, вечериночные. Не сказано ни слова об обширном и очень ценном томе «Старинная казачья свадьба на Дону».

Пятитомник А. М. Листопадова обогащает нашу культуру, наше представление об устном и музыкальном народном творчестве народа; он нам дорог и как живая связь с прошлым нашего народа и как оружие в борьбе за народность в литературе и музыке. Поэту, композитору, художнику, дирижёру, ищущим революционной правды и художественной ясности выражения этой правды, «Песни донских казаков» всегда могут оказать помощь в их

творческой работе. Они непременно окажут и уже оказывают благотворное влияние на фольклорное творчество, развивающееся в колхозных сёлах и хуторах. Влияние это может стать более глубоким и более активным, если профессиональные и самодеятельные хоровые коллективы поставят перед собой задачу широкой пропаганды лучших песен из пятитомного наследства Листопадова, а также пропаганды молодой советской песни, которая развивает и укрепляет то художественно ценное и передовое, что являлось особенностью лучших песен донских казаков.

М. НИКУЛИН.

★

Спор о Гойе

На Втором Международном конгрессе в защиту культуры прогрессивные деятели искусства говорили о великом испанском живописце Франсиско-Хосе де Гойя-и-Лусиентес как о народном художнике, чьё имя неотделимо от борьбы народа за освобождение. «Народ защищал свою судьбу. Он защищал и свою культуру. На его стороне боролся гений Испании, гений всего мира Гойя».

Слова эти могли бы послужить эпиграфом к новому роману Лиона Фейхтвангера, вышедшему сейчас в русском переводе, «Гойя, или тяжкий путь познания».

Лион Фейхтвангер, выдающийся немецкий писатель, крупный мастер западноевропейского исторического романа, принадлежит к писателям-антифашистам, эмигрировавшим из гитлеровской Германии и представлявшим тогда в глазах всего мира подлинную немецкую культуру. В настоящее время, вдали от родины, он продолжает бороться в рядах лагеря мира, выступая за единение Германии и принимая активное участие в литературной жизни Германской Демократической Республики. Лион Фейхтвангер награждён Национальной премией первой степени.

Выход в свет книги Фейхтвангера о Гойе — явление примечательное. «Гойя» — это роман о судьбах художника и о его общественном служении, о познании мира в искусстве, о философии и психологии

творчества. Прогрессивная по мысли и по своему общественно-политическому звучанию, книга эта свидетельствует о многосторонней эрудиции и о зрелом художественном мастерстве автора. Фейхтвангер выступает здесь не только романистом, но и историком, искусствоведом, фольклористом, биографом Гойи, влюблённым в его творчество, страну, эпоху. Сквозь характерно фейхтвангеровскую скептическую интонацию прорывается необычно страстное отношение его к гениальному испанскому живописцу. Роман написан широкой и свободной кистью, «на большом дыхании». Страницы биографии художника переплетаются с рассказом о его картинах, исторический очерк — с романсеро. Но всё это многообразие композиции, стиля, языка служит единому замыслу — раскрыть истину о Гойе.

Роман был опубликован к 125-летию со дня смерти великого испанского художника, когда в западноевропейской литературе с новой силой разгорелся давний «спор о Гойе». В то время реакционеры и фальсификаторы искусства с особым рвением стремились во что бы то ни стало очернить имя Гойи. И в момент, когда страсти были накалены до предела, Фейхтвангер выступил со своей книгой на защиту Гойи. Историческая истина восторжествовала, и в споре этом победили сторонники мира и демократии. Миру открылось настоящее лицо Гойи, художника национально-освободительной войны Испании против наполеоновского нашествия, непримиримого борца с папством и инквизицией, передового демократического деятеля испанского просвещения, вдохновлявшегося в своём творчестве

Лион Фейхтвангер. Гойя, или тяжкий путь познания. Перевод с немецкого Н. Касаткиной и И. Татарниновой. Редактор Р. Гальперина, 566 стр. Издательство иностранной литературы. М. 1955.

многими идеями французской революции 1789—1793 годов.

Именно об этом Гойе, сегодняшнем участнике нашей борьбы, и написал свою книгу Фейхтвангер.

На материале биографии великого испанского живописца он развивает основную идею романа: большой художник — это судья своей эпохи, который обличает правящие силы с новых, исторически более высоких позиций и выносит им в своём искусстве беспощадный приговор.

Роман охватывает переломный момент в творчестве Гойи накануне революции 1808—1814 годов, когда этот «Веласкес из народа», живописец короля Карлоса IV и президент Испанской Академии искусств приступает к созданию «Капричос», решительно ополчаясь против тирании алтаря и трона.

Фейхтвангер раскрывает близость Гойи к идеям испанского просвещения и французской революции, показывает ту почву, которая питала его искусство. Его творчество рассматривается в связи с развитием общественной мысли в Испании, с борьбой материализма и идеализма, с идейной подготовкой первой испанской буржуазно-демократической революции. Гойя изображён среди блистательной плеяды испанских просветителей, наиболее передовых умов века, стремившихся к политическому и социальному возрождению своей родины и выступавших с требованиями реформ и конституции.

Людам этим противостоит в романе придворная камарилья во главе с испанскими Бурбонами. В своих портретах знати и королевского дома — Карлоса IV, Марии-Луизы, весельного фаворита, инфанта Кастильского, Мануэля Годоя, особенно на картине «Семья короля Карлоса IV», Гойя даёт не только ядовитую сатиру на вырождение, духовное убожество и скудоумие, алчность и распутство придворной клики: он развенчивает монархическую идею, разрушает ореол «помазанника божия», тем самым служа делу революции.

Трагедия сына народа, Гойи, при дворе Карлоса IV сказалась в истории его любви к Каэтане Альба, занимающей центральное место в книге.

Эти страницы биографии Гойи под пером Фейхтвангера обретают особое, глубоко символическое звучание. В облике герцогини Альба — первой грандессы королевства, внушившей своему портретисту такую

безудержную страсть, — для Гойи воплощается душа Испании, образ его любимой родины во всём блеске и славе её многовековой истории. И в то же время Гойя явственно видит своим прозорливым оком художника на прекрасном лице Каэтаны «печать смерти», упадка и обречённости. Ей не удаётся скрыть от него свою глубочайшую внутреннюю опустошённость, горькую тоску пресыщения и холодное человеконенавистничество. Замкнувшись в гордыне и презрении к людям, она, даже помимо воли, сеет вокруг себя смерть и разрушение. И только в «Капричос» художнику открывается подлинный облик герцогини Альба, впервые мелькнувший ему в мёртвых дворцах Эскуриала среди мёртвой пустыни: это старая «чёрная Испания», страна аутодафе и тюремщиков в сутанах, погружённая в глухую ночь средневековья.

Но Гойя смог выступить судьёй и обличителем этой Испании только потому, что он был глубоко народным художником, крупнейшим выразителем национального духа в испанской живописи того времени. Сын народа — таким изображён Гойя у Фейхтвангера.

В близости к самобытной художественной культуре народа таятся истоки новаторства художника. Фейхтвангер рисует своего героя пролагателем новых путей в искусстве. Гойя представлен не только классиком испанского реализма в живописи, но и одним из основоположников новейшего искусства. И всюду Фейхтвангер подчёркивает, что новаторство стиля у Гойи сочетается с его философско-политическими воззрениями республиканца и материалиста.

И в то же время, борясь против искажения творчества Гойи реакционным искусствоведением, Фейхтвангер в последних главах романа сам впадает в подобную ошибку.

В первых частях книги образ Гойи рисуется реалистически верно, соответственно истинной истине. Это достойный противник, осмелившийся бросить вызов королям и инквизиторам: сильный, волевой человек, свободомыслящий, с огненным, неукротимым темпераментом и ненасытной любовью к жизни. Но в конце романа он предстаёт перед нами совершенно иным. Дряхлый старик на грани отчаяния и безумия, безмерно одинокий и отрезанный от мира неизлечимой глухотой, он днём и ночью окружён злыми чудовищами, бесами.

«Какие страшные сны видятся тебе, Гойя!» — восклицает автор вместе со своим героем. С начала работы Гойи над «Капричос» Фейхтвангер освещает его жизнь и произведения с фрейдистской точки зрения: в своём творчестве художник якобы находит освобождение от терзающих его тёмных подсознательных сил.

Но, как известно, «Капричос» сделались новым словом в искусстве именно потому, что в них, так же как и в последующих сериях офортов — «Бедствия войны» и в альбоме «Узники инквизиции», — раскрывалась трагедия целого народа и штурмовались твердыни обскурантизма и реакции. Персонажи этих гравюр — отнюдь не порождения болезненной фантазии Гойи, не демонические силы его подсознания; это призраки средневековья, проклятого «старого режима», с которым Гойя сражался оружием своего искусства.

И ещё одна сторона многогранного дарования Гойи выпала из поля зрения Фейхтвангера. Где Гойя-утопист, грезивший о царстве разума, свободы и справедливости? Где тот мудрый и оптимистический мечтатель, так глубоко веривший в творческие силы человека, что рисовал крылатых людей, летающих от звезды к звезде? Этого Гойи нет в романе. Если бы Фейхтвангер, до конца следуя исторической истине, изобразил своего героя, вдохновлённого прекрасными видениями будущего человечества, его повествование о жизни Гойи завершилось бы светлыми страницами. Но у автора был иной замысел — закончить книгу нигилистическим кредо художника: Гойя принимается писать фреску «Сатурн, пожирающий своих детей», — Время, уничтожающее царства, народы, культуры.

И всё же книга эта является неким рубежом в творчестве Фейхтвангера. За послевоенные годы писатель, подобно своему герою, прошёл «тяжкий путь познания». На страницах романа Фейхтвангер посте-

пенно освобождается от столько лет тяготевшей над ним «философии истории»: от модернизации прошлого, идеализирования буржуазной демократии, идеи мирового государства и многих других иллюзий и заблуждений, способствовавших созданию таких ложных произведений, как «Оружие для Америки». (Роман этот в своё время резко критиковался в советской печати, в частности и автором этих строк.) В творчестве Фейхтвангера, сложном и противоречивом, исполненном внутреннего борения и непрестанных исканий, победило лучшее, что составляло его силу исторического романиста, — горячая любовь к всечеловеческому культурному наследию прошлого. В своих последних романах — о Гойе и о Руссо — Фейхтвангер приходит к пониманию народа как движущей силы истории и творца великих культурных ценностей. И здесь — начало нового пути писателя, который ведёт его к большим творческим победам.

Фейхтвангер показал нам Гойю — нашего современника, чьё творчество близко и дорого передовым людям во всём мире: Гойю, ненавистника иезуитов и Ватикана, художника восставшего народа в освободительной борьбе. В «споре о Гойе» он защитил светлую память национального испанского гения от чёрной клеветы фашистских лжеучёных, пытавшихся сделать его славное имя достоянием реакции. Этой своей книгой Фейхтвангер утверждает, что единственными законными преемниками искусства Гойи, так же как и всего культурного наследия прошлого, являются сторонники мира и демократии. И в этом — заслуга большого писателя, Лиона Фейхтвангера, который, несмотря на многие ошибки и заблуждения, всегда считал делом чести и совести отстаивать от реакции великие духовные ценности человечества.

Р. МИЛЛЕР-БУДНИЦКАЯ.

★

Политика и наука

О мирном сосуществовании

Известный английский историк Э. Ротштейн написал книгу на тему, волнующую миллионы людей во всех странах.

A. Rothstein. Peaceful coexistence. London. 1955 (Э. Ротштейн. Мирное сосуществование. Лондон. 1955).

Действительно, проблема мирного сосуществования государств с различными общественными системами — коренной вопрос современного международного положения.

Противники смягчения международной напряжённости нередко обращаются к далёкой истории, чтобы подыскать видимость

обоснования своим излюбленным тезисам. Утверждая, что социальные и идеологические различия якобы всегда вели к неизбежному вооружённому столкновению, они готовы ссылаться на религиозные войны XVI—XVII веков в Европе или доказывать, что страны, пережившие революции, как Англия в XVII веке или особенно Франция в конце XVIII столетия, неминуемо становились на путь агрессии и вступали в конфликт с остальным миром. Между тем опыт действительной, а не фальсифицированной истории говорит как раз об обратном.

В XVI столетии, отвергая право государств, в которых произошла реформация, самим устраивать свою судьбу, феодально-абсолютистская Испания под предлогом заботы о торжестве католицизма стремилась установить свою мировую гегемонию. Победа буржуазного строя в Англии и во Франции вызвала неоднократные попытки сил феодальной реакции — внутренней и зарубежной — остановить неизбежный ход исторического развития. Известно, что эти попытки окончились полным крахом. «Священный союз», созданный в 1815 году феодальными монархами для удушения революционного, освободительного движения, не предотвратил утверждения нового общественного строя в различных европейских странах и их длительного сосуществования с государствами, где ещё господствовали феодальные порядки.

В первые годы существования Советской власти наиболее мощные империалистические державы пытались с помощью вооружённой интервенции реставрировать капитализм в нашей стране. Несмотря на позорный крах интервенции Антанты, наиболее агрессивные империалистические силы не примирились с неизбежностью сосуществования и продолжали вынашивать планы нового нападения на СССР. Уроки недавнего прошлого свидетельствуют, что теория о невозможности сосуществования с «коммунистической Россией» служила фашистским претендентам на мировое господство предлогом не только для агрессии против СССР, но и для захвата территории многих других стран и порабощения народов.

Подобно своим предшественникам, современные противники разрядки международной напряжённости оперируют «теорией» невозможности сотрудничества с Советским Союзом, злобно приписывают странам со-

циалистического лагеря планы «полной коммунизации мира» и т. п.

Основным достоинством интересной книги Э. Ротштейна является убедительное разоблачение этих вымыслов. Автор напоминает, что классики марксизма-ленинизма решительно указывали на недопустимость для победоносного пролетариата навязывать «осчастливление» другим народам, выступали против «подталкивания революции» в других странах. Социалистические преобразования происходят лишь тогда, когда в стране созревают для этого необходимые условия. Э. Ротштейн рассказывает о миролюбивой политике стран социалистического лагеря, которая вытекает из самой сущности господствующего в них общественного строя.

Иначе поступает большинство сторонников агрессивной политики. Не осмеливаясь ныне прямо отвергать идею сосуществования, они пытаются извратить её, говоря о «враждебном сосуществовании» и стремясь свалить вину за международную напряжённость на Советский Союз и страны народной демократии. Так, Ф. Хутисс в изданной в Париже книге «Мирное сосуществование» утверждает, будто СССР рассматривает «мирное сосуществование только как отсутствие «горячей» войны — и лишь в то время, когда мир более выгоден для интересов всемирного коммунизма». Э. Ротштейн цитирует провокационное заявление реакционного английского историка Х. Сеттон-Уотсона, договорившегося до того, что для СССР мирное сосуществование — это якобы «война без стрельбы и подготовка к войне со стрельбой и водородными бомбами». Подобные примеры легко дополнить высказываниями, появившимися в реакционной печати уже после выхода в свет книги Э. Ротштейна.

Небезызвестный французский реакционер Фланден недавно опубликовал в журнале «Ревью де де монд» статью о сосуществовании, где утверждает, что оно служит для Советского Союза средством «разрушения Запада». Американский журнал «Зис уик мэгэзин» осенью 1955 года напечатал специальную статью Ли Сын Мана против идеи мирного сосуществования. Южнокорейский правитель объявляет результатами «происков коммунистов» всякое проявление социального недовольства, все экономические и политические затруднения в капиталистических странах.

Э. Ротштейн убедительно вскрывает всю нелепость утверждений, будто любая борьба за социальный и политический прогресс «направляется Кремлём». Противники международного сотрудничества лицемерно сетуют, в частности, на существование связей между коммунистическими партиями, «забытая», как правильно замечает английский учёный, что связи поддерживаются также между социал-демократическими, католическими, либеральными партиями.

Извратить идею мирного сосуществования стремятся многие идеологи реакции, в том числе проповедники пресловутой теории «всемирного государства». Некоторые западные государствоведы, вроде М. Манакса, рассуждая об «юридических основах» сосуществования, даже предлагают заменить международное право «межсистемным правом», регулирующим отношения между группами государств с различными общественными системами, а государственный суверенитет — суверенитетом объединения стран с одинаковым социальным строем.

Однако наиболее вредной и опасной является попытка доказывать, что сосуществование может быть обеспечено только путём сохранения и укрепления военных блоков, созданных под эгидой США. Г. Матюз в статье «К мирному сосуществованию», опубликованной английским журналом «Мар-

ксист кварталли», критикует ряд высказываний видных западных политиков, которые фактически направлены на оправдание гонки вооружений. История последних десятилетий убедительно доказывает, что первыми на путь создания военных группировок становились те государства, которые отказывались от принципа мирного сосуществования.

Совершенно противоположную политику последовательно и неуклонно осуществляет Советский Союз. Обстановка в современном мире сложилась так, указал в одном из своих выступлений Н. С. Хрущёв во время пребывания советских руководителей в Индии, что для социалистических и капиталистических государств есть только одна возможность — сосуществование. «Мы, — сказал товарищ Хрущёв, — за такое сосуществование, которое способствовало бы нормальному развитию взаимных связей между всеми государствами, мы, в частности, за то, чтобы вести торговлю со всеми странами... Мы стоим и за более широкое развитие культурных связей между государствами».

Благородной цели сближения народов, укрепления между ними дружбы и сотрудничества в интересах мира и прогресса человечества служит и книга Э. Ротштейна.

Кандидат исторических наук

Е. ЧЕРНЯК.

★

Разоблачённый миф

На состоявшемся в Женеве в октябре—ноябре 1955 года Совещании министров иностранных дел четырёх держав главное место занял вопрос о европейской безопасности. И это не случайно. Опыт истории показывает, что судьба Европы имеет огромное значение для судеб мира, ибо именно здесь разгорались самые кровопролитные войны в истории человечества, охватывавшие потом весь земной шар. Причиной этих войн были агрессивные устремления империалистических кругов, прикрывавших свою захватническую политику всякого рода лживыми лозунгами и мифами.

Историю одного такого мифа — о так называемой «интеграции», или «объединении», Европы — рассказывают французские

исследователи Терсен, Дотри, Виллар и Шамбаз в своей книге «Европа. Мифы и действительность».

Книга вышла во Франции в 1954 году, в разгар борьбы французского народа против планов возрождения германского милитаризма под вывеской создания «европейского оборонительного сообщества», или «малой Европы». Это не могло не наложить отпечатка на форму, в которую облакают свои мысли авторы: чувствуется их страстное желание, как и всех французских патриотов, не допустить повторения страшных уроков прошлого и, в частности, тех бед и несчастий, которые испытала Франция.

Актуальность книги не уменьшилась и сегодня, поскольку агрессивные круги, не желающие разрядки международной напряжённости, стремятся и сейчас свести на нет усилия миролюбивых государств и посеять рознь между народами. В качестве одного

Э. Терсен, Ж. Дотри, К. Виллар, Ж. Шамбаз. Европа. Мифы и действительность. Редакция и вступительная статья П. Вишнякова, 128 стр. Издательство иностранной литературы, М. 1955.

из орудий агрессоров попрежнему служит проповедь об «объединении» Европы, причём под Европой подразумевается Западная Европа, противопоставляемая другим странам Европы.

Работа французских авторов ценна именно тем, что она на примерах истории разоблачает опасность для дела мира, заключающуюся в такого рода проповедях. Книга охватывает период с конца XVIII века вплоть до 1954 года. Она рассказывает, как лозунг «объединения» Европы использовался поочерёдно различными претендентами на господство над европейскими народами — от Наполеона до империалистических кругов капиталистических стран наших дней — и как этот лозунг неизбежно приводил к возникновению военных группировок и расколу Европы.

Для чего же понадобился лозунг «объединения» Европы? Прежде всего для того, чтобы, как отмечает автор предисловия к французскому изданию историк Брюа, подготовить почву для захватов и аннексий и, в частности, ослабить у народов национальные чувства, притупить бдительность перед лицом открытого посягательства на их независимость и суверенитет. Именно в этих целях был применён лозунг «европейского единства» Наполеоном, который преследовал, помимо всего прочего, конкретные практические задачи — обеспечить европейский рынок сбыта для бурно развивающейся французской промышленности и противопоставить континентальную Европу Англии. Всё это не могло не вызвать сопротивления со стороны здоровых национальных сил в различных странах Европы.

В эпоху Священного Союза идея «европейского единства» приобретает, как отмечают авторы, новый оттенок. Реакционеры используют её, чтобы сохранить старые, отживающие социально-экономические устои.

Наступает эпоха империализма, и идея «объединённой Европы» становится нужной для оправдания монополистической экспансии и захватов с целью обеспечения максимальных прибылей. Наибольшую активность проявляли милитаристские круги в Германии, стремившиеся к установлению своего господства в Европе. Но их агрессивные вожелания вступили в противоречие с такого же рода устремлениями импе-

риалистов других стран. Результатом явилась первая мировая война.

После 1917 года, подчёркивают авторы книги, «какого бы происхождения ни были планы «европейского объединения», все они имеют общую черту: антикоммунизм и антисоветскую направленность».

Империалистические круги с их общими классовыми интересами делают ставку на наиболее агрессивную силу — германский милитаризм, всячески помогая ему восстановить свою мощь и толкая его на агрессию против Советского Союза.

Прикрываясь лозунгами создания «антибольшевистской Европы», Гитлер покорял одну европейскую страну за другой, «организуя» Европу в соответствии с интересами германских монополистических кругов и меньше всего считаясь со своими партнёрами по Мюнхенскому пакту.

Однако уроки второй мировой войны мало чему научили наиболее реакционных представителей империалистической буржуазии. Стремясь оправдать политику военных группировок, они после войны снова пустили в ход мифы о «советской угрозе» и о необходимости так называемого «объединения» Западной Европы.

В книге показана цепь мероприятий правящих кругов западных стран, направленных на осуществление идеи «западно-европейского единства».

Политика военных группировок всегда встречала решительное сопротивление со стороны европейских народов, ибо она уже принесла тяжёлые экономические невзгоды и связана с угрозой раскола Европы и новой войны.

Заключая обзор уроков истории, авторы подчёркивают, что перед народами открываются два пути. Первый — это путь «европейской интеграции», то есть путь к ещё большему расколу Европы. Второй путь ведёт к расцвету каждой нации на основе уважения её независимости и развития международной торговли на началах равноправия, к безопасности Европы и всеобщему миру.

Именно этот единственно правильный путь — путь коллективной безопасности — отстаивает Советский Союз в своей неустанной борьбе за мир.

С. БЕГЛОВ.

★

Наследие колонизаторов

Безбрежные поля лучшего в мире длинно-волокнистого хлопка, богатые залежи нефти, железной руды, фосфатов — и тысячи худеньких детских рук, протянутых за милостыней. Земля, которая родит по нескольку урожаев в год, — и умирающие с голоду крестьяне. Двадцатэтажные дома, роскошные виллы и дворцы — и море окружающих их жалких лагун. Золото, широким потоком льющесся в карманы обосновавшихся в стране английских, американских и французских компаний, — и страшная нищета народных масс. Таковы чудовищные контрасты, которые оставило египетскому народу семидесятилетнее хозяйничанье иностранных колонизаторов.

Тяжёлые последствия колониального гнёта в Египте во многом не ликвидированы до сих пор. Чтобы улучшить жизнь народа, нужно развить промышленность, преодолеть отсталость сельского хозяйства, узость внутреннего рынка. К этому и направлены усилия многих представителей официальных и деловых кругов Египта, представителей передовой общественности.

В ряде книг и статей, написанных египетскими экономистами, публицистами, общественными и государственными деятелями, виден реальный подход к экономическим и политическим проблемам, стоящим сегодня перед Египтом. Некоторые из этих работ издаются в Каире в популярной серии под общим названием «Книга патриота». В этой серии вышла и работа преподавателя Каирского университета Абд-ур-Рафика Мухаммеда Хасана «Кризис экономики Египта».

Автор анализирует трудности, которые препятствуют широкому развитию экономики страны, и перечисляет мероприятия, которые необходимо, по его мнению, осуществить для упрочения народного хозяйства Египта.

Иностранный капитал широко проник в народное хозяйство Египта, направляя экономику страны по руслу, ему удобному.

Английские колонизаторы в стремлении создать постоянные источники, обеспечивающие сырьём их текстильную промышленность, превратили хлопок в монокультуру

Египта. Тем самым было создано серьёзное препятствие для развития всех других отраслей промышленности. Последствия подобной политики, связавшей с хлопком всю экономическую жизнь страны, сказываются повседневно. Если на мировом рынке падают цены на хлопок, то дотла разоряются сотни тысяч египетских феллахов, рабочих, ремесленников, мелких предпринимателей. В случае же повышения цен на хлопок выигрывают не феллахи — его непосредственные производители, а в основном иностранные капиталисты и спекулянты. Трагичность подобного положения усугубляется тем, что Египет ничем не может повлиять на установление той или иной цены на хлопок, так как это почти целиком зависит от американских хлопковых монополий.

Другая важная причина, тормозящая развитие египетской экономики, пишет Хасан, это «стерлинговая проблема» — один из самых ярких образцов колонизаторской политики английского монополистического капитала. Во время второй мировой войны Англия заставила египетскую промышленность и железнодорожный транспорт работать, в ущерб обеспечению нужд народа, для снабжения английских войск необходимыми продуктами и материалами. Взамен этого Египет получал расписки, подлежащие оплате после войны. Но когда война закончилась, Англия отказалась уплатить колоссальную сумму, равную почти четырёмстам миллионам египетских фунтов. Лишь после длительных переговоров Англия согласилась выплачивать Египту эту сумму по частям в течение семнадцати (!) лет. В этом, указывает автор, Англии помогли империалистические круги США. Не только Египту, но и ряду других стран были навязаны подобные же условия выплаты огромной задолженности.

Можно ли связывать надежды на развитие египетской экономики с привлечением иностранного капитала? Ни в коем случае, категорически отвечает Хасан. Он убедительно показывает, что экономическая «помощь» со стороны Запада, и в частности США, на деле означает лишь дальнейшее закабаление Египта и вовлечение его в военные блоки.

Инвестиции иностранных компаний, в том числе и американских, происходят, как правило, в отрасли, связанные с добычей и

Абд-ур-Рафик Мухаммед Хасан. Кризис экономики Египта. Перевод с арабского. Под общей редакцией и с предисловием М. Ф. Гатауллина. 108 стр. Издательство иностранной литературы. М. 1955.

первичной переработкой сырья, что сводит Египет на положение отсталой сырьевой базы колониальных держав. И в последнее время американские компании продолжают избегать таких вложений, которые в какой бы то ни было степени могли способствовать индустриализации Египта. Разве не говорят об этом американские «проекты» развития его экономики, опубликованные египетской газетой «Ле Бурс Эжипсьен»? Египту рекомендуется разводить рыбу в прудах, построить две рыбоконсервные фабрики и... филиал туристской фирмы для обслуживания заокеанских туристов!

Для укрепления национальной экономики, говорит Хасан, нужно лучше использовать все внутренние резервы и развивать экономические связи со всеми странами независимо от их политического устройства. Автор справедливо указывает на то, что подъём экономики Египта непосредственно зависит от ослабления международной напряженности. Мы заинтересованы в том, говорит он, чтобы мир царил во всём мире.

За время, прошедшее после выхода в свет книги Хасана, в Египте усилилось движение за промышленное развитие страны, за ликвидацию односторонней направ-

ленности её внешнеэкономических связей. В стране начато строительство металлургического завода, крупного завода удобрений, нефтеперерабатывающего завода, ведутся работы по значительному расширению энергетической базы. Ширятся экономические связи Египта с Советским Союзом, Китаем, европейскими странами народной демократии. Египет выходит на широкую дорогу национальной независимости.

Абд-ур-Разик Мухаммед Хасан — буржуазный экономист, и немудрено, что его взгляды во многом не совпадают с нашей, марксистской точкой зрения. В частности, он проводит мысль о примате распределения над производством, отводя первому главную и самостоятельную роль.

Советские люди питают чувства искренней симпатии и дружбы к свободолюбивому, мужественному народу Египта. Одним из проявлений этого является широкий интерес наших читателей к новейшей египетской литературе по вопросам истории, экономики, культуры страны. Свою роль в ознакомлении советских людей с современным Египтом сыграет и книга Абд-ур-Разика Мухаммеда Хасана.

Е. ПРИМАКОВ.

★

Дневники правдивого наблюдателя

В восьмидесятых годах прошлого века в книжных магазинах Бомбея, Калькутты и других городов Индии появилась новая, значительно пополненная грамматика языка пали. Это было немаловажным событием в культурной жизни страны. Нужно вспомнить, что в то время британские колонизаторы усиденно насаждали свои законы, обычаи и вводили английский язык во всех учебных заведениях. Новый учебник давал возможность студентам-индийцам изучать один из древних языков своей родины, на котором было написано много эпических поэм, философских трудов и морально-политических трактатов.

Новая грамматика языка пали была составлена в России профессором Петербургского университета И. П. Минаевым.

Иван Павлович Минаев был интересней-

шим человеком. Ещё в юности, увлечшись Востоком, он стал одним из крупнейших индологов своего времени. Его ценные научные труды обогатили не только русскую, но и мировую науку.

Правда, И. П. Минаев часто стоял на неправильных позициях. Его мировоззрение во многом было идеалистическим. Он, например, считал религию чуть ли не главным источником общественного развития. Но он всегда оставался честным исследователем и зорким наблюдателем. Эти важные качества в сочетании с демократическими убеждениями составляют сильную сторону И. П. Минаева — выдающегося знатока культуры и быта Индии.

Эрудиция И. П. Минаева и многогранность его интересов были изумительны. Он свободно владел несколькими индийскими языками и оставил ряд глубоких лингвистических исследований. Он изучал древнюю культуру и современный быт Индии, её политику и экономику, земельные отно-

И. П. Минаев. Дневники путешествий в Индию и Бирму. Ответственный редактор академик А. П. Баранников, 251 стр. Издательство Академии наук СССР. М. 1955.

шения и обрядовые тонкости отдельных каст, народные легенды и песни. И. П. Минаев познакомил русских читателей с сокровищницей индийского фольклора, записывая сказки народных рассказчиков, переводя их и подробно комментируя.

Труды его содержат огромное количество ценнейших фактов. Поэтому они не теряют своего научного значения и в наше время.

И. П. Минаев сам показал пример такого глубокого проникновения в современную жизнь индийского народа. Учёный совершил три больших путешествия, во время которых объехал всю Индию и Цейлон и побывал в Бирме. Он собрал и привёз в Россию богатейшую коллекцию древнеиндийских рукописей и произведений искусства. Живые наблюдения первого путешественника (1874—1875 годов) И. П. Минаев обобщил в книге «Очерки Цейлона и Индии. Из путевых заметок русского», а также в нескольких статьях. Путевые дневники двух других поездок — в 1880 и в 1885—1886 годах — он обработать не успел: помешала преждевременная смерть. Теперь эти путевые дневники впервые увидели свет.

Перед вами проходят представители самых различных слоёв индийского общества того времени. И вы постоянно чувствуете, на чьей стороне симпатии русского путешественника. С любовью описывает И. П. Минаев прекрасные памятники индийской культуры, с болью говорит о забитости и нищете народа, с большим уважением рисует образы представителей национальной интеллигенции, борющихся за освобождение родной страны. А преступления иноземных «цивилизаторов» в Индии и Бирме вызывают у автора гневный протест.

«Послушайте, как военщина и торгующие говорят о туземцах, чего они хотят,— пишет И. П. Минаев,— и вы поймёте, почему бирманец подстреливает их из-за куста». И в другом месте: «Пожалуй, сбудется то, что говорил майор Р. вчера: «Лет через пятьдесят англичанам придётся удалиться из Индии!»

И. П. Минаев посетил Индию в интереснейший переломный момент её новой истории. Он отмечает в своих дневниках быстрое развитие капитализма — рост сети железных дорог, крупных фабрик — и одновременно крепнущее в связи с этим национально-освободительное движение. А в Бирму он приезжает в те трагические дни, когда английские войска захватывают эту

страну, жестоко подавляя сопротивление народа.

Хотя записи И. П. Минаева отрывочны, порой слишком лапидарны — ведь они делались только для себя, для памяти,— но в итоге они дают живую и яркую картину жизни индийского народа, увиденную пытливыми глазами друга. Несколькими меткими штрихами умеет нарисовать И. П. Минаев образ случайного попутчика — земиндара или рыжего английского офицера, сетующего, что «англичане недостаточно жестоки к бирманцам». Среди деловых описаний вдруг промелькнёт пейзаж:

«Лунная, свежая ночь в Даржилинге — видели вы что-либо очаровательнее этого... Свежо, светло, внизу в ущелье клубы тумана, а над вами — светлое, прозрачное небо. Кругом стройные пирамиды деодаров — вдаль огоньки, словно звёздочки по склонам гор...»

Тёплые, дружественные чувства к индийскому народу, которыми проникнуты путевые заметки русского учёного, имеют в нашей стране прочные корни и давнюю историю. Это убедительно показал сам И. П. Минаев в своих известных работах «Русские помыслы об Индии в старину» и «Старая Индия. Заметки на Хожение за три моря Афанасия Никитина».

«Индия богатая» упоминается ещё в древнерусских былинах. Первое достоверное описание этой страны дал тверской купец Афанасий Никитин.

В 1675 году в Индию было отправлено русское посольство с наказом царя Алексея Михайловича. Через несколько лет в Дели и в Агре побывал русский путешественник Семён Маленький — «купчина гостиной сотни», а в конце XVIII века «российский унтер-офицер» Филипп Ефремов, бежавший из бухарского плена на родину через Гималаи. В 1781 году русский учёный-самородок Г. С. Лебедев основал в Калькутте театр, переводил для него пьесы и рисовал декорации. Вернувшись в Петербург, Лебедев создал первую в России типографию с бенгальским шрифтом. Позднее Индию посещают русские мореплаватели, писатели, художники (достаточно назвать, например, имена И. А. Бунина и В. В. Верещагина), в наши дни — многочисленные делегации деятелей науки и культуры СССР.

Недавнее посещение Советского Союза премьер-министром Индии Джавахарлалом Неру и премьер-министром Бирмы У Ну и

поездка в эти страны Н. А. Булганина и Н. С. Хрущёва вылились в яркую и волнующую демонстрацию крепнущей дружбы народов нашей страны, Индии и Бирманского Союза.

Публикация путевых дневников И. П. Минаева — ещё одно свидетельство укрепления этих дружественных связей. Приятно, что книга хорошо издана и иллюстрирована photographиями, а также рисунками художники, побывавших в Индии, — от князя А. Д. Салтыкова до советского художника К. И. Финогенова. Эти мастерские зарисовки тонко передают колорит индийской

жизни и удачно дополняют рассказ И. П. Минаева.

Хочется пожелать, чтобы в ближайшее время были заново изданы и другие, более законченные и капитальные труды И. П. Минаева. Они вышли в семидесятых — восьмидесятых годах прошлого столетия и с тех пор больше не переиздавались, став уже библиографической редкостью. А напрасно: они помогли бы советским читателям лучше узнать великий народ Индии, его историю, культуру, особенности национального характера.

Г. ГОЛУБЕВ.

Как возникают микроорганизмы

Множество видов живых организмов существовало на земле на протяжении миллионов лет — от гигантских бронтозавров до мельчайших, невидимых невооружённым глазом микробов. Бронтозавры давно вымерли, а микробы существуют и ныне. В естественной среде обитания микробы постоянно подвергались губительным воздействиям, которые давно должны были бы стереть их с лица земли, если бы не выработавшиеся в процессе эволюции какие-то свойства, позволяющие им сохраняться в неблагоприятных условиях. Чем объясняется такая приспособляемость микробов? Этой проблеме посвящена книга Г. П. Калина «Развитие микробных клеток из доклеточного вещества».

Микроорганизмы — наиболее примитивные из всех известных в природе живых существ: каждый микроб состоит всего из одной клетки. Существование микробов впервые обнаружил во второй половине XVII столетия изобретатель микроскопа Левенгук. Но лишь двести лет спустя возникла наука о микробах — микробиология, виднейшими основоположниками которой были великие учёные — француз Пастер и немец Кох. Они положили начало биологическому подходу к изучению микробов, тогда как до них изучали только строение (морфологию) микробов.

В 1895 году сподвижник Пастера, выдающийся русский биолог И. И. Мечников, впервые в истории микробиологии установил, что распад микробов холеры под влиянием губительно действующих на них соков

человеческого или животного организма не приводит к полному прекращению их жизнеспособности: образующиеся при этом распаде чрезвычайно мелкие зёрна, не имеющие клеточного строения, могут дать начало новым микробам холеры. По сути дела, Мечников установил, как справедливо отмечает автор, существование живого неклеточного вещества микробов, из которого способны развиваться новые микробы.

В 1910 году были опубликованы выдающиеся исследования бразильского микробиолога Фонтеса о фильтрующихся формах туберкулёзной палочки. И здесь, в сущности, речь шла о доклеточном живом веществе микробов.

Со времени Мечникова и Фонтеса возникла огромная литература по этому вопросу. На основании литературных данных и собственных экспериментальных исследований Г. Калина приходит к выводу, что микробная клетка при своём распаде оставляет большое количество отдельных частиц живого вещества, каждая из которых при благоприятных условиях даёт начало новой клетке.

Много внимания уделено автором свойствам живого доклеточного вещества микробов. Интересно, что это вещество значительно превосходит по своей устойчивости клеточные формы микробов. Оно сохраняет свою жизнеспособность при нагревании до такой температуры, которая губительна для микробных клеток. Лекарственные и другие химические вещества, убивающие микробов, не действуют на живое вещество, из которого микробы возникают.

В книге подробно разбирается роль живого доклеточного вещества в возникновении и течении заразных заболеваний, а

Г. П. Калина. Развитие микробных клеток из доклеточного вещества. Редактор С. Н. Ручковский. 476 стр. Медгиз Украины. Киев. 1954.

также в создании невосприимчивости после перенесённого заболевания. Однако приводимые автором данные, как литературные, так и собственные, ещё недостаточны для окончательных выводов. Эта проблема требует дальнейшего углублённого изучения.

Наибольший интерес представляет та часть книги, где подробно излагается развитие живого клеточного вещества микробов в новые микробные клетки. Автор приводит много примеров, частично из собственного экспериментального материала, естественного (спонтанного) развития клеток из живого вещества, осуществляющегося в природе и на искусственных питательных средах. Для ускорения этого процесса было предложено много методов, позволяющих форсированно получить образование клеток (форсированная регенерация). Автор критически разбирает эти методы и на основании сравнительного изучения их выводит некоторые биологические обоснования для создания наиболее эффективного метода. Основное положение, выдвигаемое автором, заключается в том, что ранние стадии развития микробных клеток не могут самостоятельно осуществлять необходимый для их жизни обмен веществ и нуждаются в наличии веществ, близких по своему химическому составу живому веществу, из которого развиваются клетки (пластический тип питания по В. Г. Крюкову).

Последняя часть книги посвящена изложению свойств микробных клеток, развивающихся из живого вещества. На ранних этапах своего развития они резко отличаются от клеток исходного микробного вида как по своему строению, так и по биологическим особенностям. Наиболее существенным является то, что они, как ранние стадии развития, чрезвычайно пластичны, податливы к малейшим колебаниям внешней среды. Варьируя условия существова-

ния этих юных клеток, можно направленно изменять их природу, наследственность.

Как Г. Калиной, так и другими исследователями получены многочисленные факты нового видообразования, то есть перехода одного вида микроба в другой в результате влияния внешней среды на живое вещество, из которого развиваются микроорганизмы. Автор подробно анализирует эти факты и подчёркивает, что они подчиняются общебиологическим закономерностям, вскрываемым учением И. В. Мичурина — советским творческим дарвинизмом.

Таково краткое содержание книги профессора Г. Калины, являющейся ценным вкладом в новую диалектико-материалистическую клеточную теорию.

Книга не свободна, к сожалению, от недостатков. Формулировки автора не всегда чётки, многие положения дискуссионны. Утверждение, что вирусы происходят от бактерий, как продукты их распада, по-моему, не отражает истинного положения вещей. Вирусы, на мой взгляд, являются неклеточными формами, происхождение которых не обязательно связано с распадом бактерий.

К недочётам книги относится и то, что в ней не рассматривается интереснейший вопрос об обмене веществ в живом веществе и в различных стадиях развития микроорганизмов. Это бы подкрепило ряд выводов автора.

Хочется выразить надежду, что широкое знакомство биологов и врачей с процессом возникновения и условиями развития микробов (а этому содействует книга Г. Калины) будет способствовать приближению того времени, когда болезнетворные микробы навсегда исчезнут с лица земли.

*Действительный член
Академии медицинских наук СССР
О. Б. ЛЕПЕШИНСКАЯ.*



наша «фантазёрка» оказалась близка к истине. Вот один класс: Александр, Игорь, Юры, Вовы, Серёжи и Толи, Наташи, Светланы, Татья-

ЗАБЫТЫЕ ИМЕНА

Я была на уроке в одной школе. Учительница раскрыла журнал.

— Наташа Т., — вызвала она ученицу.

Встала девочка в школьном коричневом платье с чёрным передником и преотлично рассказала урок.

— Наташа В., — вызвала учительница другую.

И эта Наташа была так же аккуратно одета и хорошо знала урок.

Опрос продолжался.

— Наташа П.

— Что такое? — невольно улыбнулась я.

В классе смеяться не положено, потому, может быть, мне и стало по-школьному нестерпимо смешно от этого парада Наташ. Я закрылась тетрадкой, чтобы не смутить свою соседку по парте. Она догадалась, что меня рассмешило.

— У нас почти все девочки в классе — Наташи, — шёпотом сказала она.

— Неужели? — шепнула я, удивляясь.

— А мальчишки все Вовки. — Она посчитала на пальцах: — И ещё есть пять Юр.

— Фантазёрка! — поняла я и авторитетно заметила: — Ну, не будем отвлекаться. Давай слушать.

Любознательство моё было, однако, задето. После урока я посмотрела журнал, потом, в учительской, — с десяток других журналов. Хотите верить, хотите нет,

Валентины, Людмилы.

В другом классе — то же. В третьем, четвёртом... Картина одна. Круг имён паразитически сужен.

Почти начисто вывелись такие хорошие мужские имена, как Василий, Пётр, Фёдор, Григорий, Максим, Степан, Тихон, Роман, даже Павел.

Попробуйте, сыщите среди наших детей Антона, Тимофея, Филиппа! Часто ли вы встретите среди девочек Дарью, Марфу, Ксению, Настю?

Мой знакомый назвал дочку Груней. Все удивляются. Мать довольна, но всё же немного смущена: не стала бы дочка, войдя в возраст, упрекать родителей за такое «простоватое» имя?

У одного известного писателя внучку зовут Варенькой. Разве плохо это милое, ласковое имя, от которого, кажется, так и веет ароматом лугов?

А героиня «Русского леса» Леонова — Поля? Мне представляется: необыденность, поэтичность и строгость облика девушки прочно связаны с её именем, ставшим в наши дни редким.

Сложилась неверные эстетические нормы, по которым имена Поля или Даша «некрасивы», «не приняты», а красивы и приняты имена Елена, Ирина, Татьяна.

Но если каждая третья — Елена, Ирина, Татьяна, получается немного однообразно и скучно. Что же делать? Как помочь молодым

матерям и отцам выйти из узкого, обидно обеднённого круга имён?

Раньше дело обстояло просто: существовали «святыцы», к каждому дню прикреплён был какой-либо «святой», и порою день рождения определял имя новорождённого. Мы зачеркнули «святыцы» и «святых», но зачем-то позабыли и десятки национальных, колоритных, индивидуальных и разных имён.

Не следует ли напомнить об этих именах? Может быть, на страничках календаря? Может быть, в специально изданном «Именнике», который должен водиться и в загсе и в родильном доме?

Пусть подумают и подкажут читатели, как вернуть в жизнь утраченные имена.

М. ПРИЛЕЖАЕВА.

★

О ЖАНРАХ ЭСТРАДЫ

— Николай Смирнов-Сокольский!

И тотчас после этих слов стремглав вылетает на эстраду человек в домашнем пиджаке, с пышно завязанным бантом, внешне немного похожий на персонаж из «Богемы» Мюрже. И, не дав опомниться публике, начинает с ней беседу, именно беседу, а не монолог — сам задаёт вопросы зрителям, сам отвечает на них. И всё, о чём в течение пятнадцати — двадцати минут рассказывает этот человек, — это сегодняшний день, это то, что не может не интересовать советского зрителя, пришедшего в театр. Это интересно рабочему и учёному, домашней хозяйке и инженеру, счетоводу и шофёру.

Вот и недавно, зимним вечером, в Театре эстрады он, как всегда непринуждённо, то весело, то гневно говорил о наших скучных фильмах, об анонимных письмах, о склочниках, о лицемерах, и всё это было без тени пошлости, в хорошей, литературной форме эстрадного фельетона, остро, неожиданно и временами едко...

И публика то отвечала Сокольскому взрывами смеха, то слушала его внимательно, временами даже затаив дыхание, потому что он умеет касаться самых серьёзных проблем с настоящим гражданским темпераментом...

Много говорят о разговорном жанре на эстраде, о том, что в нём нет остроты, оригинальности, своеобразия. Между тем вот уже сорок лет трудится на эстраде Н. П. Смирнов-Сокольский, находит нужные, важные темы, говорит с эстрады о сегодняшнем дне. Разве это не достижение разговорного жанра на эс-

траде, столь дефицитного и действительно необходимо в искусстве эстрады?

Мы, литераторы, знаем то, о чём мало знает публика, знаем, как уважительно и дружелюбно относился к труду Смирнова-Сокольского Маяковский, знаем страсть Сокольского к собиранию книг, к истории книги, помогающую ему в работе на эстраде, в создании репертуара. Его умение говорить с массами ценил Демьян Бедный — поэт, который писал для миллионов.

Сокольский самобытен и своеобразен, но он одинок в своём жанре. У него нет настоящих, даровитых последователей, и получилось так, что этот жанр сосредоточен только в одном человеке.

И на нашей эстраде мало жанров, нужных зрителю и ценимых им, имеет таких же одиноких представителей, о которых можно по праву сказать словами старой афиши: «Единственный в своём роде». Но

то, что хорошо было для старой, отжившей рекламы, плохо для сегодняшней нашей эстрады, и особенно для завтрашних судеб этого массового искусства.

Наша печать много лет доказывала необходимость создания Театра эстрады. Теперь такие театры существуют в Москве и Ленинграде. Это очень хорошо. Но, сделав этот важный шаг, надо сделать и следующий: для подготовки творческих кадров советской эстрады (а их у нас не готовят сейчас нигде) при эстрадных театрах следует открыть студии. А в этих студиях в свою очередь надо создать мастерские, которые вели бы корифеи нашей эстрады, готовя себе достойную смену: мастерская Смирнова-Сокольского, мастерская Мироновой, Набатова, мастерская Райкина, Утёсова, Гаркави и других мастеров, чьи имена украшают афиши эстрадных концертов и обозрений.

Л. НИКУЛИН.



КОРОТКО О КНИГАХ

★

АНТОЛОГИЯ ЛАТЫШСКОЙ ПОЭЗИИ. Составители Ян Судрабкалн, Арвид Григулис, Мирдза Кемпе. Латвийское государственное издательство. Рига. 1955. 832 стр. Цена 25 р. 70 к.

Изданная к декаде латышского искусства и литературы в Москве антология представляет собой первое обширное собрание произведений латышской поэзии: от её истоков — народных песен «дайн» — до стихов современных поэтов, написанных в наши дни.

Антология знакомит читателя с творчеством более восьмидесяти поэтов. В переводе стихов на русский язык принял участие большой коллектив переводчиков. Сборник построен по хронологическому принципу, что даёт возможность читателю не только познакомиться с лучшими образцами латышской поэзии, но и получить представление о путях её исторического развития.

Антология латышской поэзии — крупное событие в культурной жизни советского народа, новое проявление крепнущих взаимосвязей братских литератур народов нашей страны.

ИВАН ЗОЛОТАРЬ. Записки десантника. «Молодая гвардия». М. 1955. 240 стр. Цена 5 р. 5 к.

Автор этой книги — участник описываемых им событий. С небольшим десантным отрядом весной 1943 года он спустился на парашюте в леса Белоруссии. Действующие лица книги (за исключением нескольких эпизодических фигур из вражеского лагеря) не вымышленные люди и названы своими именами. В послесловии автор сообщает о дальнейшей судьбе героев книги — своих друзей: Героев Советского Союза П. Лопатина, Е. Мазаник, М. Осиповой, Н. Троиш и других. Все они сейчас заняты мирным, созидательным трудом.

ПОЭТЫ СОВЕТСКОЙ УДМУРТЦИИ. «Советский писатель». Ленинград. 1955. 137 стр. Цена 2 р. 20 к.

Письменная удмуртская литература возникла лишь после Великой Октябрьской социалистической революции. Только в фольклоре находили до этого своё отражение тяжёлая жизнь, мечты и чаяния бесправного, угнетённого в прошлом удмуртского народа.

В сборнике представлено творчество пятнадцати поэтов республики. Здесь и старшее поколение — зачинатели удмуртской поэзии Д. Майоров, И. Дядюков, поэты,

которых условно можно было бы назвать средним поколением удмуртской литературы, и поэтическая молодёжь. Самый молодой из участников сборника — двадцатитрёхлетний поэт Николай Васильев.

АЛОИС ИРАСЕК. Собрание сочинений. Том 1. Старинные чешские сказания. Скалаки. Роман. Перевод с чешского. Государственное издательство художественной литературы. М. 1955. 606 стр. Цена 12 р.

Рассказы, повести, многотомные романы великого чешского писателя А. Ирасека (1851—1930) заслужили на его родине прочную любовь у поколений читателей. «Старинные чешские сказания» — впервые они вышли в Праге в 1894 году — воскрешают наиболее яркие страницы чешской истории. В этих легендах и рассказах вымысел переплетается с историческими фактами. Они написаны чудесным народным языком, полны любви к народу и веры в его светлое будущее.

Роман «Скалаки» Ирасек написал, когда ему было 23 года. Это история нескольких поколений семьи Скалаков — мужественных, непокорных горцев, отстаивавших вольность и человеческое достоинство, участвовавших во многих восстаниях крестьян против помещичьего гнёта. Рисуя картины героического прошлого своего народа, Ирасек волновал своих современников и мобилизовал их духовные силы на борьбу за лучшее будущее.

ДЖЕРАЛЬД ГОРДОН. Да сгинет день... Роман. Перевод с английского. Издательство иностранной литературы. М. 1955. 262 стр. Цена 9 р.

Южная Африка... До сих пор она мало известна нашим читателям. «Да сгинет день...» — первое произведение южноафриканского писателя Джеральда Гордона — поможет расширить круг представлений о жизни далёкой страны.

«Да сгинет день, в который я родился, и ночь, в которую было сказано: «Сегодня зачат человек!» — эти библейские слова произносит главный герой романа Энтони Грант. Он «цветной», в его жилах течёт смешанная кровь, но выглядит он, «как европеец». И Энтони скрывает своё «цветное» происхождение, чтобы добиться успеха в жизни. Но в конце концов и на него обрушиваются ужасы расовой дискриминации.

В романе немало живых картин быта и нравов населения Южной Африки, раскрывающих перед нами мир, полный противоречий, борьбы и человеческих страданий.

А. В. ФАДЕЕВ. Героическая оборона Одессы в 1941 году. Госполитиздат. М. 1955. 80 стр. Цена 85 к.

На лицевой стороне медали «За оборону Одессы» изображены силуэты моряка и пехотинца, плечом к плечу идущих на врага. Эта медаль украшает грудь многих защитников жизнерадостного, солнечного города, повзрослевшего в упорнейших боях с жестоким и сильным врагом. Каждый из шестидесяти девяти дней героической обороны был наполнен патриотическими подвигами советских людей.

Книжка, вышедшая в серии «Героическое прошлое советского народа», рисует величественную картину мужества войск и населения Одессы, в труднейших условиях выполнивших свой патриотический долг перед Родиной.

Г. Т. СУВОРОВА. Павловский индустриальный район. Экономический очерк. Горьковское книжное издательство. 1955. 116 стр. Цена 1 р. 75 к.

Знаменитые павловские кустарные промыслы получили широкое отражение в до-революционной литературе. В. И. Ленин уделил им ряд страниц в своём классическом труде «Развитие капитализма в России». В «Павловских очерках» В. Г. Короленко запечатлел трагическую судьбу павловского кустаря, изнемогавшего под бременем непосильного труда и изощрённой эксплуатации.

В книге Г. Т. Суворовой раскрыта история павловских промыслов и показан их сегодняшний день. Труд на дому с его отсталой техникой давно уступил место электрифицированному и механизированному производству. Артели выпускают ежегодно на сотни миллионов рублей металлоизделий — ножей, вилок, замков, ножниц и т. д. В районе создана и крупная государственная промышленность. По-новому выглядят теперь старейшие промышленные гнезда страны — город Павлов, посёлки Ворсма, Вача и другие.

Н. В. ДУМИТРАШКО. В. А. Обручев. Географгиз. М. 1955. 40 стр. Цена 60 к.

Когда перевёртываешь последнюю страницу этой брошюры, описывающей научные достижения Владимира Афанасьевича Обручева, невольно задаёшься вопросом: неужели всё это сделал один человек?

Участие в многочисленных экспедициях, во время которых выдающийся геолог и географ глубоко изучил огромные пространства Сибири, Центральной и Средней Азии, Китая, Монголии, Джунгарии; семьсот книг, статей и очерков, около трёх тысяч рефератов, несколько научно-фантастических и научно-популярных романов и повестей, в

которых тесно переплелись талант художника и учёного; обширная популяризаторская и педагогическая деятельность... Неугасимый дух творческих исканий, огромнейшая целеустремлённость и трудо-способность и сейчас ещё — на девяносто третьем году жизни! — отличают В. А. Обручева, гордость советской и мировой науки.

В. Н. ПИПУНЫРОВ. Иван Петрович Кулибин. Жизнь и творчество. Машгиз. М. 1955. 187 стр. Цена 8 р. 70 к.

Сохранился рассказ о встрече А. В. Суворова с замечательным русским мастером Иваном Петровичем Кулибиным. Великий полководец несколько раз поклонился Кулибину в пояс, затем взял его за руку и, обращаясь к присутствующим, громко сказал:

— Помилуй бог, много ума! Он изобретёт нам ковёр-самолёт.

Трудно назвать какую-либо отрасль техники того времени, в которой Кулибин не испробовал бы своих сил. Всемирную известность получил кулибинский проект одноарочного металлического моста через Неву. Изобретатель проектировал и строил речные суда и печатные станы, проекторы и микроскопы, электрические машины и протезы, весы и механизмы оптического телеграфа.

В своей книжке В. Н. Пипуныров рассказал много нового о замечательном русском изобретателе.

Б. БРОННЕР и Л. КОКОСОВ. Путь телеграммы. Детгиз. М. 1955. 136 стр. Цена 2 р. 95 к.

Это одна из тех полезных книг, которые отвечают любознательному подростку на вопрос: «А как это делается?»

В основу сюжета книги авторы положили следующий эпизод. С борта парохода «Камчадал», находящегося в далёком Охотском море, отправлена телеграмма. Прошло всего полтора часа, и вот на столе московского адресата уже лежит небольшой листок бумаги, на котором прямым, столь знакомым «телеграфным» шрифтом напечатан текст. Через море, горы, реки, леса, степи прошла телеграмма по радио и проводам воздушных линий связи, по подземным и подводным кабелям. Используя сложные технические средства и аппаратуру, сотни людей участвовали в её передаче от Курильских островов до Москвы.

Авторы книги подробно рассказывают о современной телеграфной технике, попутно знакомя читателя с её историей, с выдающимися открытиями А. С. Попова, П. Л. Шиллинга, Б. С. Якоби и других русских и зарубежных учёных.



КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

★

ГОСПОЛИТИЗДАТ

К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения. Том 3. 630 стр. Цена 10 р.

Л. М. Каганович. 38-я годовщина Великой Октябрьской социалистической революции. 24 стр. Цена 25 к.

Об устранении излишеств в проектировании и строительстве. Постановление Центрального Комитета КПСС и Совета Министров СССР 4 ноября 1955 года. 16 стр. Цена 20 к.

Мао Цзе-дун. Вопросы кооперирования в сельском хозяйстве. 32 стр. Цена 40 к.

Решение шестого (расширенного) Пленума ЦК Коммунистической партии Китая седьмого созыва по вопросу о кооперировании в сельском хозяйстве. 32 стр. Цена 35 к.

Ю. В. Борисов. Уроки истории Франции и современность. 100 стр. Цена 1 р. 20 к.

Борьба польского народа за социализм. 340 стр. Цена 6 р. 95 к.

В. Игнатьев. Восьмой съезд РКП(б). 120 стр. Цена 1 р. 45 к.

Издержки обращения в СССР и пути их снижения. 488 стр. Цена 9 р.

Н. Крутикова. Из истории борьбы В. И. Ленина против оппортунизма на международной арене. 224 стр. Цена 4 р. 30 к.

В. Лесаков. Румыния на пути к социализму. 80 стр. Цена 1 р.

В. Масленников. Монгольская Народная Республика. 72 стр. Цена 80 к.

Полководец Кутузов. Сборник статей. 496 стр. Цена 12 р.

А. Пясковский. Первая (Таммерфорская) конференция РСДРП. 48 стр. Цена 60 к.

Революционное движение в армии в годы первой русской революции. 504 стр. Цена 8 р.

Социалистические нации СССР. 304 стр. Цена 6 р. 30 к.

Людвиг Фейербах. Избранные философские произведения. Том 1. 676 стр. Цена 10 р. 15 к.

А. Чебарин. Москва в революции 1905—1907 годов. 264 стр. Цена 5 р. 20 к.

«СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

А. Бирик. Избранное. 308 стр. Цена 5 р. 35 к.

Е. Васютин. Звездочёт. Повесть. 248 стр. Цена 3 р. 55 к.

Вопросы художественного перевода. 312 стр. Цена 6 р. 30 к.

К. Ваншенкин. Портрет друга. Стихи. 100 стр. Цена 1 р. 65 к.

Ф. Гладков. О литературе. Сборник статей. 244 стр. Цена 5 р. 40 к.

Б. Костюковский. В горах Акаутя. (О людях одного колхоза). 236 стр. Цена 4 р. 45 к.

В. Кирпотин. М. Е. Салтыков-Щедрин. 724 стр. Цена 18 р. 60 к.

Г. Леберехт. Капитаны. 228 стр. Цена 4 р. 55 к.

П. Лукницкий. За синим камнем. Рассказы. 448 стр. Цена 7 р. 30 к.

А. Межиров. Возвращение. Стихи. 104 стр. Цена 1 р. 90 к.

И. Ноншвили. На землях Казахстана. Стихи. Перевод с грузинского. 52 стр. Цена 80 к.

В. Полторацкий. Родные. Очерки, рассказы. 156 стр. Цена 3 р. 70 к.

К. Паустовский. Повесть о жизни. 156 стр. Цена 9 р. 70 к.

Евг. Поповкин. Большой разлив. 464 стр. Цена 7 р. 70 к.

Поэты «Искры». Том I. 812 стр. Цена 11 р. 90 к.

В. Петльованый. Рассказы. 144 стр. Цена 2 р. 80 к.

Рассказы 1954 г. 820 стр. Цена 13 р. 70 к.

Русская советская поэзия и народное творчество. Сборник. 420 стр. Цена 9 р. 40 к.

Х. Такташ. Стихотворения и поэмы. 216 стр. Цена 4 р. 20 к.

С. Фомин. Перед рассветом. 272 стр. Цена 4 р. 65 к.

ГОСЛИТИЗДАТ

Н. С. Ашукин, М. Г. Ашукина. Крылатые слова. Литературные цитаты. Образные выражения. 668 стр. Цена 15 р.

Грузинская проза. Избранные романы, повести и рассказы. В трёх томах. Переводы с грузинского. Том 1. V век — первая половина XIX века. 464 стр. Цена 9 р. 60 к. Том 2. Вторая половина XIX века. 696 стр. Цена 12 р. Том 3. Начало XX века. 602 стр. Цена 12 р. 65 к.

Е Шэн-тао. Рассказы и сказки. Перевод с китайского. 128 стр. Цена 1 р. 70 к.

Мате Залка. Избранное. Перевод с венгерского. 528 стр. Цена 11 р. 45 к.

Пу Сун-лин (Ляо Чжай). Лисьи чары. Странные истории. Перевод с китайского. 296 стр. Цена 5 р. 85 к.

С. Н. Сергеев-Ценский. Собрание сочинений в десяти томах. Том 6. Севастопольская страда. Эпопея. 716 стр. Цена 12 р.

А. В. Софронов. Избранные произведения. В двух томах. Том 1. Стихотворения, песни, поэмы. 352 стр. Цена 8 р. Том 2. Пьесы. 400 стр. Цена 9 р. 40 к.

Свагоплук Чех. Путешествие пана Броучека в XV столетие. Перевод с чешского. 168 стр. Цена 2 р. 25 к.

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

Р. Гамзатов. Лирика. 191 стр. Цена 3 р. 30 к.

В. Дыховичный, М. Слободской. стакан воды. Юмористическая повесть. 232 стр. Цена 4 р. 85 к.

Евгений Елисеев. Берёзы. Стихи, поэмы. 72 стр. Цена 2 р. 40 к.

А. Кожин. Широкие горизонты. Очерки и рассказы о людях нового Китая. 200 стр. Цена 2 р. 90 к.

А. Логинов, П. Лопатин. Москва на стройке. 415 стр. Цена 11 р. 50 к.

Д. Петров (Бирюк). Сказание о казаках. Трилогия. 680 стр. Цена 18 р. 50 к.

В родном краю. Пьесы. 304 стр. Цена 10 р. 25 к.

Молодёжи о первой русской революции. Сборник. 280 стр. Цена 9 р. 75 к.

Тор Хейердал. Путешествие на «Кон-Тики». На плоту от Перу до Полинезии. 288 стр. Цена 5 р. 60 к.

ДЕТГИЗ

Д. Бунимович. Книга юного фотолобителя. 224 стр. Цена 5 р. 10 к.

И. Васильков. Путешествие в страну нектара. Цветы и насекомые. 264 стр. Цена 6 р. 95 к.

О. Донченко. Золотая медаль. Повесть. Авторизованный перевод с украинского. 308 стр. Цена 5 р. 80 к.

Л. Кассиль. Повести. 512 стр. Цена 18 р. 25 к.

Из жизни животных. Рассказы русских писателей. 112 стр. Цена 2 р. 25 к.

Я. Макаренко. Открытый мир. Очерки. 192 стр. Цена 4 р. 40 к.

Об изданиях сказок для детей. 424 стр. Цена 14 р. 55 к.

Л. Островер. Пресня не сдаётся. Повесть. 280 стр. Цена 5 р. 50 к.

Рассказ за рассказом. Избранные рассказы советских писателей. Книга II. 448 стр. Цена 8 р. 15 к.

Л. Руднева. Никола. Повесть. 424 стр. Цена 8 р. 95 к.

Л. Стеффенс. Мальчик на лошади. Автобиографическая повесть. Перевод с английского. 120 стр. Цена 2 р. 90 к.

К. Фельдман. Броненосец «Потёмкин». 224 стр. Цена 4 р. 40 к.

ИЗДАТЕЛЬСТВО

АКАДЕМИИ НАУК СССР

М. А. Бабичев. Методы определения внутренних напряжений в деталях машин. 130 стр. Цена 4 р. 50 к.

И. К. Горский. Адам Мицкевич. 275 стр. Цена 6 р.

Передовая технология машиностроения. 735 стр. Цена 35 р. 40 к.

ИЗДАТЕЛЬСТВО

ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Джавахарлал Неру. Автобиография. Перевод с английского. 654 стр. Цена 20 р.

Джузеппе Берто. Разбойник. Перевод с итальянского. 191 стр. Цена 5 р. 20 к.

ЛАТВИЙСКОЕ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

Э. Бирзниеку-Упит. Рассказы серого камня. Перевод с латышского. 48 стр. Цена 2 р. 90 к.

ЛЕНИЗДАТ

И. Беккер. Мицкевич в Петербурге. 168 стр. Цена 3 р. 10 к.

«РАДЯНСЬКИЙ ПИСЬМЕННИК» (Киев)

Говорящие письма. Стихи. 140 стр. Цена 2 р. 75 к.

Главный редактор **К. М. Симонов**

Редакционная коллегия:

Б. Н. Агапов (зам. главного редактора), **С. Н. Голубов,**
А. Ю. Кривицкий (зам. главного редактора), **Б. А. Лавренёв,**
М. К. Луконин, А. М. Марьямов, Е. Успенская, К. А. Федин

Редакция: Москва-Центр, Пушкинская площадь, 5 (почтовый адрес).
Вход с улицы Чехова, 1. Тел. К 5-76-97.

Сдано в набор 3/ХІІ-55 г.

Подписано к печати 20/ХІІ-55 г.

А 06876. Формат бумаги 70×108¹/₁₆. 9 бум. л.—24,66 печ. л. Тираж 140.000. Заказ № 2499

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР»
имени **И. И. Скворцова-Степанова.** Москва, Пушкинская пл., 5.

Цена 9 руб.